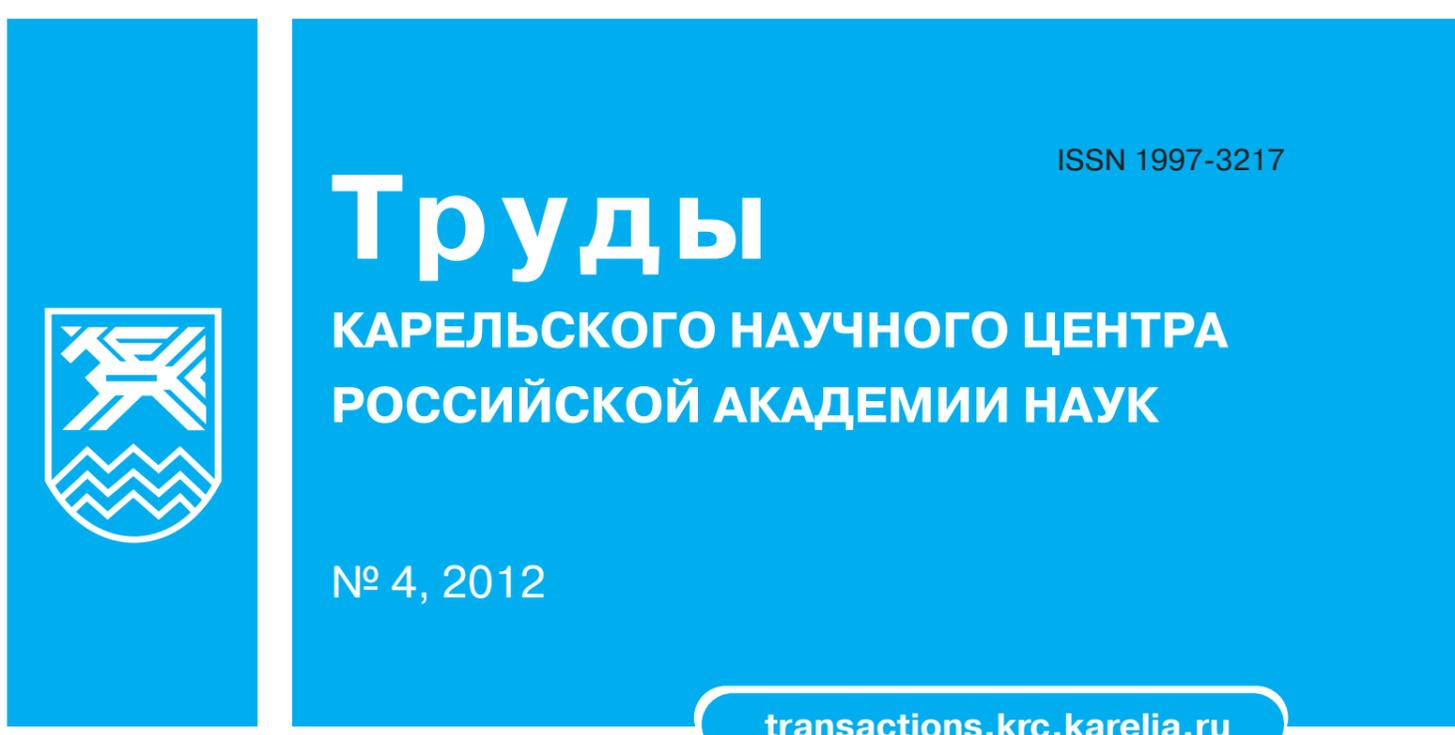


Ю. А. Кривошапова. ПИТЕР В РУССКОЙ НАРОДНОЙ ЯЗЫКОВОЙ ТРАДИЦИИ . . .	104
Е. Ю. Дубровская. ИМПЕРСКАЯ СИМВОЛИКА ГЕЛЬСИНГФОРСА ГЛАЗАМИ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ: РУБЕЖ XIX – XX ВВ. И ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ	114
О. П. Илюха. ПОВСЕДНЕВНОСТЬ СОВЕТСКО-ФИНЛЯНДСКОГО ПОГРАНИЧЬЯ 1930-х ГОДОВ В ВОСПОМИНАНИЯХ О ДЕТСТВЕ	124
Пекка Суутари. ФОЛЬКЛОРНЫЕ ТРАДИЦИИ И МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ ПРИГРАНИЧЬЯ: НАЧАЛО ТВОРЧЕСКОГО ПУТИ АНСАМБЛЯ «ТОЙВЕ» (1982–1992)	134
Е. И. Клементьев. ФАКТОРЫ ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ НА ПРИМЕРЕ КАРЕЛОВ КАРЕЛИИ	144
Г. В. Костина. ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СААМСКОГО ЯЗЫКА НА КОЛЬСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ	153
И. Ф. Витенкова. ЭВОЛЮЦИЯ ЖИЛЫХ ПОСТРОЕК В ФИНАЛЕ НЕОЛИТА И ЭНЕОЛИТЕ КАРЕЛИИ	158
Аспирантские тетради	
И. М. Поташева. ГОНЧАРНАЯ ПОСУДА НАСЕЛЕНИЯ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ПРИЛАДОЖЬЯ В КОНЦЕ XI – НАЧАЛЕ XV в.	170
М. В. Кундозерова. МИРОВОЕ ДРЕВО И ЛАНДШАФТНЫЕ ЗНАКИ-СИМВОЛЫ ЕГО ЛОКАЛИЗАЦИИ (ПО МАТЕРИАЛАМ КАРЕЛЬСКИХ ЭПИЧЕСКИХ ПЕСЕН И ЗАКЛИНАНИЙ)	178
Е. В. Захарова. СУБСТРАТНЫЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ В ТОПОНИМИИ ВОСТОЧНОГО ОБОНЕЖЬЯ	185
А. И. Соболев. НАЗВАНИЯ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ ЮГО-ВОСТОЧНОГО ОБОНЕЖЬЯ В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРНОГО ЛАНДШАФТА	191
Е. В. Логинова. ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОГО ОБРАЗА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО НЕПОЛНОЦЕННОГО ЧЕЛОВЕКА В ФИНСКИХ НАРОДНЫХ ГОВОРАХ	197
Хроника	
В. П. Кузнецова. Семинар по методике полевых работ в Институте ЯЛИ	202
Юбилей и даты	
Е. Г. Сойни. Исследование литературы Русского Севера (к 75-летию со дня рождения Ю. И. Дюжева)	206
Л. И. Иванова. Нина Александровна Лавонен (к 75-летию со дня рождения)	209
В. Г. Макуров. Виктор Иванович Машезерский (к 100-летию со дня рождения)	211
Константин Кузьмич Логинов (к 60-летию со дня рождения)	214
Рецензии и библиография	
Е. Ю. Дубровская, Н. А. Кораблев. Голубев А. А. Мурманская железная дорога: история строительства (1894–1917 гг.). СПб.: Петербургский гос. ун-т путей сообщения, 2011. 250 с.	221
О. В. Змеева. Разумова И. А. Культурные ландшафты Кольского Севера: города у «Большой воды» и Хибин. Социально-антропологические очерки. СПб.: «ГАМАС», 2009. 160 с.	224
В. П. Миронова. Новое исследование в области прибалтийско-финских причитаний: Рахимова Э. Г. «Туонельские свечушки»: словесная изобразительность карело-финских причитаний по покойным. М.: ИМЛИ РАН, 2010. 237 с.	227
Издания Института языка, литературы и истории КарНЦ РАН 2011 года	230
Правила для авторов	231

ТРУДЫ КАРЕЛЬСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА РАН. № 4, 2012. Серия ГУМАНИТАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ



Серия ГУМАНИТАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Выпуск 3

СОДЕРЖАНИЕ

С. И. Кочкуркина. ЭТНИЧЕСКАЯ КАРТА И ТЕРРИТОРИАЛЬНО-АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ГРАНИЦЫ КАРЕЛИИ НА РУБЕЖЕ I–II ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ н. э. (НОВГОРОДСКОЕ ВРЕМЯ)	3
И. И. Муллонен. ПРИРОДНЫЕ И КУЛЬТУРНЫЕ ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ВЕПССКОЙ ЭТНИЧЕСКОЙ ТЕРРИТОРИИ	13
М. Н. Мелютин, Н. М. Терехин. СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ ЛАНДШАФТ СЕВЕРНОГО МИРА	25
К. К. Логинов. ЛАНДШАФТ И ЛЕГЕНДЫ О НАЗНАЧЕНИИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПРИРОДНЫХ И РУКОТВОРНЫХ КАМЕННЫХ ОБЪЕКТОВ В ОБОНЕЖЬЕ	38
Н. А. Криничная. СОПЕРНИЧЕСТВО РЕК КАК ИМПУЛЬС К ПРЕОБРАЗОВАНИЮ ЛАНДШАФТА И СОЦИУМА (ПО МАТЕРИАЛАМ ЭТИОЛОГИЧЕСКИХ МИФОВ)	50
И. Ю. Винокурова. БАННЫЕ ОБРЯДЫ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЧЕЛОВЕКА В ВЕПССКОМ КУЛЬТУРНОМ ЛАНДШАФТЕ	57
Л. И. Иванова. ЛЕСНОЙ НОС: АРХАИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КАРЕЛОВ О БОЛЕЗНИ И МАГИЧЕСКИЕ ЛОКУСЫ РИТУАЛА ИСЦЕЛЕНИЯ	68
А. Ю. Жуков, Е. В. Ляля. ВОЛОСТНАЯ И ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКАЯ СТРУКТУРА КАРЕЛЬСКОГО ПОМОРЬЯ, КОНЕЦ XV – СЕРЕДИНА XVIII вв.	74
П. В. Седов. КОНТРАБАНДНАЯ ТОРГОВЛЯ ТАБАКОМ В ПОРУБЕЖНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ НОВГОРОДСКОЙ ЗЕМЛИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVII в.	85
Н. А. Кораблев. ПРОВЕДЕНИЕ СТОЛЫПИНСКОЙ АГРАРНОЙ РЕФОРМЫ В КАРЕЛИИ: ПРОБЛЕМЫ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА	93

Карельский научный центр
Российской академии наук

ТРУДЫ

КАРЕЛЬСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

Серия ГУМАНИТАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Выпуск 3

Петрозаводск
2012

Научный журнал
**Труды Карельского научного центра
Российской академии наук**
№ 4, 2012
Серия ГУМАНИТАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Выпуск 3

Scientific Journal
**Proceedings of the Karelian Research Centre
of the Russian Academy of Sciences**
No 4, 2012
RESEARCH IN THE HUMANITIES Series
Vol. 3

Главный редактор
А. Ф. Титов

Редакционный совет

А. М. Асхабов, В. Т. Вдовицын, Т. Вихавайнен, А. В. Воронин, С. П. Гриппа, Э. В. Ивантер, А. С. Исаев, В. Т. Калинин, В. И. Крутов, А. М. Крышень (зам. главного редактора), Е. В. Кудряшова, В. В. Мазалов, Ф. П. Митрофанов, И. И. Муллонен, Н. Н. Немова, В. В. Окрепилов, О. Н. Пугачев, Ю. В. Савельев, Н. Н. Филатов, А. И. Шишкин, В. В. Щипцов

Editor-in-Chief
A. F. Titov

Editorial Council

A. M. Askhabov, V. T. Vdovitsyn, T. Vihavainen, A. V. Voronin, S. P. Grippa, E. V. Ivanter, A. S. Isaev, V. T. Kalinnikov, V. I. Krutov, A. M. Kryshen' (Deputy Editor), E. V. Kudryashova, V. V. Mazalov, F. P. Mitrofanov, I. I. Mullonen, N. N. Nemova, V. V. Okrepilov, O. N. Pugachyov, Yu. V. Saveliev, N. N. Filatov, A. I. Shishkin, V. V. Shchiptsov

Редакционная коллегия серии «Гуманитарные исследования»

А. В. Антощенко, И. Ю. Винокурова, А. С. Герд, Н. Г. Зайцева, О. П. Илюха (зам. отв. редактора), Н. А. Кораблев, С. И. Кочкуркина, Н. А. Криничная, Е. И. Маркова, И. И. Муллонен (отв. редактор), А. В. Пигин, Т. Хямюнен, Н. В. Чикина (отв. секретарь)

Editorial Board of the «Research in the Humanities» Series

A. V. Antoshchenko, I. Yu. Vinokurova, A. S. Gerd, N. G. Zaitseva, O. P. Ilyukha (Deputy Editor in Charge), N. A. Korablyov, S. I. Kochkurkina, N. A. Krinichnaya, E. I. Markova, I. I. Mullonen (Editor in Charge), A. V. Pigin, T. Hämynen, N. V. Chikina (Executive Secretary)

ISSN 1997-3217

Зав. редакцией Н. В. Михайлова
Адрес редакции: 185910 Петрозаводск, ул. Пушкинская, 11
тел. (8142)780109; факс (8142)769600
E-mail: trudy@krc.karelia.ru
Электронная полнотекстовая версия: <http://transactions.krc.karelia.ru>

УДК 39 (470.22)

ЭТНИЧЕСКАЯ КАРТА И ТЕРРИТОРИАЛЬНО- АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ГРАНИЦЫ КАРЕЛИИ НА РУБЕЖЕ I–II ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ Н. Э. (НОВГОРОДСКОЕ ВРЕМЯ)*

С. И. Кочкуркина

Институт языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН

Процессы образования этнической карты и территориально-административных границ Карелии на рубеже I–II тысячелетий (новгородское время) рассматриваются в системе социокультурных ландшафтов Северо-Запада России. Пограничное положение между западным и восточным миром, природные, политические и экономические факторы сформировали особенности культуры и ментальности традиционного населения Карелии. Этнокультурные ареалы эпохи Средневековья, как показали междисциплинарные исследования, сложились задолго до существования официальных административных и государственных границ.

К л ю ч е в ы е с л о в а: междисциплинарное исследование, этнокультурные ландшафты Северо-Запада России, народы Карелии, границы этнические и административные.

S. I. Kochkurkina. THE ETHNIC MAP AND SPATIAL-ADMINISTRATIVE BORDERS OF KARELIA AT THE TURN OF 2nd MILLENNIUM A. D. (NOVGORODIAN PERIOD)

Formation of the ethnic map and spatial-administrative borders of Karelia at the turn of the 2nd millennium (Novgorod times) is considered through the prism of socio-cultural landscapes of Northwest Russia. Location on the border between the Western and the Eastern worlds, the natural, political and economic factors have shaped the peculiar culture and mentality of the traditional population of Karelia. As the interdisciplinary study has demonstrated, Medieval ethno-cultural boundaries had established long before there appeared official administrative and national borders.

K e y w o r d s: interdisciplinary study, ethno-cultural landscapes of Northwest Russia, peoples of Karelia, ethnic and administrative boundaries.

На рубеже I–II тысячелетий н. э. происходило формирование народов, в том числе на территории Приладожья. Именно в этот период древ-

нерусские письменные источники называют их по именам: корела, весь, ижора, водь и др. Становление народов происходило в период формирования, укрепления и расцвета Древнерусского государства, в нашем случае – Новгородской феодальной республики. Процесс был длительным и не прямолинейным.

* Статья выполнена при финансовой поддержке Программы фундаментальных исследований секции истории Отделения историко-филологических наук РАН «Нации и государство в мировой истории».

Карелия – уникальный регион, важную роль в развитии которого сыграло пограничное положение между западным и восточным миром. В силу нестабильности жизни в приграничье менялись очертания историко-культурного ареала. Природные и экономические факторы сформировали особенности культуры и ментальности традиционного населения Карелии. Представления о том, когда и каким образом происходило формирование Карелии как этнокультурного ареала, можно создать только на комплексной базе данных гуманитарных наук. Комплексный подход к использованию археологических, лингвистических, топонимических, этнографических и исторических источников, а также данных естественных наук, базирующихся на результатах многолетних полевых исследований, позволяет реконструировать, хотя бы в общих чертах, сложный и длительный процесс миграции и адаптации народов, процесс соиздания их культур на различных временных отрезках, выявить зависимость от многих, благоприятных и неблагоприятных, факторов, реконструировать процесс образования внешних и внутренних границ и влияние этого процесса, что очень важно, на «самочувствие» народов. Более того, междисциплинарное исследование способствует решению проблемы становления Карелии как территориального, этноисторического и административного феномена на Северо-Западе России.

Формирование народов и расселение их на обширных пространствах земли на длительном историческом пути развития прямо или опосредованно приводили к образованию границ: этнических, социальных, религиозных, административных, государственных и т. д. Эти вопросы относятся к числу слабо разработанных, но в настоящее время весьма актуальных. Действительно, существует ли жесткая связь между природно-ландшафтными и административными границами, в какой степени границы государственные совпадают с границами этносов и их культур, материальных и духовных? Какую роль играли социально-экономические процессы при формировании локальных границ? И так далее. Русский философ И. Ильин писал: «Никогда и нигде племенное деление народов не совпадало с государственным. Всегда были малые народы и племена, не способные к государственному самостоянию... Многие малые племена только тем и спасались в истории, что примыкали к крупно-сильным народам, государственным и толерантным: отделить их, эти малые племена, значило бы – или передать их

новым завоевателям и тем окончательно повредить их самобытную культурную жизнь, или погубить их совсем...

Ни история, ни современное правосознание не знает такого правила: «Сколько племен, столько и государств» [Ильин, 1993. С. 172–173].

Существенный вклад в разработку проблемы внесли Ф. Барт и представители его «бергенской школы» скандинавской социальной антропологии [Barth, 1969]. В 2006 г. работа этого ученого издана на русском языке [Барт, 2006], и хотя прошло немало времени после ее издания на английском, она не потеряла своей актуальности, поскольку изложенные в ней теоретические рассуждения построены на плодотворных полевых исследованиях.

В парадигме Барта этничность – это средство достижения экономических и политических результатов, инструмент в конкуренции между группами над ограниченными ресурсами. Им рассмотрены четыре вида ситуаций эколого-экономического характера, в зависимости от которых вырабатывается та или иная стратегия поведения этнических групп:

1. Ситуации, когда этнические группы оккупируют отдельные ниши в естественной окружающей среде при минимальной конкуренции над ресурсами. В этом случае их взаимосвязь могла быть ограниченной, несмотря на совместное проживание в ареале, и взаимоотношения могли осуществляться главным образом через торговлю.

2. Ситуации, при которых этнические группы монополизировали отдельные территории. И по этой причине группы конкурируют за ресурсы, их взаимоотношения приобретают политическую направленность, связанную с приграничными конфликтами.

3. Группы занимают различные ниши (или создают различные виды продукции), но в итоге обслуживают друг друга и взаимозависимы. Это влечет за собой классический симбиоз и множество возможных путей для этнокультурных контактов (это проявилось, например, в проникновении древних карелов на приграничные западные территории. – С. К.).

4. Ситуация, при которой две или более групп конкурируют в одной и той же нише. При таком раскладе либо одна группа может заменить другую, либо они совместно развиваются, взаимно дополняя друг друга.

Ф. Барт активно возражал, и вполне справедливо, против предрассудка об «объективности» и неизменяемости набора культурных черт, существующего независимо от социокультурного контекста.

Такой подход к этническим группам как к организациям, призванным защищать интересы своих членов, в определенной степени научно аргументирован и подтверждается полевыми наблюдениями и материалами, но несколько ограничен и не раскрывает сути этнических проблем в полном объеме.

Другая точка зрения изложена в работе Б. В. Дроздова [2011]. По его мнению, границы, которые исторически выстраивались на земле людьми, являлись, прежде всего, границами государства, т. е. границами административными, правовыми и экономическими. Границы создавали препятствия для свободы передвижений, свободы товарного обмена, устанавливали территориальные ограничения распространению властных полномочий и действия правовых и административных норм. Автор подчеркивает, что значение границ во времени менялось: в средние века – это борьба за власть над данниками, в феодальную и капиталистическую эпохи границы устанавливались для решения экономических и правовых отношений государственных элит.

Заметим, кстати, в настоящее время в мире в связи с политическими событиями процесс изменения границ и появления новых далек от своего завершения. Однако по нашим наблюдениям, основанным на археологических материалах, о чем будет сказано ниже, этнокультурные границы складывались задолго до существования официальных государственных границ.

Население Карелии и его соседи в эпоху Средневековья

В эпоху железа финно-угорские племена занимали огромные пространства лесной зоны Восточной Европы. Во второй половине I – начале II тысячелетия эти территории начали активно осваиваться славянами, что привело к существенному изменению этнической карты. Судьбы финно-угорских народов оказались тесно связанными с Древнерусским государством, которое с самого начала своего существования было неоднородным и включало разноязычные народы. В процессе расселения славян устанавливались границы земельных владений. Так возникли особые административно-политические образования средневековой Руси: Водская, Корельская, Ижорская земли. Древнерусским политико-экономическим феодальным центром на Северо-Западе Руси стала Новгородская земля. Подчиненность нерусского населения, например карельского, Новгороду носила символический характер и

выражалась в сборе дани, в совместных военных операциях по защите государственных рубежей, социально-экономических и торговых мероприятиях. Корельская земля вошла в состав Новгородского государства на правах равноправного или почти равноправного члена. Племена, подвергшиеся массовой славянской колонизации, – воть, ижора, весь – быстро исчезли со страниц русских летописей. Однако при всем влиянии пришлого славяно-русского населения прибалтийско-финские народы сохранили специфические черты материальной и духовной культуры. Границы земель, которые освоило древнее население Карелии, выходили далеко за пределы современных границ Республики Карелия (рис. 1).

На рубеже I–II тысячелетий юго-восточное Приладожье (Ленинградская область) и южная часть Карелии были заселены прибалтийско-финским народом, названным в письменных источниках весью, северо-западное Приладожье – древнекарельскими племенами, для которых в русских летописях употреблен этноним «корела». Саамы сформировались на территории Финляндии и Карелии. Освоенный ими ареал был значительно меньше, чем предполагалось ранее [Муллонен, 2010]. Саамы, естественно, не представляли собой единого этнического массива. В зависимости от степени и скорости адаптации к конкретным природным условиям, наследия предшествующей субкультуры, изменчивости этногеографической ситуации в целом формировались многочисленные мозаичные древнесаамские группировки.

Стало быть, границы расселения народов на рубеже I–II тысячелетий не совпадают с современными административными границами. Большой частью этнические ареалы формировались в соответствии с особенностями ландшафта, которые определили топографические особенности поселений и род занятий, а также в зависимости от интенсивности этнокультурных контактов с ближними и дальними народами.

Этническая карта и территориальные границы Карелии в конце I – первой половине II тысячелетия н. э. (новгородское время)

О территории летописной корелы, включающей Карельский перешеек и северо-западное Приладожье, исследователи говорят как о давно доказанном факте. Действительно, усилиями отечественных историков, археологов, лингвистов, топонимистов доказано, что в XII–XV вв. Карельский перешеек с северо-западными бере-

гами Ладожского озера до северо-восточных берегов Финского залива с городом Корела являлся древнекарельским племенным центром. Не противоречат этому и древнерусские летописи,

берестяные грамоты. Но при целенаправленном рассмотрении оказывается, что ареалы, составленные по различным источникам, не всегда совпадают.

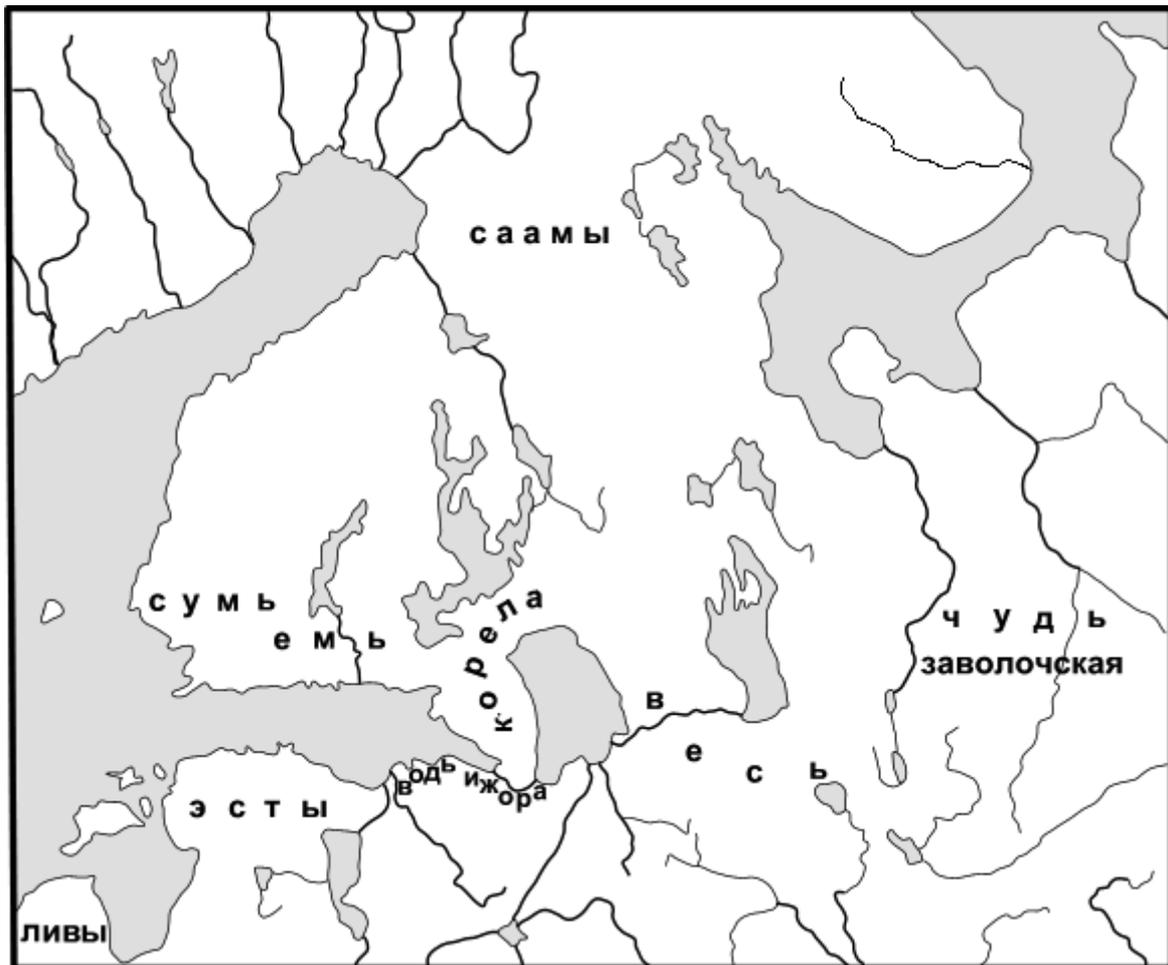


Рис. 1. Ареал народов Северо-Запада России эпохи Средневековья

Письменные источники

В «Слове о погибели Русской земли» – это произведение создавалось в период между 1238 и 1246 гг. – после описания красот земли Русской указываются ее границы: «Отсюда до угров и до ляхов, до чехов, от чехов до ятвягов, от ятвягов до литовцев, до немцев, от немцев до карелов, от карелов до Устюга...». Из этой фразы складывается общее представление о территории карелов и о том, что она в это время не входила в границы Русской земли [Памятники..., 1981. С. 130–131; Кочкуркина, Спиридонов, Джексон, 1990].

Упомянуты «карилы», проживающие по соседству «с королевством нортманнов», и в средневековом латинском анонимном географическом трактате второй половины XIII в., видимо, ирландского происхождения, введенном в научный обо-

рот под названием «Описание земель». Он был открыт и опубликован в 1979 г. американским исследователем Марвином Л. Колкером. В России переведен на русский язык и опубликован в 1993 г. [Чекин, 1993. С. 206–225].

Топонимика

Важная роль в изучении истории карелов принадлежит топонимике. Топонимические названия помогают выявить территорию расселения народа, пути его передвижения, особенности хозяйственной деятельности в течение нескольких тысячелетий. Карельская топонимия давно стала объектом исследования финляндских специалистов. Плодотворную работу по сбору названий в северо-западном Приладожье осуществил В. Ниссиля. На основе огромной коллекции карельских топонимов

(325000 единиц), хранящихся в Топонимическом архиве Финляндии, им создан обобщающий труд «Suomen Karjalan nimistö».

Названия рек, озер, возвышенностей, урочищ, болот и т. д. в северо-западном Приладожье – финско-карельские. Они составляют фундамент, главный топонимический пласт. Наиболее древние – саамские топонимы. Именно саамы дали названия многим важным природным объектам. По отношению к ним топонимы славянского происхождения более поздние, но довольно часты в ландшафте Карельского перешейка, поскольку славянское влияние проникло во все сферы хозяйственной и культурной деятельности древних карелов, особенно тех, которые жили в центральной части Карельского перешейка, т. е. в местах, близких к культурным центрам того времени. К древнейшим славянским заимствованиям, по мнению В. Ниссиля [Nissilä, 1975; Мамонтова, Кочкуркина, 1982], относятся *lotja* (лодья), *majakka* (маяк), *raja* (край), *risti* (крест), *sirppi* (серп), *veräjü* (дверь). Встречаются названия, отражающие природные особенности местности, растительный и животный мир. В топонимии представлены названия, обозначающие места поселений: *pogosta* (погост), *lopotti* (слобода), *korotiisa* (городище), *possada* (посад), *rintka* (рынок).

Встречаются немногочисленные римско-католические, нижненемецкие и скандинавские наименования природных объектов, говорящие о сложных и разнообразных взаимоотношениях народов.

В. Ниссиля полагает, что шведскими мореходами и рыбаками даны названия островкам, скальным выступам, отмелям, мысам, заливам в акватории Финского залива от Сяккиярви (район Выборга) до Терийоки. После сооружения Выборга шведское влияние отразилось по многим направлениям. В целом же скандинавские наименования, за редким исключением, представлены в названиях отдельных домов, поселений, небольших объектов, а также фамилий и поэтому не могут считаться первичными. Скандинавы появились в северо-западном Приладожье тогда, когда оно уже было заселено прибалтийско-финским населением. Увеличение шведских наименований и их территориальное расширение связано с известными историческими событиями XIII–XVII вв.

В результате ономастических (касающихся имен собственных) исследований удалось выявить на территории Финляндии устойчивый пласт карельских топонимов, свидетельствующих о пребывании здесь древних карелов. Названия мест, образованных от этнонимов,

чаще всего возникают в пограничной полосе, где проживают совместно представители различных племен и народностей. Так, в северо-западном Приладожье выделяются топонимы, в основе которых лежат этнические названия: *vepsä* (вепсы); *karjala* (корела). (Кстати, наличие этнонима *karjala* на древнекарельской этнической территории – явление удивительное. Он мог возникнуть в том случае, если карелы проживали среди иноэтничного окружения, которое и назвало их соответствующим именем. Так, например, в районе Куолемярви карелы оказались в соседстве с *лаппи* и *виру*, в Вуоксенранта – с *лаппи*, *вепся*, *хяме* и т. д.). Помимо *vepsä* и *karjala* встречаются этнонимы *lappi* (лопь, саамы); *tsuud*, *tsuhna* (чудь, чухна); *häme* (емь, хяме); *savo* (саво); *inkeri* (ижора); *viro*, *eesti* (эстонцы). Наиболее древние из них возникли в те далекие времена, когда добыча пушнины влекла людей различной этнической принадлежности в отдаленные лесные районы. Топонимы с *суомен* и *виру* встречаются в основном в южной части северо-западного Приладожья, а топонимы с *лапин* редки на Карельском перешейке, но севернее они попадаются часто [Мамонтова, Кочкуркина, 1982]. Концентрация топонимов с основой *вепс-* обнаружена в северной части Карельского перешейка в приграничье с Финляндией [Муллонен, 1994. С. 134].

О пестроте этнического состава населения на Карельском перешейке (этот факт в свое время способствовал формированию различных точек зрения на этническую принадлежность археологических памятников Карельского перешейка и на происхождение древнекарельской общности) можно судить по сведениям из земельной книги Яаски (1543 г.), в которой упоминаются фамилии, связанные с именем племени, народа и местности: *Яаскеляйнен*, *Хямеляйнен*, *Карьялайнен*, *Кюмяляйнен*, *Лапветеляйнен*, *Лапалайнен*, *Саволайнен*, *Суомалайнен*, *Вепсяляйнен*, *Виронен*, *Виролойнен* [Мамонтова, Кочкуркина, 1982].

Лингвистика

В предвоенные и послевоенные годы крупнейшим финноугроведом Д. В. Бубрихом разработана концепция происхождения и этнического развития народа в XII–XVII вв., базирующаяся на огромном лингвистическом материале, собранном на территории расселения карелов. По мнению исследователя, до возникновения Древнерусского государства Карельский перешеек был слабо заселен, здесь кочевали редкие саамские родоплеменные группы.

Но с образованием Древнерусского государства на этой территории в тесном взаимодействии с Русью начала формироваться корела. Откуда она пришла, Д. В. Бубрих не смог дать убедительного ответа. Он считал, что частично население пришло из земель еми, часть из мест, близких к Чудскому озеру и Новгороду. Допускается участие и древней веси [Бубрих, 1947, 1971].

Итак, по мнению Д. В. Бубриха, корела сформировалась на Карельском перешейке, но различные пришедшие извне компоненты изменили ее – в IX в. она называлась «кирьяла», и, видимо, ее первоначальный состав был иным. Замечу, однако, ссылка Бубриха на сагу IX в. спорна. В саге рассказывается, что во время поездки в 874 г. в Лапландию норвежец Торольф оказал помощь королю народа кайнула, воевавшему с разбойничьими племенами киряла. На этом основании делается вывод, что уже в начале периода викингов карелы жили в приладожских районах и совершали походы в земли Похья, где конфликтовали с местным населением и норвежцами. Но теперь можно считать доказанным, что сага датируется XIII в., а события, изложенные в ней, – XI–XII вв.

Ареал летописной корелы, выделенный по характерным особенностям материальной культуры, выглядит иначе. Спорным остается вопрос о включении Миккельских озер в древнекарельский ареал. Взгляды исследователей варьировали от признания культуры Миккельских озер карельской до полного отрицания ее карельской сути. Остановились на взвешенной, компромиссной точке зрения, признающей не только древнекарельское влияние на культуру Саво, но и присутствие на этой территории самих древних карелов.

В свое время мною осуществлено детальное сопоставление могильников обоих регионов по набору женских украшений и деталям погребального обряда (11 признаков), в результате которого сформулирован следующий вывод: можно говорить не только о схожести культур Саво и Приладожской Карелии, объясняемой культурными заимствованиями, но и о едином этническом регионе. Однако территориальная удаленность, другое окружение, политические акции (Ореховецкий договор) привели к изоляции населения Саво, попавшего под власть Швеции. Населению Саво и Приладожской Карелии свойственны общие черты материальной культуры. Занимая промежуточное положение между землями корелы с востока и землями хяме с запада, население Саво испытывало влияние с обеих сторон. Тем не менее культура Саво оставалась самобытной,

о чем свидетельствуют и археологические материалы. Длительное время она сохраняла первоначальные черты и традиции, но постепенно начала отличаться от культуры Карельского перешейка, а впоследствии и культуры русской Карелии. Усиление потока переселенцев из Западной Финляндии в южную часть Карельского перешейка в конце XIII в. способствовало распространению западных традиций, восточная граница которых большей частью соответствовала государственной границе по Ореховецкому договору.

Сказанное вовсе не означает, что район Миккельских озер был заселен только карелами. Безусловно, здесь проживали и хяме, и в результате этнических взаимовлияний выработалась своя оригинальная и самобытная культура.

На мой взгляд, имеющиеся различия между археологическими памятниками Саво и Приладожской Карелии не противоречат установленной компромиссной точке зрения, признающей не только древнекарельское влияние на культуру Саво, но и присутствие на этой территории самих древних карелов. Различия естественны, поскольку этничность – это весьма изменчивый феномен, подверженный как внутренним, так и внешним влияниям. Естественно, возникает вопрос, по какой причине некая группа (или группы) древнекарельского населения решила переселиться в район Миккельских озер? Одни исследователи полагают, что в Карелии не было избытка населения и не было недостатка в хорошей земле, поэтому переселение в Миккели, где занятие земледелием встречало известные трудности, не обосновано [Saksa, 1998. S. 169–172]. Нельзя забывать о том, что карелы пользовались разветвленной торговой сетью, охватывавшей не только внутренние районы, но и западные и северные земли. Охотничьи маршруты, транзитная торговля через систему озер Сайма, а также по сухопутным дорогам влекли в Саво новых жителей из Карелии [Pirinen, 1988. S. 285]. О пребывании древних карелов на далеких территориях говорят археологические предметы, топонимические данные, письменные источники, предания. Здесь мы имеем дело с третьей ситуацией, по Ф. Барту, когда группы занимают различные ниши, обслуживают друг друга и взаимозависимы, что создает немало возможных путей для контактов, в том числе и через торговлю.

Имеющиеся различия не противоречат этому выводу. Этнос в границах своего государства и вне его находится в принципиально разных условиях выживания. Найти точную копию

материальной культуры могильников Карельского перешейка в юго-восточной Финляндии, при всей их схожести, – нерешаемая задача, особенно при такой ситуации, когда в одном и том же могильнике наблюдается вариативность, как в погребальных обрядах, так и в сопровождающих предметах. Интенсивность этнического самосознания и различий в материальной культуре, а также четкость этнических границ может возрастать в периоды экономических и политических кризисов, а также войн, что нашло подтверждение в древней истории карелов. В XII–XV вв. в древнекарельской материальной культуре наиболее отчетливо прослеживаются самобытные черты, отличающие их от соседних прибалтийско-финских народов.

Вывод о «карельскости» культуры Саво находит поддержку и в лингвистических материалах: «Есть все основания верить, – считает Х. Лескинен, – что население, переместившееся в Саво, было типично карельским и разговаривало на типично карельском языке». Этому не противоречат некоторые заимствования из языка хяме, прослеженные на западном участке ареала диалекта Саво, который по своему основному строению нужно считать продолжателем языка древней корелы. Позднее он убедительно показал, что в восточных диалектах Саво имеется карельский субстрат [Leskinen H., 1987. S. 77–95]. Ю. Лескинен полагает, что в окрестностях Миккели древнее Саво являлось первым западным дочерним поселением Ладожского побережья древней Карелии, хотя на этой территории проживали и древние охотники-промысловики, хяме и древние карелы. Несмотря на то что в диалекте саво заметна западная доля, основа языка все-таки древнекарельская. Западные черты не настолько заметны в языке, чтобы считать диалект саво результатом равномерного смешения диалектов хяме и древнекарельского [Leskinen J., 2003. S. 448–449]. С этим заключением согласен и К. Пиринен, считающий, что у населения южного Саво есть четкие архаичные, указывающие на Ладожскую Карелию корни, хотя в говорах Карельского перешейка в процессе развития они не сохранились. К. Пиринен отметил в топонимии Миккели большую концентрацию названий с Karjala. Фамилию Karjalainen в самой древней переписи Саво носили 23 семьи; их больше, чем фамилий Nämäläinen и Lappalainen. Он полагает, что на прибывших из Ладожской Карелии указывают названия с *versä*, а на прибывших из-за границы карелов – *venäjä* [Pirinen, 1988. S. 272–289]. По этим соображениям в ареал летописной корелы до Ореховецкого мирного договора мною

включена частично территория Миккельских озёр. Как показали современные топонимические исследования, в начале – середине XVII в. уже Карелия осваивалась выходцами из Саво [Кузьмин, 2011. С. 45–56].

Государственному разграничению территорий предшествовали многие десятилетия борьбы за независимость. Первый поход упомянут в Новгородской первой летописи под 1143 г.: «В то же лето ходиша Корела на Емь, и отбежаша 2 лоиву бити». Речь идет о неудачном походе на финское племя емь и о потере двух судов (парусное судно *лойва*). С этого времени записи о тех или иных карельских делах общерусского масштаба встречаются с различными интервалами на протяжении XII–XV вв. Такое частое упоминание объясняется тем, что корела, проживая на западных рубежах Новгородского государства, оказалась в зоне враждующих государств: Новгорода и немецких орденов с одной стороны, Новгорода и Швеции с другой.

Нашло отражение в письменных источниках и активное участие корелы во внутренней жизни Новгорода. Карельская земля при некоторой самостоятельности и свободе в торговых делах находилась в зависимости от Новгородской феодальной республики. Без помощи и поддержки новгородских военных сил древние карелы не в состоянии были обеспечить безопасность своих рубежей и рубежей Новгородского государства.

Первая половина XIV в. заполнена изнурительными походами Швеции и Новгорода. Войны обедняли страны, разрушали торговые связи. Противники пытались удержать завоеванные территории строительством новых крепостей, разрушением неприятельских населенных пунктов. 1311 г. – новгородцы совершают опустошительный набег на хяме. 1313 г. – шведы оказываются под Ладогой и сжигают город. 1317 г. – они вновь появляются на Ладожском озере, а новгородцы в 1318 г. – в Финляндии. В 1322 г. Юрий Данилович осаждает Выборг, а шведы – Корелу.

В 1323 г. на Ореховом острове при выходе из Ладожского озера в Неву Новгород построил крепость Орешек (Ноттебург–Шлиссельбург–Петрокрепость), в которой 12 августа того же года был подведен итог многолетней, ожесточенной, разрушительной шведско-русской борьбы за территорию корелы. Это первый известный нам договор, устанавливающий официальную государственную границу. Он дошел до нас на русском, латинском и шведском языках, но ни один из них не является оригиналом. Русский текст начинается словами: «Се яз князь

великий Юрги (на это время новгородский князь Юрий Данилович, сын московского князя Даниила Александровича. – С. К.) с посадником Алфоромеем и с тысяцким Аврамом с всем Новым городом dokonчили есм с братом своим с князем свеиским с Манушем Ориковицем... мир вечный и хрест целовали».

В документе была оговорена граница между шведскими и новгородскими владениями от устья р. Сестры до «Каяно моря». Начало и конец межи для нас ясны, но такие пункты, как «мох, середе мха гора», на современную карту не нанести. И все же основное направление выявлено: устье р. Сестры – восточный рубеж привыборгских погостов корелы – Сяркилахти (район оз. Сайма) – р. Суоннейоки – район оз. Пюхя-ярви – Ботнический залив (южнее устья р. Пюхяйоки) [Kirkinen, 1970. S. 16–26]. За Швецией оставался Выборг и три погоста на Карельском перешейке. При этом Новгород сохранял за собой права на охотничьи и рыболовные угодья на отошедших к Швеции землях (северная часть Саво, Северная Похьянмаа и Лапландия).

Новую трактовку границы предложили Я. Галлен и Дж. Линд. По их мнению, северный участок русско-шведской границы, во-первых, был прерывистым, пунктирным, опиравшимся лишь на известные приграничным жителям базовые пункты, и, во-вторых, разделялся на два отрезка: один заканчивался у Ботнического залива «Каяно море», а другой – у Кандалакшского залива Белого моря – «*por i haffuit*» (шв. «на севере, в море»). Лежащая между ними земля находилась в сфере интересов и Новгорода, и Швеции [Gallén, 1968; Gallén, Lind, 1991, karta 1]. Подобное разветвление подтверждается и археологическими находками на севере Фенноскандии, представленными как западнофинскими, так и карельскими предметами [Uino, 1997. S. 201]. Более того, топонимы с *Nilos-*, группирующиеся в северном Приладожье в районе Куркиёки, затем прослеживаются в восточной Финляндии (Пиэлисъярви) и далее фиксируются по направлению к Оулуярви в северной Приботнии, маркируя таким образом известный средневековый путь карелов из Приладожья в Приботнию [Vahtola, 1980. S. 370].

В переговорах в крепости на Ореховом острове участвовали и купцы, очень заинтересованные в торговле с новгородскими землями. Территориальные споры Швеции и Руси нанесли серьезный ущерб международной торговле. Вот почему в договоре появляются такие слова: «Гости гостити без пакости из всеи немецкою земле – из Любка, из Готского берега и Свеиской земле по Неве в Новгород горою и водою, а свеям всем из Выбора города гости не перемати, тако же и нашему гостю чист путь за мо-

ре» [Кочкуркина, Спиридонов, Джексон, 1990. С. 42–43].

Для уравнивания военного баланса Швеция и Новгород отказывались от строительства крепостей, обязывались возвращать беглых должников и холопов. Шведам и жителям Выборга запрещалось покупать земли у новгородской корелы. Обе договаривающиеся стороны гарантировали решение возникающих конфликтов мирным путем.

Подписание мирного договора – отрадное явление, так как была оговорена граница, открыты торговые магистрали, прекращались набег. Отрицательные последствия договора проявились в том, что граница разделила корелу – единое этническое образование со своим языком и культурой. После этого различно сложились и ее судьбы.

Основная часть корелы, населявшая северо-западное Приладожье, осталась под властью Новгорода, тесно связанная с ним экономическими, политическими, религиозными и культурными узами. Корела, оказавшаяся на шведской стороне, вместе с емью образовала восточную группу финского населения (саволаксы), которая приняла участие в формировании финской народности. Из захваченных шведами древнекарельских погостов возник выборгский лен (губерния).

Первые три года после заключения мира можно считать спокойными. В 1326 г. Магнус – король Швеции и Норвегии – подписал с Новгородом соглашение относительно северного рубежа норвежско-новгородских территорий. Если граница нарушалась одной из сторон, земли возвращались владеющему ими государству. И Норвегия, и Новгород сохраняли за собой право сбора дани у саамов. Однако вскоре в Новгород стали поступать сигналы о неблагоприятном положении на русско-шведской границе. В сохранившихся берестяных грамотах содержатся жалобы на притеснения саволакшан и сведения о попытках новгородских дипломатов урегулировать конфликты. Приведу несколько наиболее важных для судеб древнекарельского народа берестяных грамот. В грамоте № 286 (1313–1369 гг.) звучат отголоски важных политических событий. Академиком В. Л. Яниным [1975. С. 57–68] предложено чтение грамоты со всеми пропусками, за исключением одного дефектного места. Это письмо от Григория к Дмитру о сборе дани на территории корелы вблизи шведско-новгородской границы: «Мы здоровы. А ты совершай свои обходы и не бойся, потому что заключили мир по старой границе Юрия князя. А меня послали к карелам на Каяно море. Смотри не помешай, не напакости

каянцам и себе не заполучи худой славы. А если ты уже собрал прошлогоднюю дань, собери за меня. А узнаешь, что я не пойду к НО..., тогда ты иди. А дома все в порядке. А ко мне вести переправляй. Если сможешь, помогай мне чем-нибудь». Несмотря на заключение Ореховецкого мирного договора, по-прежнему происходили стычки, нападения друг на друга и т. д. Это привело к новым переговорам. Новгородскую сторону представляли послы Александр Борисович и Кузьма Твердиславич. Зимой 1338/39 г. посланцы ездили за море к свейскому князю и заключили мир по старым грамотам. Обе стороны должны были блюсти все пункты договора и взяли на себя обязательства наказывать и даже вешать убегающих за рубеж карелов. Григорий, поскольку был в курсе переговоров, написал эту тревожную грамоту Дмитру и рекомендовал тому вести себя осмотрительно. Бежавшие карелы с согласия короля Магнуса должны были вернуться на новгородские земли. Поэтому Дмитру следовало проявить все свое дипломатическое искусство во время его поездки к карелам-каянцам, чтобы те, напуганные расправой, не побоялись вернуться.

Грамота № 248 (рубеж XIV–XV вв., точнее 1396 г.) адресована господину Новгороду, что придает посланию характер важного государственного документа. Речь идет о населении двух карельских погостов – Кюлолакшского и Кирьяжского. Последний погост располагался на территории современного Лахденпохского района Карелии, Кюлолакша – примерно в 25 км к северо-западу от совр. Приозерска. Под немецкой половиной в грамоте подразумевается территория трех погостов Яскис, Эйряпя и Саволакс, которые отошли к Швеции. Упомянутые в документе «Вымолчи» соотносятся с одним из «пяти родов карельских детей». Итак, грамота написана от лица «Вымолцев господ» – родовых представителей корелы – о приграничном конфликте. В грамоте № 249 (найдена вместе с предыдущей грамотой, и написаны они одним лицом) рассказывается о нападении на карелов у пункта Коневы Воды. Коневы Воды – это перевод прибалтийско-финского Оливеси – название водоема, входящего в систему Сайменских озер и находившегося в то время в приграничной зоне. Именно жители пограничного Саволакского погоста, «севилакшане», и причиняли убытки кореле. Жабий Нос – видимо, какой-то мыс на оз. Оливеси. Интересно упоминание среди нападавших лопаря по имени Новзе. Это доказывает, что некоторые представители саамского населения в это время проживали в районе Сайменских озер.

Об ответных мерах Новгорода мы узнаем уже из Новгородской первой летописи. Новгородцы защитили корелу. Под предводительством князя Константина Белозерского отряд выступил в поход в 1396 г. «Пришедше немци в Корельскую землю и повоеваша 2 погоста – Кюрьскыи и Кюлолакскыи – и церковь сожгоша; князь Костянтин с корелою гнася по них, и язык изима и присла в Новгород» [Кочуркина, Спиридонов, Джаксон, 1990. С. 84–86].

Мирную обстановку нарушил шведский король Магнус. Его вторжению предшествовал так называемый философский спор. В 1348 г. Магнус предложил новгородцам созвать съезд философов, на котором должно быть решено, чья вера лучше: католическая или православная. Если православная, говорил Магнус, то он примет ее. И будет единый новгородско-шведский союз. В случае несогласия Магнус угрожал большим походом на Русь. Новгородцы с владыкой Василием, посадником Федором Даниловичем и тысяцким Авраамом резонно заявили, что не им решать спор, а следует обратиться к Царьграду, ибо оттуда пришла православная вера. В ответ на это Магнус сказал новгородскому послу Кузьме Твердиславичу, что он обижен несговорчивостью новгородцев и их нежеланием обратиться в католичество. Повод появился, и в том же году Магнус с огромным войском, перейдя границу, начал крестить ижору, а несогласных уничтожать. Объединенным силам новгородцев удалось победить отдельные вражеские отряды, казнить изменников.

Пока новгородцы собирали главные силы в Ладоге да просили великого московского князя Семена Ивановича (сына Ивана Калиты) оказать помощь, а тот долго медлил, собрался было ехать, но повернул обратно, выслав вместо себя брата Ивана, шведское войско оказалось под Орешком. Магнус не мог взять крепость силой, поэтому пустился на хитрость, пообещав отпустить осажденных на свободу. Но сдержал свое слово только относительно горожан и наместника Наримонта, а все новгородское посольство в составе Авраама, Кузьмы Твердиславича и восьми бояр взял в плен [Кочуркина, Спиридонов, Джаксон, 1990. С. 47–48].

Для XVI–XVIII вв. характерна изменчивость геополитического положения Карелии, ее внешних и внутренних административных границ под воздействием внешнеполитических и внутривнутриполитических факторов. Карелия в современных административных границах сформировалась в соответствии с Парижскими мирными договорами 1947 г., подписанными в Париже 10 февраля государствами-победителями во Второй мировой войне 1939–1945, с одной стороны, и быв-

шими союзниками фашистской Германии в Европе – Италией, Болгарией, Венгрией, Румынией и Финляндией – с другой.

Литература

Бубрих Д. В. Происхождение карельского народа. Петрозаводск: Госкомиздат, 1947. 51 с.

Бубрих Д. В. Русское государство и формирование карельского народа // Прибалтийско-финское языкознание. Вып. 5. Л., 1971. С. 3–22.

Барт Ф. Введение // Этнические группы и социальные границы. М.: Новое изд-во, 2006. С. 9–48.

Дроздов Б. В. Народы и границы. Вопросы государственного национально-территориального образования (опыт теоретизации). М., 2011. Электрон. публ. Режим доступа: rema44.ru/about/persons/drozdov/papers/gr_nar4.html.

Ильин И. А. О грядущей России: Избранные статьи (под ред. И. П. Полторацкого). М.: Военное изд-во, 1993. С. 172–173.

Кузьмин Д. В. Наследие саволаксов в топонимии Карелии // Труды КарНЦ РАН. 2011. № 6. С. 45–56. (Серия «Гуманитарные исследования». Вып. 2).

Кочкуркина С. И., Спиридонов А. М., Джаксон Т. Н. Письменные известия о карелах. Петрозаводск: Карелия, 1990. 140 с.

Мамонтова Н. Н., Кочкуркина С. И. О топонимии Северо-Западного Приладожья и сопредельных районов // Древняя карелия. Л., 1982. С. 180–185.

Муллонен И. И. Очерки вепсской топонимии. СПб.: Наука, 1994. 156 с.

Муллонен И. И. Формирование этноязыковой карты Карелии (по материалам топонимического атласа) // Адаптация народов и культур к измене-

ниям природной среды, социальным и техногенным трансформациям. М., 2010. С. 424–427.

Памятники литературы Древней Руси: XIII век. М.: Худож. лит., 1981. 616 с.

Чекин Л. С. «Описание земель», анонимный географический трактат второй половины XIII в. // Средние века. Вып. 56. М., 1993. С. 206–225.

Янин В. Л. Я послал тебе бересту... М.: Изд-во МГУ, 1975. С. 57–75.

Barth F. Introduction // Ethnic Groups and Boundaries. The Social Organisation of Culture Differences. Boston, 1969. P. 9–38.

Gallén J. Nöteborgsfreden och Finlands medeltida östgräns. Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland. № 427:1. Helsingfors, 1968. 238 s.

Gallén J., Lind J. Nöteborgsfreden och Finlands medeltida östgräns. Andra delen. Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland. № 427:2. Helsingfors, 1991. S. 239–509.

Kirkinen H. Karjala idän ja lännen välissä. Helsinki, 1970. S. 8–90.

Leskinen H. Pohjois-Karjalan murteet – silkkaa Savoaa vai katoavaa Karjala? // Carelia rediviva. Joensuu, 1987. S. 77–95.

Leskinen J. Karjalaisten kielimuotojen alkuperän arvoitus // Karjalan synty. Jyväskylä, 2003. S. 448–449.

Nissilä V. Suomen Karjalan nimistö. Joensuu, 1975. 382 s.

Pirinen K. Savon keskiaika // Savon historia I. Kuopio, 1988. S. 265–415.

Saksa A. Rautakautinen Karjala. Joensuu, 1998. 258 s.

Uino P. Ancient Karelia // SMYA, 1997. № 104. 426 s.

Vahtola J. Tornionjoki- ja Kemijokilaakson asutuksen synty // Studia Historica Septentrionalia. Vol. 3. Rovaniemi, 1980. P. 555–563.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ:

Кочкуркина Светлана Ивановна

Зав. сектором археологии, д. и. н.
Институт языка, литературы и истории Карельского
научного центра РАН
ул. Пушкинская, 11, Петрозаводск,
Республика Карелия, Россия, 185910
эл. почта: babkin@karelia.ru
тел.: (8142) 781886

Kochkurkina, Svetlana

Institute of Language, Literature and History, Karelian Research
Centre, Russian Academy of Science
11 Pushkinskaya St., 185910 Petрозаводск, Karelia, Russia
e-mail: babkin@karelia.ru
tel.: (8142) 781886

УДК 811.311

ПРИРОДНЫЕ И КУЛЬТУРНЫЕ ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ВЕПСКОЙ ЭТНИЧЕСКОЙ ТЕРРИТОРИИ*

И. И. Муллонен

Институт языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН

В статье на материале топонимии реконструируются границы исторической вепсской этнической территории. Выявляются природные (ландшафт, климат, характер почв) и культурные (земледелие, местные и транзитные водно-волоковые пути, контакты с соседними этносами) причины формирования границ. Доказывается, что, сформировавшись на рубеже I – II тыс. н. э. в бассейне рек Юго-Восточного Приладожья, вепсская этническая территория в последующие века расширялась в южном и восточном направлении за счет освоения Онежско-Ладожского перешейка и Обонежья и к XV веку вписывалась в границы Заонежской половины Обонежской пятины. Соответственно, области, располагавшиеся за ее пределами в Белозерье, верховьях рек Волжского бассейна, в среднем Поонежье, осваивались на следующем этапе, в результате проникновения туда вепсских выходцев из Обонежья и Юго-Восточного Приладожья.

Ключевые слова: культурный ландшафт, Обонежье, топонимия, прибалтийско-финские языки, вепсы, этническая история

I. I. Mullonen. NATURAL AND CULTURAL FACTORS BEHIND THE FORMATION OF THE VEPSIAN ETHNIC RANGE

Drawing upon toponymic materials we reconstruct the boundaries of the historic Vepsian ethnic range. The natural (landscape, climate, soils) and cultural (horticulture, local and transit boating-and-portage routes, contacts with neighbour ethnic groups) causes of the boundary formation are identified.

Key words: cultural landscape, Obonezhje, toponymic, vepsians, ethnic history.

Территория современного вепсского расселения тяготеет к верховьям небольших лесных рек на водоразделе Балтийского и Волжского бассейнов. Такая характеристика ареала однозначно маркирует его как остаточный, сформировавшийся в результате поэтапного сокращения,

* Статья выполнена при финансовой поддержке Программы фундаментальных исследований секции истории Отделения историко-филологических наук РАН «Нации и государство в мировой истории» и в рамках проекта «Создание ТИС «Электронная картотека топонимов Восточного Обонежья» (грант РГНФ № 12-04-12009).

вызванного обрусением традиционных вепсских поселений, занимавших в прошлом более обширную территорию в бассейне названных рек, вплоть до низовий, и выходявших за их пределы. Становление вепсского ареала в его современных границах – интересная проблема в плане понимания механизмов и составляющих формирования этнических территорий. Однако понятно, что в этом случае главным фактором будет процесс поэтапной смены этноязыкового сознания с вепсского на русский. В данной статье ставится задача описания границ исторической вепсской

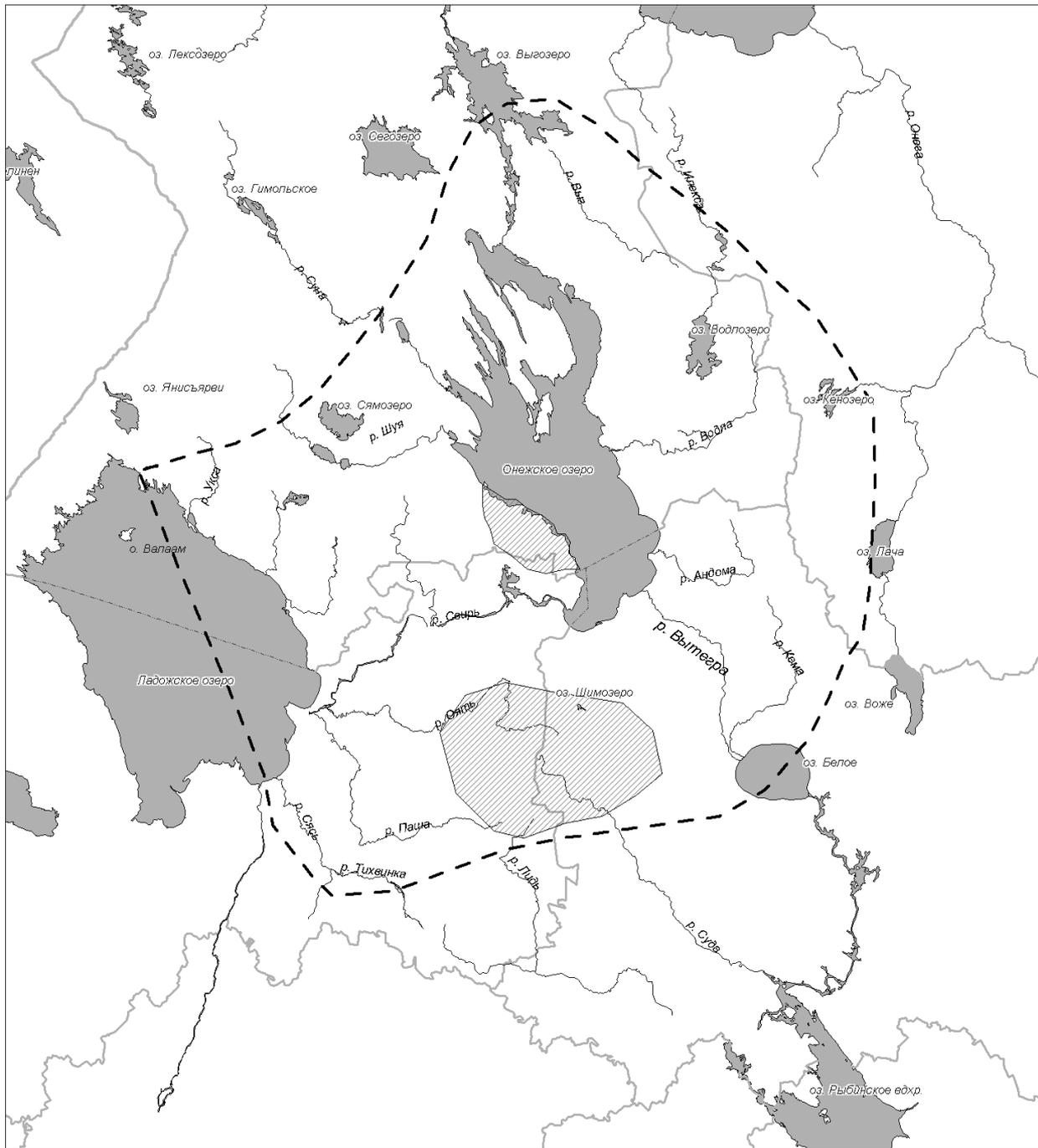
территории. За рубежами современного вепсского языкового ареала, особенно на соседствующих с ним территориях, сохранились многочисленные следы былого вепсского наследия. Топонимия в силу ее исключительной устойчивости во времени позволяет провести реконструкцию глубины в несколько сот лет. При написании статьи использованы некоторые наработки предшествующих исследований автора, вписанные в контекст новых результатов.

Логично думать, что в формировании вепсского этноязыкового ареала было несколько этапов. Видимо, один из них – один из ранних – маркирован археологическими памятниками приладожской курганной культуры рубежа I–II тысячелетий н. э., представленными в Юго-Восточном Приладожье – в бассейнах рек Сяси и Тихвинки, Воронежки и Свири с притоками Пашой, Капшой и Оятью, впадающих в Ладожское озеро с юга, а также на реках Олонке, Тулоксе и Видлице, восточных притоках Ладоги. Очевидно, сфера вепсского этнического воздействия распространялась и до северного побережья Онежского озера, где известны курганы приладожского типа у сел Кокорино и Челмужи [Кочкуркина, 2011. С. 74] – в этапных пунктах на водно-волоковом пути, пересекавшем Заонежский полуостров. Автору этой статьи уже приходилось писать о том, что ареал средневековой приладожской курганной культуры маркируется/сопровождается одной показательной топонимной моделью – ойконимами, т. е. названиями поселений с формантом -I, который в результате русской адаптации преобразовался в -ичи/-ицы: *Винницы* из *Vingl*, *Валданицы* из **Valdal* и др. Считается, что данная модель маркирует территорию относительно раннего расселения. Это названия своеобразных «родовых» деревень, центров, откуда происходило затем вторичное заселение территории [Nissilä, 1961. S. 91–92; Муллонен, 2002. С. 84–98]. Некоторые из топонимов этой модели упомянуты уже в самом раннем историческом документе, известном для территории Присвирья – т. н. приписке к Уставу князя Святослава Ольговича XIII в., что свидетельствует в пользу хронологически раннего бытования модели. Вполне вероятно, вепсские истоки кроются и за некоторыми ойконимами данной модели в ливвиковском Приладожье, однако из-за случившегося тут в более позднее время притока карельских ойконимов, образованных по этой же модели, различить их практически невозможно. Есть основания полагать, что традиция погребения, заложенная создателями курганов и постепенно исчезающая в Приладожье с продвижением новгородского влияния, продолжалась – уже в

форме грунтовых могильников вплоть до XVI в. на водоразделе рек Балтийского и Волжского бассейнов [Башенькин, 1994]. Именно здесь, в глухих местах на верховьях средневепсской Капши (бассейн Ладожского озера) и верхнем течении южновепсской р. Лидь (бассейн Волги) обнаруживается одна показательная топонимная модель: ср. южновепс. *Kaamišt* и средневепс. *Koumišt*, букв. ‘кладбище’ (отметим, что эта лексема не используется в современных вепсских говорах для обозначения кладбища). Данный топоним привязан к объектам, почитаемым в качестве мест, где жители захоронили себя, спасаясь от литвы (вариант: от турков). Этнографы полагают, что первоначально это были священные кладбища, на которых похоронены предки – покровители рода [Винокурова, 1988. С. 11]. Вологодский археолог Башенькин, проводивший в конце 1980-х годов раскопки в урочище *Kaamišt* в Чайгино, интерпретировал культуру как курганы XI–XII вв., сходные с приладожскими. С позиций топонимического маркирования показательно, что ойконимы с формантом -I представлены во множестве на верхней Капше (*Ozroil*, *Haragal*, *Korbal*, *Nürgoil* и др.), накладываясь на ареал топонимной модели *Koumišt*. Южнее, на Лиди, такого наложения нет; очевидно, модель *Kaamišt* (а также связанные с названными ею местами традиции) имела здесь, на окраине ареала, несколько более долгую жизнь, чем -I-овая ойконимная модель.

В качестве промежуточного итога можно констатировать, что ранний этап в формировании вепсской этнической территории характеризовался привязкой ее к нижней, приустьевой части рек бассейна Ладожского озера, далеко не всегда распространяясь на всю реку. Одновременно, однако, уже намечаются основные направления дальнейшего освоения территории – Обонежье и Белозерье.

На реках Сясь и Тихвинка практически не удастся обнаружить надежных топонимических следов вепсского пребывания. Очевидно, рано попав в зону новгородского продвижения, они утратили то вепсское наследие, которое просматривалось в курганах начала II тысячелетия. Впрочем, глухие отголоски вепсского присутствия на Тихвинке – топонимы *Чудцы*, *Чудская*, *Чудское* в верхнем течении реки. В соответствии с ономастической универсалией топонимы с этнонимическими основами маркируют территорию пограничного расселения этноса. В нашем случае они отражают вепско-русское пограничье на определенные периоды в прошлом (рис. 1). Неким




Современная вепсская территория


Историческая вепсская территория

Рис. 1. Границы исторической вепсской территории

косвенным свидетельством исторической южной границы вепсского этнического ареала на верхней Тихвинке может, видимо, служить и то обстоятельство, что здесь проходила граница Обонежской и Бежецкой пятин. Ниже будут приведены доказательства этнического характера северного рубежа Обонежской пятины, что дает

основания предполагать таковой же и для южной границы. Данное предположение находит подтверждение и в том немаловажном обстоятельстве, что на северном берегу Тихвинки – на водоразделе Тихвинки и Лиды, а также Тихвинки и Явосьмы – присутствуют топонимы-полукальки, которые возникли в результате перевода

оригинальных вепсских названий (типа *Вадозе-ро*, *Кангозеро*, *Самозеро*, *Вехручей*, *Курручей*) и маркируют на севере территорию, прибалтийско-финское население которой через процесс билингвизма перешло на русский язык. К югу от реки Тихвинки (и – добавим – границы исторической Обонежской пятины) полукальки отсутствуют полностью, что указывает на иной тип «финско»-русских языковых отношений. Кроме того, от Тихвинки на север, вплоть до современных вепсских территорий по рекам Паше, Капше и верховий Лиди обнаруживается надежный вепсский субстратный пласт в топонимии, свидетельствующий о поэтапном обрусении исторического вепсского ареала, продвигавшегося с Тихвинки. В качестве примера можно привести топонимию территории Койгушского погоста XVI века, который граничил с юга с Озерским погостом, привязанным к верховьям реки Тихвинки, а с севера – с Пелушским, располагавшимся в верхнем течении реки Лиди, являющемся и сейчас еще вепсской в языковом отношении территорией. Анализ топонимии свидетельствует о том, что в прошлом, причем относительно недавнем, деревни на территории исторического Койгушского погоста были вепсскими. Топонимический массив этой территории включает убедительные примеры топонимов с вепскими истоками. Вепские корни характерны для ойконимов (наименований поселений) *Койгуши* < *Койвуши: вепс. *koiv* ‘береза’ и *Пудрино*: вепс. антропоним *Pudr*, восходящий к соответствующему аппеллятиву *rudr* ‘загуста, мучная каша’. Вепское наследие представлено и в других топонимных разрядах, главным образом в наименованиях объектов, удаленных от поселений, – лесных урочищ, озер, болот: *Оласово болото*, *Сусарь*, *Мумсарь*, *Курручей*, *Лепозерки* и др. О вепском прошлом современных русских деревень данного района свидетельствует и то, что в деревне Пятино в 1916 г. финляндские исследователи Э. Н. Сетяля и А. О. Вайсянен, а в 1917 г. Лаури Кеттунен записывали образцы вепсской речи [Väisänen, 1969; Kettunen, 1918]. До сих пор дер. Пятино разделяется на две части: *Чухарское Пятино* и *Русское Пятино* [Йоалайд, 1989. С. 78]. Такое же деление на русскую и вепсскую часть известно в Дмитрово (*Русское Дмитрово* и *Чудское Дмитрово*).

Уже упомянутые выше топонимические факты (ойконимы -l-ового типа, топонимная модель *Kaamišt*) свидетельствуют о проникновении вепсского компонента в верховья реки Лидь, входящей в бассейн Верхней Волги, с севера, т. е. с сопредельной территории верховий рек Паши и Капши (реки Балтийского бассейна), где располагается средневепсский ареал. При

этом наличие вепсского наследия на Лиди ниже оз. Лидского прослеживается очень слабо. Создается впечатление, что озеро Лидское было своего рода границей вепсского расселения на юг по Лиди, поскольку южнее начинались заболоченные на десятки километров, практически до устья реки, берега. Видимо, определенным сдерживающим фактором проникновения вепсского заселения вниз по Лиди служило и раннее русское освоение Лиди ниже озера Лидского, распространившееся сюда с юга, с попавшей рано в зону новгородской колонизации реки Чагоды. Доказательством этого служит присутствие тут древнерусского новгородского типа ойконимов на -гост/-гощь (*Радогощь* – русское название вепсского поселения *Arskahť*, *Тургошь* в нижнем течении р. Лидь и упоминаемая в составе Койгушского погоста «дер. на *Домогоще*» [ПКОП. С. 51]), а также таких топонимов, как *Жальник* или *Лющик*, в которых отразились древние новгородские лексеммы.

Не имея возможности распространяться в меридиональном южном направлении и подпираемое с юга ранней русской колонизацией, вепсское освоение направляется на запад и восток от Лиди – соответственно на верхние притоки Паши [Муллонен, 2006. С. 225, 229–230] и реку Колошму (бассейн реки Суды). Тем самым формируется и упрочняется на этом участке южная граница исторического вепсского ареала. Справедливости ради стоит отметить, что это происходит относительно поздно: отмеченная связь прослеживается по поздним микротопонимическим фактам и не подтверждается традиционными ранними моделями. Характерно также присутствие на водоразделе Лиди и Колошмы – верхнего притока Суды – озера с названием *Pyhärv*, рус. *Святозеро*. Исследование «святых» гидронимов в вепсском ареале убеждает в том, что такие топонимы привязывались к пограничным, окраинным водным объектам и маркировали первоначально границу своей, освоенной территории [Муллонен, 2002. С. 145–155].

Топонимия и историческая география демонстрируют, что и другая река Верхневолжья – Суда – осваивалась вепсами с верховий рек бассейна Ладожского озера, прежде всего, реки Ояти. Будучи сейчас русской в языковом отношении территорией, верхняя Суда (поселения на реках Колошма и Ножема) сохраняет убедительные вепсские следы в топонимии [см. подробнее Муллонен, 2007].

Топонимическим подтверждением связи с Оятью служит название озера *Маткозеро*, из

которого вытекает река Колошма. Оно восходит к вепсскому слову *matk* 'путь, дорога', которое традиционно использовалось в прибалтийско-финской топонимии для называния водораздельных озер, через которые проходил путь из одной водной системы в другую. Собственно, в топониме закрепилось древнее значение слова, которое первоначально означало не любую дорогу, а волок, т. е. сухопутный участок водно-волоковой дороги, перешеек между водными участками пути [SSA]. Озеро Маткозеро отделяется от бассейна Ояти как раз таким 300-метровым перешейком. При этом информантам известно, что когда озеро весной переполняется, вода может вытекать не только в Колошму, но и в обратном направлении – в Оять. Логично предполагать, что именно через этот коридор осуществлялась связь между вепсами Ояти и бассейна Колошмы и именно с Ояти могло произойти заселение Колошмы. Добавим, что описанным водно-волоковым путем и сейчас пользуются местные рыбаки и охотники.

Есть основания полагать, что эти связи имеют глубокую историю. Исторически вепские поселения Ояти, а также Шимозера и Пяозера с окрестностями, с одной стороны, и рек Суды с Колошмой и Ножемой, с другой, входили в разные административные подразделения. В XV в., после присоединения новгородских земель к Москве, Пяозеро и Шимозеро с окрестностями оказались на юго-восточной окраине Заонежской пятины, в то время как Суда принадлежала административно к белозерским землям (Бежецкая пятина). При этом, судя по данным писцовых книг Обонежской пятины 1496 г., Пяозеро, входившее в состав Оштинского погоста, представляло собой обширный куст поселений из 12 одно- и двухдворных деревень. Еще более разросшимся гнездом поселений представлено соседнее Шимозеро. Населены и другие окрестные вепские пункты: Линжозеро, Торосозеро, Кленозеро, Нажмозеро.

Совсем иначе выглядит ситуация за юго-восточными пределами Обонежской пятины, на землях Белозерского края. Судя по карте землевладения Белозерского края конца XV в. [Копанев, 1951], Суда с ее притоками была далекой малоосвоенной окраиной Белозерья. На реке отмечено только два погоста: Колошемский (на реке Колошме) и Чужбой (на месте современного села Борисово-Судское). При этом оба располагаются в верхнем течении реки, что необычно, если исходить из традиционного для заселения территории продвижения освоения с низовьев, но естественно, если предпо-

ложить, что верховья Суды, точнее, ее верхние притоки Колошма и Ножема заселялись с северо-запада, с территории Заонежских погостов. Топонимия подтверждает данное предположение и показывает явную связь Верхней Суды с верховьями реки Оять, которая является рекой Ладожского бассейна и населена носителями средневепсского диалекта, представленного и в Вологодской области, куда последний был принесен оятскими переселенцами.

Как далеко на юг по Суде продвинулось вепское освоение? Знакомство с картой заселенности побережий Суды свидетельствует о том, что и сейчас относительно плотно освоено только самое верхнее течение реки, а ниже Борисово-Судского берега реки довольно пустынно. В этом контексте показательны данные русской диалектологии о существовании мощной языковой границы, отделявшей бассейн «чудской» Суды от более восточных территорий Белозерья с относительно плотным русским освоением [Чайкина, 1975. С. 141]. Иначе говоря, Суда осталась в стороне от торной дороги русской колонизации, которая, выходя с Шексны на низовья реки, предпочитала далее продвигаться на север не по Суде, а по ее левому притоку реке Андоге, выведившей на восточный берег Белого озера. Суда, таким образом, не привлекла особого внимания ни у вепсов, распространявшихся вниз по реке, ни у русских, осваивавших ее с низовьев. Причины такой ситуации кроются, видимо, в неблагоприятной для земледельческого освоения обстановке на Суде, побережья которой в среднем течении сильно заболочены. Кроме того, активная русская колонизация обошла Суду стороной, поскольку путь по ней вел практически в тупик, к глухому водоразделу. При этом в гидронимии здесь в целом достаточно равномерно представлен довепсский субстрат.

Все вышесказанное означает, что южная граница вепского освоения на этом участке была привязана к району Борисово-Судского – обширного куста поселений в верхнем течении реки Суды (рис. 1). Топонимически пограничность этой территории наглядно просматривается, к примеру, в ареальной оппозиции двух моделей, использующихся в качестве наименований болот, точнее, островков леса на болотах. Это, с одной стороны, модель с детерминантом -сарь, имеющим явные прибалтийско-финские (в нашем случае вепские) истоки, ср. вепс. *saŋ* 'остров': *Сосарь* 'болотный остров', *Койсарь* 'березовый остров', *Персарь* 'задний остров'. С другой стороны, ей противостоит модель с основным элементом -солово, за которым стоит древний ландшафтный термин, выступающий

в ряде прибалтийско-финских языков (финские говоры *salu*, эстонский *salu*), а также в саамском (*suolo* < **sōlōj*) в значении 'остров, в том числе на болоте' [SSA]: *Чёлсолово, Карсолово, Кейбосолово, Шаньшолово*. Ареал топонимов с элементом -соло(во) тянется от Суды на восток к Белому озеру. Кроме того, к востоку от Белого озера обнаруживается еще два более компактных очага этой модели – в районе оз. Воже и верховьях реки Моши на западе Архангельской области [Матвеев, 2001. С. 225]. Этот белозерский (в широком плане) ареал в комплексе с этимологической трактовкой термина позволяет предполагать в нем языковое наследие древнего неведского населения данной территории. Выявленный топонимический элемент входит в весьма выразительный ряд финно-угорских топонимов Белозерья, который трактуется исследователями как саамский, прасаамский или праприбалтийско-финско-саамский, т. е. принадлежавший общему предку прибалтийско-финских и саамских языков. Высказывается также гипотеза об отдельном прибалтийско-финском языке южной группы, бытовавшем в Белозерье [Saarikivi, 2006]. По мере накопления новых материалов все более актуальным становится уточнение этого достаточно аморфного определения и вычленение в районе Белозерья особого языкового типа, который может быть условно назван «ведским», т. е. принадлежавшим летописной белозерской веси, постепенно растворившейся в южной части ареала в потоке новгородского освоения, а в северной – в более позднем прибалтийско-финском (ведском), воспринявшем этноним от своих белозерских предшественников. Повторимся еще раз, что в топонимии среднего и нижнего течения рек Лиди и Суды не обнаруживаются убедительных системных ведских признаков, позволяющих реконструировать ведское прошлое территории. Основная причина отсутствия интереса кроется, очевидно, в неблагоприятных для земледельческого освоения условиях. Кроме того, отсутствие моделей, привязанных к территории первоначального освоения, свидетельствует о вторичном, относительно позднем проникновении вепсов на верховья рек Волжского бассейна.

Описанная ситуация особенно заметна на фоне смежной территории, прилегающей к малым рекам Онежско-Белозерского водораздела. Анализ топонимии территории Онежско-Белозерского водораздела убеждает в том, что на ней представлены разные стадии перехода из ведского языкового состояния в русское. В самых глухих углах территории сохранились последние ведские деревни – Пяозеро (*Päzär*),

Шимозеро (*Šimgär*), Пондала (*Pondal*), Войлахта (*Voilaht*) и некоторые другие. В притяжении дорог расположились поселения, о ведском прошлом которых доподлинно известно: Сяргозеро (*Särgär*), Куштозеро (*Kuštar*), Ундозеро (*Undär*) и др. К ним примыкает целый ряд поселений с мощным ведским субстратом в топонимии, позволяющим реконструировать их ведское прошлое. Побережья более крупных рек, прежде всего Кемы и канала, соединявшего Онежское и Белое озеро, представлены русскими поселениями с относительно слабым ведским субстратом в топонимии. Речные побережья были проводниками русского воздействия, которое распространялось от устьев рек к их истокам. В устье Кемы, непосредственно на северном побережье Белого озера, ведский пласт топонимов практически неуловим, хотя ряд гидронимов, а также наименования здешних волостей имеют бесспорные прибалтийско-финские истоки: название волости *Киуй*, упоминаемой уже в ранних письменных памятниках, восходит к **Кивуй* < **Kivoja* 'каменный ручей', в имени не менее известной по историческим источникам волости *Киснема* второй элемент -нема сопоставим с ведс. *nem* 'мыс'. Толщина ведского слоя в топонимии Кемы увеличивается по мере продвижения с низовьев реки, т. е. с северного побережья Белого озера, к верховьям и в сторону от речного побережья. Топонимия позволяет реконструировать целый ряд здешних центров, дольше других в этом районе оставшихся ведскими (села Индоман, Ярбозеро, Корбозеро, Кемозеро). На них, к сожалению, не оказалось своего Леннрота, успевшего зафиксировать в них «чудь», как это случилось с т. н. Исаевской волостью, что на границе бассейна Кемы и Онеги, где Элиасу Леннроту, пробиравшемуся в 1842 г. по Архангельскому тракту, удалось зафиксировать остатки ведского населения. Оно продолжало бытовать там еще и в конце XIX в. [Basilier, 1890]. В качестве примера приведем здесь некоторые топонимы с ведскими истоками из окрестностей села Индоман Вашкинского района Вологодской области, расположенного при впадении реки Индоманки в Кему. Среди них не только устойчивые во времени гидронимы, но и микротопонимы, жизнь которых обычно менее продолжительна: руч. *Мягручей* (ведс. *mägi* 'гора'), текущий с горы *Кукосельга* < **Kukoisel'g* (здесь *kuko* выступал скорее не в значении 'петух', а как географический термин *kuk-* 'холм, гора'); руч. *Лепручей* (ведс. *lep* 'ольха'); сельскохозяйственное угодье *Едлегома*, в котором второй элемент -гома восходит к ведс. *nom* 'подсека'; урочище с глинистыми почвами *Саесельга* < **Savisel'g* 'глинистая сель-

га', урочище *Пихково* (вепс. *pihk* 'густое мелко-лесье; молодой ельник'), которое делилось на отдельные участки: *Мишин Лепак*, *Ванин Лепак* и др. (местное говорное слово *лепак* 'кусок' сопоставимо с вепс. *šlirak* 'лоскут, кусок'); непро-сыхающая лужа в низине *Уйты* (вепс. *uit* 'большая непересыхающая лужа'); *Костручей*, впадающий в реку Индоманку у Косинского порога, что позволяет реконструировать в основе **kosk* 'порог'; покос *Пурдога* (вепс. *purdeg* 'родник'); небольшой залив на реке Кеме между островом и берегом *Уйга* (вепс. *uig* 'закоулок') и некоторые другие.

Итак, вепсское прошлое Онежско-Белозерского водораздела не вызывает сомнений, при этом освоение рек бассейна Белого озера происходило через водораздел, разделяющий их с реками бассейна Онежского озера (Водлица, Мегра, Вытегра, Андома).

На юго-восточном побережье Белого озера и прилегающей к нему территории вепсский топонимический пласт практически неуловим, в то время как на юго-западном он просматривается, хотя и уступает по представительности неведскому субстратному финно-угорскому пласту. Вепсские истоки восстанавливаются тут в ряде микротопонимов, типа остров *Токсарь* (вепс. *-saŋ* 'остров') на оз. Азатском, мыс *Веромень* (-мень из -пет 'мыс') на оз. Новозеро, подсечное урочище *Яргумзь* < **Järv/houmez*, букв. 'озерная подсека' на берегу Андозера и др. Для окончательного решения вопроса о юго-восточной и – добавим – восточной границе ареала вепсской топонимии предстоит дать ответ на сложный вопрос об этноязыковых истоках субстратной доведской топонимии, чтобы установить критерии ее отличия от вепсской топонимии, а также механизмы усвоения последней этого предшествующего пласта названий. Проиллюстрирую сказанное одним показательным примером.

В вепсской топонимии в наименованиях болотистых мест активно используется топонимослова *rehk-* с прибалтийско-финскими истоками и изначальной семантикой 'гнилая трухлявая древесина': *Pehkso* (многократно), *Pehkiso*, *Pehkišt*, в русском усвоении *Пехтболото*, *Пехтач* и др. Возникает вопрос, как она соотносится с широко представленной в топонимии Белозерья и Поонежья (бассейн реки Онеги) субстратной севернорусской лексемой *похта* ~ *пахта* 'болото', принимая во внимание фонетическое соотношение приб.-фин. *e* (преимущественно в заднерядных основах) > севернорус. *a*: *вахта* – *vehka*, *вагмас* – *vehmasto*, *шалга* – *šalgä* и др.? Если речь идет об особен-

ностях усвоения вепсской лексемы в русские говоры, то тогда исторический вепсский ареал можно значительно расширить, включив в него помимо Белозерья еще и смежные с ним территории верхней Онеги. При этом приходится признать, что вепско-русские контакты в Белозерье восходят к тому раннему периоду, когда приб.-фин. *a* мог передаваться как *o*, порождая в здешних русских говорах вариант *лохта*. Восточнее, в бассейне Онеги, представлен вариант *пахта*. Но *пахта* ~ *похта* могут в принципе являться наследием того этноязыкового коллектива, отличного от вепсского, хотя и родственного ему, который оставил многочисленные следы в Белозерье (например, представленные выше топонимы с детерминантом *-солово*). Исходя же из того, что в ареале Онежско-Белозерского водораздела отсутствуют топонимические модели, маркирующие ранний этап вепсского расселения, очень незначителен процент вепсских гидронимов и в то же время присутствует мощный неведский пласт названий, напрашивается вывод об отсутствии бесспорных веских оснований считать субстратную топонимию Белозерья вепсской. При этом, однако, следует признать, что в ней просматриваются некоторые единичные вепсские следы, связанные, очевидно, с поздним немассовым внедрением выходцев с вепсских территорий.

Похожий результат дает и анализ смежной поонежской (т. е. привязанной к бассейну реки Онеги) топонимии. В то время как южное и восточное Обонежье входят в ареал бесспорной вепсской топонимии, хотя и не самой ранней, за восточными пределами бассейна Онежского озера вепсское наследие представлено редкими примерами микротопонимов. Ареальный анализ доказывает, что последние проникли за пределы Обонежья через известные волоки, связывавшие Водлозерье с Кенозерьем, а реку Водлу через приток Колоду с Лекшмозером. В качестве примера дифференцирующей вепсской модели приведем здесь топоним *Palte*, см. вепс. *palte* < **palteg* < **palttek* 'склон, косогор' (рис. 2). Из карты явствует, что он бытует на вепсской, а также смежной ливвиковско-людиковской территории, сформировавшейся в ходе карело-вепсского языкового контактирования. Модель известна также в русском Обонежье, в том числе в восточном, чаще всего в виде *Палтега*, в названиях сельскохозяйственных угодий. В западной части Каргополья, в окрестностях д. Морщининской наша картошка зафиксировала название поля *Палтеги* как знак вепсского прошлого территории.

В связи с поиском вепсских следов в Поонежье вновь оказывается обозначенной проблема, высветившаяся в ходе дистрибуции вепсских и довепсских моделей в Белозерье. Возможным критерием для их различения является ареальная характеристика. В то время как модели, однозначно трактуемые как вепсские, просачиваются через восточную

границу Обонежья, довепсские объединяются в единый ареал с Белозерьем и выходят на реку Онегу через известный Ухтомский волок. Это обстоятельство еще раз свидетельствует против активного освоения прибалтийско-финскими вепсами Белозерья и одновременно указывает на Обонежье как на регион вепсских интересов.

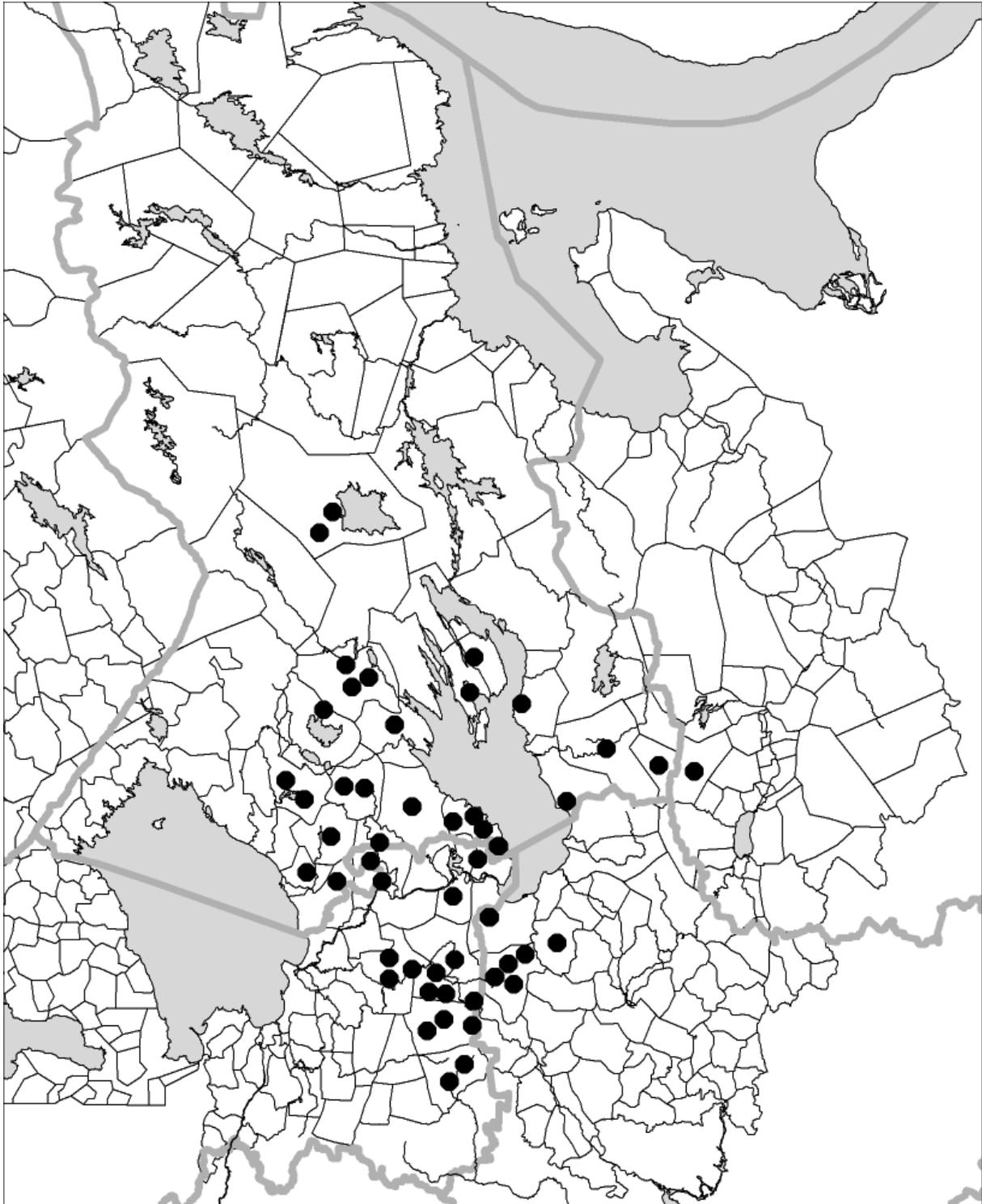


Рис. 2. Ареал вепсской топоосновы *Palte-* 'склон, косогор'

Северная граница исторической вепсской этнической территории определяется по топонимическим данным четче, чем восточная. Вепсы, освоив путь из Присвирья в северное Обонежье, селились на Заонежском полуострове, оставив в память о себе помимо археологических памятников некоторые размытые временем и адаптационными процессами следы в топонимических основах, типа дер. *Пурдега*, мыс *Бурднаволок*, покос *Бурда* в южном Заонежье: вепс. *purde* 'ключ, родник', зал. *Кара*, мыс *Карнаволок* и некоторые другие в северо-восточном Заонежье: вепс. *kara* 'небольшой залив, бухта' и пр. При этом некоторые вепсские модели обнаруживаются и севернее, вдоль транзитного водно-волокового пути из Заонежья в Беломорье. Так, на водоразделе между Онежским озером и Выгозером исторические и современные источники фиксируют названия поселений *Тикиницы*, *Тайгиницы*, *Пижиничи* и *Койкиницы*, в которых формант *-ицы/-ичи* маркирует русскую адаптацию оригинальных вепсских ойконимов с антропонимной основой. Истоки модели – в вепсском Присвирье, откуда она проникла в Заонежье и севернее. Ее распространение отмечает путь между средневековыми Челмужским и Выгозерским погостами и позволяет реконструировать один из важных участков на пути из Обонежья в Беломорье через Челмужи, реку Немину, с которой выходили на Выг выше серии порогов в районе современного поселения Шелтопорог, и далее вдоль Выга на Выгозеро. Севернее Выгозера модель отсутствует, поскольку она маркирует сельскохозяйственный тип освоения территории [Муллонен, 2002. С. 84–98], который по природно-климатическим условиям севернее был затруднителен.

Картографирование топонимических моделей с вепсскими истоками устанавливает, что из карты в карту северная граница ареалов пересекает центральную Карелию и проходит от северо-восточного угла Ладожского озера на западе к Выгозеру на востоке (рис. 1). Поиск причин обращает к обозначенной выше связи ареала вепсской модели с сельскохозяйственным характером освоения территории. Известно, что исходным фактором рождения культурных границ являются климатические и ландшафтно-географические составляющие. Показательно в связи с этим, что северная граница вепсской топонимии повторяет очертания северной границы зоны среднетаежных сосновых лесов, а также южной климатической зоны [см. карту растительности в КЭ, С. 26]. При этом важно, что природная граница оказывает

ся и культурной, отделяющей территорию, наиболее благоприятную для ведения земледелия в северных условиях от районов, где таковое малоэффективно. Этот вывод поддерживается результатами картографирования топонимов, сложившихся на основе прибалтийско-финской лексемы *niini* 'липа' (*Niinisel'gy*, *Nin'sel'g*, *Нисельга* 'Липовая сельга', *Nisar* 'Липовый остров', *Niin'oja* 'Липовый ручей' и др.) и соответственно русской *липа* (*Липовец*, *Липняги*, *Липовая сельга*, *Липовый бор* и др.) В данном случае принципиальное значение для картографирования имеют даже не языковые истоки топоосновы, а ареал ее бытования в топонимии, отражающий реальные границы территории произрастания дерева. Липа, как известно, растет на более богатых почвах, и к местам ее произрастания приурочены сельскохозяйственные угодья. Липа представлена в южной Карелии до линии Вяртсиля – оз. Сямозеро – д. Шуньга. К востоку от Онежского озера она редка и произрастает здесь прежде всего в долине рек Водлы и Колоды [Кравченко, 2007]. Именно эта северная граница вырисовывается и по данным топонимии, подтверждая тем самым сельскохозяйственные приоритеты создателей топонимной модели.

То, что северная граница вепсской топонимии совпадает с северной границей произрастания липы, должно, видимо, толковаться таким образом, что средневековые вепсы, осваивавшие территорию Карелии, были сельскохозяйственным населением, и именно эта особенность экономики определяла границы территории обитания. К этому следует добавить, что подтверждаемая топонимически северная граница вепсского этнического ареала является одновременно северной границей ливвиковской и людиковской этнических территорий, которые, как известно, сформировались в ходе поэтапной карелизации вепсского этноса. Одновременно высвечивается еще одна важная связка, а именно наложение на значительном протяжении реконструированной этнической границы на северную границу Обонежской пятины. При этом территория, тяготеющая к северо-западному Обонежью (верховья рек Выг и Водла выше Водлозера), в силу скудости здешних почв и рискованных для земледелия условий была освоена чрезвычайно слабо. В то же время некоторые топонимические факты (гидронимная основа *Сара-*, бытование гидронимного форманта *-нжа*) свидетельствуют о вепсских интересах на транзитном водно-волоковом пути, соединяющем Онежское озеро и Белое море, во всяком случае в южной его части, включая Выгозеро.

Переходя к реконструкции западной границы вепсской территории, напомним, что речь о ней уже шла в самом начале статьи, в связи с ареалом курганов Юго-Восточного Приладожья, распространявшимся вдоль побережья Ладожского озера на север вплоть до реки Видлицы. Вепсские топонимные типы, кажется, позволяют полагать, что вепсы продвинулись в свое время несколько севернее и были представлены во всяком случае в бассейне реки Уксы (рис. 1). Подтверждением данного тезиса служит фонетический облик гидронима, сформировавшийся в результате карельского освоения вепсского оригинала. Поиски истоков этимологии названия реки *Уксы* (карел. *Uuksu*) позволили ввести ее в один ряд с целой группой топонимов Онежско-Ладожского водораздела, в которых вепсское сочетание звуков *-ht-* было преобразовано в ходе карельского освоения в *-ks-* и соответственно введения в ряд слов, в которых в карельском происходит преобразование сочетания *ht > kš* в позиции перед *i* (таких, как *lakši : lahden* 'залив : залива'). Ср. примеры с бывшей людиковской территории: остров *Куйвахта* или *Куйвахда* в заливе Великая Губа, ср. однотипные названия *Куйвас* и *Куйвакса*, где к основе *kuiva* 'сухой' присоединяется формант *-as*; урочище *Илехта*, в ПКOP XVI века Ылюхта («в Ылюхте») в окрестностях дер. Мелойгуба < Илекса: *ylä-* (возможно, более узкий саамский вариант *äl-*) 'верхний' + суффикс *-s:-kse*; урочище *Кокшаконда* в Заонежье < *Кохтаконда: *-конда* < *kontu, kondu, kond* 'однодворная деревня', *kohta, kohtu, koht* 'место напротив' и др. Этот ряд возможно дополнить диалектной лексемой, зафиксированной словарем русских говоров Карелии: *лукша* 'заливной луг или пашня возле излучины реки' в Кондопожском районе [СРГК], бывшем еще в относительно недавнем прошлом людиковской в языковом плане территорией. Исходя как из значения термина, так и из ландшафтно-географической привязки названных им объектов (ср. в западном Заонежье *Лукса, Лукша, Подлукса*, все стабильно наименования сенокосных угодий у берега реки), в качестве исходного нужно предполагать люд. *luht, luhte*, вепс. *luht* 'заливной луг, низкое сырое место'. Надо полагать, что в ходе языкового карело-вепсского контактирования происходило своего рода приспособление старых названий к новым языковым реалиям, при этом отсутствие семантической составляющей, а также, видимо, редукция последнего гласного в топоосновах, свойственная вепсской фонетике, приводили к включению их в фонетический ряд, в который они изначально

не входили. Подобно тому, как *luht > лука*, так, возможно, и топонимическая основа *Uht-* была усвоена в южной Карелии, на границе исторического вепсского и карельского языковых ареалов, как **Uks-* (> *Uuksu-*). В свою очередь, исходный фонетический облик **Uht-* подтверждается географической характеристикой реки, которая впадает в Ладожское озеро в основании длинного (более 10 км) мыса. Чтобы избежать длительной поездки вокруг мыса, его пересекали посуху, по волоку, который в языке доприбалтийско-финского населения края обозначался финно-угорским словом **ukt-* > **uht-* 'волок, сухопутный участок пути между водными маршрутами' [Муллерен 2002]. Основа *Uht-* неоднократно фиксируется в топонимии Карелии и смежных территорий в названиях волоковых объектов, однако в южной Карелии, в зоне карело-вепсского контактирования древний термин, усвоенный вначале вепсскими насельниками края, был в ходе карельской адаптации преобразован в *Uks-* или *Ukš-*, что и отразили топонимы *Укса (Uuksu)* на ливвиковской территории и *Укшозеро (Ukšarvi)* на людиковской.

Вхождение Уксы и окрестностей в исторический вепсский ареал хорошо согласуется с тем установленным выше обстоятельством, что вепсская колонизация территории на севере обуславливалась земледельческими предпочтениями населения. Район Салми, примыкающий к нижней Уксе, и сейчас является одним из наиболее благоприятных для ведения земледелия участков на восточном берегу Ладожского озера. В то же время севернее ландшафт и соответственно условия для ведения земледелия заметно меняются. После Питкяранты начинаются пологие сопки, склоны покрыты мореной и супесью, побережье скалистое, что малоинтересно для развития земледелия [Культурное окружение..., С. 21–22]. Продвижение же вглубь материка на север ограничивалось обширными болотами, тянувшимися на север к Суоярви. Известно, что и карелы долгое время не проявляли интереса к освоению этой местности, заселение которой началось только где-то в XV веке, с одной стороны – с северного побережья Ладожского озера, с другой – с территории ливвиковского Сямозерья [Nämunen, 2011. S. 25]. Убедительным критерием вепсского прошлого восточного Приладожья (крайний северо-западный ливвиковский форпост – Салми) является бытование тут ливвиковского диалекта карельского языка, сформировавшегося в ходе ассимиляции вепсского языкового компонента карельским.

Подведем итоги. На протяжении всего второго тысячелетия границы вепсской этнической территории формировались с учетом ландшафтно-географических обстоятельств, форм жизнедеятельности, а также контактов с соседними этносами. На рубеже I-II тыс. н. э. вепсская этническая территория, маркированная археологически курганами Юго-Восточного Приладожья, а топонимически сопутствующим им типом ойконимов (названий поселений), включающим в себя древний вепсский антропоним, оформленный -I-овым формантом, тяготела к бассейнам рек Юго-Восточного Приладожья. При этом намечались уже основные пути дальнейшего освоения территории в Обонежье и Белозерье. В последующие века происходит активное освоение Онежско-Ладожского перешейка и Обонежья. То, что границы ареалов целого ряда топонимных моделей, имеющих вепские истоки, повторяют на многих участках границы Обонежской пятины XV века, можно, очевидно, трактовать таким образом, что историческая Обонежская пятина, во всяком случае в Заонежской части, объединяла вепсскую этническую территорию. Соответственно, области, располагавшиеся за ее пределами в Белозерье, в верховьях рек Волжского бассейна, в среднем Поонежье, осваивались на следующем этапе, в результате проникновения туда вепских выходцев из Обонежья и Юго-Восточного Приладожья. Одновременно происходит постепенное сокращение вепского ареала на западе и юге, связанное с активным русским освоением водных путей, ведущих в Белозерье и Обонежье. Вепсская территория смещается в восточном направлении. При этом вепсы продвигаются на территории, освоенные субстратным финно-угорским населением, которое особенно выразительно проявляет себя в регионе Белозерья. Принципиальное значение для реконструкции юго-восточной границы вепского ареала имеет установление этноязыковых истоков финно-угорского населения Белозерья. Второй вопрос, ждущий внятного решения, – это плотный слой топонимов с основой *Vepsä-* в Северо-Западном Приладожье, в районе современной российско-финляндской границы: имеет ли топонимическая основа действительно этнонимические истоки, и если да, то каковы причины и хронология формирования данного ареала. Предложенные в литературе интерпретации [напр., Напольских, 2007] не представляются в должной мере аргументированными.

Литература

Башенькин А. Н. Средневековые могильники южных вепсов // Международная конференция, посвященная 100-летию со дня рождения профессора В.И. Равдоникаса. СПб., 1994. С. 99–102.

Винокурова И. Ю. Ритуал первого выгона скота на пастбища у вепсов // Обряды и верования народов Карелии. Петрозаводск: КНЦ РАН, 1988. С. 4–26.

Йоалайд М. Этническая территория вепсов в прошлом // Проблемы истории и культуры вепсской народности. Петрозаводск: КНЦ РАН, 1989. С. 76–83.

Карелия: энциклопедия в 3-х т. Т. 1. Петрозаводск: Издательский Дом «ПетроПресс», 2007. 398 с. (в тексте – КЭ).

Копанев А. И. История землевладения Белозерского края XV–XVI вв. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1951. 254 с.

Кочуркина С. И. История и культура народов Карелии и их соседей (средние века). Петрозаводск: АУ РК «Информационное агентство «Республика Карелия», 2011. 223 с.

Кравченко А. В. Конспект флоры Карелии. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2007. 403 с.

Культурное окружение северного побережья Ладожского озера. Финское культурное наследие в ландшафте северного побережья Ладожского озера. Helsinki: Miktor Oy. 231 с.

Матвеев А. К. Субстратная топонимия Русского Севера. Ч. I. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2001. 345 с.

Муллонен И. И. Топонимия Присвирья: проблемы этноисторического контактирования. Петрозаводск: ПетрГУ, 2002. 352 с.

Муллонен И. И. Формирование системы расселения в южновепском ареале // Современная наука о вепсах: достижения и перспективы (памяти Н. И. Богданова). Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2006. С. 224–237.

Муллонен И. И. Этнокультурный потенциал вепской топонимии // Вепсы и этнокультурные перемены XX века. *Studia Slavica Finlandensia*. Tomus XXIV. Хельсинки, 2007. С. 39–56.

Напольских В. В. Происхождение самоназвания вепсов в контексте этнической истории Восточной Прибалтики // Вопросы ономастики. 2007. № 4. С. 28–33.

Писцовые книги Обонежской пятины 1496 и 1563 гг. Л.: Наука, 1930. (в тексте – ПКОП).

Словарь русских говоров Карелии и сопредельных областей. Вып. 3 / Гл. ред. А. С. Герд. СПб.: Изд-во СПб. ун-та, 1996. 414 с. (в тексте – СРГК).

Чайкина Ю. И. Вопросы истории лексики Белозерья // Очерки по лексике севернорусских говоров. Вологда, 1975. С. 3–187.

Basilier Hj. Vepsäläiset Isajevan voolestissa // Suomalais-ugrilaisen seuran toimituksia VIII 61. Helsinki, 1890. S. 43–84.

Kettunen L. Matkamuielmia Vepsän perukoilta // Virittäjä. 1918. S. 38–62, 95–104.

Nissilä V. Suomalaista nimistöntutkimusta. Helsinki: SKST 272, 1961. 220 s.

Omal mual Vierahal mual. Suojärven historia III / Toim. T. Hämynen. Saarijärvi: Saarijärven Offset OY, 2011. 511 s. (в тексте – Hämynen).

Saarikivi J. Substrata Uralica. Studies on Finno-Ugrian substrate in northern Russian dialects. Tartu University Press, 2006.

Suomen sanojen alkuperä. Etymologinen sanakirja. 1–3. SKST 556. Helsinki, 1992–2000. (в тексте – SSA).

Väisänen A. O. Vepsäläisten luona v. 1916 // Kalevalaseuran Vuosikirja 49. Helsinki, 1969. S. 272–288.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ:

Муллонен Ирма Ивановна

директор, д. филол. н.

Институт языка, литературы и истории Карельского
научного центра РАН

ул. Пушкинская, 11, Петрозаводск, Республика Карелия,
Россия, 185910

эл. почта: mullonen@krc.karelia.ru

тел.: (8142) 784496

Mullonen, Irma

The Head of Institute of Language, Literature and History,
Karelian Research Centre, Russian Academy of Science

11 Pushkinskaya St., 185910 Petrozavodsk, Karelia, Russia

e-mail: mullonen@krc.karelia.ru

tel.: (8142) 784496

УДК 911.3:712(470.1/.2)(045)

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ ЛАНДШАФТ СЕВЕРНОГО МИРА*

М. Н. Мелютина¹, Н. М. Теребихин²

¹ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский»

²ФГАОУ ВПО «Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова»

В статье, основанной на семиотическом анализе архивных, полевых и опубликованных церковно-этнографических источников, раскрывается феноменология народной религиозности Кенозерья и порожденного ею социально-культурного ландшафта локальных северных социумов – часовенных приходов.

Ключевые слова: социально-культурный ландшафт, северный социум, мир, земское самоуправление, часовенный приход, семиотика, образ, символ, хранители наследия.

M. N. Melyutina, N. M. Terebikhin. THE SOCIOCULTURAL LANDSCAPE OF THE NORTHERN WORLD

The article, based on semiotic analysis of the archival, field and published church-ethnographical sources, reveals phenomenology of Kenozero popular religiosity and its creature – socio-cultural landscape of the Northern local societies – the chapel's parishes.

Key words: socio-cultural landscape, Northern social microcosm, world, local self-government, chapel's parishes, semiotics, image, symbol, the guardian of heritage.

Обращение к исследованиям в области социально-культурного ландшафта Карелии и сопредельных территорий представляется крайне продуктивным и актуальным не только с научно-теоретической точки зрения репрезентации идей и концепций культурного ландшафтоведения, но и с позиции прикладных задач образно-географического проектирования северных территорий разного ранга, с целью создания и продвижения их социально-культурного имиджа, включающего и мощный пласт

традиционного этнокультурного наследия. В данной статье концепция социально-культурного ландшафта рассматривается с позиций этносемиотического подхода и идей современной гуманитарной географии. По определению одного из ее основоположников Д. Н. Замятина, «культурный ландшафт – это территории или пространства, воспринимаемые и наблюдаемые через «призму» культуры, социокультурных ценностей, знаков и символов» [Замятин, 2006. С. 180]. Разрабатываемая нами феноменологическая концепция социально-культурного ландшафта как семиотической системы основана на православном богословии образа [Лосский, 2007. С. 160–185] и учения о воплощении Божественных логосов, архетипов, эйдосов, матриц, парадигм, законов добра и красоты,

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ и Правительства Архангельской области в рамках научно-исследовательского проекта РГНФ («Образы финно-угорского, скандинавского и русского православного наследия в этнокультурном ландшафте Поморья»), проект № 12-13-29004а.

которые, соединяясь с нетварными энергиями, претворяют плоть земного пространства в завершённый ансамбль форм социально-культурного ландшафта. Феноменология народной религиозности полагает исследование иерофании – проявления священного в пространственно-временных и «вещных» аспектах материального мира (священное пространство, священное время, священный предмет (вещь)).

Наиболее сильным сакрально-насыщенным архетипом-прообразом традиционного социально-культурного ландшафта Северной Руси являлся образ Собора. Соборность пронизывала и прообразовывала все аспекты северного измерения, начиная от религиозного и социального устройства Земли («земства») до многогласной симфонии и гармонии национальных миров. Земское самоуправление на Русском Севере (Поморье) в XVI–XVIII вв., исследованию генезиса и структуры которого посвящен фундаментальный труд классика русской историографии М. М. Богословского [Богословский, 1909], является, на наш взгляд, тем идеальным народным социальным землеустройством, которое не только составляло сущностную особенность социально-культурного ландшафта поморских городов, уездов и волостей, но и служит тем традиционным прообразовательным эталоном-идеалом, на пути усвоения которого единственно возможно и должно строительство современного местного самоуправления на Севере. О высоком порождающем социальном энергийном потенциале эйдоса «народного общежития» свидетельствует тот факт, что, несмотря на имперский проект Петра Великого, направленный на создание регулярной российской государственности, церковности и общественности, земская традиция народного самоуправления продолжала существовать как в памяти поморского сакрального и социального ландшафта, так и в ландшафте памяти поморов. Еще в начале XX века исследователи церковного быта Архангельской епархии отмечали, что «идеал древнерусского прихода как учреждения общинного продолжает еще жить в сознании простого народа, выражаясь часто в фактах, противоречащих существующим церковно-гражданским учреждениям» [Древнерусский..., 1916. С. 19]. Поморы противились не только петровскому «новоманерному» судостроению, но и централизации местной церковно-приходской жизни, которая лишалась своего сакрального основания. На все повновления, вызовы и вопросы второй половины XVII–XVIII веков появились «Поморские Ответы», позволившие сохранить на Севере уникальный

священный космос старой веры с его духовным центром – Выго-Лексинским общежитием, ставшим «островом спасения», «камнем веры и правды» после падения Соловецкого монастыря. Верность Преданию (Традиции) позволила сохранить в Поморье чистоту древлеправославной веры с ее персоналогической антропологией, имплицитно опирающейся на идею народа – мира как (в терминологии классического евразийства) «соборной», «симфонической» личности, где каждая человеческая личность сохраняет свою неповторимость и индивидуальность, идущую от Бога. Столь длительное сохранение традиционной народной философии всеединства, жизни и смерти «на міру», «всем міром» свидетельствует о том, что концепт мира (земства) принадлежит к числу вечных идей русского мирозерцания, могущих облекаться в разные, в том числе превращенные формы (советская квазирелигиозность и святость учения, культ вождей; квазимонархический характер правления и тотальный коммунальный образ жизни). По мнению В. Н. Топорова, развивавшего традиции отечественной филологической, исторической и религиозно-философской мысли, концепты святости (и священства), царства, земства («мира») представляют собой «основоположные категории русской жизни, сыгравшие исключительную роль до рубежа XVII–XVIII вв.» [Топоров, 1987. С. 189]. Рассматривая взаимоотношения трех фундаментальных концептов русской картины мира, В. Н. Топоров отмечает, что «среди них особо следует выделить: 1) связь святости, царства и земства с трехфункциональной схемой, исследованной Дюмезилем; 2) доминирующее положение святости в этой схеме; 3) невозможность ограничения священного только святостью *sensu stricto*, присутствие его и в царстве и в земстве; 4) «священный» характер всего этого трехчленного космоса русской жизни – святости, царства, земства» [Топоров, 1987. С. 189].

При этом следует уточнить, что трехфункциональная схема описывает не только священный макрокосм русской жизни, но и ее микрокосм, то есть земство (мир). Категория земства включала в себя не только «святость», но и «царство», понимаемое как система социально-правовых функций. Концепция трехфункциональности земского самоуправления на Русском Севере имеет давние и прочные традиции в отечественной историографии. Она опирается на классические фундаментальные труды Н. П. Павлова-Сильванского [Павлов-Сильванский, 1988], М. М. Богословского [Богословский, 1909], С. В. Юшкова [Юшков, 1913] и др. «Северный мир»

как идеальная форма народного самоуправления, строившийся по заповеди «как мера и красота скажут», по законам Божественного Домостроительства, поражает удивительной простотой, соразмерностью, лаконичностью и в то же время симфоничностью, соборностью своего религиозного, социально-культурного ландшафта, запечатленного в изящной тринитарной формуле С. В. Юшкова «Мир един, но троичен в своих проявлениях» [Юшков, 1913. С. 10]. Троиединство северного мира проявлялось в трех его ипостасях (приход, волость, община), которые по-разному выражали троичную диалектику Собора или Совета мирян, являвшего собой нераздельное и неслиянное собрание человеческих личностей, которое самым принципиальным образом отличалось от плоского и убогого «коллективизма», растворявшего Божественное личностное начало в механистическом соединении отдельных «одно-образных» или «без-образных» индивидуумов.

Социально-культурный ландшафт северного мира порожден его трехфункциональной структурной моделью: «Мир, по нашему мнению, является социальным отношением. И если это социальное отношение рассматривать с точки зрения социально-правовой..., то мир является волостью, станом и т. п. Если это социальное отношение рассматривать с точки зрения церковно-канонической, то мир является приходом. Если же, наконец, мы будем рассматривать мир с точки зрения частного права..., то мир является поземельной общиной» [Юшков, 1913. С. 10]. Отношения между тремя ипостасями мира (волость, приход, община) имели иерархический характер. Центральную роль в этой триаде играла сакральная (религиозно-духовная) функция, которая организовывала и санкционировала все остальные аспекты земского социально-культурного ландшафта: «Удовлетворение религиозных потребностей было всегда объединяющим стимулом всех союзов частного-правового порядка, было всегда причиной превращения этих союзов в союз публично-правовой, в мир» [Юшков, 1913. С. 10]. Тернарная организация северного мира визуализирована в архитектурно-ландшафтных формах трехчастного храмового ансамбля погоста – религиозного и социокультурного центра волости. В храмовой троице, образованной двумя церквями и колокольней, явлена не только Софийная красота и Премудрость земского (земного) устройства, но в ней слышны и отзвуки соборного тринитарного богословия, особого троичного «умозрения в дереве» или, как говорили на Руси, «в деревянном деле». По словам Ю. В. Линника: «Триада Кижского ансамбля тоже звучит в унисон Свя-

той Троицы. О Троиедином Боге в Кижях поведано трижды – и это изумительное троекратие глубоко созвучно тринитарной философии, суть которой на Руси столь глубоко выразили Сергей Радонежский, Епифаний Премудрый и Андрей Рублев» [Линник, 2007. С. 4]. Высшей формой воплощения тринитарного богословия в социально-культурном ландшафте Поморья явились общежительные монастыри – киновии, преобразившие полуночные страны в Святое царство Северной Фиваиды: «Являя гармонию единства и разнообразия, Святая Троица воплощает соборное начало, соответственно, и воспроизводит его в дольных условиях следует соборно. Киновия оптимально отвечает этой цели. Киновия соединяет иноков нераздельно и неслиянно. Здесь действует та же диалектика, что обнаруживается нами в онтологических глубинах Святой Троицы. Именно этой диалектикой должна быть пронизана жизнь общежития. Нераздельность – это полнота единодушия, братская взаимность; неслиянность – это исихастский персонализм, раскрытие личности» [Линник, 2006. С. 28]. Тринитарное богословие позволяет раскрыть феноменологию народной религиозности и порожденного ею социально-культурного ландшафта локальных северных социумов – часовенных приходов, троеединство функций которых соотносится с тремя ландшафтными зонами (религиозной, публично-правовой, хозяйственной). Топологические отношения между ними можно представить в виде трех вписанных друг в друга концентрических окружностей, каждая из которых обладает особым сакральным (семиотическим) статусом. Наивысшей степенью сакральности наделяется центр религиозной зоны (погост, церковь, часовня). Публично-правовая сфера социально-культурного ландшафта – место проведения мирских сходов и пиров-братчин. Она соотносится с околочерковным пространством (трапеза, паперть-крыльцо храма, место около часовни и т. п.). Хозяйственная зона социокультурного ландшафта локализуется на периферии мира (хозяйственный двор, кузница, амбары, пашни, покосы, пространство промысловой деятельности и т. п.). По мере удаления от центра социально-культурного ландшафта сакральный статус пространства снижается. Но даже «низкая» сфера хозяйственной деятельности наделена священным смыслом и вписана в миротворный круг праздников и будней.

Поморская культура, создаваемая на Краю, на границе с миром полярного инобытия – это кенотическая культура аскезы, отказа, отсечения и предельного упрощения, доведения

идеала простоты до своего абсолютного этического, эстетического, религиозного и социального императива. Простота социально-культурного ландшафта поморских земель, городов и волостей отражалась в сакральной геометрии пространства мира, который воспроизводит архетипы и символы центра (мировой оси) и периферии (круга). Одним из примеров иерофании является архитектурный ансамбль Холмогор, воплотивший в себе образ Небесного Града. Восхищенный неземной, неотмирной красотой социально-культурного ландшафта Холмогор, запечатленного в сакральной геометрии холмогорского умозрения в дереве, архиепископ Варсонофий в своем своеобразном «Слове о гибели Холмогор в пожаре 1718 года» усмотрел в городском устройстве воплощение гармонии мироздания, богословие образа Русской Земли. Владыка не посмел «разобрать ее для того, что она церковь благолепна и другие тамо ж бывшие и колокольня изряднейшим украшением были и красотой всего Колмогорского города, который и з оградю покрытою и з башнями частыми весь стоял в целости, и как оная стройная ограда и з башнями вся цела была и тогда от всех стран проходящий народ мимо Колмогоры и все приезжие от иных градов всякие иностранные люди и иноземцы, видя от внешней страны такое великое здание и церкви Божия, чали быть в нем много жилья и живущих в нем жителей, и для того почитали за неопустелый город. А ныне, когда все тое опустело и которые в том городе церкви с колоколни и на ограде башни были и то все погорело, и от того всем Холмогорам стала немалая пустота голота и обнажение. И тая самая вышепомнута особливим сохранением Божеским от пожара оставшаяся церковь стоит в пуге по обнажении и в гордсти о всяких живущих зданий сама о себе яко свешник или столп и утверждение истины» [Демчук, 2009. С. 257].

В «Слове» архиепископа Варсонофия раскрываются сакрально-символические аспекты организации социально-культурного ландшафта поморского города – мира, в центре которого возносится к «новому небу» мировой «столп и утверждение истины» – Храм Преображения как центральный православный образ всех преображенных земель Северной Руси, ставшей святым царством Северной Фиваиды. Город окружен деревянной крепостной стеной, воспроизводившей образ Круга Земного как священного символа полноты, цельности, завершенности и красоты мирского устройства и одновременно символа круговой обороны от вторжения враждебных сил иномирного окружения.

Вся семиосфера социально-культурного ландшафта Севера, порожденного социокультурной организацией и религиозной аксиологией северного мира, развернута в целостном природно-культурном ансамбле территории Кенозерья, сохранившей архаическую мироустроительную традицию северных социумов.

Среди элементов социально-культурного ландшафта Кенозерья, представленного природными объектами, наделенными сакральной семантикой (озера, острова, холмы, камни, деревья, рожи и т. д.), а также памятниками иеротопии (деревянные кресты, часовни, храмы, остатки монастырских руин и ландшафтов), особо выделяются часовни как центры социально-религиозной жизни северных миров.

С нашей точки зрения, северные часовни необходимо рассматривать в одном если не генетическом, то функционально-типологическом ряду с ритуальными постройками, священными и культовыми местами финских народов, предки которых создали субстрат этнокультурного сакрального ландшафта Поморья. В организации часовенных приходов православное храмоздательство преломлялось сквозь призму картины мира локального социума, ландшафт памяти которого воспроизводил архаические образы и символы финно-угорского мифопоэтического универсума.

Особенностью народной религиозности Кенозерья является наличие широко распространенных часовенных приходов. Более восьмидесяти часовен, входивших в состав семи церковных приходов Кенозерья (Кенозерский, Кенский, Хергозерский, Лекшмозерский, Ряпусовский, Видягинский, Почезерский), образовывали самостоятельные «меньшие церковные общины». Кенозерье выделяется высочайшим уровнем концентрации часовен. Согласно архивным данным, на рубеже XIX–XX вв. в одном лишь Кенозерском приходе существовало более тридцати часовен [НАРК, ф. 25, оп. 15, ед. хр. 38/886а, л. 252–254].

Генезис социально-культурного ландшафта часовенных приходов связан с христианским освоением северных территорий и православной «деконструкцией» их инородческого и иноверческого космоса. Часовни возникали одновременно с деревнями и «были устроены теми же «складчиками», которые, расчистив при совокупных усилиях место под пашню или осушив болото под пожню, селились деревней на рощисте или близ оной. В силу исконного обычая часть лесной рощисте или осушенного боло-

та складчики обычно отделяли «на свечу» тому святому, имени которого посвящалась часовня» [Лютикова, 2009. С. 52]. Семейно-родственные или соседские группы, в «два-три друга», иногда в «десять друзей» объединившись вокруг часовни, образовывали часовенную общину или приход. До епархиально-приходского обустройства, развернувшегося в конце XVII–XVIII вв., часовенные приходы являлись основным проводником христианства на Русском Севере [Бернштам, 2007. С. 63–64]. По мере формирования епархиальной системы управления часовни постепенно включались в церковные приходы.

Предельная концентрация часовен в Кенозерье дает возможность осмыслить многозначность и многомерность этого феномена, указывающего на Богоизбранность Кенозерья, полноту воплощения здесь идеалов народного православного Собора – «мира». Северные зодчие прославили и украсили священное пространство места сего «светоносными ликами» храмов. Часовни в большинстве своем занимают высотные доминанты, уступы рельефа, береговые мысы, крупные острова и полуострова, места впадения в водоемы крупных волоков. При возведении часовен мастерами соотносились зрительные связи строений с водными и сухопутными путями, восходом и заходом солнца, с планировочной структурой жилых домов. Местоположение часовни Святителя Николая Мирликийского на самой высокой горе в деревне Вершинино выражает особое отношение к Николе – «русскому богу», любовь к которому на Русском Севере невероятно многомерна. Кенозерские часовни центрируют пространство вокруг себя, находясь и на низких гипсометрических уровнях. Часовня «Сошествие святого Духа на апостолов» (деревня Глазово) расположена «на водах» – узкой перемычке, разделяющей две лахты протяженного полуострова, который в половодье превращается в остров.

Общим свойством феноменологии и топологии часовни является маргинальность ее локализации в социально-культурном ландшафте и в пространстве народной религиозности, фонд которой наряду с автохтонной «чудской верой» пополнялся русской православной верой в ее «народном», «никонианском» и «древлеправославном» изводах. С процессом христианского освоения кенозерских земель связаны посвящения часовен преподобным основателям северных монастырей: прп. Александру Свирскому (деревня Бор), прп. Диодорию Юрьегорскому (деревни Тыр-Наволоч, Глубозерская), прп. Зосиме и Савватию Соловецким (деревня

Вильно) и другим. Знаком исторической памяти являются часовни, возведенные в честь святого Благоверного князя Александра Невского, – «Александружки» (деревни Климовская, Суетин Остров, Ларионовская). Это посвящение связано с тем, что образы святых князей Бориса и Глеба в агиографии и народном благочестии ассоциированы с образом защитника православных рубежей Северной Руси – святого Александра Невского. По сравнению с сопредельными северными территориями, где часовенная традиция была также развита, «пантеон святых» Кенозерья необычайно разнообразен.

Часовня являлась сакральным центром селения (мира) и одновременно могла принадлежать частному лицу. В строительстве собственных храмов (часовен) отчетливо проявилось архаическое по своему происхождению, но весьма созвучное православному мирозерцанию стремление к личной, персональной встрече с Богом, образ которого, преломляясь сквозь тезаурус народного благочестия, получал статус «своего бога» («своей иконы»). В народном религиозном сознании северных социумов бытовало представление о том, что святой, которому посвящен храм, мистическим образом обитает в этой часовне (церкви). И с Ним или от Его лица заключаются с миром правовые сделки и приватные договоренности. В случае «нарушения» условий сделки со стороны святого его икону наказывали [Успенский, 1982. С. 182–186]. Мистическая практика отождествления святого с посвященным ему храмом и всеми церковными атрибутами и сакралиями существовала и в Кенозерье. Об этом, в частности, свидетельствует сохраняющийся и в настоящее время ритуал «встречи» с часовней, предполагающий ее целование и обнимание [НА, Тюхтина]. Обязательной богослужебной практикой являлись «частные молебствия» после литургии в приходском соборе на Погосте»: «каждый, кто пришел по обещанию, старается отслужить молебен особо от других <...> такие молебствия продолжают нередко до вечера» [НАРК, ф. 25, оп. 20, ед. хр. 39/444, л. 3–4 об.].

Маргинальность часовенной топографии роднит ее с локусом креста – «росстани». В часовенной традиции Кенозерья придорожные часовни занимают особое место. Согласно историческим сведениям, часовни «на росстани» выполняли функцию стражей определенной территории [Фрейман, 1936. С. 86–88]. В этом смысле их можно уподобить римскому «Термину» – божеству границ. Прообразом придорожной часовни являлись столбы,



*Рис. 1. Сакральная встреча с часовней. Н. М. Тюхтина. Часовня Казанской Божией Матери, д. Минино. Кенозерский национальный парк. Фото М. Н. Мелютиной 2011 г.
Научный архив ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский»*

хранившие прах умершего предка и определявшие границу его владений. Примечательно, что среди придорожных часовен Кенозерья часовня, посвященная св. вмч. Кирику и Улите в деревне Филипповская, располагается на пересечении дорог, одна из которых маркирует древнее кладбище Почезерского прихода. «Надмогильные домовины», являвшиеся одной из форм языческого столбового погребения, являются редким памятником, сохранившимся на территории приходского кладбища. Св. вмч. Кирика и Улиту, которым посвящена часов-

ня, крестьяне считали защитниками от змей, а в пресмыкающихся, по древнему поверью, продолжают жить души предков. В Кенозерье отмечены и другие часовни «на местах общественных погребений», выполняющие функцию своеобразного «надгробного памятника». Часовня на кладбище Почезерского погоста, посвященная Усекновению Главы Иоанна Предтечи, является типом поминального памятника. Согласно историческим сведениям, в часовнях на деревенских кладбищах особых праздников не бывает.



Рис. 2. Почезерский погост. Домовины на приходском кладбище. Кенозерский национальный парк. Фото А. В. Ополовникова. 1946 год.

Государственный научно-исследовательский музей архитектуры им. А. В. Щусева

Часовня в деревне Тырышкина, посвященная культуре св. вмч. Параскевы Пятницы, расположена на границе деревни и дороги, ведущей в поле. Часовни ставили на дальних сенокосах, охотничьих угодьях, на берегах рек и озёр.

В кенозерской деревне Ряпусово часовня во имя Сретения Господня была построена «ради собрания престарелых и малолетних на общую молитву за дальним разстоянием их деревни от церкви которая состоит в десяти верстах и притом за водою»; в деревне Горбачиха часовня также строилась «за разстоянием их деревни от приходской церкви в десяти верстах и за водами в вешнее время<...> приходит к церкви путь весьма неудобной» [Письменные..., 2009. С. 535]. Мотив «отдаленности» и «недоступности» приходской церкви, дополняемой иногда еще и «леностью мирян», как причины и повода часовенного храмоздательства – это скрытая форма отказа от посещения «чужого» храма и сохранения верности «своим» богам.

Часовни являются ярким свидетельством неизбывной тяги русского человека к пустынножительству, к монашескому укладу жизни как к своему предельному идеалу. Свидетельством тому является не только прямой симбиоз монастыря и мира, объединенных общим храмом, но и строи-

тельство придорожных часовен – келеек для молитвенного уединения и отдыха богомольцев. В Кенозерье почитание получили часовни, которые являлись своеобразными «монастырскими подворьями» отдаленных от деревень обитателей Кенозерья. Часовни представлялись вехами паломнического пути, служили остановками для отдыха и молитвы богомольцев. «Макарьевские» часовни располагались в деревнях Качикова Горка, Печниково, Федоровская (Овчин-Конец). В деревне Карпова часовня сохраняет память о прп. Пахомушке Кенском. Прп. Диодору Юрьегорскому («Иодорий») поставлены часовни в деревне Тыр-Наволоки и Глубозерская. Посвящение прп. Антонию Сийскому («Антонию Великому») хранит часовня в деревне Поромское.

«На росстани», по дороге в Макарьевскую Хергозерскую пустынь стояла часовня во имя Честного Животворящего Креста Господня [ГААО, ф. 104, оп. 3, ед. хр. 445, л. 2 об.]. Маленькая часовенка, указывающая дорогу в Челмогорскую пустынь, описана Н. Токмаковым: «Как отрадно встретить святыню среди дремучего леса! Часовенка стоит на самой росстани, между дорогами, ведущими в Пудоско и на Челму. Нередко богомольцы и прохожие отдыхают у ней; все стенки ея были исписаны их именами» [Токмаков, 1896. С. 9].

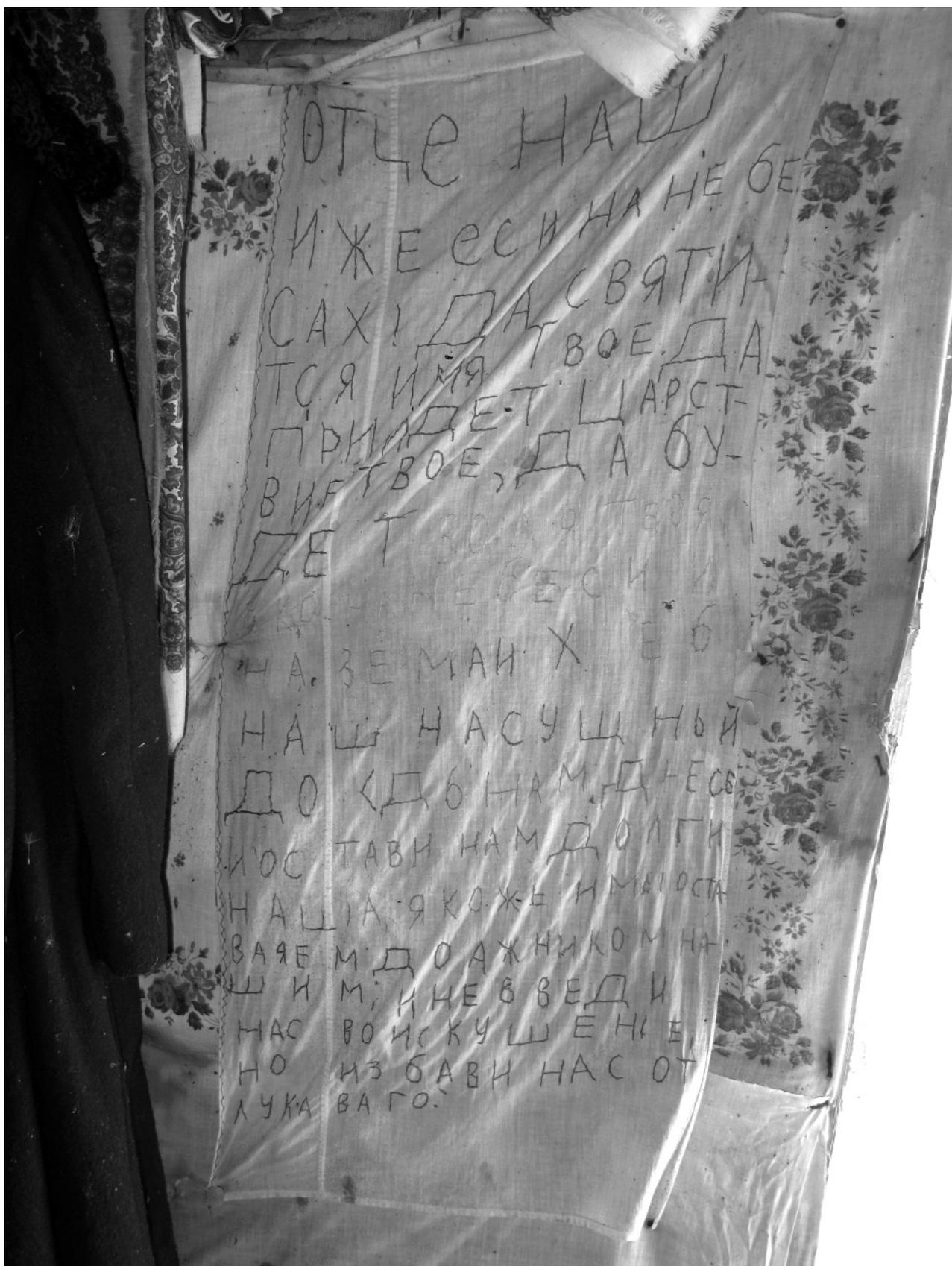


Рис. 3. Тканый завет. Часовня св. Кирика и Иулиты, д. Майлахта. Кенозерский национальный парк.
Фото Т. Р. Вальковой 2011 г.
Научный архив ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский»

Паломнические маршруты способствовали возникновению уникального явления «распределения» часовен, когда к первоначальному посвящению добавлялось ещё одно и, соответственно, новый часовенный праздник. Георгиевская часовня в деревне Спицына, находящаяся на пути к Макарьевскому монастырю, приобрела второе посвящение преподобному Макарию («Макарий попутный»). В воспоминаниях местных жителей сохранилось двойное название часовни в деревне Казариновская. Известно, что здесь стояла часовня св. Пантелеимона Целителя (хранителя путников), но так как она была расположена на пути в Макарьевский монастырь, то имела «праздничное приложение» преподобному Макарию.

Ментальная карта часовенного мира нашла выражение в наиболее почитаемых «обетных» часовнях. Ритуальное пограничье, обретающее форму прошения или благодарности во избежание падежа скота, «хлебного недорода», пожара или другого стихийного бедствия, имело архаичные мифопоэтические истоки в недрах Первопродвижения и «основного» мифа. В архивных документах сохранились свидетельства о строительстве часовен «по обету» индивидуально или коллективно кенозерскими крестьянами. «На праздник Введения Пресвятыя Богородицы (часовня в д. Рыжково) построена крестьянами по обещанию и усердию всех той деревни крестьян при случае их деревни неурожая хлеба и скотского падежа» [Письменные..., 2009. С. 535]. «Крестьянин Иван Евдокимов был болен годичное время в расслаблении то ему неоднократно являлось во сне, чтоб построить часовню во имя Рождества Богородицы (д. Тамбич-Лахта) на что он и положил обещание построить и с того времени сделался здрав которое он объявил всему обществу их деревни почему они крестьяны вышеписанную часовню и построили» [Письменные..., 2009. С. 535].

Маргинальность часовни в социокультурном ландшафте Кенозерья проявлялась во взаимоотношениях церковных и часовенных приходов, выразившихся в оппозиции запрет/разрешение. Возведение часовен было запрещено многочисленными церковными указами, в том числе «в виду тайного богослужения, которое раскольники совершали в часовнях» [Лютикова, 2009. С. 55]. Северные социумы сохранили верность старой вере, которая после никоновских поновлений являлась одним из важнейших факторов сохранения традиций земского самоуправления Поморья и консервации связанного с ним социально-культурного ландшафта Севера, в том числе и Кенозерья. В архивном

документе, датированном 1712 годом, наряду с описанием Ильинской часовни в деревне Думино есть материалы о «гарях» конца XVII века, о сгоревших «в церковном расколе» [РГАДА, ф. 350, оп. 1, ед. хр. 168, л. 140 об.]. Отметим и стилистическое влияние культуры Выговско-Лексинской пустыни на архитектуру часовен, иконопись, церковную мебель и храмовую утварь Кенозерья [Кольцова, 2009. С. 74; Шургин, 1998. С. 117–120]. Оппозиция запрет/разрешение в часовенной практике ярко выражена в богослужебной практике в безалтарных храмах. Архивные документы, записки исследователей и полевые материалы свидетельствуют о практике служения священников в часовнях, которая категорически запрещалась церковными властями. «В часовне на Мамоновом острове крестили детей, стояла купель, священник приезжал из Почезера», – свидетельствует местная жительница П. Н. Ножкина [НА, Ножкина]. Прихожане приглашали священника ближайшей церкви для совершения праздничной службы в часовне, и он вычитывал все церковные службы, кроме литургий. В «Прошении» священника Олонецкой епархии Каргопольского уезда Кенозерского прихода Степана Фёдоровика викария Новгородской митрополии указывается, что в приходе «товарищ мой священник Лаврентей Федоров по части ево выходит и отправляет служение молебнов». Традиционно и сами крестьяне выполняли обязанности священников в своих «малых» церквах: вычитывали службы, а также от «великой нужды» крестили младенцев и отпевали покойников.

С кризисными маргинальными ситуациями, когда распадается привычный порядок вещей, связана мотивация приношения «завета» – жертвоприношения Богу с прошением здоровья и благополучия в делах. «Кому молишься, тому и завещание даешь», – говорили в Кенозерье.

«Тканые заветы» – домотканые полотенца, платки, пояса и другие предметы с вышитым изображением человеческой фигуры или креста располагали в часовне над иконами, на специальных деревянных полках и крестах. Ткань в фольклорной культуре тесно сопряжена с мифологемой пути-дороги, установления связи между Богом и человеком. Показателем сохранения в Кенозерье священной традиции является приношение в часовню в качестве пожертвования «тканых привесов». При вкладывании завета точно обозначали число исполнения просьбы. «На зори выходи на улицу и проси Господа Бога: «Мой завет выполняется или так, три раза проговори и клади крест. (Информантка перекрещивает ладони: пра-

вую ладонь ребром кладет на левую). А в часовне, когда с Богом разговариваешь, в конце нужно сказать: «Ключ – замок, Христова печать». Вот так крест вкладай: правая рука наверху чтобы была. (Показывает: указательным пальцем правой руки перекрещивает указательный палец левой руки). Если завет не исполнен, просите у Господа Бога: «Что вы мне отказали? Или Что мешат?» Может, и снова повторить» [НА, Валькова].

Один из малоизученных сюжетов церковно-приходской жизни северных миров-социумов связан с определением ритуальных функций и сакрального статуса старосты (приказчика) в социальной структуре и социально-культурном ландшафте часовенного согласия.

Часовенный староста, избравшийся на мирском сходе, осуществлял функции религиозной регламентации жизни северного сообщества, составляющего православный приход. Старостой избирался человек, обладавший определенным знанием Священного Писания и Священного Предания, таинств и обрядов Православной церкви и их связи с кругом церковных праздников. В его обязанности входило также приглашение приходских

священнослужителей для отправления молебнов в праздничные дни, хранение сакралий (икон, богослужебных книг, обетных «тканых привесов»), сбор пожертвований в часовенную казну деньгами, хлебом, куделью, холстом или другими приношениями, продажа жертвуемых мирянами в часовню вещей, заказ и приобретение для часовни необходимого количества свечей, выдача прихожанам денежных ссуд, руководство общественными жертвенными пирами, в том числе в выполнении функции жреца, совершающего жертвоприношение животного (барана) в «Бараньих воскресеньях» и варки мяса в котле со святой водой, сбор с крестьян денег за пользование пивоварными часовенными котлами и др. Позднее, в ранний советский период от «великой нужды» в обязанности старосты входило совершение таинства крещения и обряда отпевания. Выполнение этих религиозных функций наделяло часовенного приказчика высоким социальным и сакральным статусом знатока и хранителя Традиции – сокровенного знания законов небесного и земного мироустройства, воплощенного в пространственных формах социально-культурного ландшафта северного мира.



Рис. 4. Тканые заветы. Часовня св. Варвары, д. Матера. Кенозерский национальный парк.
Фото М. Н. Мелютиной 2011 г.
Научный архив ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский»

Важную роль в определении сакрального института часовенных старост играет исследование гендерного фактора. В северной народной традиции служение в часовне было мужским занятием [Лютикова, 1992. С. 150], сохранялось неизблемое правило «женщина в собрании да молчит». По мнению А. А. Панченко, «институт «хранителей» местных святых восходит к синодальному периоду» [Панченко, 2005. С. 265–273]. В кенозерских документах дореволюционной эпохи выявлены пока редкие материалы о приказчиках. Самое раннее свидетельство относится к 1805 году: имя часовенного приказчика часовни св. Иоанна Предтечи в деревне Горбачиха – Иван Филиппов [Письменные..., 2009. С. 535]. В коллективной памяти жителей деревни Фомина (Гора) сохранилась история о старосте часовни Тихвинской Богоматери старике Харине [Давыдов, 1982. С. 89]. Старожилы деревни Усть-Поча вспоминают: «Дедушка Манушкин, он под старосту, он все церковны песни пел и вот в часовенке-то там у Николы Угодника все служил. Нигде не учился, он так служил» [Давыдов, 1982. С. 114]; смотрителем часовни Николая Чудотворца в деревне Горбачиха был Михаил Федорович Юрьев.

Мы обнаружили весьма редкую информацию, свидетельствующую о том, что в Чаженьгском старообрядческом ските, расположенном на сопредельной Кенозерью территории, в «часовне, где собирались для богомоления одни женщины, службу отправляла девица Анна Иванова Синицына или Залеских» [Островский, 1900. С. 2]. Функцию приказчиков-старост начинают исполнять «божественные старушки» во второй половине XX века.

Военные годы изменили «заветные» традиции, и функции часовенного старосты стали частью женской сакральной субкультуры. Воспоминания деревенского сообщества позволяют фиксировать имена и судьбы людей, для которых официальный разрыв с церковью не означал утрату христианских заповедей. Рассказы местных жителей сохранили ценную информацию, которая не могла быть зафиксирована в официальных документах советского периода: «в часовне Тихвинской Богоматери в деревне Шишкино «старушка-староста» продавала свечи по 15 коп. за штуку» (1982 г.) [Давыдов, 1982. С. 89]. Анализ информации, датируемой второй половиной XX века, позволяет сделать вывод о преемственности функций старосты, передаче «службы из рук в руки» членам одной семьи. В часовне Афанасия, архиепископа Александрийского, в деревне Тарасово до конца 1970-х годов (времени упразднения деревни) старостой служила Агафья Александровна Артемьева. Ранее «часовенкой заведовал» ее дед, «старовер-беспоповец». Старостой Ильинской часовни на Мамоновом острове был Н. Ф. Ножкин. «Сорок два года старостой в часовне был и ходил в часовню каждое воскресенье и по праздникам знатным, молился. Вся семья верила и молилась. Пойдешь за стол – помолись. Скажет всегда: подьте в часовню, сегодня праздник – надо Богу почесть отдать. Праздновали мы Илью-пророка. А часовня на таком месте стояла, плывешь по озеру, а она вот на горе стоит», – вспоминает П. Н. Ножкина [Шатковская, 2010. С. 43]. В связи с государственной политикой укрупнения деревень деревня Мамонов Остров вошла в число «неперспективных», и шестнадцать лет семья Ножкиных жила на острове одна. Земной хра-



Рис. 5. Крестный ход в д. Фомина (Гора). 1927 г. Экспедиция Б. М. и Ю. М. Соколовых. Государственный литературный музей

нитель Ильинской часовни трагически переживал перевоз часовни в музей «Малые Корелы» в 1974 году. П. Н. Ножкина вспоминает: «Отец ключ от часовенки не дал, «ставики», «мост» все было ветхое, ломом выламывали дверь. Иконы, книги взяли в музей, а ветхие «заветы» выбросили. Мы вырыли могилку и похоронили их» [Мелютина, 2010]. Через несколько лет после утраты духовной святыни Николай Филиппович умер, не дожив 13 дней до своего столетия. Его дочь Пелагея Николаевна Ножкина стала инициатором возрождения и старостой Никольской часовни в деревне Вершинино. Пелагея Николаевна вспоминает, как в заброшенную часовню собрались женщины, лопатами и топорами отскребли мусор, привели часовню в порядок: «Все иконы были украдены. А теперь люди несут обратно. Приду, на крыльце иконки стоят. Я их святой водой вымою и ставлю в часовню» [Шатковская, 2010. С. 43]. В светлом образе хранителя часовни Н. Ф. Ножкина, держателя ключей «земного часовенного рая» с распахнутой голубиной его небес, прозревается архетипическая схема ритуала жертвоприношения, в котором происходит отождествление жреца, жертвы и бога-адресата жертвенного дара. Наиболее яркие примеры – ритуал ашвамедхи и мифология скандинавского бога Одина, приносящего на древе себя в жертву самому себе.

Анна Григорьевна Шишкина была старостой в часовне св. Пророка Илии в деревне Свиное в 1980-е годы [Давыдов, 1982. С. 109]. В свидетельствах 1980-х годов сохранилась информация о старостах утраченной часовни Тихвинской иконы Божией Матери в деревне Шишкино: «В роще у нас на Шишкино тоже много икон было, иконостас был на стене, потолок рисованный, был ящик, деньги спускали, Буянова Таня заведовала, кто-то все унес, поджег, на месте вся сгорела», за часовней также «Сищина Парасковья ходила, приглядала» [НА, Мелютина].

Хранительницей часовни св. Флора и Лавра, ее ангелом-хранителем в старинной деревне Семеново была Анна Федоровна Силуянова. Она завершила свой жизненный путь в 91 год, оставив на земле частичку своей богатой и щедрой души. «Ее живительный свет, – пишет Е. Ф. Шатковская, – навсегда останется на просторах бесчисленных озер, в облаках кенозерского неба, в сердцах людей и в истории нашего края» [Шатковская, 2010. С. 84].

Хранительницы кенозерских часовен Александра Александровна Капустина и Анна Александровна Семенова (часовня св. Иоанна Богослова в деревне Зехново), Валентина Федоровна Сивцева (часовня св. Антония Сийского в деревне Поромское) являют пример земного подвига

служения священной традиции мирского религиозно-социального устройства, сохранения Кенозерского природно-культурного ландшафта, который становится ландшафтом памяти всех тех, кто призван Севером, кто причастен его сокровенному знанию, его Свету Невечернему.

Литература

Бернштам Т. А. Приходская жизнь русской деревни: очерки по церковной этнографии. СПб.: Наука, 2007. 311 с.

Богословский М. М. Земское самоуправление на Русском Севере в XVII веке. Ч. 1. М.: Синодальная типография, 1909. 425 с.

Государственный архив Архангельской области (в тексте – ГААО).

Давыдов А. Н. Этнографическая проблематика изучения Кенозерья // Разработка научной документации для проектируемого национального парка на Кенозере Плесецкого района Архангельской области. Архангельск. Т. 2. 1982. Машинопись. Научный архив ФГБУ Национальный парк «Кенозерский». КНП н/а № 173. 131 с.

Демчук Г. В. Из истории Куростровской церкви Двинского уезда // Традиционная культура Русского Севера: истоки и современность. Архангельск: Правда Севера, 2009. С. 207–217.

Древнерусский приход и его пережитки в церковно-общественной жизни Архангельской епархии. Архангельск, 1916. 23 с.

Замятин Д. Н. Культура и пространство. Моделирование географических образов. М.: Знак, 2006. 485 с.

Кольцова Т. М. Небеса и иконы Кенозерья // Небеса и окрестности Кенозерья. Расписные потолки, иконы, деревенские часовни и церкви, составляющие историко-культурный ландшафт Национального парка «Кенозерский» / Отв. ред. И. Остаркова, Е. Шатковская. М.: Легейн, 2009. С. 74–79.

Линник Ю. В. Вознесение. Петрозаводск: Музей Русского Севера, 2007. 16 с.

Линник Ю. В. Новгород Великий и Русский Север. Петрозаводск: Музей Русского Севера, 2006. 72 с.

Лосский В. Н. На страже истины. М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2007. 235 с.

Лютикова Н. П. Пинежские часовни по письменным источникам XVIII–XIX вв. // Русский Север: Ареалы и культурная традиция. СПб.: Наука, 1992. С. 148–164.

Лютикова Н. П. Часовни в жизни северного крестьянства (по архивным материалам) // Небеса и окрестности Кенозерья. Расписные потолки, иконы, деревенские часовни и церкви, составляющие историко-культурный ландшафт Национального парка «Кенозерский» / Отв. ред. И. Остаркова, Е. Шатковская. М.: «Легейн», 2009. С. 52–60.

Мелютина М. Н. Полевой дневник 2010 г.

Научный архив ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский» (в тексте – НА). Паспорт д. Мимино, электронная запись, информант – Тюхтина Н. М. (г. р. 1950, д. Мимино). Паспорт д. Мамонова, электронная запись, информант – Ножкина П. Н. (г. р. 1923, д. Мамонова). Полевые материалы Мелютиной М. Н. Экс-

педия в Плесецкий сектор Парка Т. Р. Вальковой, О. Н. Климовой, А. И. Анциферовой, 2011 год. Полевая запись Т. Р. Вальковой.

Национальный архив Республики Карелия (в тексте – НАРК).

Островский Д. Каргопольские «бегуны» (Краткий исторический очерк). Петрозаводск, 1900. 22 с.

Павлов-Сильванский Н. П. Феодализм в России. М.: Наука, 1988. 678 с.

Панченко А. А. Образ старости в русской крестьянской культуре // Отечественные записки. 2005. № 3. С. 265–273.

Письменные источники о храмах Кенозерья // Небеса и окрестности Кенозерья. Расписные потолки, иконы, деревенские часовни и церкви, составляющие историко-культурный ландшафт Национального парка «Кенозерский». М.: Программа «Первая публикация», 2009. С. 534–537.

Российский государственный архив древних актов (в тексте – РГАДА).

Токмаков И. Историко-статистическое и археологическое описание Челмогорской мужской пустыни. М., 1896. 72 с.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ:

Мелютина Марина Николаевна

Зам. директора по научной работе
Национального парка «Кенозерский»
ул. Набережная Северной Двины, 78,
г. Архангельск, Россия, 163000.
эл. почта: nauka@kenozero.ru
тел.: 89600006285

Теребихин Николай Михайлович

Директор Центра сравнительного религиоведения
и этносемиотики
Института социально-гуманитарных и политических наук,
д. филос. н.,
профессор кафедры культурологии и религиоведения
ул. Набережная Северной Двины, 78,
г. Архангельск, Россия, 163000.
эл. почта: terebihinn@mail.ru
тел.: (8182) 653128

Топоров В. Н. Об одном архаичном индоевропейском элементе в древнерусской духовной культуре – *Svet // Языки культуры и проблемы переводимости. М.: Наука, 1987. С. 184–226.

Юшков С. В. Очерки из истории приходской жизни на Севере России в XV–XVII вв. СПб: Типография А. Александрова, 1913. 139 с.

Успенский Б. А. Филологические разыскания в области славянских древностей. М.: Изд-во Московского университета, 1982. 244 с.

Фрейман Н. Придорожная часовня – пережиток древнего «погребения на столбах на путях» // Советская этнография. 1936. № 3. С. 86–88.

Шатковская Е. Ф. Кенозерский национальный парк // Небеса ручной работы. Расписные потолки и иконы из храмов Кенозерского национального парка: каталог выставки / Сост.: Т. М. Кольцова, М. Н. Мелютина. Северодвинск, 2010. С. 6–87.

Шургин И. Н. Часовни Кенозерья // Старообрядческая культура Русского Севера: тезисы докл. и общ. науч.-практ. конф. / Науч. ред. и сост. Н. И. Решетников. М.; Каргополь, 1998. С. 117–120.

Melyutina, Marina

78 the Bank of the Northern Dvina river,
Archangelsk, Russia, 163000.
e-mail: nauka@kenozero.ru
tel.: 89600006285

Terebikhin, Nikolay

The Head of Department
78 the Bank of the Northern Dvina river,
Archangelsk, Russia, 163000.
e-mail: terebihinn@mail.ru
tel.: (8182) 653128

УДК 903/470.22

ЛАНДШАФТ И ЛЕГЕНДЫ О НАЗНАЧЕНИИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПРИРОДНЫХ И РУКОТВОРНЫХ КАМЕННЫХ ОБЪЕКТОВ В ОБОНЕЖЬЕ*

К. К. Логинов

Институт языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН

В статье кратко характеризуются работы предшественников, даются пояснения к таким понятиям, как «Обонежье», «культурный ландшафт в древние эпохи», обосновывается авторское определение понятия «каменные культовые комплексы древности». При исследовании феномена основное внимание уделяется тем древним комплексам субрегиона, относительно которых существует много спорных вопросов. Также приводится новая, прежде не известная научному сообществу информация о культовых каменных комплексах Обонежья. Далее автор критикует прежние определения понятия «культовые камни» и предлагает свое, приводит уточняющую, малоизвестную и не известную прежде информацию по данному феномену, высказывает собственную точку зрения по наиболее дискуссионным вопросам, касающимся культовых камней Обонежья. Она сводится к тому, что существующая в современной науке Карелии методика, позволяющая исключать из разряда культовых каменные сложения горы Воттоваара, а также не считать «саамскими» каменные артефакты, подобные артефактам побережья Белого моря, в Обонежье малоэффективна.

К л ю ч е в ы е с л о в а : Карелия, каменные культовые комплексы, культовые камни.

K. K. Loginov. LANDSCAPE AND LEGENDS ABOUT THE PURPOSES AND AFFILIATIONS OF NATURAL AND MAN-MADE STONE OBJECTS IN OBONEZHJE

The paper briefly characterizes previous studies of other researchers, provides explanations for notions such as “Obonezhje” and “cultural landscape” in ancient time, substantiates the author’s own definition of the ancient “ritual stone complexes” concept. The focus in the investigation of the phenomenon is on those ancient complexes of the subregion that raise disputable questions. We also provide new information previously unknown to the scientific community concerning Obonezhje ritual stone complexes. Former definitions of the “cult stones” concept are criticized, and the author’s own definition is suggested; more specific, little known or previously unknown information on the phenomenon is reported; the author’s viewpoint on the most disputable problems concerning Obonezhje cult stones is expressed. The principal message is that the technique used by modern science in Karelia, which helped exclude stone structures of Mt. Vottovaara from the “ritual” category, and avoid attributing stone artifacts similar to those on the White Sea coast to the Sámi, is hardly ever effective in Obonezhje.

Key words: Karelia, ritual stone complexes, cult stones.

* Статья выполнена при финансовой поддержке Программы фундаментальных исследований секции истории Отделения историко-филологических наук РАН «Нации и государство в мировой истории».

Написание статьи, посвященной каменным культовым комплексам и культовым камням на территории Обонежья, облегчается для автора наличием большого числа научных работ, сделанных предшественниками. Специалистами в области древнего климата и палеогеографии еще в прошлом веке была исследована история формирования древних ландшафтов Обонежья, а также их изменения со времен появления здесь первых поселений человека [Елина, 1981; Елина, Филимонова, 1999; Девятова, 1984, 1986, 1988; Девятова, Лобанова, Филатова, 1987]. Культовые комплексы и культовые камни Обонежья уже частично описаны в монографии И. В. Мельникова «Святылища древней Карелии» [Мельников, 1998]. Устаревшие научно-теоретические постулаты, на которые опирались И. В. Мельников и другие авторы, работавшие в рамках интересующей нас проблемы [Мулло, 1966, 1984; Шахнович, 1994; 2006; Манюхин, 1996 и др.], уже получили заслуженную критику [Косменко, 2007; 2009; Природный..., 2009]. Так что автору остается лишь привести новые данные по Обонежью, не известные в свое время И. В. Мельникову, а также выступить с предложением по усовершенствованию научных подходов к решению проблем, обозначенных в заголовке статьи.

Первым делом следует определиться с понятием «Обонежье». Это район в юго-восточной Карелии вокруг Онежского озера. Указанным понятием уже более 100 лет оперируют специалисты, занимающиеся изучением народной культуры карелов, вепсов и русских, обживших эти территории [Майнов, 1877; Барсов, 1885; Логинов, 2000; История..., 2001 и др.]. Подразумевается, что Обонежье включает в себя пространства, прилегающие к берегам Онежского озера на расстояние 60–90 (местами более) километров, реже – современного административного района. В статье встретится также понятие «Заонежье». Этнографическое Заонежье представляет собой Заонежский полуостров, глубоко вдающийся с севера в Онежское озеро, следовательно, оно располагается в географическом центре Обонежья. Следует также постулировать, что под «культурным ландшафтом» принято подразумевать вид местности, измененный деятельностью человека [<http://ru.wikipedia.org/wiki/Ландшафт>].

В древности в Обонежье люди обживали зоны у береговой линии. Уровень воды в водоемах не оставался неизменным. В Онежском озере к началу заселения человеком южной Карелии он на 40 и более метров превышал современный.

На этих высотах древнейшие в Обонежье мезолитические стоянки были открыты почти случайно – при прокладке Беломорканала [Земляков, 1935]. Люди покинули места древнейшего заселения, как только понизился уровень воды в озере. Ныне эта территория в хозяйственном отношении практически не используется, поэтому новых открытий ждать не приходится. Нет также шансов обнаружить культовые комплексы и культовые камни прибрежных ландшафтов в период наибольшего исторического обмеления Онежского озера 7800–7700 лет назад [Филатова, 2009. С. 15], ибо береговые террасы с поселениями этого периода пребывают под водой. Не будут обнаружены никогда также культовые артефакты, созданные людьми древних эпох из дерева. А они имелись. Доказывает это практически полное отсутствие повторных и поперечных захоронений на мезолитическом Оленеостровском могильнике Онежского озера [Гурина, 1956]. Поскольку могилы на поверхности не обозначались какими-либо сооружениями из камней, то избежать поперечных и повторных захоронений могли только за счет каких-то не дошедших до нашего времени наземных сооружений из дерева или отметин на растущих деревьях. Тем самым культурный ландшафт этого кладбища не мог не выделяться на фоне природных ландшафтов Оленьего и иных островов Онежского озера. Уровень прибрежных вод прочих древних эпох от современного уровня отличался не сильно, поэтому древние каменные культовые комплексы и культовые камни в Обонежье время от времени обнаруживаются. Места их локализации, как правило, были приближены к древним поселениям и стоянкам, находить которые археологи Карелии давно уже научились.

В монографии И. В. Мельникова многократно встречается словосочетание «древние культовые комплексы», но определение данного понятия не приводится. Не удалось нам разыскать такого определения и в статьях в Интернете, сообщающих о различных культовых комплексах. Следовательно, будем считать, что ими можно называть «*выполненные в камне древние артефакты культового предназначения*».

На сегодняшний день артефакты, еще недавно именуемые «каменными культовыми комплексами Воттоваары и Кивакки», карельское научное сообщество с подачи М. Г. Косменко больше таковыми не признает. Так что не вызывает никаких вопросов отнесение к древним культовым комплексам лишь скал с имеющимися на них петроглифами. В Обонежье они обнаружены на скальных спусках к воде на островах и берегах Онежского озера, несколько

севернее и южнее устья реки Шалы. Как бы ни спорили между собой исследователи по поводу смысла и предназначения петроглифов, никто еще не утверждал, что они делались в сугубо мемориальных либо эстетических целях. Пусть и промысловое, но все же ритуальное (а следовательно, и культовое) их предназначение признавали даже самые завзятые материалисты вроде А. М. Линевского [Линевский, 1939]. Поэтому места, на которых древний человек выбивал свои петроглифы, мы имеем право считать древними каменными культовыми комплексами.

В этой связи укажем, что традиция покрывать поверхность скал рукотворными знаками в Обонежье не ограничивалась использованием петроглифов. По крайней мере, однажды она снова обнаружила себя в регионе и просуществовала с эпохи Средневековья до 1950-х годов. Речь идет об урочище Красная Щельга на северо-западе Заонежского полуострова (на территории бывшего Красносельского сельсовета). Согласно рассказам информантов, там располагалась священная для заонежан скала, к которой они отправлялись исключительно по завету («Если выздоровею, то не пожалею времени и схожу туда»). Придя в урочище, вырезали ножом или топором в мягкой красноватого цвета породе скалы особые знаки. Знаками служило изображение занедужившего органа (руки, ноги, головы и т. п.) или рисунок, обозначающий человека в целом. В качестве такового выступало семейное клеймо, которым хозяева метили свои ловушки в озере, помечали деревья, растущие на пограничных с соседями межевых полосах. Наш информант утверждал также, что видел знаки из пары старинных (славянского алфавита) букв или современной фамилии человека [Логинов, 1992. С. 63]. Поскольку поход к скале в урочище Красная Щельга носил ритуальный характер (соответствовал паломничеству верующего в монастырь с целью возвращения утраченного здоровья), правильным будет вывод, что Красная Щельга – это не что иное, как одна из разновидностей исторически позднего каменного культового комплекса.

По мнению И. В. Мельникова, к числу каменных культовых комплексов конца неолита – начала бронзового века должна быть причислена одна из поверхностей скалы острова Колгострова с двумя десятками искусственного происхождения «чашеобразных» углублений. На ней же имеются знаки в виде окружностей и овалов «часто концентрических, которые иногда пересекаются 1–2 диаметральными линиями» [Мельников, 1998. С. 69–70]. Природа людей такова, что «от делать нечего» разукрашивать

скалу они бы не стали. Практической потребности в таких действиях не было, она могла возникнуть лишь в области ритуальной. Таков примерно ход рассуждений И. В. Мельникова. И автору данной статьи он представляется вполне оправданным.

Уверенно как о сложном культовом комплексе И. В. Мельников говорит об артефактах заонежского острова Радколье [Агапитов, Мельников, 1992; Мельников, 1998. С. 77–87]. Археологические исследования последних лет на этом острове тоже свидетельствуют в пользу данного мнения. На крохотном островке, состоящем из монолитной скалы да каменных россыпей кое-где по берегам, а потому непригодном для длительных стоянок древних эпох, К. Э. Герман и И. В. Мельников зафиксировали 7 стоянок. Остатки древних культур от мезолита до железного века они находили фактически везде, где есть более-менее ровная площадка и слой почвы [Из доклада К. Э. Германа и И. В. Мельникова на конференции «Рябининские чтения-11»]. Пока же ими опубликована информация лишь о раскопках на Радколье I [Герман, Мельников, 2011]. Конечно, наличие обильного археологического «мусора» говорит лишь о древности использования людьми острова, а не о его святости в прошлых эпохах. Автор данной статьи, имевший честь лично опрашивать информантов и выяснять, является или нет пресловутый «Радкольский Идол» «духом-хозяином» острова, ни за что не согласился с утверждениями, что «никаких обрядовых действий на острове никогда не производилось», «никаких идолов на Радколье нет, а одни лишь камни». Это уже явный критический перебор, откровенный нигилистический крен, противоположный тому, что существовал в научном сообществе Карелии до критических статей М. Г. Косменко. Да, не существует надежных топонимических доказательств «древнесаамского возраста» святилища. Их и не будет. Археологические артефакты говорят о более древнем, чем древнесаамский, возрасте возникновения святилища на этом острове. Но народный праздник Радкольского воскресенья, справляемый заонежанами в последнее воскресенье перед Ивановым днем (7.07 н. ст.), – это несомненный отголосок дохристианской традиции встречи лета в день реального (не календарного, как у православных русских) солнцестояния. Мы не знаем ни древних мифов, ни обрядности древнего праздника на острове Радколье, но ритуальность устройства праздника в самый длинный день лета не вызывает сомнений. Считается доказанным, что регулярно повторяющийся праздник в древности был

ритуальным способом «обновления основного мифа» [Байбурин, 1993]. Празднуя Пасху, мы и ныне на «ритуальном уровне» занимаемся «обновлением основного мифа» христиан о добровольной смерти и воскрешении Христа.

Если верно мнение Ю. А. Савватеева, что природным камням антропо-зооморфные формы в южной Карелии начали придавать лишь с эпохи раннежелезного века [Устное сообщение Ю. А. Савватеева], то подобную практику следует связывать со временами расселения в Обонежье древних саамов [Манюхин, 2002]. Камень, напоминающий бородатого человека, на обращенном к северо-востоку высоком уступе скалы (именно его называли «Идолом») не имеет следов искусственной обработки [Логинов, 2010, рис. 1]. А вот другой камень в виде верхней части черепа [Мельников, 1998, рис. 34; Логинов, 2010, рис. 2] имеет «глазницы» явно искусственного происхождения. Мало того, по сведениям информантов, еще в первой половине XX века под глазницами красовался острый, загнутый вниз («как клюв у хищной птицы») нос [НА, ф. 1, оп. 50, д. №1103, л. 11–12],

отчего весь камень получал сходство с головой хищной птицы. Как тут не вспомнить идею В. А. Агапитова о проживании в архипелаге Кижские шхеры «птичьих» родов [Агапитов, 1992]!

Традиция придавать с помощью искусственной обработки антропоморфное сходство камням природного происхождения зафиксирована и на соседнем Орошострове. В западной части острова, непригодной для земледелия, имеется еще минимум два каменных артефакта, претендующих на звание «идолов». Фотографию одного из них автор опубликовал в газете «Neuvosto-Karjala» в 1988 году [Loginov, 1988]. Археологу А. М. Спиридонову этот идол, стоящий на краю крутого обрыва, показался даже более «похожим на человека», чем «Идол» с острова Радколье. Фото еще одного идола с западной оконечности Орошострова (лежащего на левой «щеке» и с самого неудачного ракурса – сзади) можно видеть на форзаце обложки работы В. А. Агапитова «Топонимия Кижей» [Агапитов, 2000]. Имеются на этих двух островах и другие артефакты, которые при желании можно принять за культовые камни (на Орошострове



Рис. 1. Центральный камень, напоминающий повернутую влево голову собаки, на комплексе у д. Куднаволоок. Фото автора

как минимум – кладки из плитняка, по форме напоминающие оленя, медведя, изготовившуюся к прыжку лягушку, или каменные кладки в виде концентрических кругов на о. Радколье).

В одном из разделов работы И. В. Мельникова, посвященной каменным культовым комплексам, особо выделены «кольцеобразные сооружения из камней-валунов, диаметром 6–9 метров, внутри которых имелась фигура из камня, напоминающая человека, птицу или животное». Ссылаясь на А. Воррена (A. Vorren), Мельников причислил такие комплексы к «рыбопромысловым жертвенникам «дохристианских саамов», кратко описал известные ему комплексы [Мельников, 1998. С. 61 и др.]. Но в его работе отсутствуют сведения о таком же комплексе, расположенном на гладкой вершине острова Козий в восточной части озера Кончезера. Ничего не сказано о комплексе вблизи уже исчезнувшей заонежской деревни Лопская (недалеко от Шуньги). Центральный камень здесь похож на голову собаки или змеи (рис.1). Кроме того, В. А. Агапитов сообщил как-то автору в личной беседе, что похожий каменный комплекс он обнаружил на скальной площадке на старинной тропинке, ведущей из Марциальных Вод к деревне Галезеро. В переводе с карельского название этого места означает «буйные камни».

Следует указать, что антропо-, зоо- или орнитоморфные камни на древних комплексах выделялись не только постановкой их в центре круга из равноудаленных валунов. На острове Курьский в западной части озера Водлозера зооморфный камень оказался включенным в вал из природных валунов, образующих круг с тщательно расчищенной от камней серединой (рис. 2, 3). На месте этого камня водлозерам видится сидящая русалка. С восточной стороны в круге сделан проход, оборудованный 3 каменными «ступенями» из плоских камней. Игрой природы все это вместе взятое не объяснишь. О культовом использовании комплекса не сохранилось даже легенд. В начале XX века рядом с кладками древнего комплекса была погребена одна из местных ведуний [Логинов, 2010. С. 376]. Впрочем, применительно к древности этот факт ничего не доказывает, а археологические изыскания на о. Курьском не производились. Стоит также сообщить, что камень, по форме очень схожий с зооморфным камнем острова Курьский (он тоже выделяется своим розоватым цветом и крупными размерами среди прочих валунов побережья), имеется на северной оконечности о. Малого Колгострова, метрах в 150 от стен Ильинского Водлозерского погоста. При высоком уровне воды

рядом с этим и еще тремя (тоже приметными, розоватого цвета) камнями явственно прослеживаются небольшие каменные кладки в виде колец, заполняемых водой. Когда уровень воды в Водлозере понижается, становится видно, что от большого камня к прежней береговой террасе ведет освобожденная от камней тропинка, а на окраине террасы просматривается кольцевое углубление (диаметром чуть больше метра, глубиной до 40 см). Чуть левее имеется каменная кладка из мелких камней, формой напоминающая лодку-долбленку [НА, ф. 1, оп. 50, д. №1039, л. 3–11]. Было ли все это древним культовым комплексом, Бог весть. Однако монахи расположенной на острове Ильинской Водлозерской кинновии уже пытались сокрушить кувалдами «главного идола» и сильно его поколотили. И это наглядно показывает, сколь опасным для древних комплексов бывает даже одно распространение информации об их существовании.

Теперь обратимся к понятию «культовые камни». В русскоязычной компьютерной версии мировой энциклопедии («Википедии») имеется не очень удачное определение, предложенное В. Мизиным. В краткой версии оно звучит так: *культовые камни – «это валуны (либо группы камней), связанные с тем или иным древним верованием»* [Мизин, 2004. С. 1]. А разве нельзя к культовым причислить «валун либо группу камней», относительно которых не сохранилось устных преданий? А как же тогда рассматривать Стоунхендж и менее известные древние сооружения в виде группы камней?

В Обонежье, по мнению А. П. Журавлева и И. В. Мельникова, к культовым следует причислить валуны зооморфной формы стоянки Пегрема-40 на одноименном острове в западной части Онежского озера [Журавлев, 1992; 1996; Мельников, 1998. С. 72–73]. Камни расположены на той же террасе, что поздненеолитическое поселение, а некоторые из них окружены скоплениями мелких камней в виде окружностей, внутри которых имеются небольшие кострища и линзы охристого песка. Мельников полагает, что по совокупности признаков они вполне могут считаться культовыми, поскольку в археологической литературе определяются как «остатки древних погребений» [Мельников, 1998. С. 26, 73]. К предположениям А. П. Журавлева и И. В. Мельникова в научной среде Карелии принято относиться с большой долей скепсиса. Оно и понятно: оба автора проводили свои исследования в рамках прежней научной тенденции, берущей начало с трудов краеведа И. М. Мулло, приписывать чуть ли не любому валуну орнито-зооморфной или антропоморфной формы культовое значение.



Рис. 2. Зооморфная фигура комплекса о. Курьский.
Фото автора

В пространной версии определения «культурные камни» вышеупомянутого В. Мизина все смешалось в одну кучу: «Отличительными признаками таковых (культурных камней. – К. Л.) являются знаки-петроглифы... чашевидные выемки... следы человеческих стоп и ладоней либо другие символы (среди которых встречаются прямые и косые кресты, руноподобные знаки и т. п.), а также камни без нанесенных на них изображений, но этнографически привязанные к какому-либо культу, ритуалу, обычаю или легенде». В данном случае мы имеем классический пример неудачной попытки создать определение с помощью широкого набора признаков, которыми может обладать определяе-

мый феномен. Тем не менее иметь адекватную дефиницию все же необходимо. Автор бы предложил считать культурными камнями *валуны (либо группы камней), связь которых с некими культурами прослеживается методами археологии, археографии либо фиксируется устными преданиями.*

Теоретическая значимость обсуждаемого вопроса автору представляется настолько важной, что требуется подробно осветить вопрос: «Можно ли отнести к числу культурных обломок скалы, закрепленный в вертикальном положении с помощью четырех более мелких камней (рис. 4) на южном мысу залива Пига-лахта на Водлозере?» Артефакт, по рассказам



Рис. 3. Общий вид на комплекс о. Курьский. Фото автора



Рис. 4. Культурный камень «Окаменевшая волна» в музейной экспозиции на Красной горке г. Вытегры. Фото неизвестного

еще и ныне здравствующих водлозеров [Устное сообщение Н. В. Червяковой], был возведен пастухами-саамами ранней зимой 1964 года. Установили его (углубление в земле от первоначального положения камня до сих пор просматривается) после того, как поблизости отыскали стадо домашних оленей, сбегавших с плохо огороженных пастбищ колхоза поморского села Гридино. Мы не знаем главного: был ли около сейда совершен обряд благодарения духов-хозяев Пигалахты за обретенное в поисках стадо, поэтому имеем право говорить лишь о «мемориальном» (в честь конкретного события) характере установки этого артефакта. Но если бы историческая память водлозеров не зафиксировала факт установки этого сейда именно саамами, какое бы заключение сделали археологи относительно древности и этнической принадлежности его создателей? Скорее всего, они в чем-нибудь да впали бы в заблуждение. Для данной же статьи приведенный факт важен тем, что саамы (именно они, а не кто другой!) все-таки создавали в Обонежье так называемые сейды. Принадлежность же их этому народу, как и сам факт существования в Обонежье именно сейдов, а не случайного нагромождения камней, принимаемых за сейды, частью петрозаводских историков в наши дни нередко голословно отрицается.

Рассуждая о святынях древней Карелии, И. В. Мельников много и подробно говорит о «Звонком камне» с острова Колгострова в Онежском озере, пытаясь доказать древний культовый характер его использования [Мельников, 1998. С. 68–70]. Относительно реалий конца XIX – начала XX века у него это получается, относительно древности – не очень. На Водлозере, к примеру, имеется два острова Колгострова, и оба – без «звучащих камней». Зато свой «Звонкой камень» имелся в деревне Вама, и вокруг нее не было топонимов на «колг»*. Топоним «Вама» имеет до-саамское происхождение [Муллонен, 1995]. И на Колгострове в Заонежье, и на Ваме в Водлозерье местное население задействовало «звучащие камни» в ритуалах праздника встречи лета на Иванов день. Однако археологических раскопок, которые могли бы подтвердить или опровергнуть предположения о древности ритуального использования «звучащего камня» с берегов Вамы, никто пока не сделал.

* Камень был разбит ударом лома при попытке извлечения из него звука присланными из города на уборку урожая рабочими.

На генетическую связь с древними саамами в Обонежье может претендовать (пока только претендовать) камень «Тобот», к которому молодежь из села Суйсарь ежегодно ходила устраивать свои гуляния на Иванов день [Логинов, 1997. С. 197]. Внешне он похож на «Чуманный камень» (что у саамского пос. Евезеро) с фотографии, помещенной в работе А. Я. Брюсова «История древней Карелии» [Брюсов 1940, С.175]. Камень внешне напоминает гриб-валуй («воткнут» тонким концом в землю, а сверху шляпообразное расширение). Но дело как раз не в схожести форм «Тобота» с конкретным саамским сейдом. У карелов слово «тобот» является заимствованным из языка саамов, переводится оно как «большой» [Муллонен, 1998. С. 210]. Под этим камнем в дождь спасались до десятка человек, под ним было сразу три ключа, молодежь у «Тобота» ежегодно справляла обряды встречи лета [Логинов, 1997. С. 127]. Проводились ли ритуалы под «Тоботом» во времена древнесаамские, мы не знаем. Помочь ответить на данный вопрос, определить древность ритуального использования камня могли бы археологи. Пока этого не сделано.

Существует несколько классификаций культовых камней. Что ни автор, то классификация. Поэтому не хуже других будет предложенная И. В. Мельниковым [Мельников, 1998. С. 106–119]. К ней следует добавить лишь номинацию камней, ассоциируемых с главным символом христианства – крестом. Таковым в Обонежье является, например, каменный крест из часовни в д. Вороний Остров в Заонежье. Некоторые камни из этой, условно говоря «христианской», номинации несут на себе изображение креста, созданное игрой природы. Таков, например, «Крестовый камень» на Водлозере у д.Коско-салма, на котором, по народным преданиям, святой Диодор Юрьевгорский переправился через озеро в начале XVII века [Червякова, 2001, рис.1, С. 283]. В дохристианский период подобные камни в природном ландшафте не воспринимались как некое чудо. Таковыми их сделали более поздние эпохи. Описаний обонежских каменных артефактов с природными углублениями, воспринимаемыми в качестве следов воздействия на них нечистой силы или святых православного христианского пантеона, в труде И. В. Мельникова приводится довольно много [Мельников, 1998. С. 106–119]. Нет, пожалуй, там только примера того, как артефакт, священный для периода древности, остался столь же священным и в эпоху христианства.

Речь идет о шлифованном неолитическим способом камне в виде окаменевшей волны, столетиями хранившемся под иконами часов-

ни д. Кюршево, что располагалась на юго-восточном берегу Онежского озера. Согласно сохранившемуся среди вытегоров преданию, на этом камне восседал Андрей Первозванный, когда чудесным образом переплыл Онежское озеро, чтобы проповедовать слово Божие диким обитателям края. Неизвестно, где хранился данный артефакт в период древности и раннего средневековья, но от непогоды его точно укрывали. Выставленный же на открытый воздух в 1980-х годах, этот камень уже потерял прежнюю красоту и гладкость поверхности от поселившихся на нем лишайников (рис. 4). Пребывание под открытым небом в зной и холод привели к образованию на нем протяженных трещин, которые довольно скоро расколют его на несколько частей. Если меры к сохранению древнего артефакта под надежной крышей и в условиях мало меняющейся в течение дня температуры не будут приняты, мы его потеряем. Ну как тут не поддержать точку зрения И. И. Свириды о том, что «геологические и биологические элементы ландшафта – горы, воды, флора и фауна – были тем начальным, что в наземном мире подлежало повседневному использованию и осознанию, которое началось с сакрализации и мифологизации ландшафта» [Свирида, 2007. С. 12]. Как видим, в наш рациональный век, с окончанием мифологизации и сакрализации древнего артефакта, ему начало угрожать не просто забвение, но окончательное и бесповоротное разрушение, которого люди не допускали, пока камень воспринимался в качестве ритуального объекта.

Среди культовых камней исследователи всегда особо выделяли камни, именуемые сейдами «на ножках» и сейдами «с головкой». В первом случае имелся в виду любой массивный камень, который покоится на двух или более мелких камнях-подпорках, а во втором – массивный камень, на котором один на другом покоятся два и более камня, обычно убывающего снизу вверх диаметра [Манюхин, 1996, рис. 84–88]. В Обонежье таковые встречаются редко. В Карелии в качестве мест скопления подобных камней обычно называются горы Воттоваара и Кивакка, расположенные весьма недалеко от Онежского озера. Автор ничего определенного не может сказать о горе Кивакка, но информанты автора, посетившие гору Воттоваара, часто вспоминают о гнетущем впечатлении, которое остается от пребывания на ее склонах. Эта гора ныне стала туристским брендом Карелии, неотвратимо притягивающим современных эзотериков. Прежде бывать на ней избегали, как и на любом месте, пользующемся в народе дурной славой. Лишь однажды автору удалось за-

писать, что подобная территория все-таки регулярно навещалась, точнее – пересекалась. Речь идет о местности на западном побережье Заонежского полуострова, чуть севернее д. Высокая Нива, от которой тянется весьма протяженная песчаная отмель к противоположному восточному берегу Онежского озера. Крестьяне Высокой Нивы невольно попадали в весьма изощренную транспортную «ловушку»: на объезд отмели в лодке они бы потратили световой день, а прямая дорога к полям и покосам проходила вплотную к «нечистому месту», отмеченному особым камнем.

Информанты автора, супруги Чиркины (хозяйка была родом из этой деревни), описывали его как «старинную пулю* из камня, поставленную на три маленьких камешка-подпорки», т. е. как классический сейд «на ножках». Появление данного камня на берегу Онежского озера объяснялось старинной легендой. Согласно легенде в Высокой Ниве некогда жил самый сильный колдун Заонежья, который «заведовал» самым сильным чертом всей Обонежской округи. Колдун выдал свою любимую дочь замуж за озеро. Он сильно скучал по ней, но в период ледохода или ледостава съездить и проведать не мог, несмотря на все свои колдовские возможности. Поэтому колдун приказал черту отсыпать песком дорогу через озеро, по которой он смог бы в любую погоду ездить в гости на тот берег. По легенде дорога уже была почти готова, когда в берестяном кошеле, которым черт таскал песок для отсыпания дороги, оторвалась заклепка с правой лямки. По причине порчи средства транспортировки песка «мост» через Повенецкую губу Онежского озера остался недостроенным, а заклепка (она и есть культовый камень) якобы упала на берег и с тех пор так и лежит на этом месте. Не беда, если бы «заклепка» просто лежала на своем месте. Каждый, кто проходил или проезжал мимо нее, начинал слышать непривычный для традиционной крестьянской деревни звук. Пугались не только люди – кони шарахались в сторону и не желали следовать мимо этого камня. Поэтому крестьянами Высокой Нивы был выработан особый дорожный ритуал. Когда ехали с пустыми санями (по хозяйственным делам к полям и покосам даже летом ездили на санях с круглыми, чтобы дольше не стирались, полозьями), то лошадь перепрягали так, чтобы она тащила сани, двигаясь задом наперед. Когда возвращались с гружеными санями, то задом наперед разворачивали также и

* То есть как шар, разрезанный посередине горизонтально. Выпущенная из гладкоствольного ружья, она точнее ложилась в цель, чем пули других форм.

сани. Один человек понукал лошадь, впряженную головой к саням, второй человек, пятясь назад, приподнимал задние концы полозьев, чтобы они не цеплялись за дорогу [НА, ф. 1, оп. 50, д. 1103, л. 7, 11]. Все это выглядело со стороны, наверное, нелепо, но обязательность исполнения крестьянами обрядовых действий для защиты от негативного воздействия* позволяет нам зачислить камень д. Высокая Нива в число культовых камней.

Изложенную здесь информацию автор в разные годы сообщал петрозаводскому археологу И. С. Манюхину и московскому философу профессору В. Н. Демину, автору многих книг «гиперборейской» направленности. К сожалению, оба раза информацией эти люди распорядились неверно. И. С. Манюхин связал вышеизложенные легенды с большим валуном у восточной околицы д. Великая Губа [Манюхин, 1996, рис. 82. С. 346]; В. Н. Демин в своей книге «В поисках колыбели цивилизации» указал правильное название деревни, но поместил не изображение камня в виде «старинной пули на трех ножках», а выдуманное художником изображение нацеленного в небеса двухметрового фаллоса [Демин, 2004, рис. 11]. Если с валуном в д. Великая Губа действительно связаны народные поверья (что около него в полночь нечто «пугает» случайных путников и что однажды за камнем местным колдуном «был скрыт теленок»), то рисунок каменного фаллоса – это чистейшая мистификация. Доказательств «самского» происхождения культового камня у д. Высокая Нива мы не имеем (никто из археологов не копал рядом с камнем), однако сооружение сейда в качестве обозначения места для жертвоприношений в начале сухопутной дороги, существенно сокращающей время в пути, было бы логичным для людей древних эпох.

Что касается культовых камней «с головкой», то таких в Обонежье было как минимум два. Один из них располагался на островке Лебяжем напротив деревни Кривоногово в центре Заонежского полуострова, в 7 километрах от села Толвуя. Согласно сообщению В. Сазонова [АИРГО, разряд 25, оп. 1, д. № 47], на этом острове в начале XX века регулярно собиралась молодежь из деревень Загубье, Лебещина и Кривоногово, чтобы отмечать праздник урожая, который выпадал на день осеннего равноденствия, т. е. на Рождество Пресвятой Богородицы (21.09. н. ст.). Молодые люди привозили с собой в лодках набитое соломой, наряженное в

женское платье чучело, украшенное хлебными колосками. Чучело разрывали руками на части рядом с «каменной бабой», после чего солому поджигали, прыгали через огонь, готовили в костре общую кашу из привезенных с собой продуктов. Согласно местной легенде «каменная баба» была когда-то столь прекрасной девушкой, что в нее влюбился сам сын Небесного владыки. Юноша слетал с небес в образе лебедя, а на острове превращался в прекрасного юношу. Увлечение юноши земной девушкой не осталось незамеченным: отец строго-настрого запретил встречаться с ней. Как юноша перенес разлуку, не сообщается, но девушка так сильно тосковала по своей любви, что Небесный владыка сжалился над ней и обратил ее в камень. С тех пор и повелось, что все брошенные девушки или притесняемые в семье мужа молодые жены ездили на остров Лебяжий к камню, плакали на нем и обнимали его, чтобы избавиться от горькой тоски.

Ни танцы и игры у огня в день осеннего равноденствия, ни наличие в среде заонежан обрядовой практики передачи тоски камню не позволяют говорить о древности культовых практик, связанных с камнем. Но легенда, относящая происхождение «каменной бабы» к архаическим временам, когда языческие боги и люди одновременно сосуществовали на Земле, именно на это и намекает. Окончательный вывод по поводу древности артефакта опять же могли бы сделать археологи. Добавим здесь, что земледельческий культурный ландшафт острова к настоящему времени сильно деградировал, остров густо зарос молодыми березками.

Второй обонежский «камень с головкой» располагался на знаменитом некогда острове Петушьем на озере Водлозере. В камень, согласно преданию, обратилась дочка Ильинского царя водяного, когда ее переправляли на этом острове к жениху, сыну Пречистинского царя водяного [Харузин, 1893. С. 318–322, 338]. Местный колдун сделал так, что остров плыл, пока пел петух. Девушка якобы нарушила колдовской запрет оборачиваться и смотреть в сторону родного дома, после чего движение острова по озеру прекратилось, девушка окаменела, а петух улетел обратно к своему хозяину в деревню Кургиловскую. Обрядовая практика местного населения была аналогичной заонежской (девушки и женщины приезжали «сдавать горе» камню в летнее время года). Прекратилась она, когда местный священник сбросил верхние камни «каменной девки» в озеро. В наши дни Петуший остров зовут Люляостровом. Земли и растительного покрова на нем нет, выглядит он,

* Было ли это следствием ультразвуковых волн, исходящих из земли, или возникало под воздействием прохождения воздуха по рельефу или трещинам камней, не ясно. Главное, что здесь «пугало».

словно каменная отмель в озере. Как и в предыдущем случае или в случае с сейдом у Высокой Нивы, легенда возводит возникновение водлозерского артефакта к временам легендарным (мир мифологических существ и мир людей еще не разделен непреодолимой преградой), т. е. очень-очень древним. Был ли этот сейд создан древними саамами, не ясно. Но на стрелке острова он образовался не случайно. Скорее всего, сложен он был с обычной для старинных времен целью – обозначить ориентир для заброса снастей на рыбацкой тоне либо для жертвоприношений по завершении лова, как это принято было у саамов. Начать ассоциировать его с девушкой, обратившейся в камень, могли намного позднее (в попытках найти материальные свидетельства легенде о сватовстве Пречистинского и Кенозерского водяных к дочке Ильинского царя водяного).

Поскольку ни карелы, ни вепсы, ни русские во времена земледельческого освоения края сейдов не ставили, остается только одно – признать хотя бы часть каменных артефактов Обнежья, выглядящих как «классические» саамские сейды, действительно сейдами, созданными саамами. Тем более что и расположены они в местах доземледельческой хозяйственной деятельности. Отсюда, наверное, может быть сделан вывод, что *культовыми камнями следует считать валуны или группы камней, с которыми была связана культовая практика*. Следовательно, древними культовыми камнями могут быть названы артефакты, древность включенности которых в культовую практику подтверждается археологически либо постулируется древними легендами. Отдельные культовые камни вполне могли входить в более обширные каменные комплексы или древние святилища.

Литература

Агапитов В. А. Об орнитоморфных топонимах островов архипелага Кижские шхеры (отражение родовых и фратриальных связей в топонимии Заонежья) // Заонежье. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 1992. С. 48–60.

Агапитов В. А. Путешествие в древние Кижы. Топонимический очерк. Петрозаводск: Карелия, 2000. 70 с.

Агапитов В. А., Мельников И. В. О древнем культовом комплексе в Заонежье // Обряды и верования народов Карелии. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 1992. С. 151–169.

Археология Карелии. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 1996. 416 с.

Архив Императорского Русского Географического общества (в тексте – АИРГО). – В. Сазонов. Описание обрядов и песен в Заонежье Повенецкого уезда Олонецкой губернии. – Разряд 25, опись 1, дело № 47, 13 л.

Байбурин А. К. Ритуал в традиционной культуре. СПб.: Наука, 1993. 240 с.

Барсов Е. В. Из обычаев обонежского народа (этнографические заметки) // Олонецкий сборник. Петрозаводск, 1875. Вып. II. Ч. III. С. 130–144.

Брюсов А. Я. История древней Карелии // Труды Государственного исторического музея. М.: Наука, 1940. Вып. 9. 320 с.

Википедия ru.wikipedia.org/wiki/Священные_камни

Герман К. Э., Мельников И. В. Новые открытия поселений каменного века в окрестностях острова Кижы // Тверской археологический сборник. Вып. 8. Т. 1. Тверь, 2011. С. 134–140.

Гурина Н. Н. Оленеостровский могильник // Материалы и исследования по археологии СССР. М.; Л., Наука, 1956. № 47. 386 с.

Девятова Э. И. Палеогеография стоянок Шелтозера // Археологические памятники бассейна Онежского озера. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 1984. С. 25–47.

Девятова Э. И. Природная среда и ее изменение в голоцене (побережье севера и центра Онежского озера). Петрозаводск: КарНЦ РАН, 1986. 108 с.

Девятова Э. И. Палеогеография и освоение человеком Карелии // Поселения древней Карелии. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 1988. С. 7–18.

Девятова Э. И., Лобанова Н. В., Филатова В. Ф. Палеогеография археологических памятников группы Пиндуш и Муромское // Препринт доклада на заседании Ученого совета Института геологии 28.12.1987 г. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 1987. 60 с.

Елина Г. А. Принципы и методы реконструкции и картирования растительности голоцена. Л.: Наука, 1981. 159 с.

Елина Г. А., Филимонова Л. В. Этапы развития растительности и климата в восточном Заонежье в позднеледниковье – голоцене // Тр. КарНЦ РАН. Сер. «Биогеография Карелии». Петрозаводск: КарНЦ РАН, 1999. С. 21–27.

Журавлев А. П. Изучение культового комплекса Пегрема-40 // Миграции и связи древних обществ лесной полосы Евразии в эпоху камня – раннего металла. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 1992. С. 16–27.

Журавлев А. П. Пегрема: культовый комплекс. Петрозаводск: Карелия, 1996. 204 с.

Земляков Б. Ф. Работы на строительстве Беломорско-Балтийского канала // Известия Государственной академии истории материальной культуры. М.; Л., Наука, 1935. Вып. 35. С. 11–22.

История Карелии с древнейших времен до наших дней. Петрозаводск: Периодика, 2001. 943 с.

Косменко М. Г. Экологическая и культурная адаптация охотников-рыболовов бронзового, железного веков и морских промысловиков эпохи Средневековья в Карелии // Адаптация культуры населения Карелии к особенностям местной природной среды периодов мезолита – Средневековья. Гуманитарные исследования. Вып. 4. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2009. С. 135–168.

Косменко М. Г. Древности приморской зоны южного и западного Беломорья. Проблемы происхождения и адаптации культуры древнего населения

// Комплексные гуманитарные исследования в бассейне Белого моря. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2007. С. 6–42.

Линевский А. М. Петроглифы Карелии. Петрозаводск: Каргосиздат, 1939. 194 с.

Логинов К. К. О жертвоприношениях в Заонежье // Обряды и верования народов Карелии. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 1992. С. 46–67.

Логинов К. К. Обонежские ритуалы срубания дерева // Живая Старина. 2000. № 3. С. 11–13.

Логинов К. К. Традиционный жизненный цикл русских Водлозерья: обряды, обычаи и конфликты. М.; Петрозаводск: Ун-т Дм. Пожарского, 2010. 413 с.

Логинов К. К. Этнографическое описание села Суйсарь // Село Суйсарь: история, быт, культура. Петрозаводск, 1997. С. 91–157.

Логинов К. К. Этнолокальная группа русских Водлозерья. М.: Наука, 2006. 278 с.

Майнов В. Н. Поездка в Обонежье и Корелу. СПб., 1877. 260 с.

Манюхин И. С. Происхождение саамов (опыт комплексного изучения). Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2002. 241 с.

Манюхин И. С. Саамы (культовые памятники) // Археология Карелии. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 1996. С. 343–353.

Мельников И. В. Святилища древней Карелии (палеоэтнографические очерки о культовых памятниках). Петрозаводск: КарНЦ РАН, 1998. 134 с.

Мизин В. Культовые камни Ленинградской области: краткий обзор и выявление связей с подобными памятниками соседних регионов / Доклад, прочитанный автором в РГО 9.03.04 <http://www.countrysite.spb.ru/Library/cultstonelen/CultStoneL.htm>

Мулло И. М. К вопросу о каменных лабиринтах Беломорья // Новые памятники истории древней Карелии. Петрозаводск, 1966. С. 185–193.

Мулло И. М. Памятники древней культуры на Кузовых островах // Археология и археография Беломорья. Архангельск; Соловки, 1984. С. 99–105.

Муллонен И. И. Заметки о топонимии Водлозерья // Природное и культурное наследие Водлозерско-

го национального парка. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 1995. С. 192–197.

Муллонен И. И. Топонимия Заонежья: словарь с историко-культурными комментариями. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2008. 242 с.

Научный архив Карельского научного центра РАН (в тексте – НА). Фонд 1, опись 50, дело № 1039, 1103.

Природный комплекс Воттоваара: особенности, современное состояние, сохранение. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2009. 158 с.

Свирида И. И. Ландшафт в культуре как пространство, образ и метафора // Ландшафты культуры. Славянский мир. М.: Прогресс – Традиция, 2007. С. 11–42.

Филатова В. Ф. Проблемы изучения экологической и культурной адаптации населения Карелии эпохи мезолита // Адаптация культуры населения Карелии к особенностям местной природной среды периодов мезолита – Средневековья. Гуманитарные исследования. Вып. 4. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2009. С. 9–43.

Харузин Н. Н. Из материалов, собранных среди крестьян Пудожского уезда Олонецкой губернии // Олонецкий сборник. Материалы для истории, географии, статистики и этнографии Олонецкого края. Петрозаводск, 1893. Вып. 5. С. 302–346.

Шахнович М. М. Культовый комплекс на горе Воттоваара (Итоги работ в 1993 году) // Вестник Карельского Краеведческого музея. Вып. 2. Петрозаводск, 1994. С. 26–35.

Шахнович М. М. «Наземные каменные памятники» на островах Кузова в Белом море и И. М. Мулло: хроника сложения каменного мифа // Первобытная и средневековая история и культура Европейского Севера: проблемы изучения и научной реконструкции. Архангельск: Соловки, 2006. С. 47–56.

Червякова Н. В. «Вера крещена» и «заветная земля»: чему и как поклонялись водлозеры // Национальный парк «Водлозерский»: природное разнообразие и культурное наследие. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2001. С. 282–289.

Loginov K. Klimetsin saari ja Ääanisniemen pyhäkkö // Neuvosto-Karjala. 1988. № 96.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ:

Логинов Константин Кузьмич

старший научный сотрудник, к. и. н.
Институт языка, литературы и истории
Карельского научного центра РАН
ул. Пушкинская, 11, Петрозаводск,
Республика Карелия, Россия, 185910
эл. почта: kuzmich@sampo.ru
тел.: (8142) 575683

Loginov, Konstantin

Institute of Language, Literature and History, Karelian Research
Centre, Russian Academy of Science
11 Pushkinskaya St., 185910 Petrozavodsk, Karelia, Russia
e-mail: kuzmich@sampo.ru
tel.: (8142) 575683

УДК 398.221:398.324:398.4

СОПЕРНИЧЕСТВО РЕК КАК ИМПУЛЬС К ПРЕОБРАЗОВАНИЮ ЛАНДШАФТА И СОЦИУМА (ПО МАТЕРИАЛАМ ЭТИОЛОГИЧЕСКИХ МИФОВ)

Н. А. Криничная

Институт языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН

В статье рассматриваются образы персонифицированных рек, состязающихся между собой в беге–течении. Движением, осмысляемым как основной признак реки, обусловлено развертывание ее во времени и пространстве. Обилие жизненной силы, исходящее от главенствующей реки, благотворно воздействует на социум и мироздание. Коллизии, связанные с рекой–дорогой–судьбой, в данных этиологических мифах служат объяснением происхождения характерных признаков речного ландшафта: русла рек, порогов, притоков, рукавов, очертаний берегов.

Ключевые слова: этиологический миф, персонификация реки, состязание, движение, жизненная сила, преобразование, ландшафт, социум, мироздание.

N. A. Krinichnaya. RIVALRY BETWEEN RIVERS AS AN IMPETUS FOR TRANSFORMATION OF THE LANDSCAPE AND THE SOCIETY (BASED ON ETIOLOGICAL MYTHS)

The paper deals with the images of personified rivers which compete in running/flowing. The movement, perceived as the river's principal attribute, is responsible for its spread in time and space. The affluent vital force emanating from the dominant river is beneficial for the universe. In those etiological worlds the collisions related to the river/road/fate account for the genesis of the distinctive features of the river landscape: the channel, rapids, tributaries, branches, configuration of the banks.

Key words: etiological world, personification of a river, competition, movement, vital force, landscape, transformation of the universe.

*Ведь они (воды) двинулись вперед числом тридцать семь.
Впереди струящихся вод, превосходя их силой, течет Синдху.
<...>Ты, устремляешься прямо вниз по поверхности земли,
Когда ты правишь во главе этих движущихся рек.
Ригведа. X. 75. 1–2*

В ряду нарративов, повествующих о происхождении явлений природы, особое место занимает сюжет о возникновении рек и соперничестве между ними, имеющий многочисленные варианты и версии. В данных этиологических

мифах речь идет о реках Суне и Шуе, Свири и Волхове, Вазузе и Волге, Волге и Каме, Доне и Шате, Днепре и Десне, Днепре и Соже, о Днепре, Волге и Западной Двине и др. Этиологические мифы, связанные с символическим

переосмыслением главных рек того или иного региона, принадлежат соответственно к различным локальным традициям.

Названный сюжет ранее не был объектом специального изучения. До него, так сказать, еще не дошел черед. Кроме того, исследователей могла настораживать некоторая литературность его изложения. Однако наличие вариантов данного сюжета, причем в ряде случаев паспортизованных, равно как и их типология, позволяет отнести рассматриваемые нарративы к произведениям фольклора. Об этом же подчас свидетельствуют и заметки собирателя: в публикуемых рассказах сохранены «те самые выражения, в каких они были переданы» рассказчиком [Минорский, 1875. С. 522]. И – самое главное – фольклорное происхождение этих произведений подтверждается текстологическим анализом.

Как и многие этиологические мифы, рассматриваемые нами нарративы открываются семантической формулой: «Реки эти были прежде людьми» [Терещенко, 1848. С. 43–44]. Названия рек могут варьироваться, но смысл этой формулы остается неизменным. Устойчив он и в былинах: «От Настасьюшки протекала Настасья-река <...>, // От Дунаюшки протекала Дунай-река» [Рыбников, 1989. С. 392]. В другой эпической песне от «тихого Дона сударя Ивановича» протекала Дон-река [Рыбников, 1990. С. 89]. В песенном тексте как более каноническом архаические мотивы сохраняются лучше, чем в прозе.

Мифологизированные реки персонифицированы, олицетворены, одухотворены. Будучи близлежащими, они к тому же нередко имеют общие истоки, описание которых в достаточной степени рационализировано: «Обе они (реки Суна и Шуя. – Н. К.) вытекают где-то на шведской границе из одних и тех же колодец-родников» [Ковальский, 1901. С. 2]. Причем «шведская граница» служит рационализированным выражением мифической границы между мирами, а «колодцы-родники» осмысляются как вход – выход из инобытия. В собственно мифологической версии реки могли бы вытекать, к примеру, из-под дуба сырого, из-под ясеня черного, из-под белого горючего камешка, как это имеет место в былинах [Рыбников, 1990. С. 520]. Общность же истоков-родников проявляется в кровнородственных отношениях: «Реки Суна и Шуя – родные сестры» [Ковальский, 1901. С. 2]. По другим вариантам, это два брата – сыновья одного отца или одних и тех же отца-матери, которые также изображаются персонифицированными водоемами: «У Ивана-озера было два сына: Шат и Дон, по-

чему последний и называется в песнях Ивановичем» [Зеленецкий, 1852. С. 298]. Такими же изображаются «речные» братья – сыновья одного отца и в поговорке: «Два брата родные, и оба Ивановичи, да один Дон, а другой Шат (т. е. один дельный, другой шатун. Реки Дон и Шат обе текут из Иван-озера)» [Даль, 1957. С. 725]. Или: «Был жил слепой старик Двина. У него было два сына: старший – Сож, младший – Днепр» [Боричевский, 1844. С. 183–185]. В иных случаях мифологизированные реки, две сестры и брат (Волга, Западная Двина и Днепр), – сироты. Впрочем, это могут быть и совершенно чужие друг другу реки (например, Волхов и Свирь) [Барсов, 1894. С. 181].

Возникновение рек в рассматриваемых нарративах осмысляется как перевоплощение в них людей или мифических существ. Так, например, Днепр в олонечких былинах является в виде женщины под именем Непры Королевичны. Непра-река протекла из крови этой героини и Дона Ивановича. Согласно древним представлениям, все новое возникает из чего-то одушевленного. Однако такое перевоплощение может произойти лишь при определенных условиях. Важнейшей предпосылкой к превращению человеческого естества в природное явление служит сон. Уснула, прежде чем прийти в движение, например, Суна, которую, согласно народной этимологии, звали прежде не Суна, а Сон-река. Уснула и сестра ее Шуя [Ковальский, 1901. С. 2]. Мифологема перевоплощения во время сна в дошедших до нас этиологических мифах отчасти уже разрушена. И все же сон как таковой полностью не утрачивает значения перехода, которым стимулируется превращение человеческого естества в природное. Особенно это заметно в былинах, где состояние перехода, вызванного сном, подкрепляется переживанием перехода, обусловленного свадебным обрядом. Так, Садко, который засыпает на брачном ложе в подводном царстве, просыпается на берегу реки, но руки, которыми он обнимал морскую царевну, оказываются в воде:

И отвели Садка купца богатого,
Со своей ли со невестой нареченою,
И повалился спать Садко купец богатый,
И охалил Садко купец богатый
Он тую ли невесту нареченою.
И увидал Садко купец богатый,
И увидел он тут, что я в воды лежу,
В воды лежу я на берегу да во своей реки.
[Гильфердинг, 1950. С. 658].

Как пишет В. Я. Пропп, в лице дочерей морского царя персонифицированы реки, в лице же его «невесты» – родная новгородская река

Волхов, которая и доставила героя в Новгород [Пропп, 1958. С. 107]. Предполагается, что душа во время сна либо обряда перехода (в данном случае – свадьбы), переживая лиминальное («пороговое») состояние, может покинуть свою телесную оболочку и обрести себе другую [Криничная, 2010. С. 118–128] – на этот раз облик водной стихии.

По некоторым вариантам рассматриваемого мифа, сестры – будущие реки не просто засыпают, но засыпают как мертвые, или засыпают мертвым сном, что, по сути, служит метафорой их смерти. Поскольку сон уже сам по себе приравнивается в народных верованиях к временной смерти, то мертвый сон осмысливается как смерть: «Сон смерти брат. Уснул – помер. Спит человек – не живой. Сонный, что мертвый. Уснешь, что умрешь» [Даль, 1957. С. 518]. Перевоплощение же людей в реки, обусловленное гибелью героев, наглядно изображается в былине о Дунае:

Где пала Дунаева головушка,
Протекала речка Дунай река,
А где пала Настасьина головушка,
Протекала речка Настасья река.
[Гильфердинг, 1950. С. 191].

Ослабленной формой подобной мотивировки перевоплощения является смертельная опасность, исходящая от антагониста. Так, в сказке царевна, спасаясь от погони, «оборотила» себя и мужа в реку и дерево, стоящее у той реки [Афанасьев-2, 1957. С. 181].

Если изначально сон/смерть служит выражением пред-бытия рек, то в позднейшей традиции это лишь предпосылка к перемене в их существовании. В своем архаическом виде подобная мифологема сохранена былиной. В поздних же по времени записи этиологических рассказах она уже трансформирована. Теперь реки впадают в сон, потому что в пути они устали. Или же сон/смерть оказывается промежуточным звеном между различными этапами их жизненного цикла. Данная мифологема нередко завуалирована, обытовлена, а то и вовсе отсутствует. Пробуждение же символизирует начало жизни либо возвращение к ней, возрождение, обновление. Пробуждение рек представлено как старт, с которого начинается их стремительный бег – состязание за право быть первой и старшей. [Не случайно в «Ригведе» (X. 75. 9) движение Синдху (sindhu букв. «река») – пот рг. реки Инд с притоками сравнивается с состязанием колесниц на ристалище. – Елизаренкова, 1999. С. 211, 477, 555]. Иными словами, покой сменяется движением, а с движения начинается жизнь: «Ночью встала Вазу-

за потихоньку, убежала от Волги, выбрала себе дорогу и прямее и ближе и потекла. Проснувшись, Волга пошла ни тихо, ни скоро, а как следует» [Афанасьев-1, 1957. С. 139]. Характерно, что движение, связанное с рождением/пробуждением, начинается именно ночью, ассоциируемой с тьмой как проявлением хаоса. Мотив движения сохраняется даже в тех мифах (например, о Свири и Волхове), где мотивы сна и пробуждения отсутствуют. Соответственно река, которая вышла в путь одновременно с соперницей или даже позже ее, но пришла к назначенному месту первой, и была признана лучшей и старшей.

Движение – основной признак реки и по языковым материалам. Не случайно в русском языке словом, родственным лексеме *река*, служит глагол «ринуться», в древнеиндийском – таковыми являются слова со значением «двигается, начинает течь» и отглагольные существительные «ток, бег» [Фасмер, 1987. С. 464]. (Кстати, в древнеиндийском языке с понятием «течь, струиться» связано и понятие «вода» [Белецкий, 1955. С. 20].) В качестве бегущего мифического существа, которое не имеет ни рук, ни ног, ни тела, ни костей и не оставляет за собой следов, изображена река в загадках: «Течет, течет – не вытечет, бежит, бежит – не выбежит»; «Ходит без ног, рукава без рук, уста без речи»; «Кружится, вертится, только берега держится» и др. [Митрофанова, 1968. С. 29]. Как видим, река не только устремляется вперед, но и совершает круговые движения. Вращение же само по себе, круговращение, движение по кругу, по словам Г. Вирта, является «этическим Основанием Вселенной всего бытия» [Вирт, 1997. С. 177].

Мотивировки движения рек могут быть разные. И важнейшей из них является соперничество: «кто из них умнее, сильнее и достойнее большего почета». И потому скорость их течения-бега стимулирована желанием каждой из них превзойти другую. Движение реки, которая обгоняет соперницу, превосходя ее по силе, осуществляется с минимальной затратой времени для преодоления максимально большого пространства. И потому вышедшая позже река чаще обгоняет свою соперницу, тайком убежавшую от нее раньше.

Другой мотивировкой быстрого бега реки служит погоня. Так, река Свирь, явившись на свет «маленьким зайчиком», спасается от преследующего ее волка [Минорский, 1875. С. 522]. (Это редкий случай, когда река имеет изначально не антропоморфный, а зооморфный облик, который предшествует антропоморфному в качестве более архаичного.)

Течение реки уже само по себе символизирует время. Время, со своей стороны, устойчиво связано с понятием «течение», осмысляясь тем самым как динамичное время: ср. с выражением «много воды утекло». И потому преодоление пространства нередко выражено посредством темпоральных категорий. Так, река Свирь, родившись ночью (а с ночью связаны представления о севере) и ориентируясь по месяцу, направляет свой бег на полдень, т. е. на юг. По другой версии, она «всё берет на полдень да на полночь» [Минорский, 1875. С. 522; Барсов, 1894. С. 180–181], иными словами, растекается в разные стороны, вверх и вниз. В этом плане река Свирь уподобляется реке Нилу, которая, согласно Геродоту (2.28), течет и на север, и на юг.

Посредством заклинания, вкрапленного в канву как этиологического мифа, так и былины, река может стать вечно текущей: «Богатей и тучней до конца веков!» [Боричевский, 1844. С. 183]. Или: «Тут протечи, матушка Дунай-река // От ныне и до века» [Гильфердинг, 1950. С. 421]. Этот образ, по словам В. Я. Проппа, есть не только образ времени, но и бессмертия [Пропп, 1958. С. 154]. Не случайно и в «Ригведе» реки неоднократно называются бессмертными (I. 62. 10).

Вслед за движением главной реки региона, символически переосмысленной, в этиологических мифах разворачивается и пространство. Не случайно, согласно поговорке, «без реки нет земли». Реки бегут от своих истоков до самого устья – моря/озера, в которое и впадают. Они пересекают пространство с севера на юг, преодолевают, казалось бы, непреодолимые преграды. Так, например, река Днепр прорезает высокие горы, пробивается сквозь дремучие леса, продвигаясь по тучным лугам. Перевоссоздавая мироздание, разливаясь широко и глубоко, она «протекает города, омывает села без счету» [Боричевский, 1844. С. 183]. Река, которая течет от верховья (верхний мир) до низовья (нижний мир) через пространство, населенное людьми (средний мир), осмысляется как космическая река, выступающая в качестве некоего «стержня» Вселенной, мирового пути. Ее составной, видимой, частью либо ее земным воплощением является мифологизированная реальная главная река данного региона [Топоров, 1982. С. 374]. Представленная в горизонтальной плоскости вертикальная модель Вселенной, по сути, эквивалентна ее трехъярусной модели. Напомним, что в древнеиндийском эпосе река Ганга (олицетворение реки Ганг) нисходит с небес на землю (Махабхарата. III; Рамаيانа. I. 44–45). При чем в «Ригведе» (X.75) реки изображаются как женские божества.

Приведя себя в действие, в состояние движения, мифологизированная река осуществляет идею творения, возникновения, изменения: «Движение, реальное и метафорическое, актуализирует модель мира, обеспечивает ее функционирование во времени и в пространстве» [Невская и др., 1998. С. 442].

Характер и качество творения зависят от особенностей демиурга, роль которого в нашем случае исполняют реки. Так, например, спокойное течение рек-сестер Суны и Шуи, которые на каком-то этапе прокладывают себе дорогу-судьбу, находясь рядом и неразлучно, сменяется их раздельным и бурным (особенно со стороны Шуи) течением. Так или иначе коллизия противостояния соперничающих рек оказывается сюжетообразующей. Творение мироздания, согласно этиологическим мифам, обусловлено борьбой противоположностей. Ее характер определяют бинарные оппозиции, или дуальные модели: простодушие – хитрость, доверчивость – коварство, верность – измена и т. д. Иначе говоря, и в данном случае сотворением мироздания управляют положительное и отрицательное начала, достигшие своей поляризации. При этом реки-демиурги изображаются, подобно людям, со своей судьбой, нравом, настроением, чувствами. У персонифицированных рек возникают житейские коллизии, сходные с человеческими. Эти обстоятельства сказываются на характере их самосозидания: на быстроте течения, на поворотах-излучинах, на очертаниях берегов и русла, на особенностях прибрежного ландшафта, на возникновении притоков, рукавов, порогов и т. п. Усиление той или иной части оппозиции влечет за собой изменение речного пейзажа в ту либо другую сторону.

Стихийное течение рек осмысляется в этиологических мифах как осознанное движение, подчиненное практическому смыслу, подкрепленному эмоциями.

Река Волхов, струящаяся впереди Свири и превосходящая ее по силе, соответственно и прибегает к финишу первой – «раньше Свири тремя часами и тремя минутами» [Барсов, 1894. С. 181]. В гневе на свою соперницу Волхов рвет землю, сдвигает камни, пробивается сквозь горы, как бы создавая/перевоссоздавая мир. Однако проявление могущественной силы не всегда дает ожидаемый результат. Так, например, река Суна в погоне за своей сестрой-беглянкой, чтобы не сворачивать в сторону, столь неистово рвала гранитные скалы, что создала на своем пути водопады Гирвас, Порпорог и Кивач. В конце концов она была до того измучена, что отказалась от надежды отыскать свою сест-

ру Шую [Ковальский, 1901. С. 2]. Согласно другому мифу, даже выбор более прямой и более короткой дороги, которую тайком захватила река Вазуза, не приносит ей ожидаемой победы над Волгой [Афанасьев-1, 1957. С. 139]. То же, по другой версии, происходит и с Волгой, Западной Двиной – сестрами Днепра. Оставшись сиротами, претерпевая нужду и лишения, они задумали пойти по белу свету в поисках лучшей доли – найти такие места, где можно было б вольготно разлиться большими реками. Но сестры, когда брат уснул, захватили, нарушив уговор, самые лучшие, отлогие местности. Проснувшись, разгневанный Днепр понесся в погоню за ними «широким потоком по рвам и буеракам». Испуганные сестры уступили ему дорогу.

Кроме того, течение рек, по этимологическим мифам, может зависеть от удела, который выпадает на долю каждой из них. Например, старый слепой отец (слепота – знак хтонического существа) наделяет одну из дочерей, Волгу, красивыми местами, селениями и городами. Другой же дочери, Соже, он дает «лучшие места». В удел непокорному сыну Днепру достается то, что осталось – мхи и болота. Прослышав об этом, Днепр решает исправить положение в свою пользу. Он бежит что есть мочи, разрывая горы, изгибаясь коленами. В результате Днепр захватывает земли, предназначенные для его сестры Сожи. И той пришлось довольствоваться мхами и болотами, от которых отказался брат [Максимов, 1903. С. 238–239]. По другой версии, слепой старик Двина благословил своего сына Днепра за его кротость разлиться «рекою широкою и глубокою» «по тучным лугам и дремучим лесам» через города и села до синего моря. И теперь уже Сож (он «был буйного нрава, таскался по лесам, горам и полям») помчался в погоню за братом «скрытыми путями, непроходимыми темными лесами». Он размывал болота, прорезал овраги, вырывал, подобно буре, дубы с корнями [Боричевский, 1844. С. 183–185]. И хотя его попытка опередить Днепр оказалась тщетной, все же ему удалось проявить себя в качестве демиурга: его буйный нрав сказался на характере ландшафта.

На этот раз распределение местностей, где предстоит протекать главным рекам региона, обусловлено в мифах социальными отношениями. Раздел имущества, в качестве которого здесь представлены просторы земли, играет в мироустройстве не последнюю роль. Лучшие уделы в основном достаются рекам, в которых больше движения, а значит, и жизненной силы, способной благотворно воздействовать на ок-

ружающее пространство и социум. Ведь изначально река, которая выиграла первенство, не просто протекает по «лучшим» землям. В силу своей мощи она сама наделяет богатством людей, источает обилие на земли, где она пробегает. Характерно, что в «Ригведе» река Синдху (Инд), распространяя свои воды по просторам и пространствам, служит средоточием/источником всяческих благ:

Синдху, богатая прекрасными конями,
прекрасными колесницами,
прекрасными одеждами.
Полная золота, прекрасно созданная,
богатая наградами;
Богата шерстью (эта) юница,
богата (растением) силама...
Ригведа. X. 75. 8.

В этимологических мифах объясняется также изменение рекой своего основного направления. Так, например, река Свирь, которая «явилась на свет маленьким зайчиком», спасаясь от преследования волков, «бросилась вправо и ушла в Нево-озеро», тогда как намеревалась донести свои воды в Ильмень-озеро [Барсов, 1894. С. 180–181]. (Кстати, в былинах Ильмень-озеро может отождествляться с морским царем либо олицетворяться в образе доброго молодца – брата Волги [Афанасьев, 1994. С. 229].)

Реки меняют направление своего движения и по иным причинам. В одном из этимологических мифов сестры, Волга и Двина, испугавшись гнева догоняющего их брата, Днепра, разбежались в разные стороны. Поэтому у Днепра много рукавов и порогов. Подобный мотив типичен и для эпических песен, где он, однако, имеет другую мотивировку и развязку:

И с-под эвтого с-под местечка
Протекали две реченьки быстрых,
И на две струечки оны расходилися,
И още оны вместо сходилися
[Рыбников, 1989. С. 143].

Или:

Одна в сторону река, друга в другую,
И в одно место оны стекались
[Рыбников, 1989. С. 430].

Отдаленно это напоминает древнегреческий миф, где Алфей, бог одноименной реки, или охотник, обернувшись рекой, соединяет свои воды с источником, в который превратилась нимфа или охотница Аретуса (Овидий. Метаморфозы. V. 572–642; Павсаний. Описание Эллады. V.7,2).

Сознательными действиями олицетворенных рек объясняется и происхождение их при-

токов. По словам рассказчиков, река Вазуза, украдкой убежавшая от Волги, чтобы захватить первенство, изрядно напугалась, когда ее догнала разгневанная соперница. В страхе она назвалась меньшей сестрой и просила Волгу донести ее на руках к Хвалынскому (Каспийскому) морю [Афанасьев-1, 1957. С. 139]. Как утрату рекой самостоятельного русла объясняют рассказчики происхождение данного притока Волги. То же известно о реке Десне, которая вынуждена была примкнуть устьем к быстрому Днепру, поскольку тот, опередив ее, впал в море. Долго сопротивлялась слиянию своих вод с водами Волги и река Кама.

Аналогичный мотив связан и с Сожем: в погоне за своим младшим братом, Днепром, он ныряет под землю, чтобы сократить себе путь. Сож рассчитывал, опередив брата, выскочить наверх, ему наперерез. Однако намерениям Сожа не суждено было осуществиться: вынырнув из-под земли, он «со всего размаху впал в днепровские воды» [Боричевский, 1844. С. 185]. Его постигла та же участь, что и Вазузу. Сож также остался без собственного русла. Несколько иное произошло с Доном. Нырнув в синее море да выскочив слишком рано, он так там и остался [Зеленецкий, 1852. С. 298]. И потому Дон не продолжает своего течения на другом берегу моря (как будто у него не было возможности попытаться вынырнуть в нужном месте во второй раз). И в том и в другом случае виноват был ворон, который, перелетев на другую сторону реки/моря, должен был каркнуть и таким способом дать знак, когда нырнувшей реке следует подниматься из воды. Но ворон в силу тех или иных обстоятельств каркнул слишком рано – и обе реки, выскочив на поверхность, остались там, куда они нырнули. В образе вороны – помощника мифологизированной реки проявляется одна из разновидностей зооморфного творца мира, равно как и самой реки.

Развязка коллизии, основанной на состязании рек, может быть различной. Победившая река признает первенство победившей. Причем, по одной версии, она назвалась младшей сестрой реки, выигравшей состязание. По другой версии, обе реки побратались между собой и стали жить в согласии. И та и другая коллизия символизирует значение данной реки в определенном регионе. Лишь в редких этиологических мифах реки разлучаются навсегда, и каждая из них живет в дальнейшем своей самостоятельной жизнью.

Таким образом, рассматриваемые этиологические мифы объясняют происхождение сакрализованных особенностей речного ландшафта. Его определяют течение реки, направление движения, очертания русла и берегов, наличие

притоков, рукавов, порогов. В этих нарративах заключены мифопоэтические представления о дороге-судьбе реки от истоков – рождения до устья – завершения жизненного пути. Однако, поскольку в качестве переходных обрядов смерть отождествляется со свадьбой, мотив впадения реки в море может осмысляться и как свадьба: «Шат шатался с глупу да упал в Упу, а Дон покотился в поле да женился на море» [Зеленецкий, 1852. С. 292].

В характерных признаках рек и прибрежного ландшафта первобытное сознание усматривало следы осознанной и одновременно стихийной деятельности персонифицированных и одухотворенных рек, в значительной мере взявших на себя функции демиурга. И потому динамическая картина самоопределения рек осмысляется как неотъемлемая составляющая космогенеза.

Мы же видим здесь истоки олицетворения, которое, развившись в поэтический троп, дало мощный импульс для создания образа живой реки, столь прочно вошедшего в литературное творчество:

Расступись, о старец-море,
Дай приют моей волне!
Погуляя я на просторе,
Отдохнуть пора бы мне.

[М. Ю. Лермонтов. Дары Терека].

Литература

Афанасьев А. Н. Народные русские сказки А. Н. Афанасьева: В 3-х т. М.: ГИХЛ, 1957. Т. 1. 515 с.; Т. 2. 510 с.

Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу: В 3-х т. М.: Индрик, 1994. Т. 2. 784 с.

Барсов Е. В. Об олонецких древностях // Олонецкий сборник: Материалы для истории, географии, статистики и этнографии Олонецкого края. Петрозаводск, 1894. Вып. 3. С. 170–186.

Белецкий А. А. Задачи дальнейшого сравнительно-исторического изучения языков // Вопросы языкознания. 1955. № 2. С. 3–27.

Боричевский И. П. Народные славянские рассказы, изданные И. П. Боричевским. СПб.: Тип. Мор. корп., 1844. 247 с.

Вирт Г. Священный год // Конец света: Эсхатология и традиция / Сост. А. Дугин. М.: Арктогея, 1997. 402 с.

Гильфердинг А. Ф. Онежские былины, записанные А. Ф. Гильфердингом летом 1871 года: В 3-х т. Изд. 4-е. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1950. Т. 2. 811 с.

Даль В. Пословицы русского народа: Сб. В. Даля. М.: ГИХЛ, 1957. 991 с.

Елизаренкова Т. Я. Ригведа. Мандалы IX–X / Изд. подгот. Т. Я. Елизаренкова. М.: Наука, 1999. 559 с.

Зеленецкий А. Г. Народные рассказы и поверья в Чернском уезде // Тульские губернские ведомости.

1852. № 26. Часть неофициальная. С. 292–296; № 27. С. 298–302.

К [овальский] И. Н. Кивач // Олонецкие губернские ведомости. 1901. № 95. Часть неофициальная. С. 2–3.

Криничная Н. А. Мифологема перевоплощения персонажей в карельских эпических песнях: предпосылки, ситуации, образы // «Калевала» в контексте региональной и мировой культуры: Материалы международной научной конференции, посвященной 160-летию полного издания «Калевалы». Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2010. С. 118–128.

Максимов С. В. Нечистая, неведомая и крестная сила. СПб.: Т-во Голике и Вильборг, 1903. 526 с. (Этногр. бюро князя В. Н. Тенишева).

Минорский П. Река Свирь и ее значение в Олонецком крае // Олонецкие губернские ведомости. 1875. № 47. Часть неофициальная. С. 521–523.

Митрофанова В. В. Загадки / Изд. подгот. В. В. Митрофанова. Л.: Наука, 1968. 255 с.

Невская Л. Г., Николаева Т. М., Седакова И. А., Цивьян Т. В. Концепт пути в фольклорной модели мира (от Балтии до Балкан) // Славянское языкознание. XII Междунар. съезд славистов. Докл. российской делегации. М.: Наука, 1998. С. 442–459.

Пропп В. Я. Русский героический эпос. Изд. 2-е. М.: ГИХЛ, 1958. 603 с.

Рыбников П. Н. Песни, собранные П. Н. Рыбниковым: В 3-х т. Петрозаводск: Карелия, 1989. Т. 1. 527 с.; 1990 Т. 2. 640 с.

Терещенко А. В. Быт русского народа: В 7 ч. СПб.: Тип. военно-учеб. заведений, 1848. Ч. 5. 181 с.

Топоров В. Н. Река // Мифы народов мира: В 2-х т. М.: Совет. энциклопедия, 1982. Т. 2. С. 374–376.

Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: В 4-х т. / Пер. с нем. Изд. 2-е. М.: Прогресс, 1987. Т. III. 832 с.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ:

Криничная Неонила Артемовна

главный научный сотрудник, д. филол. н.
Институт языка, литературы и истории
Карельского научного центра РАН
ул. Пушкинская, 11, Петрозаводск,
Республика Карелия, Россия, 185910
эл. почта: vmp@sampo.ru
тел.: (8142) 562742

Krinichnaya, Neonila

Institute of Language, Literature and History, Karelian Research
Centre, Russian Academy of Science
11 Pushkinskaya St., 185910 Petrozavodsk, Karelia, Russia
e-mail: vmp@sampo.ru
tel.: (8142) 562742

УДК 581.8

БАННЫЕ ОБРЯДЫ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЧЕЛОВЕКА В ВЕПСКОМ КУЛЬТУРНОМ ЛАНДШАФТЕ*

И. Ю. Винокурова

Институт языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН

В статье впервые рассматриваются банные обряды, связанные с жизненным циклом человека; их распространение на территории расселения вепсов, разные механизмы внедрения в вепсский культурный ландшафт. На основе сравнительного анализа делается вывод, что далеко не все банные инновации были отобраны вепским населением. Отсортированные элементы подвергались значительной модификации со стороны этнолокальных групп вепсов. Модификация затрагивала весь обряд или его отдельные компоненты. Иногда инновация подвергалась такой значительной переработке, что уже переставала осознаваться как таковая и превращалась в органическую часть этнической культурной традиции.

К л ю ч е в ы е с л о в а : вепсская традиционная культура, баня, обряды жизненного цикла, фольклор.

I. Yu. Vinokurova. BATHHOUSE RITES OF THE HUMAN LIFE CYCLE IN THE VEPSIAN CULTURAL LANDSCAPE

The paper is a first study of the bathhouse rites connected with human life cycle, their distribution across the Vepsian settlement range, the various mechanisms of their introduction in the Vepsian cultural landscape. Comparative analysis has resulted in the conclusion that by far not all bathhouse innovations were adopted by Vepsian people. The selected elements were considerably modified by ethnolocal groups of Vepsians. Such modifications affected either the rite at large or its individual components. The innovation was sometimes transformed so profoundly that it was no longer perceived as such, and turned into an integral part of the ethnic cultural tradition.

Key words: Vepsian traditional culture, bathhouse, life cycle rites, folklore.

В этнографии можно обнаружить немало примеров, когда культурное явление, возникнув как адаптированное произведение к определенному природному ландшафту и климатическим условиям, затем в связи с миграциями его создателей переносилось на другие терри-

* Статья подготовлена в рамках проекта по созданию междисциплинарного научно-образовательного Центра прибалтийско-финских исследований «Fennica» (Программа стратегического развития ПетрГУ на 2012–2016).

тории, прививалось на новой почве, в том числе и с иными природно-климатическими параметрами; заимствовалось, порою в многообразии всех его функций, соседними этносами. Культурный ландшафт этносов-реципиентов, таким образом, первоначально сформировавшийся под влиянием природной среды, постепенно изменялся в связи с иноэтничными добавлениями. Одним из ярких примеров подобного рода является изобретение, возникшее в лесной зоне, – русская парная баня – небольшая

рубленая постройка с полком, лавкой и печью-каменкой, сложенной из крупных валунов и более мелких камней, основное отличие которой от бань других народов – значительное количество пара, образующегося при выплескивании воды на раскаленные от огня камни. Благодаря своим уникальным свойствам русская парная баня постепенно распространилась на обширной территории, включающей различные природные зоны, – от западных районов России до Тихого океана, потеснив иные гигиенические традиции. Она стала важным объектом не только материальной, но и духовной культуры как русских, так и соседствующих с ними народов. Утилитарным и символическим функциям бани у русских и большинства финно-угорских народов Европейской части России посвящено огромное количество литературы. На этом фоне в изучении банных традиций у вепсов наблюдается явное отставание. Возникает очевидная необходимость заполнить зияющую лакуну в культурном ландшафте Северо-Запада вепскими данными по банной проблематике. В настоящей статье впервые предполагается сосредоточить внимание на вторичных функциях бани – обрядах, связанных с жизненным циклом человека; их распространении на территории расселения вепсов, механизмах внедрения в вепсский культурный ландшафт.

Результаты многочисленных общих и частных исследований о русских гигиенических обычаях и их взаимоотношениях с соседними народами были обобщены в коллективной монографии «Баня и печь в русской народной традиции» [2004]. В этой работе даны и ответы на некоторые дискуссионные вопросы по «банной» теме, которые мы возьмем за ориентиры для нашей статьи:

1) В древности жилище и баня совмещались в одной постройке. Областью возникновения традиции русской парной бани как отделившейся от жилища постройки следует считать земли вблизи Балтийского моря – бассейн Западной Двины и Приильменья, временем – период до X в. В другие регионы она попала позднее [Баня..., 2004. С. 27, 34].

2) Несмотря на то что такая баня занимала существенное место в быту ряда прибалтийско-финских народов России, исследователи, опираясь на ряд убедительных фактов, приоритет в ее появлении относят к культуре новгородских словен и кривичей. К карелам, например, баня явно попала от славян, но очень рано. Об этом свидетельствуют данные 1571 г.: «из 82 усадеб Кирьяжского погоста, расположенного немного севернее г. Корелы, бани были только в пяти. Такое мизерное число бань по

отношению к количеству дворов, скорее всего, свидетельствует об их недавнем появлении здесь» [Баня..., 2004. С. 34].

3) Примерно до начала XX в. банные постройки имели широкое распространение лишь на Северо-Западе Европейской России и в Сибири – территориях, связанных с новгородской колонизацией. На южнорусских землях и в приграничных к Украине областях мылись в избе в деревянных чанах и корытах. Преобладающей гигиенической традицией в центре России (Рязанская, Тульская, Московская, Ярославская, Владимирская, Калужская, Тверская, Костромская губернии) было мытье в печах. Этот обычай встречался также местами на севере Европейской части страны – там, где преобладала ростовская колонизация; например, в южных районах Новгородской и Вологодской губерний [Баня..., 2004. С. 14, 25].

Теперь обратимся к вепсам. Территория вепсского расселения – Межозерье – оказалась зоной, разделенной двумя гигиеническими традициями – банной и печной. Среди вепсов Прионежья была распространена русская парная баня. Появление бани в северновепсской среде, скорее всего, произошло достаточно рано – в XIV в., когда вепсы, вытесненные новгородскими славянами из Приисвирия в Прионежье, перенесли на новые земли перенятую от них традицию русской парной бани. Возможен и другой, также достаточно ранний, путь проникновения новой гигиенической традиции в вепсском Прионежье – от окружающего южнокарельского и севернорусского населения, имеющего развитую банную культуру. В отличие от вепсов Прионежья у южных и капшинских вепсов – в прошлом помещичьих крестьян, проживающих на территории, относительно бедной лесом, иметь баню было роскошью [Путистин, 2006. С. 287]. В большинстве деревень южных и капшинских вепсов первой, известной по источникам, традицией было мытье и паренье в печах. Н. Н. Волков описывал эту процедуру следующим образом: «В субботу печь топили жарче обычного; по окончании работ, перед вечером, хозяйка бросала в печь один или два снопа соломы или же вдвигала в печь вместо соломы доску, ставила там два горшка с горячей и холодной водой; захватив березовый веник, в печь залезал хозяин дома, иногда с маленьким сыном. Устье печи закрывали жестяным заслоном; обмакнув веник в горшок с водой, моющийся брызгал им воду на стены и парился; потом бежал окачиваться на двор» [МАЭ, ф. 13, оп. 1, № 28, л. 16]. В начале XX в. в некоторых поселениях (Прокушево, Бобро-

зеро) отмечены первые единичные случаи строительства бань. Однако местное население поначалу оказывало предпочтение более ранней традиции. Об этом свидетельствует запись А. Н. Колмогорова 1905 г.: «Есть у чухарей и специальные бани, – конечно, черные, – но там мыться удобно только летом, когда окачиваться и одеваться можно на открытом воздухе. Чаще же всего чухарь натапливает докрасна свою печь, слегка окачивает стенки ее водой и, забравшись в нее, подолгу «парится» березовым веником; затем обливается водой, и баня готова» [Колмогоров, 1905. С. 105]. В 1915–1930-х гг. количество бань немного увеличивается. Первоначально они строились в расчете на 5–6 семей, иногда существовала одна баня на всю деревню. Еще в 1939 г. Н. Н. Волков, побывавший у южных вепсов, отмечал в своем полевом дневнике: в д. Прокушево «бани редки», в Пожарище «бань нет» [МАЭ, ф. 13, оп. 1, № 10, л. 59]. Средне-вепсские деревни (Приютье, Шимозерье и Белозерье) находились в полосе переплетения банной и печной традиций.

Распространение бань на вепсских землях влекло за собой не только изменение гигиенических традиций у местного населения, но и появление в их быту верований и обрядов, связанных с этой постройкой. По мнению С. А. Арутюнова, внедрение инноваций (в нашем случае мифоритуальных бань) в иноэтничную среду в наиболее полном виде проходит четыре этапа: отбор подходящих и отсеив ненужных, копирование, модификацию и интеграцию [Арутюнов, 1989. С. 174].

На вепсской территории, где распространились бани, эта постройка стала играть важное место в обрядах, связанных с жизненным циклом человека.

1. Баня в родильной обрядности.

Многие народы (финны, латыши, эстонцы, удмурты, отчасти русские и карелы) использовали баню в качестве основного места для родов. У вепсов эта традиция оказалась малопопулярной. Она распространилась только в среде северных и белозерских вепсов, где, наряду с хлебом – главным родильным помещением, можно было рожать и в бане. Данное помещение, как правило, использовали зимой при трудных родах, затягивающихся на длительное время. Чтобы не застудить в холодном хлеву мучившуюся роженицу, ее переводили в растопленную к этому времени баню [SKS, E, Perttola, № 834].

Выбор бани для родов, как и выбор хлеба, был связан с древними взглядами на рождение человека как на его приход в «мир людей» из

«иного мира», при этом роль «иного мира» играла баня, а «миром людей» была изба.

Независимо от того, где происходили роды, через 2–3 дня после них устраивалось банное омовение. Северные вепсы, видимо, под влиянием карелов, устраивали совместную баню для роженицы и новорожденного. У средних и южных вепсов в баню ходила одна роженица, а ребенка мыли в доме на шестке печи [Строгальщикова, 1988. С. 101]. У карелов организация бани для роженицы и ребенка известна повсеместно, тогда как заонежане следовали этой традиции лишь в тех семьях, где женщины, согласно семейным преданиям, были карелками по происхождению [Логинов, 1993. С. 51].

Баннный обряд основывался на универсальных представлениях о том, что в послеродовой период роженица и младенец являются сакрально нечистыми. Только после прохождения этого обряда роженице разрешалось мыться в бане с остальными членами семьи. Первая баня роженицы имела для нее и оздоровительное значение. Свекровь, руководившая банной процедурой, брала кочергу, помешивала ею воду в котле и произносила заклинание, чтобы здоровье роженицы было такое же железное, как кочерга [Строгальщикова, 1988. С. 101]. Различные тексты банных целительных заклинаний для роженицы бытовали также у карелов и русских Заонежья [Сурхаско, 1985. С. 32; Логинов, 1993. С. 53–54].

В бане происходило символическое отделение новорожденного от иного мира, смывание с младенца всего природного [Байбурин, 1991. С. 43]. Поэтому воду для мытья ребенка в бане вепсы брали из дому (= мира людей), объясняя это так: чтобы у новорожденного не было «чесу». «Дитя природы» наделяли человеческими чертами. Используя три мыла и теплую воду, свекровь старалась сделать головку младенца круглее. Совершались также обряды, способствующие здоровью новорожденного. Ребенка мыли хлебом, чтобы у него не было щетинки. Свекровь читала заговор: «Kut nése kuĺbetiine siižub nellou janguu, muga lapś kažgha» – «Как эта баня стоит на четырех ногах, так ребенок пусть растет» [Строгальщикова, 1988. С. 101]. У северных вепсов, карелов и заонежан известно осторожное паренье ребенка в первой бане мягким веником.

2. Баня в свадебной обрядности.

Три ритуальные бани вошли в состав вепсской свадьбы: две предсвадебные – для невесты и для жениха – и одна послесвадебная для молодоженов. Они получили разное распро-

странение и развитие в вепсских этнолокальных группах.

Баня для невесты. Наиболее разветвленным оказался комплекс ритуальных действий, сопровождающих предсвадебное мытье невесты в бане, который сохранил даже особые названия *heidžk'ülb'er', niččenk'ülb'er'* (букв. «девичья баня»). Этот комплекс имел полифункциональное значение: очищение перед важным жизненным событием, отторжение невесты от прежней жизни (обряды агрегации по А. ван Геннепу), передача невестинной славутиности, любовная магия, посвящение в сакральное женское знание. Составной частью банного обрядового комплекса был фольклор: причитания, исполняемые невестой, плакальщицей, девушками, матерью, и песни подруг. Эти фольклорные жанры на большей части вепсской территории исполнялись на русском языке, т. е. не подвергались модификации в иноэтнической среде. Так, еще в конце XIX в. анонимный автор при описании свадебного обряда в с. Немжа Лодейнопольского р-на Олонецкой губ. писал: «Нужно заметить, что в Немже говорят по-чудски; между тем разговоры, причитанья и песни на свадьбе – всегда на русском языке» [Б-ов, 1897. С. 2]. Только у северных вепсов еще в годы Великой Отечественной войны информанты помнили причитания и песни девичьей бани на вепском языке. Данное обстоятельство, скорее всего, связано с тем, что баня у вепсов Прионежья появилась намного раньше других вепсских групп, к тому же связанный с ней мифоритуальный комплекс подпитывался традициями соседнего карельского населения.

Устройство предсвадебной бани невесты было известно на всей вепсской территории, однако у капшинских и южных вепсов ее могла заменять печь. По сообщению М. Н. Смелковой (1910 г. р.) из с. Радогощь, «девушку мыли в печи. На той воде, которой девушку мыли, замешивали рыбники (*kokari*). Ими кормили жениха». В источниках указывается также «черная половина», клеть, сени в избе, в которые во время проведения девичника ненадолго заводили невесту – «будто бы в баню». Затем невеста появлялась в избе и плачами сообщала, что побывала в бане [МАЭ, ф. 13, оп. 1, № 10, л. 59]. Эти данные свидетельствуют о том, что бани в деревне были не у всех, но свадьбу стремились сыграть по всем правилам.

Вепсская баня для невесты обычно устраивалась вечером накануне венчания. Как и русская и карельская, она имела единую структуру и делилась на следующие этапы: приготовление бани, сборы невесты в баню, путь в баню,

мытье и путь из бани, приход в дом. Но каждый из этих этапов имел множество локальных разновидностей. Еще больше вариаций, чем действия, имели фольклорные тексты, которые их сопровождали и комментировали.

В большинстве вепсских деревень ритуал девичьей бани начинался с ухода истопников готовить баню. Чаще всего баню топили девушки – подружки или родственницы. Встречаются также сообщения о свахах (Печеницы), сестре и невестке (Немжа).

Разведению огня в банной каменке и горению придавалось важное символическое значение, прогнозирующее будущую семейную жизнь невесты. В с. Немжа сестра невесты и невестка для растопки бани брали «живой» огонь из домашнего очага [Б-ов, 1897. С. 2]. Во внимание принималась также порода дерева, идущая на банные дрова. У вепсов, как и в севернорусской традиции, наиболее пригодными для бани считались березовые поленья [SKS, E, Perttola, № 252: 58; Криничная, 1995. С. 20]. У северных вепсов баню полагалось топить только одной партией березовых дров без добавления новых. Поэтому в печь старались положить как можно большее количество поленьев. У оятских вепсов невестину баню нельзя было топить еловыми дровами, вызывающими треск при горении, чтобы после венца супруг и его родственники не ругались с молодой. В Прионежье и Приоетье горящие дрова в каменке запрещалось бить и шевелить кочергой, они должны были сами истлеть, чтобы будущий муж не бил своей жены [Винокурова, 1999. С. 159]. Похожие запреты были распространены в некоторых севернорусских деревнях [Баня..., 2004. С. 203].

У северных вепсов приглашение невесты в баню включало архаичные действия, возникшие в пору, когда вода в бане нагревалась с помощью нагретых в печи камней, которые брали специальными щипцами. Лучшая подружка невесты, возглавляющая процессию подруг-истопниц, встав под матицей, дотрагивалась до нее щипцами *pihkled* и бросала их к ногам невесты. Затем, причитывая, звала невесту в «последнюю» в ее девичьем биосоциальном статусе баню: «*Lämbitin mö silei külbetin, em ni ezmašt, em ni d'älgmeiš, niitiš külbetin d'älgmeižen*» – «Согрели мы тебе баню, ни первую, ни последнюю, девичью баню последнюю». Подняв щипцы с пола, невеста принимала приглашение [SKS, E, Perttola, № 252: 58]

У капшинских и южных вепсов о готовности бани сообщалось посредством плача на русском языке. В нем подробно описывался процесс заготовки особых дров и воды для бани,

по народным представлениям, влияющих на безопасность девушки и ее будущую благополучную замужнюю жизнь [МАЭ, ф. 13, оп. 1, № 94, л. 32]:

Мы стопили парну баенку.
Про тебя, мила подруженька
Агафья да Васильевна.
Уж ты подь-ка да пожалуйста.
Мы стопили трóим дровечкам:
Первым дровечкам кленовыми,
Клену не здешнево – Московсково;
Другим дровечкам – дубовыми,
Дубу не здешнево – Петербургсково,
Третьим дровечкам – березовыми,
Березой не здешней – Белозерсково.
Наносили с трех ключев воды,
С трех ключев да подземельных.

Сборы в баню включали причитания невесты, обращенные к матери или ко всем членам семьи, в которых содержалась просьба дать различные вещи, необходимые для похода в баню. У северных вепсов невеста просила мать: «Sina anda, roditei mamuško, milei ivanski vasteiine; anda milei muileiine, kudambt mindei vouktaks pezese; anda milei, roditei mamuško, rätsiäiine hoik, kudamban olet sina koume öt ombelmuze; ezmeižen ön oled sina ombelnu iĩlinskian, koumanden öhuden oled sina ombelnu hristouskian; anda, roditei mamuško, vouged piħkin raksus poimduť» – «Ты дай, родительница-мамушка, мне ивановский веничек; дай мне мыльце, которым меня дочиста вымоют; дай мне, родительница-мамушка, рубашку тонкую, которую ты три ночи шила; первую ночь ты шила Ильинскую, третью ноченьку ты шила Христовскую; дай, родительница-мамушка, белую скатерть скорее собрать» [SKS, E, Perttola, № 252: 61]. Аналогичные просьбы в форме причитаний на русском языке были распространены у вепсов с. Войлахта [МАЭ, ф. 13, оп. 1, № 1, л. 3].

У капшинских и южных вепсов невеста обращалась к матери с просьбой дать ей «шелковый веничек», «белое мыльце», «бело платьцо» и «вековешно согрewanьце» – шубу. Тексты-просьбы могли быть обращены к нескольким членам семьи. Например, в д. Максимова Гора невеста сначала просила мать:

Ты подай, родима матушка,
Ты подай да светло платьце,
Ты подай да што шелковое.

Мать подавала платье, невеста брала и кланялась в пояс. Затем обращалась к сестре:

Ты подай, сестрица-ластушка,
Ты подай да шелков веничек.

Сестра подавала веник, обычно сделанный накануне *Иванова дня*. Далее невеста просила у сестры:

Ты подай, сестрица-ластушка,
Мыльца да драгоценного.

Получив мыло, невеста обращалась к отцу:

Ты подай, кормилец батюшка,
Вековешное да согрewanьце,
Теплое да одеваньце.

Отец подавал шубу [МАЭ, ф. 13, оп. 1, № 94, л. 33–34]. Следует заметить, что просьба о шубе и включение ее в последующие обряды – благословения родителей и передвижения в баню – были характерны для традиций оятских, капшинских и южных вепсов. В с. Немжа невеста причитывала отцу:

Ты подай, кормилец-батюшко,
Мне кунью шубу соболиную,
Ты одень, кормилец батюшко,
Мне узкие-то плечики.

Отец надевал на невесту шубу и зажигал свечку перед иконами. Невеста молилась:

Введеньё, Мать Богородица,
Поведи ты меня, Господи,
По добру да по здоровьцу
[Б-в, 1897, № 23, С. 2].

В д. Боброзеро невеста, получив от матери вещи, необходимые для похода в баню, просила благословить ее на это важное дело сначала отца:

Благослови, кормилец батюшко,
Во парну во баенку.
Парну баенку, неугарную.

Потом с этими словами обращалась к матери, братьям, сестрам, другим родственникам и, наконец, к Богу:

Благослови-ко, Боже Господи,
Во парную во баенку.
Парну баенку, неугарную
[МАЭ, ф. 13, оп. 1, № 94: 33–34].

Путь в баню и из нее считался очень опасным для находящейся в переходном состоянии невесты и поэтому сопровождался многочисленными обережными действиями, которые варьировали. У северных вепсов впереди процессии, ведущей невесту в баню, шла плакальщица, за ней следовали невеста и девушки, несущие над ее головой банные щипцы. В Приоятье мать накрывала девушку рубашкой и скатертью, брат накидывал независимо от времени года шубу и провожал до сеней в баню. Сопровождаю-

щие невесту подружки звенели сковородниками и заслонками из бани и обратно [Горб, 1992. С. 160–161]. У капшинских и южных вепсов перед походом в баню *свах* подметала венником дорогу, по которой должна была пройти невеста. Многочисленные параллели, связанные с обережными предметами и действиями, сопровождающими дорогу невесты в баню, обнаруживаются в русской традиции [Бернштам, 2009. С. 132; Зорин, 1981. С. 93].

В северновепсской традиции перед пересечением невестой банного порога совершался еще один ритуал, относящийся к разряду «последнего» в девичестве. Невеста доставала хлеб и говорила подружкам: «Sögat d'älgmeiine minun ehtlouna, enambad minuspei ni ole» – «Ешьте последний мой ужин, которого у меня не будет». Затем она кончиками пальцев отламывала от хлеба кусок для каждой девушки и называла ее имя [SKS, E, Perttola, № 252: 62].

Последняя девичья баня в то же время являлась местом посвящения невесты в тайны взрослых женщин. Вход в баню для девушек был закрыт. Пока невеста мылась в бане, они оставались в предбаннике и пели грустные песни на русском языке. Одна из наиболее распространенных песен носила название «Трубушка». В Шимозерье бытовал такой текст:

Запели птичуньки на зори,
Да заплакала девушка на мори,
На мори, на морюшки сидючи,
Да на быструю речиньку глядучи.
Не с кем мне девушке думушку думати,
Думати не думати с братцами,
Да с братцами думушка не крепка
(так перечисляют всех
родственников невесты).

После перечисления всех родственников песня завершалась словами:

Не с кем мне думушку думати,
Думати не думати с Ванюшкой (имя жениха),
С Ванюшкой думушка всех крепче...
[СПБАН, ф. 135, оп. 2, № 246: 10].

В бане невесту мыла и парила плакальщица (вариант: мать). Процедура сопровождалась магическими действиями, которые в народных рассказах определялись как колдовские, например: «Siid névestad käuteittaze völ külbet'ihe, p'ezetetaze händast, noiditaze» – «Затем невесту еще ведут в баню, моют ее, колдуют» (Шелтозеро) [NÄKM, 1951. S. 111]. «Колдовство» применялось для того, чтобы невесту любили жених и его родственники, а также от порчи вступающей в брак. В среде северных вепсов, где под влиянием карелов были распространены обряды поднятия *славутности* (кар. *lembi*), перед

началом мытья невесты плакальщица плескала воду на каменку и открывала трубу, чтобы «слава о девушке распространилась с паром и все о ней знали» [SKS, E 252: 62]. Наиболее распространенным «колдовским» обрядом было натирание тела девушки заговоренной солью, даже в том случае, если мытье невесты происходило не в бане, а в печи. Затем причитальщица ставила девушку на сковороду и обливала водой или молоком. Оставшаяся после обливания на сковороде вода (молоко) использовалась для замеса теста и приготовления пирогов, чаще всего рыбника. Им угощали жениха, чтобы он крепче любил невесту. Аналогичные обряды были распространены у русских и карелов [Сурхаско, 1977. С. 109].

В северновепсской традиции после окончания банной процедуры плакальщица брала использованный в бане веник, развязывала его и бросала через голову назад на крышу бани, при этом веник распадался [SKS, E, Perttola, № 252: 62]. Действия разрушительного характера с веником (как и с «красотой», хлебом) воспринимались, прежде всего, как знак умирания невесты в прежнем биосоциальном качестве, предстоящего лишения девственности. Сходное действие, но с иным смыслом, отыскивается в карельской свадебной обрядности: девушки забрасывали веник на крышу бани или, развязав, подбрасывали прутья вверх, чтобы поднять свою лемби [Сурхаско, 1977. С. 109].

После мытья невесту опоясывали поясом-оберегом, представляющим собой сетку из мережи с привязанными к ней щучьим зубом, угольком, кусочками глины и свечи. Апотропеем мог быть и янтарный камушек, прикрепленный к нательному крестнику [Гущина, 2006. С. 298].

Далее у оятских, капшинских и южных вепсов совершались обряды, демонстрирующие рождение невесты в новом качестве. Невеста переодевалась в нарядное платье и покрывалась платком. Известно также послебанное переодевание невесты в мужскую одежду, объясняемое символикой «чужой воли» [Бернштам, 1988. С. 88]. У южных и капшинских вепсов после переодевания следовал обряд «нового рождения» невесты: мать ставила правую ногу на лавку, а девушка пролезала под ее ногой. Это действие мать сопровождала словами: «Умела свое дитя родить, умею и в люди пустить». Затем невеста обходила мать, три раза целовала ее и вставала рядом [Гущина, 2006. С. 298]. В д. Печеницы невесту после бани одевали в белье, приготовленное для жениха, и в этом наряде заставляли три-

жды пройти между ног матери, после этого обряда невеста надевала свою одежду [РЭМ, ф. 1, оп. 2, д. 373: 42].

Возвращение невесты в дом также имело множество вариантов и в некоторых местах сопровождалось плачами. У северных вепсов невесту встречали мать и крестная. В д. Печеницы в дверях дома дочь встречал отец с иконой, к которой она прикладывалась. В с. Винницы невесту у дверей встречал жених, дарил ей мыло, зеркало, гребень, конфеты, пряники, а она ему – платок [С-ов, 1894. С. 400].

Вепсская предсвадебная баня невесты обнаружила многочисленные параллели в свадебных ритуалах севернорусского населения. В то же время она связывает Северо-Запад с Верхним и Средним Поволжьем и Центральными областями [Зорин, 1991. С. 95]. Среди прибалтийско-финских народов аналогичная подвенечная баня невесты, сопровождаемая причитаниями и песнями, была распространена у карелов Карелии и Тверской губ.; води; ижоры; эстонцев Вирсарви; восточных финнов, проживающих на границе с Карелией. А. Оярви, У. Харва и И. Вахрос полагают, что все финно-угорские народы России, в том числе и вепсы, усвоили девичий банный ритуал от русских [Vahros, 1966. S.136–145]. Рассмотренные нами данные позволяют конкретизировать этот вывод. Многие самобытные северновепские обряды, песни и причитания на вепском языке, связанные с подвенечной баней невесты, а также обнаруженные южнокарельские параллели свидетельствуют о достаточно раннем появлении бани в среде северных вепсов, влиянии на их банные обряды традиций ливвиков и людиков. В других вепских группах банные обряды, как и баня, появились позже. Ритуалы, связанные с печной традицией (например, «новое рождение» невесты ее матерью), переносились в баню и присоединялись к новым банным обрядам.

Обрядовая баня жениха. Упоминается только в источниках по капшинским и северным вепсам. Женихова баня, в отличие от невестиной, особой сложностью не отличалась. Основными ее функциями были очистительная и предохранительная от порчи. У капшинских вепсов жениха в бане мыл старший дружка. По окончании процедуры он надевал ему на голое тело пояс из старой рыболовной сети с замотанной в нее щучьей головой – от «призора»; сверху на жениха надевалась рубаша, приготовленная к венцу его крестной матерью. Путь жениха из бани в дом, как и невесты, сопровождался обережными действиями:

старший дружка ударами кнута отгонял всякую нечисть [Горб, 1992. С. 161]. У северных вепсов жених посещал баню в день свадьбы. После мытья он надевал лучшую одежду. Для защиты от колдовства жених клал в правый сапог три ячменных зерна, три дресвяных камушка (*čuurkivi*), кору осины, а также серебряную монетку – награду невесте за разувание (*rušitez*), которое происходило перед укладыванием молодых на брачное ложе [SKS, E, Perttola, № 252: 74].

По мнению исследователей, обрядовая баня жениха – явление более позднее, генетически восходящее к бане невесты [Vahros, 1966. S. 309, 318]. Скупые упоминания о ней у русских Архангельской, Олонецкой, Вологодской, Костромской, Ярославской, Тверской и Псковской губерний встречаются лишь с середины XIX в. [Vahros, 1966. S. 309]. Женихов банный ритуал был зафиксирован также в отдельных селениях Цивильского, Царевококшайского и Чистопольского уездов Казанской губернии [Зорин, 1981. С. 94]. У других восточнославянских народов он не известен. Среди финно-угорских этносов России этот церемониал, помимо вепсов, был зафиксирован в некоторых карельских деревнях, у води и ижоры. Во всех источниках указывается совсем небольшое количество ритуальных действий, сопровождающих баню жениха, прежде всего обережного и посвятительного характера. Эти сведения говорят о том, что в разных местах и этнических средах при организации бани жениха отбирались и получали развитие только те обряды из бани невесты, которые были актуальны для «мужской темы» – для вступающего в брак парня. Так, в Рыбинском у. Ярославской губ. жениха провожали в баню торжественным шествием. Дружка, возглавляющий процессию, нес веник на длинной палке (фаллический символ). Парни, идущие сзади, звенели коровьими колокольчиками и стреляли из ружей. В Торопецком у. Псковской губ. дружка, начиная мытье жениха, плескал на каменку пиво или водку и произносил заклинания – уроки от злого взгляда. Как и при проведении у вепсов невестиной бани, здесь использовалась сковорода. Закончив процедуру, дружка клал на пол сковороду с тремя камнями и разбивал их обухом топора со словами: «Как эти камни рассыпались, так и наши злодеи рассыпались» [Vahros, 1966. S. 310–312].

В карельской традиции с помощью особой песни жених просил мать или сестру затопить баню тонкими дровами, приготовить щелок для мытья головы. Парни с песнями вели жениха в баню. Там он мылся один,

у северных карелов – иногда с патьвашкой, совершающим над ним колдовские действия [Сурхаско, 1977. С. 102]. В это время в предбаннике парни исполняли особые банные песни (*kylyvirzi*), в которых содержался призыв расстаться с прежней холостяцкой жизнью [Vahros, 1966. S. 316].

У воды и ижоры жениха в баню также сопровождали парни. Там они мыли ему голову, а девушки сидели в предбаннике и пели песни. Исполняемые ими песни были идентичны банному песням невесты [Vahros, 1966. S. 318].

Баня молодоженов. В северновепских деревнях супружеской паре после первой брачной ночи устраивали совместную баню, главным смыслом которой было очищение и освящение совершившегося события. Разбудив молодых, их спрашивали: «Нужна ли баня?». Если половой акт состоялся, то жених отвечал утвердительно. По некоторым сообщениям, печь в бане не всегда топили, а только грели воду. Здесь молодых оставляли вдвоем, они ничего не мыли, кроме своих половых органов [Holmberg, 1924. С.15]. По другим сведениям, баню топили. С топкой были связаны шутки односельчан: выносить из бани дверь и окно и прятать их. Дружки должны были найти спрятанные дверь и окно или заплатить за них выкуп. По мнению исследователей, эти конструктивные части построек входят в систему генитальной символики, их кража соотносится с дефлорацией [Байбурин, Левинтон, 1978. С. 95]. Этот же смысл имели и другие действия банного ритуала. Например, дружка делал в стене предбанника дыру и смотрел в нее, как молодые моются. Затем приходила свекровь посмотреть на молодых. Дружки в предбаннике пили вино, а бутылку бросали в стену и пели песни. Свекровь одевала молодых в бане. После ее ухода дружка шел в баню и спрашивал молодых: «*Hüvinik pezitei, tegittik t'äl öl g'fätkan?*» – «Хорошо ли помылись, совершали ли всю ночь грех?». Все свадебщики смеялись и пели песни [NÄKM, 1951. S. 125–126]. В с. Горнее Шелтозеро действия свекрови в бане имели продуцирующий смысл: она приходила туда с миской мясного супа и этим супом мыла молодых [АКНЦ, ф. 1, оп. 43, № 300, л. 7–10]. Умывание молодых из одной миски (водой, супом) имеет прибалтийско-финское происхождение, которое позже было включено в банный ритуал молодоженов [Ojajärvi, 1959. S. 293, 314].

Поездка молодых в баню на санях (телеге) и их обратное возвращение также демонстрировали событие ночи. В с. Каскесручей молодоженам вначале подавали «экипаж», имею-

щий фаллическую символику, – борону, деревянные зубья которой были направлены вверх. Роль возниц исполняли дружки, которые при быстрой езде неоднократно опрокидывали сани (телегу) с молодыми и заставляли прилюдно целоваться. Многочисленные барахтания на земле и поцелуи молодоженов символизировали успешно состоявшийся брачный союз.

В некоторых северновепских деревнях послесвадебный банный ритуал демонстрировал включение новобрачных в группу взрослых: он объединял молодоженов, их родителей и взрослых жителей деревни. После новобрачных в бане мыли свекровь, иногда вместе со свекром. Затем их или одну свекровь катали в санях по деревне под крики толпы «Ура!». В с. Шелтозеро свекровь садилась в сани, молодая дарила ей рубаху, а женщины с песнями тянули повозку через всю деревню [SKS, E, Valjakka, № 579].

Обрядовое посещение молодыми бани было широко распространено среди русского населения северо-западных и центральных губерний России и имеет давнее происхождение. О нем имеется свидетельство немецкого ученого А. Олеария (XVII в.) [Олеарий, 1986. С. 350]. Данный ритуал был зафиксирован также у некоторых групп эстонцев, карелов, коми-зырян, мордвы, удмуртов. По мнению А. Оярви, появление свадебной бани молодоженов у пермских и волжских финноугров связано с русским влиянием [Ojajärvi, 1959. S.329]. Банный церемониал молодых как у русских, так и у финно-угорских народов существовал во множестве вариантов. Однако северновепский ритуал обнаружил поразительное сходство с южнокарельским. В состав последнего также входили: воровство банной двери у истопников и ее выкуп; совместное мытье молодоженов; разбивание бутылок и горшков свадебщиков о стены бани; присутствие свекрови при мытье и одевании новобрачных; послебанное катание молодых по деревне, сопровождаемое шутками; совместное мытье и последующее катание на санях свекра и свекрови; одаривание свекрови невесткой перед катанием [Сурхаско, 1977. С. 186–189]. Подобные аналогии объясняются безусловным влиянием южнокарельской банной традиции на северновепскую.

3. Баня в похоронно-поминальной обрядности.

В похоронно-поминальном обрядовом контексте актуализировалось очистительное значение бани. У северных и средних вепсов по

возвращении с кладбища участники похорон ходили в баню, чтобы избавиться от холода и нечистоты мира мертвых. Этот обычай был зафиксирован также у лояницких, сегозерских и местами у северных карелов, русских (Владимирская губ.) [Сурхаско, 1985. С. 111; Русские, 1997. С. 524].

Приготовление бани для покойника являлось неотъемлемой частью сорочин в вепском Прионежье, Белозерье и в некоторых деревнях Приоятья. Поминальная баня считалась последней для умершего в мире людей, поэтому она сопровождалась множеством плачей. Прибытие в иной мир требовало очищения. Баню топили вечером накануне сорокового дня. Туда приносили и развешивали одежду умершего, полотенце (рис.1). В таз наливали теплой воды, клали веник. Родственница или плакальщица плачами приглашала «гостя» в баню (рис. 2). Так, во время проведения сорочин в с. Войлахта (2001 г.) от А. П. Загуляевой был записан такой текст:

Ой, приходи-ко до нас,
Наш родимый сват.
Ой, на свои поминочки,
Ой, до милой жenuшка.
Ой, стоит затоплена,

Ой, сготовлена,
Да парна баенка.
Ой, ждали же шесть неделюшек.
Ой, тело белое
Уж закопилось.
Ой, платьице, да лежит,
Запылилося.
Ой, да помойся, да
В нашей срубленной.
Ой, водица взята,
В тазик налита.
Ой, на полке
Мыло белое.
Ой, веничек висит на жердочке.
Ой, ты приди-ко до нас
К нашей срубленной.
Ой, с той сторонки да нету выхода.
Ой, что уже шесть неделюшек,
Твоя милая жenuшка,
Ой, не стало да не,
Все ждала тебя.

Мытье «гостя», сопровождающееся причитаниями, вытирание его полотенцем имитировал кто-либо из членов семьи. После мытья «гостя» баню посещали участники сорочин.

Аналогичная баня для умерших, устраиваемая вечером накануне 40 дня после смерти, бытовала у русских Вологодчины [Vahros, 1966. S. 103].



Рис. 1. Приготовление поминальной бани для умершего вдовой Н. А. Емельяновой в с. Войлахта. Фото В. Б. Бовина, 2001 г.



Рис. 2. Приглашение умершего в баню причитальщицей А. П. Загуляевой в с. Войлахта. Фото В. Б. Бовина 2001 г.

На других русских территориях баня для умерших устраивалась в другие календарные даты: в родительские субботы, Великий четверг, кануны великих праздников. Многие древнерусские памятники (проповеди и наставления церковнослужителей) свидетельствуют о том, что ритуал приготовления бани для умерших – древнейший, возникший задолго до XI в. [Vahros, 1966. S.101].

Итак, рассмотренные материалы о вепсах, их анализ в сравнительном аспекте продемонстрировали разные механизмы внедрения банных ритуалов в вепский культурный ландшафт. Далеко не все инновации были отобраны вепским населением. Эта постройка, например, более гигиеничная, чем хлев, так и не стала местом для родов у вепских женщин. У северных вепсов баня для молодоженов была схожа с баней у южных карелов, а баня сорокового дня – с баней у русских. Южные вепсы на первых порах отвергали бани и предпочитали мыться в печах, но при этом постепенно включали в свой свадебный ритуал обрядовую баню невесты. В то же время у них не получили распространения бытующие у соседнего русского населения бани для молодоженов и умерших. Отобранные элементы подвергались значительной модификации со стороны этнолокальных групп вепсов. Модификация затрагивала весь обряд или его отдельные

предметные, персонажные, акциональные и вербальные компоненты. Иногда инновация подвергалась такой значительной переработке, что уже переставала осознаваться как таковая и превращалась «в органическую часть этнической культурной традиции» [Арутюнов, 1989. С. 174]. Примером такой интеграции является северновепсская банная культура.

Литература

- Арутюнов С. А. Народы и культуры: развитие и взаимодействие. М.: Наука, 1989. 247 с.
- Архив Карельского научного центра РАН (в тексте – АКНЦ).
- Баня и печь в русской народной традиции. М.: Intrada, 2004. 288 с.
- Б-в И. Свадебные обычаи в Немжинском приходе Лодейнопольского уезда // Олонецкие губернские ведомости. 1897. № 19, 23, 25.
- Байбурин А. К., Левинтон Г. А. К описанию организации пространства в восточнославянской свадьбе // Русский народный свадебный обряд. Л., 1978. С. 89–105.
- Байбурин А. К. Ритуал в традиционной культуре. СПб.: Наука, 1993. 240 с.
- Бернштам Т. А. Молодежь в обрядовой жизни русской общины XIX – начала XX в. Л.: Наука, 1988. 277 с.
- Бернштам Т. А. Народная культура Поморья в XIX – начале XX в. М.: ОГИ, 2009. 432 с.
- Винокурова И. Ю. Огонь в мифологии вепсов // Вепсы: история, культура, межэтнические контакты. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1999. С. 148–167.

Горб Д. А. Материальные компоненты вепсского свадебного обряда в конце XIX–XX в. (по материалам ГМЭ) // Население Ленинградской области: материалы и исследования по истории и традиционной культуре. СПб., 1992. С. 154–169.

Гущина В. В. Вепская свадьба по архивным материалам Н. Н. Волкова // Современная наука о вепсах: достижения и перспективы (памяти Н. И. Богданова). Петрозаводск: КНЦ РАН, 2006. С. 295–302.

Зорин Н. В. Русская свадьба в Среднем Поволжье. Казань: Изд-во Казан. ун-та. 1981. 199 с.

Колмогоров А. Н. Поездка по Чухарии (предварительное сообщение) // Землеведение. 1905. Кн. 3. С. 93–114.

Криничная Н. А. Сынове бани (мифологические рассказы и поверья о духе – хозяине бани). Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1995. 69 с.

Логинов К. К. Семейные обряды и верования русских Заонежья. Петрозаводск: КНЦ РАН, 1993. 228 с.

Музей антропологии и этнографии (Кунсткамера) (в тексте – МАЭ).

Олеарий А. Описание путешествия в Московию // Россия XV–XVII вв. глазами иностранцев. Л.: Лен-издат, 1986.

Путистин С. В. Печь южных вепсов: традиции и заимствования // Современная наука о вепсах: достижения и перспективы (памяти Н. И. Богданова). Пет-

розаводск: КНЦ РАН, 2006. С. 285–293.

Российский этнографический музей (в тексте – РЭМ).

Русские. М.: Наука, 1997. 828 с.

С-ов П. Оятские лапти // Олонецкий сборник. 1894. Вып.3. С. 397–404.

Санкт-Петербургское отделение РАН (в тексте – СПбАН).

Строгальщикова З. И. Материалы по родильной обрядности вепсов // Обряды и верования народов Карелии. Петрозаводск: КНЦ РАН, 1988. С. 95–106.

Сурхаско Ю. Ю. Карельская свадебная обрядность (конец XIX – начало XX в.). Л.: Наука, 1977. 237 с.

Сурхаско Ю. Ю. Семейные обряды и верования карел (конец XIX – начало XX в.). Л.: Наука, 1985. 170 с.

Holmberg U. Vepsäläisten häämenot // Suomen Museo. 31. Helsinki, 1924. S. 109–136.

Näytteitä Äänis- ja Keski-vepsän murteista (Keränneet: Setälä E.N., Kala J.H.). Helsinki, 1951. 621 s. (В тексте – NÄKM).

Ojajärvi A. Morsiussauna // Kalevalaseuran vuosikirja, № 39. Helsinki, 1959. S. 293–330.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kansanrunouden arkisto (в тексте – SKS).

Vahros I. Geschichte und Folklore der grossrussischen Sauna. FFC № 197. Helsinki, 1966. 360 s.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ:

Винокурова Ирина Юрьевна
зав. сектором этнологии, д. и. н.
Институт языка, литературы и истории
Карельского научного центра РАН
ул. Пушкинская, 11, Петрозаводск,
Республика Карелия, Россия, 185910
эл. почта: irvin@sampo.ru
тел.: 89215219450

Vinokurova, Irina
Institute of Language, Literature and History
Karelian Research Centre, Russian Academy of Science
11 Pushkinskaya St., 185910 Petrozavodsk, Karelia, Russia
e-mail: irvin@sampo.ru
tel.: 89215219450

УДК 398.3+398.4(=511.112)

ЛЕСНОЙ НОС: АРХАИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КАРЕЛОВ О БОЛЕЗНИ И МАГИЧЕСКИЕ ЛОКУСЫ РИТУАЛА ИСЦЕЛЕНИЯ

Л. И. Иванова

Институт языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН

Статья посвящена архаичным представлениям о болезни лесной нос (ливв.: mešännenä, с.-к.: metsännenä), которая карелами воспринималась как некое живое существо. Впервые исследуются взгляды карелов на причины возникновения данного недуга. Основная из них – нарушение табу и условий общения с духами-хозяевами леса, неверный способ и ошибочные цели проникновения в ландшафт «лесного царства». В связи с этим рассматриваются сам обряд и основные локусы, в которых проводился ритуал исцеления (лес, дерево, земля, перекресток, муравейник, баня).

Ключевые слова: лесной нос, свой/иной мир, причины недуга, нарушение табу, сакральные локусы, ритуал исцеления.

L. I. Ivanova. **THE FOREST NOSE: ARCHAIC IDEAS OF KARELIANS ABOUT DISEASE, AND MAGICAL LOCI OF THE HEALING RITE**

The Article is devoted to the archaic notions about the disease forest nose which was perceived by the Karelians as an alive creature. For the first time are investigated the views of the Karelians on the causes of the origin of this ailment. The principal among the causes is a violation of the tabus and the conditions of the communication with the spirits of the forest-owners, the wrong way and the incorrect goal of the penetration into the landscape of the “forest kingdom”. Due to this fact the rite and the main locus, where the ritual of healing is held (forest, tree, earth, road intersection, ant hill, bath-house (banya)), are considered.

Key words: forest nose (“lesnoi nos”), your own/ another world, the causes of the ailment (disease), the violation of tabus, sacral locus, a ritual of healing.

В архаическом мировосприятии, примером которого является карельская мифология, микрокосм (человек) и макрокосм (в данном случае это лес) неразрывно связаны друг с другом некоей невидимой цепью. Поэтому нарушение любых табу и условностей, т. е. «поломка» любого звена этой цепи, приводит к тяжелым последствиям. И в то же время два мира – свой, человеческий, и иной, чужой мир «лесного царства» – отделены друг от друга различными границами (простран-

ственными, временными, вербальными, этическими). Когда человек переступает их, лес и его хозяева наказывают провинившегося, насылая особую болезнь – лесной нос (ливв.: mešännenä, с.-к.: metsännenä). В данном контексте перевести слово «пенä» можно и как «конец, передняя часть, остриё». Карелы считали, что существует множество различных носов-болезней: леса, воды, огня, ветра, могилы и др. Все они, наряду со многими другими недугами (оспа – Ospičču Ivanovič, прихо-

дящее – tulomine и тому подобные), мифологизируются и персонифицируются.

По мнению К. Астедта, у слова «*penä*» в данном понимании можно выделить два значения: во-первых, это некая мистическая болезнь, а во-вторых, некое мифическое духовное существо. Граница между этими понятиями, считает исследователь, очень зыбкая [Astedt, 1960. S. 307]. В карельских верованиях они, скорее всего, объединены, т. к. сама болезнь воспринимается как некое аморфное живое существо (причем любая; например, оспу называли *Ospičču Ivanovič*, ей даже готовили угощение, прося взамен уйти из дома).

В словаре карельского языка «*metsännenä*» объясняется как «болезнь, которая случается от гнева лесного духа-хозяина». Сами носители информации говорят о множестве симптомов, часто совпадающих при различных носках. В Суоярви говорили, что «тогда грудь и плечи болят»; в Сямозере – что кружится голова; в Суйстамо – что это вообще любая болезнь, приходящая из леса [KKS, 1993. S. 297]. В Савинове карелы считали, что «нос леса... еду не пропускает (т. е. тошнит, рвет). В лесу есть хозяин. Ему как выкрикнешь что-нибудь плохое, тогда-то и придет» [ФА. 2972/22а]. Карелы считали, что носы леса и ветра – «это братья! Братья! Ветер спрашивает у леса. Лес спрашивает у ветра... Поди знай, что спрашивают!.. Если ветер, то голова болит. А если лес к человеку пристанет, тогда тошнит, аппетита нет, то колет в спину, то – в какое место, не дает груди дышать» [ФА. 3026/5].

По мнению карелов, все носы (леса, воды, могилы и др.) взаимосвязаны. Поэтому они особенно опасны тем, что «если один нос пристанет, то тут и три пристанет подряд» [ФА. 3362/23].

Болезни «от носа» называли еще одним термином: *tulomine*, т. е. приходящее [ФА. 2397/11]. Часто «плохое» (*paña*) могло «пристать» (*tarttuu*) просто от собственной нехорошей мысли, например, от боязни заболеть или сломать ногу. В Беломорской Карелии, «когда в лесу что-то случилось, просили прощения у “золотого короля леса”. Зуб мог заболеть, руку можно порезать или к ноге “пристанет”. Когда испугаешься, тогда и пристанет» [Virtaranta, 1958. S. 77].

Болезнь могли наслать и рассерженные хозяева леса. В одной из быличек рассказывается, как на свадьбе колдунья, споря и хвастаясь собственными силами, потревожила и рассердила лесные силы (*mečänvägi*). После этого молодожены тяжело заболели. Знахарю, к которому обратились родители, пришлось умолять всех хозяев леса, но он смог уговорить

только одного из них, самого жалостливого, «и тот позволил хотя бы поставить молодых на ноги» [SKS. 384/62].

Диагноз, причина и, что не менее важно, изначальное место возникновения недуга устанавливались различными способами. Во-первых, больной, проанализировав пройденный путь и совершенные действия, мог сам догадаться, какого духа-хозяина он прогневал. Во-вторых, он мог увидеть это во сне; часто перед этим следовало произнести особые заговорные формулы. В-третьих, самым радикальным и действенным методом было обращение к знахарю, который сразу же после установления диагноза мог начать процедуру исцеления.

Данный ритуал проводился на самых сакральных локусах, на которых был возможен контакт с представителями иного мира.

В Приладожской Карелии говорили, что когда глаза, уши или другая часть тела болят и знахарь установит, что это от лесного духа (*metsänhaltia*), то болезнь называли лесной нос (*metsännenä*). Для исцеления надо было идти в лес, встать **у муравейника**. Знахарь брал больного за руку, здоровался с хозяевами леса и девять раз читал заговор, каждый раз отступая на один шаг [SKVR. VII. 2494.] Другой рассказчик советовал, после того как попросишь прощения у «хозяина леса, хозяйки леса, золотого короля леса», девять шагов пятиться назад и только потом повернуться лицом в сторону дома. А если сильно болеешь, надо сделать трижды по девять шагов [SKVR. VII. 2482]. Подчеркивается, что уходить с места соприкосновения с иным миром надо не оглядываясь (достаточно вспомнить греческую Эвридику, оставшуюся в подземном царстве, или ветхозаветную жену Лота, превратившуюся в соляной столп). Человек просил прощения у всех хозяев леса, признавая их незыблемую правоту («ваша правда, наша вина»), прося их «забрать ваше хорошее, отдать наше плохое» [SKVR. VII. 2479]. При этом он осознавал греховность и свою личную, и всего человечества: «нет дерева, на котором бы не сидела птица, так нет и человека, который не оступился бы» [SKVR. VII. 2497]. Необходимым условием обряда исцеления было присутствие еще одного человека (*toinen mies vierahaksi*), прямо во время произнесения заговора предупреждали духов: «Здесь у меня чужой человек!» [SKVR. VII. 2497, 2499].

В мифологической прозе и верованиях муравейник часто является сакральным локусом, средоточием лесной жизни, местом обитания лесных духов и общения с ними. Считалось, что в образе муравья предстает и

сам хозяин леса: «народ леса... показывает-ся умеющему вызвать его в виде... муравья» [Мансикка, 1917. С. 204]. У муравейника проводили многие ритуалы: исцеления, гадания, поднятия девичьей лемби. В мифологических рассказах рядом с этим локусом хозяева леса оставляют похищенных людей, которых они вынуждены принести обратно по просьбе-приказу знахаря.

В Южной Карелии считалось, что если болезнь кем-то наслана, надо постараться вернуть ее наславшему. Для этого следует поймать лягушку, привязать к ее лапке красную нить, отнести ее к муравейнику с северной стороны и привязать к елочке. И как постепенно будет съедаться лягушка, так и из наславшего болезнь будет выходить душа [НА. 5/226].

Очень часто ритуал исцеления от лесного носа (и большинства болезней) проходил **в бане**, которая у карелов в древности являлась не только лечебницей, но и неким родовым святилищем. В некоторых случаях знахарь сам мыл, а иногда и парил больного. Порой было достаточно получить от него заговоренную соль, самому растворить ее в банной воде и обмыться ею. Но в любом случае следовало соблюсти ряд правил. Во-первых, баню топили специально для такого случая, чаще всего поздно вечером, когда наступало магическое время общения с духами. Во-вторых, делалось это тайно, после ритуала нельзя было ни с кем разговаривать, следовало сразу же лечь спать. Здесь следует вспомнить, что сон карелами воспринимался как кратковременная «маленькая смерть», как путешествие души в иные миры. А истоки болезни (следовательно, и пути ее исцеления) виделись, в первую очередь, в духовной, а не материальной сфере. В-третьих, банный ритуал проводился сакральное количество раз: трижды или трижды три. В-четвертых, магическими были не только время и локус, основная магия принадлежала слову-заговору, которое прозносил знахарь или непосредственно в бане, сам проводя обряд исцеления, или когда готовил заговоренную соль. Главным в древнем ритуале был именно вербальный аспект, именно то Перво-Слово, о котором говорится в Евангелии от Иоанна: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Заговор был аналогом сакрального слова, Слова-Творца и Слова, которым творили. Именно поэтому чаще всего в такой бане не только не парили больного, но и не мыли, а только обливали водой, произнося заговорные формулы. Заговор – в некотором смысле это аналог молитвы, средство общения с духами. Сами носители традиции называют заговоры *syntysanat*, т. е. слова о творении

(или о рождении). Они произносились при появлении опасности или во время проведения каких-либо ритуалов. Эти слова-заговоры выступают в роли и оберега, и ключа к общению с представителями иных миров. Например, когда во время святочных гаданий вызывали Крещенскую бабу, которую «боялись, надо было слова о творении (о рождении) суметь прочесть. Если не смог, то Крещенская баба утаскивала» [Virtaranta, 1958. S. 582]

Иногда обряд начинался в одном локусе, а заканчивался в другом. В д. Гимойла, чтобы освободиться от лесного носа, сначала в бане делали изображение мужчины. Затем с этим изображением надо было, взяв ртуть, идти к муравейнику. Ртуть, как известно, применялась во многих обрядах, ее считали сакральным веществом. Не случайно в карельском языке ее называют «*elävä hobja*» – «живое серебро». Ее в качестве оберега клали и под порог, и в нагрудные мешочки вместе с лапками землеройки, и даже в крупу. (По-карельски землеройка – это «*moakondiene*», дословно: «земляной медвежонок». А медведь в карельской мифологии не только «дух-хозяин леса», но и первопредок, и лапы этого зверя тоже были оберегом). Затем у муравейника обращались к «известному лесному королю, сильному правителю леса, всех скал хозяину и гор властелину» и просили простить долги и принять жертвы-приношения: «выпей с вином свою злость, с пивом свое плохое». Потом принесенными подарками (ртуть в тряпице; в двух берестяных коробочках трижды по девять ячменных зерен) делали крест, рассыпали все вокруг муравейника и, прислонив к дереву, устанавливали заранее сделанное изображение. Говорили: «Вот тебе подарки, сильный правитель леса!», поворачивались спиной и уходили, не оглядываясь: «*Jää hyvästi! Всего хорошего!*» [SKVR. II. 868].

Многие заговоры, произносимые с целью исцеления, сохранили самые архаичные пласты верований (правда, они не лишены и христианизированных деталей). В них выздоровления просили у дерева, стоя на его корнях. В карельской мифологии **корни дерева**, как и пень, считались местом контакта с представителями иного мира, в данном случае «лесного царства». В быличках коров, похищенных хозяином леса, через много дней могут найти у дерева, мимо которого проходили не один раз: «По одним корням деревьев ходит, земля до черноты истоптана, все деревья искусаны» [ФА. 1700/17]. Корова «у дерева стоит и ходит вокруг дерева, никуда не уходит, даже уже тропинка есть... Не может уйти, ее лес спрятал, что-то с ней случилось, что она никуда не может уйти.

Если бы не погадали, она бы там и умерла, никуда бы не попала» [ФА. 2960/6]. Знахарь ставит пришедшую с ним женщину на пень, чтобы она увидела лесных духов. И она видит идущих по лесу «мужиков, ростом с высокие деревья» [ФА. 702/11]. Среди русского населения, в том числе и в Олонецкой губернии, существовало несколько обрядов, проводимых на пне/ Вот один из них: «Необходимо срубить осину, чтобы она упала верхушкой на восток, нагнуться и промеж ног позвать: «Дядя леший! Покажись не серым волком, не елью жаровой; покажись таким, каков я!» Зашелестят листья, и он явится» [Афанасьев, 1868. С. 345–346].

Во время ритуала исцеления, стоя на корнях дерева, произносили:

Чистое дерево,
Хозяин дерева, хозяйка дерева,
Белый (возм.: седой) старший дерева,
Попы и попадьи дерева,
Дьяконы и дьяконицы дерева,
Пономари и пономарихи дерева,
Слуги дерева, служанки дерева,
Верные слуги, большие, малые,
молодые, старые,
Дайте мне покой, здоровье для отдыха.
И боль уберите,
И раны излечите,
И смотрите, охраняйте.

[SKVR. VII. 4. 2782].

То, что **дерево** и сам лес считали живым существом, поклонялись ему, видно из многих обрядов. Во время одного из них брали из лесу ольховые ветки для исцеления. От них отламывали несколько верхушек и бросали через плечо, произнося: «Не приходи, лес, за долгами!» [SKVR. VII. 4. 1844].

Во время ритуала дерево (чаще всего это была ель или сосна) угощали, стараясь задобрить, и одевали в одежду больного, стремясь передать ему недуг. Такой обряд имел множество вариантов в Приладожской Карелии. Например, нужно было взять красные нитки, ольховые ветки, яйцо, черную шерсть, девять хлебных крошек, девять ячменных зерен, девять льняных семян, монетку, все завернуть в чистый носовой платок и отнести к муравейнику. Примечательно, что в комментарии к тексту заговора рассказчик называет муравейник лесным городом (*mehän linna*). Все участники действия стояли на коленях, при этом больного связывали ольховыми ветками, имитируя связывание самого лесного носа. В конце ритуала необходимо было «закрыть три замка» (*lukki kolme lukkuu*), то есть прочитать три молитвы-заговора [SKVR. VII. 4. 2500].

Еще одним локусом проведения обряда исцеления был **перекресток**, традиционное место в обрядах и в мифологических рассказах для встречи и общения с потусторонними силами. Например, во время Святков здесь слушали предсказания Крещенской бабы и Сюдю. В карельских сказках перекресток тоже воспринимается не только как некая граница между мирами, но и как за-граница, иной мир. В одной из них говорится, что невеста приезжает к жениху «с другого перекрестка, с иных земель, с другого государства» [НА. 20/4]. Когда шли просить прощения у лесных хозяев, брали немного вина в бутылочке, делали из олова (металл, фигурирующий во многих карельских обрядах) крест, вдевали в него красную нить (магический цвет, продуцирующий здоровье и жизненные силы). Затем находили перекресток, рядом с которым растет низенькая раскидистая елочка (в обрядах жертвоприношений это стол Тапио) и стоит муравейник. В него капали вина, а на елочку надевали крест, кланялись в обе стороны и просили прощения у всех хозяев леса. Детали обряда подчеркивают стремление уподобить дерево человеку (возможно, и лесному божееству Тапио), елочка воспринимается как некое живое существо. После этого поворачивались по солнцу (чтобы открыть дорогу в свой, человеческий, мир), чертили крест на земле под ногами и уходили прочь, не оглядываясь, пока не покажется дым из труб [SKVR. VII. 4. 2485]. Только тогда человек оказывался под охраной домашних духов и предков; отсюда становятся понятными истоки грибоедовского «и дым отечества нам сладок и приятен».

Иногда делали веник из ольховых веток, завязывали на него красные тряпочки и красные шерстяные нитки и оставляли в лесу. А по ветвям дерева раскладывали пучок льна, трижды кланялись до земли и просили прощения:

Хозяин леса, хозяйка леса,
Золотой король леса,
Дети леса, в шелка одетые,
Белые, как лен,
В лесу играющие,
Сыновья леса, дочери леса, слуги леса,
Весь народ (род) леса!

[SKVR. VII. 4. 2491.]

Можно было взять льняную одежду и красную нить, обвести ими круг вокруг себя и повесить все на елочку. Рассказчик говорит, что «это оставляли в подарок», и подчеркивает, что идти в лес надо ночью, когда никто не видит и не слышит [SKVR. VII. 4. 2487].

Обращаясь к хозяевам леса, к лесу, просили принять подарки и исцелить «в тот же час, в ту

же минуту»: «положи боль в рукавицу, болячки в платок, отнеси в сумку судьи и отнеси весть братьям и сестрам, что долг отдан». При этом вешали на сук пучок льна; информатор объясняет, что лен «гладкий и белый» (se on selgei ta valgei), т. е. пусть таким же красивым и здоровым будет и человек. [SKVR. VII. 4. 2481].

Если лесной нос пристал (mečännenä tarttui), когда человек испугался какого-либо зверя, тогда шли на то самое место снова, готовили там стол, раскладывали угощение для всего лесного народа. Большой раздевался, а его одежду вешали на ель, как говорит рассказчик, «делали ель мужчиной» [SKVR. VII. 4. 2478].

Многие заклинания об исцелении начинаются рассказом о происхождении недуга, и только затем следует просьба, требование или угроза изгнать болезнь, причиненную деревом. Помимо слов, брали щепки от дерева, кипятили их в воде, которую потом пили или мыли ею ушиб, рану [ФА. 1702/10]. Иногда на рану дули со словами заговора, потом дерево много раз кусали, смачивая его слюной, и этой слюной мазали больное место. Весь ритуал, как обычно, проделывали трижды [ФА. 1754/4]. Некоторые мази делались на основе свежих сливок, в которые добавлялся пепел от сожженной березы. Карелы считали это дерево покровительницей материнского рода, а молоко (сливки – это его концентрация) в мифологии воспринимается как «одно из средоточий жизненной силы, или души» [Криничная, 2004. С. 653].

Особый ритуал исполняли, когда обнаруживали лесной нос у ребенка. Во-первых, он связан с культом матери-**земли**, а во-вторых, подчеркивает взаимосвязь всех духов-хозяев в архаическом мировосприятии карелов. У **дороги**, которая ведет через лес и по которой когда-либо проносили гроб (символический путь в иной мир), отрезали ножом и лопатой большой четырехугольный (nellikulmainen) кусок дерна. В нем делали круглое отверстие и через него продевали ребенка (имитация прохождения через подземное царство, через мир мертвых). И в то же время это своеобразное второе рождение, уже не земной женщиной, а самой глубоко почитаемой матерью-землёю. Карелы говорили: «Что лес нашлет, то земля поправит». Тем самым они признавали верховную власть за «кормилицей матерью-землею тоаема-syöttäizeni». Если ребенок сам не мог проползти, ему помогали взрослые. В это время читали заговор, призывая маленькую служанку и золотого короля леса «познакомиться и поправить дела». Затем с ребенка стряхивали землю, одевали и «так заворачивали, чтобы никто не увидел, как его несут домой» [SKVR. VII. 4. 2304].

В Поросозерском кусте деревень предлагается еще один способ изгнания лесного носа. Надо было связать друг с другом верхушки двух ольховых деревьев и оставить их на три ночи. Затем прийти и поговорить с хозяевами земли: «Хозяин земли, хозяйка земли, болезнь наславшая» – «Зачем меня связали? Я бы исцелила тебя» – «Я потому связал тебя, потому что ты меня ранила. Прости меня за грехи, если я что-то плохо сказал». В данном тексте отражаются одни из самых архаичных взглядов о хозяине леса, который связан с духами земли. Олицетворяется сама земля, она насылает болезнь на человека и соглашается исцелить только после того, как он связывает ей «руки», т. е. две ольхи [SKVR. II. 866].

Один из самых древних вариантов обряда записан в Погранкондушах, в нем просят прощения у самого **леса**. Лесной нос – это болезнь, которая «пристает» в лесу, когда человек чем-то прогневит, обидит лес, его обитателей или хозяев. Тогда в человеке «ничто не удерживается, сильно тошнит и он весь сохнет». В таком случае надо идти просить прощения (pyydeä prosken'n'aa). Произносили:

Хозяева леса, хозяйки леса,
Деда леса, бабы леса...

Причем информатор предупреждал, что ни в коем случае нельзя говорить: «золотой король леса». Прочь отбрасываются и все христианские обращения типа: «всевышний, дай... (Отец небесный, дай)». Затем кланяются лесу (причем больной стоит слева от знахаря), трижды поворачивают исцеляемого и уходят [SKVR. II. 864].

В окрестностях Туломозера записан несколько иной заговор, в котором древние языческие корни уже сочетаются со стадийно более поздними наслоениями. Говорится, что «плохое приходит от семян плохого мужчины (имеется в виду стадийно более поздняя ассоциация хозяев леса с чертом. – Л. И.), плохое приходит от плохих разговоров». Это лесные хозяева навлекли болезнь, коснувшись человека хвоей, задев его «седой бородой». А человек спровоцировал их своими «плохими разговорами». Затем призывается на помощь «Укко Всевышний, переносящий облака» [SKVR. II. 865].

Еще в одном заговоре просят исцеления и прощения у златокосых хозяев и хозяек леса. Как известно, «золотая окраска есть печать иного царства» [Пропп, 1986. С. 285]. Далее человек поясняет: «все мы бунтовали и ходили войной против вас и против друг друга, но мы попросили прощения и пришли к согласию. Простите ли вы все это нам или что надо сделать, откуда нам уз-

насть?» И тогда хозяева леса во сне покажут, что им требуется [SKVR. II. 867].

В Олонецком районе во время обряда исцеления знахарь-тиэдойникку связывал веревкой два дерева. Это называлось «связать лес» (mečču siduu) [ФА. 3712], то есть подчинить сам лес и его хозяев воле человека, который обладает сакральным словом, дающим особые силы и знания.

Карелы многие болезни, случавшиеся с человеком, называли и по имени одного из древнейших лесных божеств, которое позже стало ассоциироваться со злым духом – хийси (hiisi). Сами информаторы объясняют происхождение таких недугов следующим образом: «Хийси – это то, что пристаёт к человеку и приносит боль, болезни. Есть хийси лесной, водный, могильный, огненный, земляной, и все они пристаёт к человеку. Везде свое творение (olento): в лесу, воде, земле, в могиле – свой род, свои духи-жители. Они показываются только перед плохим, в другое время не видны. В лесу человек испугается или выругается, тогда пристанет лесной хийси (metsänhiisi). Хийси проклятий (kironhiiet) пристаёт, когда ругаешься. Хийси струпьев (gurihiisi) живет за печкой и пристаёт от грязи в бане. При гнойном хийси (raisehiisi) вскакивают прыщи, гнойники, фурункулы. Говорят: «Хийси – адский ублюдок, тайный сын Вяйнэмейнена». Это самый плохой. Неизвестно, в какое время он пристанет. Он сидит в задней части печи, ест камни и крупную гальку» [SKS. 344/12348–12350].

Таким образом, когда человек преступает любые границы, будь то пространственные, временные или этические, нарушает различные табу и условия общения с духами, проникает в «лесное царство» неверными путями и с ошибочными целями, он навлекает на себя гнев хозяев иного мира. В ответ они насылают болезнь. И исцелиться, как считал карел, т. е. восстановить физическое и духовное здоровье, можно лишь наладив, восстановив прежние добрые отношения с духами, по отношению к которым человек ощущал себя в роли подчиненного. Путь к исцелению был не в лекарственных

травах и массаже (которые, безусловно, были тоже известны карелам), а в первую очередь, в восстановлении нарушенного равновесия между микро- и макрокосмосом, в гармонизации отношений с различными духами-хозяевами, в усмирении их гнева. Этот процесс происходил на рассмотренных в статье локусах. При этом стоит заметить, что некоторые из этих локусов являлись местом лечения многих недугов, были универсальной лечебницей (например, баня). На других можно было исцелить только от лесного носа. В любом случае ритуал целительства рекомендовалось проводить, в первую очередь, именно там, где человек прогневал духов. От лесного носа избавлялись в лесу, от носа воды – на берегу водоема, от могильного носа – на кладбище, то есть локус-источник болезни чаще всего совпадал с местом ее излечения.

Литература

- Афанасьев А.* Поэтические воззрения славян на природу. Т. 2. М., 1868.
- Криничная Н. А.* Русская мифология: мир образов фольклора. М.: Гаудеамус, 2004. 1006 с.
- Мансикка В. П.* Из финской этнографической литературы. Петроград: Типография В. Д. Смирнова, Екатеринбургский кан., № 45, 1917. 231 с.
- Научный архив КарНЦ РАН.* Фонд 1. Опись 2 (в тексте – НА, номер коллекции / номер текста).
- Пропп В. Я.* Исторические корни волшебной сказки. Л.: Изд-во Ленинград. ун-та, 1986. 336 с.
- Фонограммархив ИЯЛИ* (в тексте ФА, номер касеты / номер текста).
- Astedt K.* Mytologisista nenä-yhdynäisistä / Kalevaseuran vuosikirja. 40. Porvoo-Helsinki, 1960. 411 s.
- Karjalan kielen sanakirja.* Osa 3. Helsinki: Suomalais-ugrilainen seura, 1993. 584 s.
- Suomen kansan vanhat runot.* II: Aunuksen, Tverin ja Novgorodin-Karjalan runot / Julkaissut A. R. Niemi. Helsinki, 1927.
- Suomen kansan vanhat runot.* VII: Raja- ja Pohjos-Karjalan runot / Julkaissut A. R. Niemi. Helsinki, 1933 (в тексте – SKVR, римская цифра указывает номер тома, арабская – номер текста).
- Suomen kirjallisuuden seura,* Joensuu (в тексте – SKS, номер микрофильма / номер текста).
- Virtaranta P.* Vienan kansa muistele. Porvoo-Helsinki, 1958. 804 s.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ:

Иванова Людмила Ивановна
младший научный сотрудник
Институт языка, литературы и истории
Карельского научного центра РАН
ул. Пушкинская, 11, Петрозаводск,
Республика Карелия, Россия, 185910
эл. почта: ljuchiki@mail.ru
тел.: 89216213248

Ivanova, Ljudmila
Institut of Language, Literature and History,
Karelian Research Centre, Russian Academy of Science
11 Pushkinskaja st., Petrozavodsk, Karelia, Russia, 185910
e-mail: ljuchiki@mail.ru
tel. 89216213248

УДК 947 (470.22)

ВОЛОСТНАЯ И ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКАЯ СТРУКТУРА КАРЕЛЬСКОГО ПОМОРЬЯ, КОНЕЦ XV – СЕРЕДИНА XVIII ВВ. *

А. Ю. Жуков¹, Е. В. Лялля²

¹ *Институт языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН*

² *Петрозаводский государственный университет*

На основе фронтального анализа данных архивных и опубликованных источников XV–XVIII вв. впервые прослежена история зарождения и развития волостного и церковно-приходского ландшафта Кемской и Шуерецкой волостей, составивших в 1785 г. ядро Кемского уезда; анализ материала синтезирован в виде двух карто-схем волостной и поселенческой структур северной Карелии в XVI и в конце XVII – середине XVIII вв.

Ключевые слова: волостной и церковно-приходской ландшафт, поселенческая структура, волостные границы, местное самоуправление, Карельское Поморье, волости.

A.Yu. Zhukov, E. V. Lyallya. THE VOLOST AND PARISH LANDSCAPE OF THE KARELIAN POMOR AREA, 15th – 18th CENTURIES

Having employed frontal analysis of data from 15th – 18th century archival and published sources we have for the first time traced the history of the emergence and evolution of the volost and parish landscape of the Kemsкая and Shujeretskaya volosts, which had since 1785 been the main parts of the Kemskiy uезд. The materials were synthesized into schematic maps of the volost and parish division of northern Karelia in the 16th, 17th and 18th centuries.

Key words: volost and parish landscape, settlement structure, volost boundaries, local self-government, Karelian Pomor area, Kemsкая and Shujeretskaya volosts, Kemskiy uезд.

В 1785 г. указом Екатерины II был образован Кемский уезд из земель вотчинно-административного Соловецкого округа, в 1760-х гг. секуляризованного государством. Ядро уезда составили Кемская и Шуерецкая волости. В статье прослежена консолидация поморских волостей

* Статья выполнена при финансовой поддержке РФНФ, по проекту № 11-01-12033в «Разработка геоинформационного комплекса по истории системы расселения на территории Карелии» (2011–2013 гг.) и в рамках реализации Программы стратегического развития ПетрГУ на 2012–2016 гг.

Карельского берега вокруг Кеми путем исследования волостного и церковно-приходского ландшафта как интегрального воплощения поселенческой структуры и крестьянского самоуправления. Историки, занимавшиеся Соловецкой вотчиной [Савич, 1927; Мюллер, 1947; Старостина, 1967; Иванов, 2007], данную тему не поднимали.

Успенская Кемская и Никольская Шуерецкая волости образовались из вотчин «пяти родов корельских детей» (карельской феодальной

знати), конфискованных Иваном III Васильевичем. Впервые Шуерецкую волость с Никольской церковью фиксирует купчая 1499/1500 г.: Мина Матвеев и Степан Яковлев купили дом в *Шуереке на низу*, т. е. в Шуерецком, свидетелем сделки стал Яков Семенов, *староста Шуерецкой*, а писал документ «Онисимець *диака никольской* ис Шуи реке» [«дьяк» – церковный дьячок] [АСМ, 1988. 23].

Название Шуерецкого не устоялось и к середине XVI в. Например, по купчей от 7 апреля 1544 г. керетчанин Семен Андронов продал свою недвижимость «в *Шуе Большой* на *Карельской стороне*» [АСМ, 1988. 66]. Шуя Большая – это, несомненно, само Шуерецкое – единственное поселение волости, а Карельская сторона, видимо, обозначала его местонахождение на Карельском берегу. Другие наименования содержит Писцовая книга Заонежских погостов 1563 г.: в Повенце стояла сальница Сеньки Пирожникова из *Шуи Морской* и его же, Семена из *Шуи Карельской с моря*, соляной амбар за рекой Габрицей [ПКОП, 1930. 145–146]. Далее наименование *Шуя Карельская* стало наиболее распространенным.

В 1556/57 г. определилась граница Шуерецкой волости с дер. Сорока Сумской волости – вотчины Соловецкого монастыря. В Мировой записи о размежевании их земель севернее р. Выг писалось: «Владети нам крестьяном Сумские волости и Сороцкие деревни Соловецкого монастыря от Выга реки от Сороцкие деревни взле море берегом по *Карп-ручей*, да от моря Карп-ручьём вверх, да на Карпозерко, да от Карпозерка мхом прямо на мох, да с ручей на колено прямо, да *Малдо-ручьём* вверх, и как изойдет Малдо-ручей, ино мхом на Торвоское верховье. А нам, Шуерецкие волости великого князя крестьяном, владети от Шуе взле моря по тот же Карп-ручей и по Карп по ручью вверх по тем же урочищам своею стороною от Шуе, а Выгнаволоцкие острова Сумские волости и Сороцкие деревни, а *Кымелища* *островы* Шуерецкие волости»; в свидетелях «Семен Иванов сын Пирожников *поморец* ис Шуи реке, Истомка Яковлев сын Поряднина *поморец* ис Кеме реке» [АСМ, 1988. 135–136]. Несомненно, что С. И. Пирожников – это Сенька Пирожников переписи 1563 г. Жители Шуи и Кеми впервые названы поморцами – на Карельском берегу пошел процесс складывания субэтноса русских поморов. Аналогичную мировую записку (не ранее 1556/57 г.) крестьян Шуерецкой волости с сорочанами подписали: «Никольской поп Калинин Федотов сын Шуерецкой волости за всех своих крестьян руку приложил, староста Михайла руку приложил» [АСМ, 1988. 137]. Воло-

стное самоуправление Шуерецкого задействовало и при отводе Кемской волости в вотчину Соловецкого монастыря: как сопредельная с Кемью сторона, «Шуерецкой волости поп Никольской», староста и ряд шуеречан подписали Отдельную книгу от 20 июня 1591 г. Семена Юренева Соловецкому монастырю на Кемскую волость [Материалы, 1941. 327] (см. ниже).

Никольский священник жил на церковном Никольском погосте – в центре Шуерецкого поселения. Погост значится в жалованной грамоте новгородского митрополита Варлама от 3 мая 1593 г. о податных льготах для возобновления Никольской Шуерецкой церкви после ее сожжения шведами в 1591/92 г.: он пожаловал крестьян «Вотцкие пятины *Никольского погоста Шуерецкой волости* ... до тех мест, от даст Бог, тот *Никольской Шуерецкой погост* приходом крестьяны исполнитца» [НА КарНЦ РАН, 1593. 31; Материалы, 1941. 339–340]. В первом случае речь идет о церковном Никольском погосте, а во втором погостом названа Никольская Шуерецкая волость. Но подробно всю их структуру рисует Дозорная книга Лопских погостов Новгородского уезда 1597 г. подьячего Григория Кобелева; в источнике вся волость названа *Волость Шуя на реке на Шуе*, а поселение – *Волость Шуя*.

Описание начинается с центра – Никольского погоста: церковь *Никола чудотворец*: поставлена вновь после войны со шведами; другой храм св. Клементя тоже сожгли шведы в 1590/91 г.; на погосте живут 1 п., 1 д. ц., 1 пон.*; церковные сенокосы на островах Гям-острове, Коневе острове и в Кималищах. Далее переписаны крестьяне, их дворы и угодья: *Волость Шуя* – 38 дв. кр. живущих, в них 59 кр. и 12 подсоседников (после войны остались без дворов), «да подсоседников же торговых младших людей» 9 чел., итого 80 чел.; пашни 1,5 коробей ржи (кроме пашни-подсеки), 782 копен сена; итого платили с 42 и 1/6 живущих луков (единиц налогообложения), в т. ч. «з бережских тонь и с рек и с пожен да з двух луков с сенокосу на Силдо-ручью, да с Есиповского следу, да с острова», и с 40 и 5/12 пустых луков; а по платежным книгам 1587/88 г. было всего 30 живущих луков. Имелось 8 варниц у Студеного моря: на Перть-острове, на Гям-острове, подле моря же за Кемью в Долгой губе. И, наконец, запустело: 69 пустых м. дв.

* * * Здесь и далее: п. – поп, д. ц. – дьячок церковный, пон. – пономарь, дв. кр. – дворов крестьянских, кр. – крестьян(нин), чел. – человек(ка), м. п. – место пустое, м. дв. – место дворовое.

крестьянских (46 и 1/6 пустых луков), 14 м. п. варничных; 1 м. п. мельничное на реке Шуе – мельницу сожгли шведы в 1590/91 г. [ИК, 1987. 215–220].

Итак, к нападению шведов в 1590/91 г. шуеречане государевой деревни *Волость Шуя* и одноименной волости составляли уже два прихода: Никольский и св. Климента, обе церкви сожгли шведы; к 1597 г. шуеречане восстановили только Никольский храм. Думается, что фиксация в Дозоре подсоседников и торговцев как отдельных налогоплательщиков вызвала возмущение шуеречан, и поэтому по их настоянию в 1598 г. сын боярский Богдан Ребров и подьячий Богдан Леонидов провели новый дозор, оставивший уникальное по подробности описание волостного ландшафта.

Церковный погост описан без изменений, на нем живут п. Еуфимей Максимов, никольский д. ц. Петрушка Иванов сын Батятин, 1 пон. Якуш Михайлов, им даны сенокосы «по морским островам в Гям-острову да в Коневом острову, да в Кималищах», поп получил «на море на берегу рыбную ловлю тоню Шеломроги». Далее описана остальная структура поселения и волости.

Тяглые дворы: от Никольской церкви вниз по реке по Шуе 14 дв. кр., в т. ч. старосты Игнатки Иевлева, 1 дв. старца Ошевенского монастыря Стахия; а от двора старосты за рекой Шуйей, вверх по реке 12 дв. кр. и, идя в верховье через пустые места 1 дв. кр., от него, переехав за реку Шую вниз к Никольскому погосту, 11 дв. кр., в т. ч. 1 д. ц. с сыном. Наконец, 2 м. п. дворовых (1 кр. живет на море у варницы, 1 кр. живет у зятя д. ц.). Всего в Шуерецкой волости 38 дв. кр. живущих и 2 м. дв. живущих, итого 64 чел. (а не 80, как по дозору 1597 г.); сена косят 1340 копен; подати с 33 и $\frac{3}{4}$ живущих луков.

Шуерецкие варницы у Студеного моря: «на Перть-острове, едучи по морю к Сорочке по правую руку» 6 варниц, в т. ч. 1 варница Ошевенского монастыря, которая была шуерецкого попа Данила Козлова; в Гям-острове 1 варница; на море же на берегу за Кемью за Валитовым островом в Терентиеве губе 1 дв. и 1 варница; да в Долгой губе 1 дв., 1 варница; всего 9 варниц живущих. Видимо, Даниил Козлов – поп сожженной Клементьевской церкви.

Рыболовные угодья: 1) большие тони за Кемью на море на берегу: усть-речки Понземы, Пур-наволока, Шеломроги, Песчанка (4 тони); 2) отъезжие тони: у усть-Понзевомы речки тони Дмитров наволока, Великая Изба, Черная Щелья; у Пур-наволока тоня Чюракина; у Ше-

ломроги тоня Песчанка; у Песчанки тоня Сухая губа, да тоня Песчанка ж у соловецкие меж у керетские у речки у Кивиканды: 3) рыбные ловли на Силдо-ручью, с Есиповского следа и с острова, что на Шуе-реке в верховье.

Наконец, переписаны запустения. М. п. ельницы на реке Шуе (ее сожгли шведы в 1590/91 г.), здесь ошевенский старец Стахий ставит новую мельницу. На морском берегу на Хлебной реке 1 дв. кр. и 1 варница кр. Соловецкого монастыря Никона Мартынова, по словам шуерецкого старосты Игнатия Иевлева сына Бузуя и крестьян, стоят на шуерецкой земле, Никон владеет лет с 10, оброк платил в Соловецкий монастырь; пустая варница в Варгасгубе у речки у Понземы Спасского монастыря из Каргополя, куплена спасскими старцами в Ильин день 1598 г. у соловецких крестьян Кемской волости; дозорщик приказал старцу Стахею варницу «беречь ... до государева указа». 20 пустых варничных мест шуерецких крестьян: на Перть-острове, в Козлове-салмы, в т. ч. Васьки Козла [видимо, отец попа Даниила], за Кемью на морском берегу на Каменном наволоке, на Хлебной реке, против Воронья острова в Мандере, в Терентиеве губе за Валитовым, на губе на Яга-ламбе, в Виловатой губе, в Никитиной салмы (в т. ч. 1 дв. пуст), в Долгой губе, «на керетской меже у ручья у Кивиканды». Три пустых мельничных места шуерецких крестьян на реке Шуе.

Пустые дворы крестьянские: на погосте у Николы чудотворца на реке на Шуе на берегу (1 м. дв., $\frac{3}{4}$ пустого лука), от погоста рекою Шуйей вниз от Митина двора Горлова до Степанкова двора Ловушкинова сына Пирожникова (сенокос на 20 копен – $\frac{1}{2}$ пустого лука), от Власова двора Оксентиева верх по реке по Шуе (17 м. дв., в т. ч. м. дв. *У креста* Федуловское Огафонов), от Степанкова места Крякушина да Кости Виктуева вниз по реке по левой стороне на *Никольскую сторону* к Мосягину двору Семенову (1 м. дв.), от Максимкова двора Есипова да от Сеньки Иванова идучи к погосту рекою вниз (8 м. дв.): и всего в Шуерецкой волости пустых 60 мест, сенокосу на полях и на морском берегу 1710 копен, в пусте 42 и $\frac{1}{2}$ лука [ИК, 1987. 234–242] (рис. 1).

Текст обоих дозоров доказывает, что освоенный к концу XVI в. ландшафт не ограничивался собственно Шуерецким, он включал и множество других пунктов вплоть до р. Кивиканды на севере. Но дозор 1598 г. упомянул только Никольскую сторону самого Шуерецкого. А по купчей от 29 сентября 1612 г. Дмитрий Григорьев продал Соловецкому монастырю мельницу «у моря в волости в Шуе Корелской – на Шуе на реке

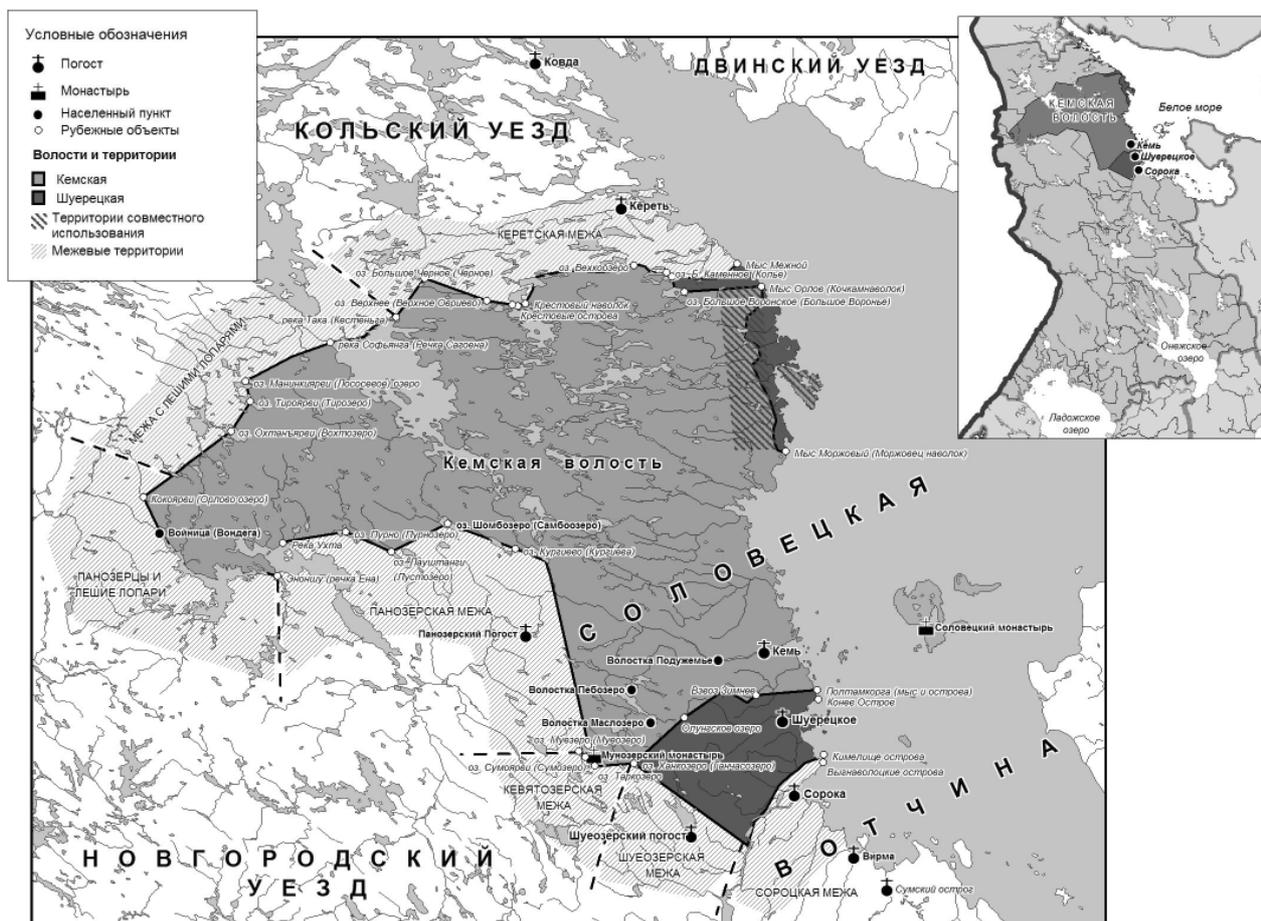


Рис. 1. Границы Кемской и Шуерецкой волостей на конец XVI в.

у Великого камня на *Сороцкой стороне*», а также двор «в Шуе ж Корельской на *Церковной стороне* на наволоку у Николы чудотворца». В тот же день по другой купчей Иван Деснин продал обители земли и двор на тех же сторонах [Карелия, 1949. 25–26, 26–27]. Следовательно, северная сторона Шуерецкого – Шуи Корельской называлась Церковной (Никольской) стороной, потому что на ней стоял Никольский погост, а южная, с путем в Сороцкую волость – Сороцкой стороной.

Жалованной грамотой от 19 сентября 1613 г. царь Михаил Федорович отдал Шуерецкую волость в вотчину Соловецкому монастырю: «ту волостку Шую Корельскую со крестьяны ... дали в вотчину впрок Соловецкому монастырю в подмогу ко всем ратным делам к *Сумскому острогу*» [Карелия, 1949. 28–29]. Под *волосткой* следует понимать всю волость, а не только поселение; эту Никольскую Шуерецкую волость царь сразу подчинил Сумскому острогу обители. Впрочем, в Приходной книге Новгородской четверти за 7128 (1619/20 г.) административное положение Шуерецкой волости значилось еще по-старому: «Вотцкие пятины в Лопских погостех с волости

Шуи Корельские...» [ПРК, 1983. 16], что объясняется запаздыванием фискальной документации от текущего государственного реформирования, отделившего волость от Лопских погостов Новгородского уезда.

Пребывание Шуерецкой волости в составе Соловецкого вотчинного округа можно считать спокойным, кроме времени Соловецкого восстания. В Научном архиве КарНЦ сохранилась коллекция «книг» ее волостного самоуправления с 1660-х гг. по XVIII в. Первая из них – «Книги окладныя *Шуерецкия волости* выборных Фефила Михаилова с товарищи 172 году» (1663/64 г.) [НА КарНЦ РАН, 1663/64. 1–16; Иванов, 2007. 534–541]. Волостной статус следует подчеркнуть, несмотря на то, что в переписях 1668 г. А. С. Хитрово волость была названа *Шуерецким усольем* в ряду других волостей Поморского и Карельского берегов Белого моря [РГАДА, 1668. 1–134; Иванов, 2007. 78.].

По переписям 1668 г., на севере Карельского берега поселения заканчивались *Летнерецким* и *Поньгомским усольями* [Иванов, 2007. 497, 507]. Между тем материал шуерецкого самоуправления за 1680-е гг. фиксирует появление двух новых селений Шуерецкой волости –

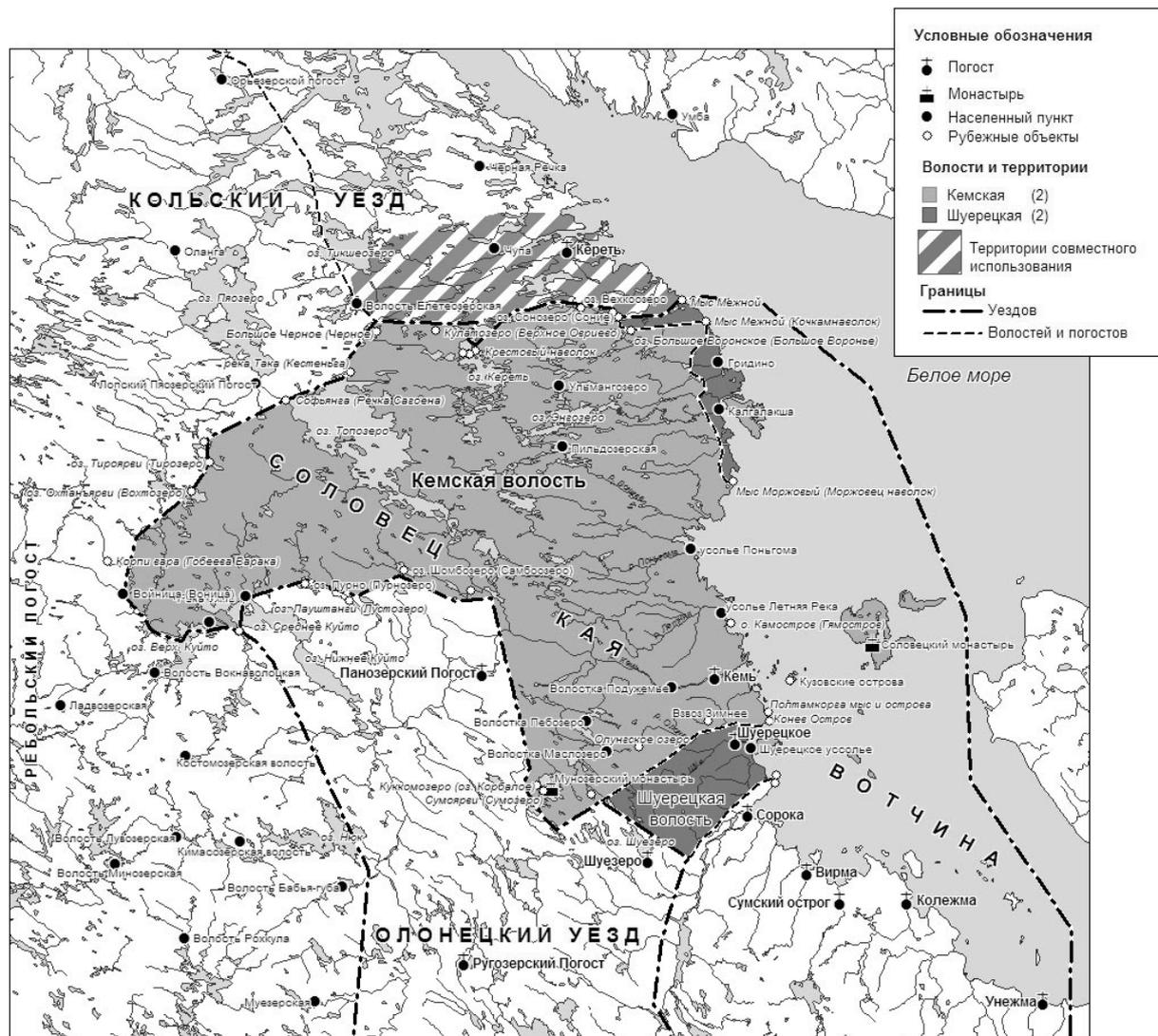


Рис. 2. Границы Кемской и Шуерецкой волостей на конец XVII в.

Гридино и Калгалакша (рис. 2). Так, в Окладной книге Шуерецкой волости от 6 декабря 1681 г. сначала описывались хозяйства собственно Шуерецкой волости и подводился итог: «В Шуи 47 луков 2 четверти», а затем под особым заголовком *Гридинцы* записаны 3 хозяйства, в т. ч.: «Федор Коневал сочтен: 4 головы ... да после наших тонщиков на тонях добыли рыбы семги на рубль», и далее под заголовком *Калгалакшские крестьяне* также переписаны 4 хозяйства, в т. ч. с хлебной подсекой [НА КарНЦ РАН, 1681. 1–22]. Таким образом, уже к 1680-м гг. структура волости усложнилась, кроме главного селения Шуи Корельской с церковным погостом около 1670-х гг. в ее северном анклав встали селения Гридино и Калгалакша. Интересно, что собственно шуеречане названы «нашими»: гридинцы и калгалакшане пока не воспринимались как коренные жители.

И действительно, источники свидетельствуют о пополнении волости «приходцами». Об этом можно судить по «географическим» прозвищам вместо отчеств некоторых шуеречан: Стефан Москва, Иван Кушьрека, Семен Ананьиных Кемлянин, Федор Ребола, Фетка Нючча, Иван Реболцов [НА КарНЦ РАН, 1681. 3–21 об.] – видимо, все они являлись выходцами из данных мест. А в Окладной книге Шуерецкой волости за 1689 г., не ранее 6 декабря, записан Василий Рофкулец – явно выходец из ребольской Ровкулы; там же отмечен гридинец Федор Коневалов, у которого «лопского и озерского торгу 4 рубли» [НА КарНЦ РАН, 1689. 20–21], – т. е. Федор торговал с жителями Лопских погостов и внутренних земель Кемской волости (о кемских озерчанах см. ниже).

Шуерецкая волость оставалась одним Никольским приходом. В Окладной книге за 1684 г. (не ранее 6 декабря) записано: «Никифор Попов

сочтен: ...35 рублев. И к сему окладу приложено по окладу рубль, и с того выложено *попу* из всего [далее на полях:] окладу *треть живота попу*» [НА КарНЦ РАН, 1684. 14–14 об.]. И в окладе за 1685/86 г. повторен третной оклад попу: «Никифор да Прокопей Поповы сочтены: ...21 рубль, и ис того попу выложена треть»; неизменной осталась и новая структура волости: шуеречане, калгалакшане (5 хозяйств), гридинцы (4 хозяйства) [НА КарНЦ РАН, 1685/86. 1–24]. Жалобу от 18 июля 1694 г. шуеречан (селения *Шуерецкой, Гридина, Калгалакша*) на керетчан о ямской гоньбе подписал никольский поп Шуерецкой волости [Карелия, 1949. 352–353.]

В особой Подводной и порядной книге волости (1685 г., 6 декабря – 1686 г., декабрь) структура собственно Шуерецкой волости отражена подробнее: «Июня в 4 день пришла из монастыря монастырская лодья по соль ... [ее] в *усолье* на *груску* в *Пиртостров* около *Шуострова* провожал Софрон Симанов ... Июня в 11 день пришла монастырская лодья с хлебом ... Ту же лодью из монастыря провожал в *Шую* шел *вожемь в волость* Анисимъ Кирилов ... Ту же лодью *ис волости* на устьи провожал Терентей Амбросимов»; после 11 ноября шуеречане «приехали из монастыря от *Гямострова*, борошекъ ихъ и снасть привезли в *волость*»; «Генваря в 15 день ... Илья Васильев ходил на *Малдоручей* сороцких сень считал ... Ноября в 20 день таможенникъ Василей Гавриловъ з дьячкомъ ездили на *Малдоручей* сороцких сен досматривать» [НА КарНЦ РАН, 1685/86 (2). 1–19 об.]. Таким образом, *Шуерецкое усолье* действительно существовало, но как один из пунктов Шуерецкой волости, и располагалось оно на Пиртострове (около Шуйострова). По нашему мнению, это мыс *Каменный наволоок* в устье р. Шуя: с запада и юга он окружен болотами, с севера – р. Шуйей, а с востока – Белым морем; действительно – остров, особенно в прилив. Напомним, что и по дозору 1598 г. варницы находились «на Перть-острове, едучи по морю к Сороке по правую руку», т. е. на Каменном наволоке. Сам же центр Шуерецкой волости в источнике запросто назван *Шуйей-волостью* или просто *волостью*. И позднее Проторная книга волости от 6 декабря 1690 г. вновь отметила Шуерецкое усолье с варницами и соляными амбарами на *Перте-острове*; там же указан волостной оброк за Кималицкие острова [НА КарНЦ РАН, 1690. 1, 16–24]. Наконец, как и в XVI в., границей Сороцкой и Шуерецкой волостей служил Малдо-ручей и, как узнаем, его приток Лейпручей. Например, согласно Проторной и Отпускной книгам за 1692/93 г., в марте 1693 г. староста волости

Патрикий ездил встречать соловецкого архимандрита в Сороку так: до волостной границы Лейпручья он ехал за свой счет, а от Лейпручья до Сороки – за волостной [НА КарНЦ РАН, 1692/93. 35 об., 76, 88–88 об.].

Полное название Окладной книги за 1686/87 г. зафиксировало некоторое объединение жителей северных селений с шуеречанами: «195-го году. Книга окладная Шуерецкия волости выборного Михайлы Денисова да Карпы Кондратьева *Калгалакшина* да Давыда Макарьева с товарищи», т. е. в волостное самоуправление был избран представитель Калгалакши. Тогда же поповская руга стала взыскиваться с каждого волощанина как часть подати-*поголовного*. Книга также фиксирует свободный переезд из одной монастырской волости в другую, из Калгалакши в Кереть: «Иван Анисимов ... выехал в Кереть на жиру», т. е. он переехал в Кереть со всем имуществом [НА КарНЦ РАН, 1686/87. 1, 20–20 об.]. Чуть позже, в 1692 г. в шуерецкое самоуправление был избран гридинец: «Книги окладные Шуерецкия волости *выборного Федора Коневалова*, Аверкия Логинова, Василья Кондратьева» [НА КарНЦ РАН, 1692. 1].

Гридино и Калгалакша, отделенные от Шуерецкого землями Кемской волости, получили общее название *берецкие*. Конечно, сами «угодья бережские» зафиксировал еще Дозор 1597 г. (см. выше). Но теперь речь шла и о людях. Впервые это деление на шуерецкую и берецкую (береговую) части значилось в итоговой записи Окладной книги 1693 г.: «голов *шуерецких* и *берецких* 226, да луков *шуерецких* и *берецких* 53 лука» [НА КарНЦ РАН, 1693. 45–48 об.]. В тот же год в берецких Калгалакше и Гридино появился местный староста, наряду с которым оставался и общий для всей волости староста: в Проторной книге (1693 г., 6 декабря – 1694 г.) указан «*гридинец* Федор Коневалов, как наняли ево в старосты в Калгалакшу», старостой же всей Шуерецкой волости тогда являлся Амос Бородин [НА КарНЦ РАН, 1693/94. 50–52 об., 73]. По существу, «берецкие» Калгалакша и Гридино стали обычной волостью без церкви в составе Никольской Шуерецкой волости.

Двухчленное устройство Никольской Шуерецкой волости в начале XVIII в. выразилось в «двутысячных сборах» «двутысячным целовальником». В «Книге окладной подымного збора *двутысячного целовальника* Евстрата Поспелова 717 года» читаем: «Приезжал из Сумского острога посланный солдат с указом Семен Потемин ради высылки с *двутысячными*

зборными денгами целовалников» [НА КарНЦ РАН, 1717. 1, 10 об.]. С новгородских времен тысяча являлась единицей внутреннего членения. Так, по расписке 1577 г. Олонецкий стан Дома св. Софии состоял из Низовской, Верховской и Мундинской тысяч [Олон. сб., 1894. 221]. Двухтысячное же устройство Шуерецкой волости означало ее членение в начале XVIII в. на южную, собственно Шуерецкую половину и северную, Берецкую (Калгалакша и Гридино).

Налоговые сборы только с Шуерецкого зафиксировала Книга подымного сбора 1718 г.: «Декабря в 7 день Шуерецкой волости жители выборной Филиппъ Дьячков с товарищи и мирские люди ... приговорили подворного збора целовальнику Поликарпу Телкину – збирать ему всех Шуерецкой волости с жителей», – и далее шли два списка собственно шуеречан, без гридинцев и калгалакшан. При этом вначале значились *Шуеречане* (записано 111 чел.), затем *Верховчане* (44 чел.). По именам верховчане являлись теми же жителями селения Шуерецкого, которые фигурировали в предыдущей книге 1717 г. [НА КарНЦ РАН, 1718. 1–21].

Но кто такие верховчане? Н. А. Криничная привела предание самих шуеречан об основании села Шуерецкого: раньше их предки жили вдоль реки Шуи [подтверждается дозорами конца XVI в. – Авт.], а потом стали съезжаться в одно место ближе к морю, образовав нынешнее село [Криничная, 1987. 39]. Очевидно, Книга подымного сбора 1718 г. зафиксировала начальный этап этой концентрации жителей у моря. Верховчане – это те шуеречане, которые еще оставались жить в своих дворах выше по течению Шуи, тогда как остальные, и таковых набиралось уже большинство, успели поставить дворы ближе к морю.

Официально, по пожалованию 1613 г. Шуерецкая волость подчинялась Сумскому острогу – основному центру администрирования Соловецкой обители своего вотчинного округа. Но через столетие, по I ревизии 1720–21 гг. Шуерецкое оказалось *присудом* Кемского городка, т. е. управляемым из Кеми селением, – тогда как *Гридина Губа* (Гридино) и Калгалакша оставались *присудственными деревнями* самого Шуерецкого [РГАДА, 1721. 36–41]. II ревизия 1745–48 гг. полностью подтвердила данное членение [РГАДА, 1745–1748. 830 об.–863 об.].

Впрочем, имеются убедительные примеры того, что уже в XVI–XVII в. в рамках местного самоуправления и в структуре вотчины Шуерецкая волость сохраняла известное единство с Кемской волостью. Наиболее убедительно дан-

ную близость фиксирует исследование культурно-поселенческого ландшафта Кемской волости.

Успенская Кемская волость уже существовала по крайней мере в начале XVI в. Имеется Данная 1507–1514 гг. на угоды Соловецкому монастырю в Пеньем наволоке (Кольский полуостров), которую свидетельствовали «Яков Степанов сын *кемлянин* Леимитов да Ондрон Трифанов сын *под Ужмою*, а писал *дьяк кемской* Власьев сын Улко» [АСМ, 1988. 24]. Источник ясно указывает не только на два кемских поселения Кемь и Подужемье, но и на полноценную Кемскую волость с церковью: *дьяк кемской* – не кто иной, как церковный дьячок местной Успенской церкви.

Самоуправления Кемской и Шуерецкой волостей зачастую объединялись в отстаивании общих прав от притязаний властей Великого Новгорода, в чей уезд они входили. Так, Кеми и Шуе вместе адресован комплекс столичных документов 1530–1549 гг. В Жалованной грамоте (1530 г., июль) Василия III Ивановича значится: «В Великий Новгород, Вотцкую пятину, у Студеного моря от Каинских Немец с рубежа [пожаловал]... *Шуи реки* Илейку Никитина сына, Павлика Яковлева сына, у *Кеми реки* старосту Сеньку Нерезово Андреева сына да Никифорка Иванова сына и всех *лоплян* место крещеных и некрещеных за двусот и с полутретьятцать [225. – Авт.] луков, что ми били челом» (т. е. ему пожаловались). По грамоте, тогда сама Кемская волость простиралась от Карельского берега до границы со шведской областью Каяни в Финляндии («каинских немцев»). Хотя в пожаловании ни Шуя, ни Кемь не названы волостями, именно так они поименованы в двух Подтверждениях этой грамоты (от сентября 1539 г. и марта 1549 г.) Ивана IV Васильевича [СГГД, 1813, 436–437, 437–438, 438–439]. И затем, уже в ходе Земской реформы, Иван IV объединил Шуерецкую и Кемскую волости в один судебный округ по своей Уставной грамоте Кеми и Шуе от 1 ноября 1562 г. о суде выборных судей [Материалы, 1941. 190–193]. Эти источники именуют население волостей Кеми и Шуи *лоплянами*, т. е. жителями Лопских погостов Новгородского уезда.

Поселенческая структура Кемской волости отражена в Выписи о Кемской волости из новгородской Писцовой книги П. Карташова, В. Морева и подьячего Д. Подосенова 1552/53 г. Волость состояла из пяти частей, четыре из которых лежали в прибрежье Белого моря и были заселены первыми поморами и карелами: 1. *Кемская волость* (96 дворов – 146 крестьян и 63 казака [наемных работников], 1 дв. пуст,

20 варниц, 4 мельницы и 1 мельница пуста; 2. *Волостка Подужемье*; 3. *Волостка Пибозеро*; 4. *Волостка Маслозеро*; пятая часть относилась к саамам: 5. *Лопари лукозерские по лещим озерам* (18 дворов и 20 веж, было 42 чел. и 20,5 луков, но вежи и луки «запустили от немецкие войны») [АСМ, 1988. 114]. Таким образом, к середине XVI в. Кемская волость вполне сформировалась, включая в себя 4 поселения (из них главное, собственно Кемь, названо *волостью* и три небольшие *волостки*) и разбросанные по лесам стойбища саамов.

Наличие четырех постоянных поселений привело к распространению в волости понятия *четверть*. Здесь так называлось каждое поселение с принадлежавшими его жителям угодьями, напр. Подужемье. В Купчей от 3 октября 1571 г. Игнатия Севастьянова с женой Ириной Леонтьевой значится: продали угодья «в Волости Кеми ... а двор сего угодья в Подужемской четверти», – т. е. угодья находились в округе главного кемского поселения Волость Кемь, но двор стоял в Подужемье (ситуация вполне тривиальная для всего Поморья). Собственно Успенская Кемская волость и ее часть Подужемская четверть значились одной строкой в Закладной от 23 октября 1571 г. Степаниды Матвеевой: она заложила угодья в *Кемской волости в Подужемье*. Собственно же Подужемская четверть фигурирует в Закладной от 28 октября 1577 г. Тимофея, Семена и Никона Кузьминых детей Горемыкина на угодья «на реке Кеми в Подужемской четверти», т. е. в округе поселения. Кратко, как Подужемье, четверть значится также в Купчей на землю от 24 августа 1578 г. пибозерца Фомы Деметьева с женою [АСМ, 1988. 240, 243; АСМ, 1990. 22, 115].

Жители всех кемских четвертей фигурируют в важнейшем для них совместном акте волостного самоуправления и Соловецкого монастыря – в Договорной («памяти») от 21 июля 1581 г. о порядке пользования рыбными ловлями *кемлянами, подужемцами, маслозерцами и пибозерцами* и обителью. Со стороны Кемской волости его подписал священник церкви Успения Харитон Иванов «за своих детей духовных место» [АСМ, 1990. 163–164]. Ясно, что кемляне всех четвертей составляют один Успенский приход.

По существу, прямое указание на Успенскую церковь в Кеми в 1581 г. является первым. Строго говоря, утверждение, что «дьяк кемской» начала XVI в. являлся именно успенским церковным дьячком, – это лишь ретроспекция из данных сведений. Из косвенных же свидетельств имеется Купчая от 29 июля в 1573 г. *пречистин-*

ского пономаря Ивана Стефанова Утробы на проданные угодья в Кеми [АСМ, 1990. 35]. Тогда в Карельском Поморье церкви во имя *Успения Пречистые* стояли только в Кеми и в Суме. Если бы пономарь жил в соловецкой Сумской волости, то, очевидно, он упомянул бы об этом. Поэтому намного больше вероятность, что пономарь Иван Утроба являлся кемлянином.

В 1590 г. Кемская волость была подчинена Соловецкому монастырю в сфере фиска: по Жалованной грамоте от 2 июня царя Федора Ивановича монастырские и кемские черносошные подати отправлялись в Москву, а не в Новгород, а именно: 1) *с половины Кемской волости* – с проданных кемлянами монастырю угодий, ставших его вотчинными землями здесь, и 2) с другой половины Кемской волости, которая все еще оставалась за государем – их обитель получала у кемского старосты [Материалы, 1941. 308–312].

В июне 1591 г. царь Федор пожаловал Соловецкий монастырь этой второй половиной Кемской волости за военные усилия, в т. ч. за то, что обитель ставит в волости у границы караульные острожки. В пожаловании значилось: у обители уже есть «наше жалованье в Поморье половина Кемские волости, а другая половина *тое Кемские и Подужемские волости* за нами»; теперь он «пожаловал *волостью Кемью всею и Подужемскою* и с Пибозером и Маслозером в вотчину» [Материалы, 1941. 318–319]. О *всей* волости сказано не случайно – видимо, статус Подужемской четверти был выше, чем у Маслозера и Пибозера, поэтому у Кемской волости такое двойное наименование.

Наиболее подробное описание структуры и границ волости передает составленная при ее *отделе* в Соловецкую вотчину Отдельная книга от 20 июня 1591 г. Семена Юренева (рис 1). Сначала описано главное селение – 1. *Волость Кемь на Кеме-реке на острове*, на нем церковный погост с местами двух сожженных шведами храмов: А. Успения Пречистой Богородицы, Б. чудотворца Николы (первое свидетельство об этой церкви); 2. части Волости Кеми: А. В Сысове конце, Б. На Михкоеве острове, В. На Гайжевой стороне. Затем описывались другие селения: 2. Волостка Подужемье, 3. Волостка Пибозеро, 4. Волостка Маслозеро, а на *маслозерской земле* – 5. «на Мунозере на острове монастырек ... пустынька» с церковью Троицы Живоначальной. После следуют 6. «Лукозерские лопари по озерам». Таким образом, по сравнению с серединой XVI в. на Кемском погосте к началу 1590-х гг. появилась Никольская церковь, а около Маслозера – новый Троицкий Мунозерский монастырь.

Наконец, описываются границы. 7. *Межа* шла: А. на севере с Шуерецкой волостью, Б. с Керетской волостью, В. с лопарями и с панозерцами (т. е. с Панозерским погостом) «суземьем», Г. с Муезера к Кевязозерской межи (Кевязозеро в составе Шуезерского погоста), Д. муезерская и маслосерская межа с шуезерцами (т. е. с Шуезерским погостом), наконец вновь А. с (волостью) Шуей Корельской*. Отдел подписали: 8. А. Шуерецкой волости никольский поп, староста и крестьяне, Б. Шуезерской волости ильинской поп и староста, В. Тунгунской и Панозерской волости староста и крестьяне, Г. топозерец, Д. «Кемской волости *никольской* поп», староста и крестьяне [Материалы, 1941. 319–327]. Следовательно, в 1591 г. успенского священника в волости не имелось.

15 апреля 1592 г. новым пожалованием Соловецкому монастырю царь Федор Иванович создал *Соловецкий вотчинный округ*: «а вся их монастырская вотчина писати с поморскими волостями вместе особно к монастырю и к обема острогам, а к Новгородскому уезду к Выгозерскому стану все монастырские вотчины» не писать, – в т. ч. и *волость Кемь и Подужемье* с возводимым в Кеми острогом [Материалы, 1941. 327–330].

Кемский острог – принципиально новый элемент поселенческого ландшафта Кемской волости. Именно наличие острога постепенно приведет к тому, что к середине XVIII в. все западно-беломорские земли обитатели будут стянуты монастырем к этому центру управления; после секуляризации церковных и монастырских земель в 1785 г. Кемский острог преобразуют в город Кемь и создадут из бывших соловецких вотчинных земель Кемский уезд Архангельского наместничества.

Военный острог не писался в фискальных описях. Поэтому в Данной и оброчной книге Кемской волости от сентября 1599 г. отмечена усеченная фискальная структура: «Переписано в Кемской волости и в Подужемье, и на Маслоозере, и на Пебо-озере». Еще более кратко характеризует ее Дозорная книга от августа 1600 г. старца Капитона: *Кемская волость с присудом* (подчиненными деревнями) [Иванов, 2007. 84, 87]. В перечне 1599 г. не отмечено Мунозеро и лукозерские лопари. Зато в полном соответствии с отделом 1591 г. основную поселенческую структуру содержит государственная Приход-

* Зафиксированные Отдельной книгой 1591 г. межевые пункты отображены на Рис. 1, в т. ч. в скобках те из них, чьи названия не совпадают с нынешними; идентификация проведена авторами совместно с Д. Кузминым.

ная книга Новгородской четверти за 7128 год (1619/20 г.): «В Вотцкие пятины с волости с Кемы и с Пудожемья и с Пибозера и с Маслозера и с Муддозера [так в тексте, это Мунозеро. – Авт.] и с Лукозерских лопарей» [ПРК, 1983. 15].

К середине XVII в. Кемский острог уже сильно обветшал, и поэтому в очередную войну со Швецией, по распоряжению Новгородской четверти от 28 мая 1657 г., его возобновили: строить в Кеми новый острог «по людем смотря, небольшой» и оснастить его пушками [Карелия, 1949. 127–128]. Но тогдашняя фискальная Окладная книга Кемской волости вновь отметила только Волость Кемь и волостки-присуды. Ее опубликовал А. И. Копанев с неточным названием «Оценная книга», датировав 1630-ми гг. Анализ В. И. Иванова показал, что это Окладная книга и с датировкой за 1650-е – начало 1660-х гг. [Копанев, 1966. 143–198; Иванов, 2007. 201]. Как и Шуерецкая волость, в ходе Соловецкого восстания в 1668 г. Кемская волость конфисковалась государством. В обеих переписях 1668 г. структура волости уже изменилась: 1. Кемский городок и 2. Кемский присуд в 5 деревень, в т. ч. одной новой: появилась деревня *Пилсозеро* в теперь бывшем районе лукозерских лопарей [Иванов, 2007. 497, 507]. К XX в. это Пильдозеро, центр Вычетайбольской волости (рис. 2).

Новое население кемской Беломорской Карелии под названием *озерчане* и поселение Пилсозеро неоднократно фиксировали «книжки» шуерецкого самоуправления. В Подворной и порядной книге под датой 27 декабря 1685 г. записано: «Поехали в Кемь на сщеть выборные Михайло Денисовъ, Фиофил Бородин с товырищы щитаться с керечаны и *озеречаны*», а 15 января 1686 г. шуеречанин «с Пилсозера привес казну до Кеми», – т. е. отвез налоги в Кемь [НА КарНЦ РАН, 1685/86 (2). 2 об.–4 об.]. Пилсозерцы являлись озерчанами. В Проторной книге (1690 г., 6 декабря) отмечено: Василию Иванову заплачено – он «ходил на *Озера*»; озерчанам пилсозерцу Федору Горбунову с товарищи возместили убытки по принятым в Кемской волости ставкам [НА КарНЦ РАН, 1690. 20, 24–26].

К 1693 г. возникло еще одно селение озерчан – Ульмонгозеро (в XX в. в Вычетайбольской волости). В шуерецкой Расходной книге от 26 декабря 1693 г. значится: «Да *улмонгозерцу* Леонтию Горбунову по указу властелиному за подводы и за выти 10 рублей 1 алтын 4 денги» [НА КарНЦ РАН, 1693. 94 об.]. Очевидно, Леонтий Горбунов был братом пилсозерца Федора Горбунова, а «указ властелин» – это указ соловецкого архимандрита.

А всего Переписная книга 1745–48 гг. зафиксировала 22 новых селения, которые возникли в Кемской волости, в основном в Озерах (т. е. в Беломорской Карелии), между концом XVII в. и 1720 г. (временем I ревизии), и только одно поселение Кок-Косалма, которое появилось между 1720 и 1745 гг. [РГАДА, 1745–1748. 916–924, 934–944, 948–972]. Те из них, которые сохранились и в XIX – начале XX вв., помещены на нашу карто-схему (рис. 2). Следовательно, именно на конец XVII – первую четверть XVIII вв. падает создание основного каркаса поселенческого ландшафта Беломорской Карелии в пределах Кемской волости.

Тогда шла постепенная консолидация земель будущего Кемского уезда, в т. ч. и в сфере управления. Так, не позднее 14 марта 1690 г. шуеречане жаловались на кемлян, керечан и озеречан из-за неправильных долей в ямской гоньбе соловецкому приказному старцу Самсону из Кемского городка [Карелия, 1949. 320–321], а саму эту раскладку производило самоуправление Кеми, Шуи, Керети и Озер, – и тоже в Кеми (ездили «на сщет»: см. выше). При совместных же расходах с Кемской волостью Шуерецкая волость выплачивала 1/4, а Кемская волость – 3/4 общих выплат. Напр., в Расходной книге от 6 декабря 1693 г. помечен расход от совместной поездки с кемлянами в монастырь: «за все [расходы] дано кемскому выборному Петру Чеусову с товарищы денег за нашу *Шуерецкую четверть* рубль 6 алтын 2 денги» [НА КарНЦ РАН, 1693. 90 об.–91]. В Расходной книге за 1695/96 г. указаны аналогичные выплаты кемлянам «за свою *Шуерецкую четверть*» за провод судна в Кемь [НА КарНЦ РАН, 1695/96. 20 об.]. Таким образом, на протяжении всего XVII в. Шуерецкое и Кемь сохраняли определенное единство, сложившееся еще в XVI в.

Хотя царским пожалованием 1613 г. Шуерецкая волость отходила монастырю с управлением из Сумского острога, но сами Шуерецкое и Кемь с Озерами не только сохраняли определенное единство, но и постепенно подчинялись Соловками своему Кемскому городку. По шуерецкой Проторной книге 1692/93 г. шуеречане возили архимандрита Фирса и кемского приказного старца Стахия в Кемь, Пилсозеро и Кереть и по их приказу закупали следи и тес и нанимали плотников для починки Кемского городка [НА КарНЦ РАН, 1692/93. 25, 30–45]. «Книга сносная» за тот же 1692/93 г. эти сведения дополнила: «*Стефан Москва ... в Кеме будучи ради городской поделки, приказному старцу Стахию поднес пирог ... да он же Стефан в Кеме в Земскую избу* выборному Петру Трубе да старосты Афонасью Белоусову с товари-

щи в архимандричей отпуск монастырской дал мирских денег 2 рубли» (т. е. за поездку главы вотчины по своим землям) [НА КарНЦ РАН, 1692/93. 74 об.–75]. Шуеречане передали деньги Земской избе кемского самоуправления, а не своему шуерецкому приказному старцу Моисею. В первой же половине XVIII в., напомним, Шуерецкое уже однозначно являлось присудом Кемского городка, но при этом сохранило собственный волостной статус.

И в целом кемляне и шуеречане постепенно встраивались в иную административную конфигурацию, нежели предусмотренная пожалованиями 1591 и 1613 г.: Соловецкий монастырь – Сумский острог – Кемская и Шуерецкая волости. К рубежу XVII–XVIII в. оперативное управление Кемью и Шуйей переходило к Кемскому острогу. Изучение складывания волостного и церковно-приходского ландшафта показало, что консолидация вотчинных земель Карельского берега Белого моря и «озерной» Беломорской Карелии в территорию будущего Кемского уезда образца 1785 г. ясно обозначилась уже к концу XVII в., а в первой четверти – середине XVIII вв. процесс объединения этих земель закрепился твердым подчинением («в присуд») Шуерецкой волости Кемскому городку.

Литература

НА КарНЦ РАН, 1593 – Научный архив КарНЦ РАН [Далее – НА КарНЦ РАН]. Разряд I. ИЯЛИ. Коллекция древних документов. Оп. 1. Д. 1. Л. 31. Жалованная грамота новгородского митрополита Варлама Никольской Шуерецкой церкви, 3 мая 1593 г. Подлинный список.

НА КарНЦ РАН, 1663/64 – НА КарНЦ РАН. Разр. I. Оп. 3. Д. 16. 16 л. Книга окладная Шуерецкой волости, 1663/64 г. Подлинник.

НА КарНЦ РАН, 1681 – НА КарНЦ РАН. Разр. I. Оп. 3. Д. 40 (2). 22 л. Книга окладная Шуерецкой волости, 6 декабря 1681 г. Подлинник.

НА КарНЦ РАН, 1684 – НА КарНЦ РАН. Разр. I. Оп. 3. Д. 44. 23 л. Книга окладная Шуерецкой волости, 1684 г., не ранее 6 декабря. Подлинник.

НА КарНЦ РАН, 1685/86 (1) – НА КарНЦ РАН. Разр. I. Оп. 3. Д. 45 (1). 24 л. Книга окладная Шуерецкой волости, 1685/86 г. Подлинник.

НА КарНЦ РАН, 1685/86 (2) – НА КарНЦ РАН. Разр. I. Оп. 3. Д. 45 (2). 22 л. Книга подводная и порядная Шуерецкой волости 1685 г., 6 декабря – 1686 г., декабрь. Подлинник.

НА КарНЦ РАН, 1686/87 – НА КарНЦ РАН. Разр. I. Оп. 3. Д. 47. 24 л. Книга окладная Шуерецкой волости, 1686/87 г. Подлинник.

НА КарНЦ РАН, 1689 – НА КарНЦ РАН. Разр. I. Оп. 3. Д. 51 (а). 24 л. Книга окладная Шуерецкой волости, 1689 г., не ранее 6 декабря. Подлинник.

НА КарНЦ РАН, 1693 – НА КарНЦ РАН. Разр. I. Оп. 3. Д. 52. Ч. 1. Л. 19–49. Книга окладная Шуерецкой волости, 1693 г., 6 декабря. Подлинник.

НА КарНЦ РАН, 1690 – НА КарНЦ РАН. Разр. I. Оп. 3. Д. 53/а. 31 л. Книга проторная Шуерецкой волости, 1690 г., 6 декабря. Подлинник.

НА КарНЦ РАН, 1692/93 – НА КарНЦ РАН. Разр. I. Оп. 3. Д. 54. Л. 1–24 об. Книга окладная Шуерецкой волости, 1692 г., не ранее 6 декабря; 25–75 об. Книга проторная Шуерецкой волости, 1692/93 г.; 76–101. Книга отпускная Шуерецкой волости, 1692 г., 16 декабря – 1693 г., 4 декабря. Подлинники.

НА КарНЦ РАН, 1693/94 – НА КарНЦ РАН. Разр. I. Оп. 3. Д. 56/2. Л. 50–89 об. Книга проторная Шуерецкой волости, 1693 г., 6 декабря – 1694 г.; 90–94 об. «Расход мирским деньгам» Шуерецкой волости, 1693 г., 26 декабря. Подлинники.

НА КарНЦ РАН, 1695/96 – НА КарНЦ РАН. Разр. I. Оп. 3. Д. 60 (б). Л. 20–24 об. «Расход мирским деньгам» Шуерецкой волости, 1695/96 г. Подлинник.

НА КарНЦ РАН, 1717 – НА КарНЦ РАН. Разр. I. Оп. 3. Д. 169. 34 л. Книга окладная Шуерецкой волости, 1717 г. Подлинник

НА КарНЦ РАН, 1718 – НА КарНЦ РАН. Разр. I. Оп. 3. Д. 175. 21 л. Книга «подымного збора» Шуерецкой волости, 1718 г. Подлинник.

РГАДА, 1668 – Российский государственный архив древних актов [Далее – РГАДА]. Ф. 137. Боярские и городовые книги. Сумский острог. Д. 1. Л. 1–134. Переписная книга 1668 г. А. С. Хитрово.

РГАДА, 1721 – РГАДА. Ф. 350. Ландратские книги и ревизские сказки. Оп. 2. Д. 2364. 65 л. Олонецкий уезд. I ревизия. 1721 г. Дополнения (сказки) старост вотчин Соловецкого монастыря Олонецкого уезда о крестьянах, пропущенных при ревизии 1720 г.

РГАДА, 1745–1748 – РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 166. Л. 15–1030 об. Переписная книга вотчинных, архиерейских крестьян Двинского уезда 1745–1748 г.

АСМ, 1988 – Акты социально-экономической истории Севера России конца XV–XVI вв. Акты Соловецкого монастыря. 1479–1571 гг. Л.: Наука. Ленинградское отделение. 1988.

АСМ, 1990 – Акты социально-экономической истории Севера России конца XV–XVI вв. Акты Соловецкого монастыря. 1572–1584 гг. Л.: Наука. Ленинградское отделение. 1990.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ:

Жуков Алексей Юрьевич

зав. сектором истории, к. и. н.
Институт языка, литературы и истории
Карельского научного центра РАН
ул. Пушкинская, 11, Петрозаводск,
Республика Карелия, Россия, 185910
эл. почта: zhukov@krc.karelia.ru
тел.: (8142) 781886

Лялля Елена Витальевна

зав. сектором проектирования и разработки ГИС
Петрозаводский государственный университет,
РЦНИТ, отдел ГИС
пр. Ленина, 33, Петрозаводск,
Республика Карелия, Россия, 185910
эл. почта: lyallya@psu.karelia.ru
тел.: (8142) 711070

ИК, 1987 – История Карелии XVI–XVII вв. в документах. Петрозаводск; Йоэнсуу: Кар. филиал АН ССР. 1987. I. С. 189–233. Дозорная книга Лопских погостов 1597 г.; 234–242. Дозорная книга Шуерецкой волости 1598 г.

Карелия, 1949 – Карелия в XVII в. Сборник документов / Сост. Р. Б. Мюллер. Под ред. А. И. Андреева. Петрозаводск: Госиздат КФССР. 1949.

Копанев А. И., 1966 – Копанев А. И. Материалы по истории крестьянства конца XVI – первой половины XVII в. // Материалы и сообщения по фондам отдела рукописей и редкой книги БАН СССР. Л.: Наука. Ленинградское отделение. 1966. С. 143–198. Оценная книга Кемской волости 1630-х гг.

Материалы, 1941 – Материалы по истории Карелии XII–XVI вв.: Сборник документов / Под ред. В. Г. Геймана. Петрозаводск: Госиздат КФССР. 1941.

Олон. сб., 1894 – Олонецкий сборник. Петрозаводск. Вып. 3. С. 221. Краткая историческая записка об Олонце.

ПКОП, 1930 – Материалы по истории народов СССР / Под общ. ред. М. Н. Покровского. Вып. 1. Л.: АН ССР. 1930. С. 57–254. Писцовая книга Обонежской пятины 1563 г.

ПРК, 1983 – Приходно-расходные книги московских приказов 1619–1621 гг. М.: Наука. 1983.

СГГД, 1813 – Собрание государственных грамот и договоров. Ч. 1. М. 1813.

Иванов В. И., 2007 – Монастыри и монастырские крестьяне Поморья в XVI–XVII веках: механизм становления крепостного права. СПб.: Изд-во Олега Абышко. 2007.

Криничная Н. А., 1987 – Русская историческая проза: Вопросы генезиса и структуры. Л.: Наука. Ленинградское отделение. 1987.

Мюллер Р. Б., 1947 – Очерки истории Карелии XVI–XVII вв. / Под ред. и предисл. А. И. Андреева. Петрозаводск: Госиздат КФССР. 1947.

Савич А. А., 1927 – Соловецкая вотчина XV–XVII вв. Опыт изучения хозяйства и социальных отношений в древней Руси. Пермь: Изд-во Пермского университета. 1927.

Старостина Т. В., 1967 – Шуерецкая волость в XVI–XVII вв. // Крестьянство и классовая борьба в феодальной России. Сборник статей памяти И. И. Смирнова. Л.: Наука. Ленинградское отделение. 1967. С. 195–208.

Zhukov, Alexei

Institute of Language, Literature and History
Karelian Research Centre, Russian Academy of Science
11 Pushkinskaya St., 185910 Petrozavodsk, Karelia, Russia
e-mail: zhukov@krc.karelia.ru
tel.: (8142) 781886

Lyallya, Elena

Petrozavodsk State University
33 Lenin Av., Petrozavodsk, 185910, Karelia, Russia
e-mail: lyallya@psu.karelia.ru
tel.: (8142) 711070

УДК 339.5

КОНТРАБАНДНАЯ ТОРГОВЛЯ ТАБАКОМ В ПОРУБЕЖНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ НОВГОРОДСКОЙ ЗЕМЛИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVII В.

П. В. Седов

Санкт-Петербургский институт истории РАН

Статья посвящена контрабандной торговле табаком в России в конце XVII в. Автор приходит к выводу о том, что насаждение табака в России при Петре I было следствием не только фискальных интересов государства, но и тайного потребления табака самим населением.

Ключевые слова: История России XVII в., петровские реформы, табак, контрабанда, монастыри.

P. V. Sedov. ILLICIT TOBACCO TRADE IN THE NOVGORODIAN BORDERLAND IN THE SECOND HALF OF THE 17TH CENTURY

The article observes the tobacco smuggling in Russia in the late 17th century. The author concludes that the propaganda of tobacco in Russia under Peter I was a result of not only fiscal interests of the state but also illegal consumption of tobacco by the population itself.

Key words: History of the XVII-th century Russia, reforms of Peter the Great, tobacco smuggling, monasteries.

Проблема преемственности петровских реформ относительно предшествовавшего развития страны принадлежит к числу ключевых и наиболее дискуссионных. Насаждение курения табака при Петре часто выступает в этой связи значимым аргументом в пользу насильственности петровской реформы, противостоящей русской православной традиции.

Однако факты разрушают эту привычную схему: табак появился в России задолго до Петра I. Несмотря на указ Михаила Федоровича 1633/1634 г. и Соборное уложение 1649 г., запрещавшие курить и нюхать табак, новый обычай получал все большее распространение. В 1646 г. было даже сделано исключение на продажу партии табака в Сибири [Законодательные..., 1987; Соборное..., 1987; Чулков, 1855;

Богословский, 1941. С. 287–288]. Распространение табака в XVII в. шло вопреки официальным запретам, преимущественно на порубежных территориях: в Сибири [Шаповалов, 2000], на юге страны (через Украину и Астрахань), на севере (через Архангельск) и на северо-западе (через Новгород). Однако официально любой ввоз табака в страну считался контрабандой вплоть до Великого посольства Петра.

История табачной торговли и потребления табака во второй половине XVII в. позволяет по-новому взглянуть и еще на одну проблему: соотношения центра страны и ее периферии. Обычно восприятие новых явлений начинается со столицы, однако распространение контрабандного табака в допетровской России охватило вначале пограничные районы.

Новые данные о табачной торговле второй половины XVII в. сохранились в фонде Валдайского Иверского монастыря [АСПБИИ, ф. 181]. Во второй половине XVII в. Иверский монастырь принял в свою вотчину сотни карелов, выходцев из Швеции, вместе с которыми привычка курить табак получила заметное распространение на Северо-Западе. Потребность в табаке породила его контрабандный ввоз из Швеции. Среди иверских крестьян сложились артели, которые ежегодно ходили за рубеж за табаком. Часть из них попадалась на контрабанде, но доходы крестьян были настолько велики, что пресечь незаконный ввоз табака не удавалось.

История табачной контрабанды в вотчине Иверского монастыря показывает быстрое увеличение незаконной торговли, рост организации контрабандистов, а вместе с тем и возрастание посулов, которые монастырские власти платили, покрывая своих крестьян. В январе 1662 г. стряпчий иверского подворья в Новгороде был посажен «под приказную избу» до тех пор, пока не представит вотчинного крестьянина, уличенного в торговле табаком. Воевода боярин князь И. Б. Репнин припомнил представителю монастыря, что в этом же году иверские крестьяне еще дважды были замечены в контрабанде. Ладожский посадский человек «видел» «Иверского монастыря крестьян и иных с ними людей за рубежом в дву лотках, а приехали де они купить табаку на серебряные денги на тысячу на двесте рублей». Другой свидетель утверждал: «слышел де он в Воскресенском погосте на Сяси у попа из волосных людей, что де ездят мимо их и пеши ходят святого озера Иверскаго монастыря крестьяне со многими незнаемыми людми с пишалми и з сабли, з бердыши и с копы, и с топорки, собрався человек по дватцати и болши, Иверскаго монастыря в вотчину деревню Остров и на Низино для табаку».

Царская тарханная грамота запрещала въезжать в монастырскую вотчину, тем не менее князь И. Б. Репнин попытался добиться выдачи крестьян-контрабандистов. По словам стряпчего, воевода «на то настал, что ему на своем хочетца поставить, а говорит: одноконечна де не велю ис-под приказу выпустить, будет де тех крестьян не поставишь». Однако монастырские власти заявили, что оговоренные в табачном деле крестьяне сбежали из их вотчины, и воевода остался ни с чем [АСПБИИ, ф. 181, оп. 1, № 697. С. 2–3, 12, 14].

Размер взяток по табачным делам рос год от года как на дрожжах. Алчность воеводы и потребности населения в табаке как бы спорили

друг с другом: кто кого. Эти две неподконтрольные закону страсти обходили любые запреты. Курильщики нуждались в табаке, воевода – в незаконных доходах, и даже монастырские власти покрывали своих крестьян.

В апреле 1683 г. иверский стряпчий в Новгороде хлопотал по поводу очередного табачного дела. Стряпчий просил, чтобы воевода «от правого дела взял пирожок» (так в просторечии именовался «посул»). Когда же воевода запросил только себе 140 рублей, то стряпчий завел откровенный разговор «один на один: что и в твоей, государь, вотчины в селе Кесмы в деревнях таких промышленников много. И он и сам говорил: и моих де крестьян, где поймают с таким заповедным товаром, а о взятках наша братья не стыдятца, потому же с них берут» [АСПБИИ, ф. 181, оп. 1, № 3089. С. 239–240]. Другими словами, воевода откровенно предлагал дать ему взятку, поскольку он сам их дает, когда и его крестьяне попадают на контрабанде табака.

В июле того же года в Новгород привели очередную группу крестьян, которые везли из-за рубежа «на семи конях» более 15 пудов табака. Сначала им удалось скрыться, но один из них, крестьянин новгородского владыки, был схвачен и выдал своих соучастников, среди которых были и иверские крестьяне. Если бы дело пошло законным порядком, то только одних штрафов пришлось бы заплатить 500 рублей: по 25 рублей за каждого пойманного с поличным крестьянина. Посул же от этого дела обошелся Иверскому монастырю в 300 рублей [АСПБИИ, ф. 181, оп. 1, № 3228. С. 178–187, 199–200].

Несколько месяцев спустя в октябре 1683 г. попался с табаком иверский крестьянин села Еглина Терешка. В расспросе он признался, что только что его сын с другими иверскими крестьянами возил табак из-за рубежа. «И боярин начал у Сидора подьячего прежних приводов тем табатчиком спрашивать. И он, Сидор, в скаски тех приводов смеялся, сказал, бутто тем крестьяном, которые в табачном деле были, и наказание у боярина учинено, а приводы и роспросные речи отдал де боярин владыки государю для того, что и владычные крестьяне были в том табачном деле пойманы». Ситуация была и в самом деле забавная: воевода с дьяком получили за тот случай взятку и дело «помертвили», о чем боярин, видимо, за множеством подобных дел и запамятовал. Воевода стал просить документы этого сыска у новгородского митрополита, но владыка заявил: «у меня де такова дела нет, и боярин де ему такова дела не давал, тем де подьячий Сидор меня пригласил». Воевода стал на подьячего «велми гневен, а хочет бить

кнутом и ныне сидит он за караулом». Похоже, что подьячий отдал предыдущее дело кому-то иному, может быть, именно иверским властям, и, разумеется, небескорыстно, но без ведома воеводы, тем самым выставив боярина в смешном виде. Когда же воевода приступил к иверскому стряпчему с заявлением, что монастырские крестьяне в очередной раз уличены в табачной торговле, то стряпчий тоже не без иронии отвечал, что пойманные в табачном деле крестьяне уже получили наказание и «пенные деньги боярин у нас и дьяки взяли, а в приказной палаты в приходе те денги у него боярина записаны ли или нет, про то нам не вестимо», то есть деньги-то получил, а положил ли их в карман или в казну платил, это уже не наше дело! В ответ воеводе ничего не оставалось, как произнести бессильные слова, чтобы в дальнейшем иверские крестьяне перестали торговать табаком [АСПБИИ, ф. 181, оп. 1, № 3228. С. 243–244, 247–248].

На деле торговля табаком лишь развивалась, и крестьяне нередко оказывали вооруженное сопротивление при попытке их задержать. 1 декабря 1685 г. воевода боярин князь М. Я. Черкасский «ехал ис собору от обедни; к ево боярским санем пришед сечены и биты» четверо стрельцов, раненных иверскими крестьянами-контрабандистами. В приказной палате боярин и его товарищ – окольничий «изволили сами при многих дворянех говорить: нхде такова воровства и озорничества, и воровской пристани нет, как Иверского монастыря в вотчины. И дворяня в то число все завопели, что разорились, государь, Иверского монастыря от крестьян, такова де нам разорения ни от немец, ни от литвы нет» [АСПБИИ, ф. 181, оп. 1, № 3454. Ст. 214–215]. Тархан Иверского монастыря, запрещавший воеводе въезжать в его вотчину, создавал благоприятные условия для торговцев табаком.

В марте 1687 г. воевода взялся разбирать очередное дело о торговле табаком. Монастырские власти привычно запросили своего представителя в Новгороде: «буде [новгородский подьячий. – П. С.] Сидор Родионов гостинчика себе не возьмет и дела не порудит, и вам отписать к нам: чево воеводе и дьяку и подьячим от того дела хочетца». Из монастыря предлагали посулить С. Родионову «рублев десяток или другой, чтоб у него то дело было тайно, мочно ему Бога помнить», – всуе поминало Всевышнего монастырское начальство. Однако подьячий отказал, поскольку дело стало известно самому боярину. Тогда иверский стряпчий доложил боярскому казначею, на что тот ответил: «Меньши де прежнего оклада и ныне не возьмет». В устах

боярского казначея взятка за торговлю табаком приобретала уже характер «оклада». Иверский стряпчий хорошо помнил, что в прошлый раз воеводе досталось 70 рублей, а людям воеводы и прочим приказным – 45 рублей, да еще и пенных денег за каждого приведенного крестьянина по 5 рублей. Замечательно анекдотична риторика сторон: иверский стряпчий упирал на то, чтобы дьяк «в сем деле по Бозе учинил», а подьячий в ответ твердил, «чтоб прежняго окладу не нарушить» [АСПБИИ, ф. 181, оп. 1, № 3614. С. 70, 98–99, 101–103].

В 1689 г. открылось, что уже сложилась целая система, помогающая контрабандистам переходить границу. Пойманный иверский крестьянин «с кручины», то есть у дыбы, хотел было подать боярину роспись полутора десятка крестьян Валдайской округи, «которые ездят за рубеж по заповедной товар». Эти крестьяне «с собою берут и провозят за рубеж, а велят называтцы Иверского монастыря крестьянами. И от той де огласки наша братья промышленники разорились, а оне их проводят и берут с них скуп и поминки за провод болшие. И какая беда и придет, и оне платят в беду теми денгами». В этом известии примечательно, что подобная деятельность тайной валдайской артели разоряет «промышленников» – иверских крестьян, которые тоже охотно занимались незаконной торговлей, ловко пользуясь тарханом своего монастыря. Теперь у иверских крестьян появились ушлые конкуренты, они монополизировали какой-то удобный маршрут через границу, взимая с каждого контрабандиста по 3 рубля. Иверский крестьянин потому и хотел донести на них, что «оне всегда в беду платятцы сторонними денгами, что берут за проводы и что покинули де оне меня одново в городе, и от тех горланов мы, мелкие промышленники разорились». Иверские власти послали 100 рублей на то, чтобы прекратить очередное следствие по табачному делу [АСПБИИ, ф. 181, оп. 1, № 3816. С. 68, 69, 78–79, 81]. Появление подобной развитой контрабандной сети свидетельствует об увеличении объемов доставляемого в Россию табака.

Иверский монастырь имел средства скрывать табачную торговлю собственных крестьян не только в Новгороде, но и в Москве. В марте 1690 г. не удалось договориться с новгородским воеводой боярином князем И. С. Прозоровским, который стал грозиться сообщить об иверских «табачниках» в Москву: «табачные и корчемные, и винные дела все ведомы в приказе Большие казны, а не в Поместном приказе. И боярин де князь Петр Иванович Прозоровской, а ево боярской племянник, тотчас

доложит великих государей, и боярин де Петр Васильевич Шереметев тово не сведает» [АСПБИИ, ф. 181, оп. 1, № 3924. С. 40]. В данном случае опасность для монастыря состояла в том, что родство новгородского воеводы с главой приказа Большой казны позволяло обойти в Москве влияние боярина П. В. Шереметева, покровителя Иверской обители и главы Поместного приказа, где монастырь был ведом по всем делам.

Впрочем, дело не сразу дошло до Москвы, поскольку и новгородскому воеводе не было резона отправлять его в столицу, ведь в таком случае он лишался значительного дохода. Иверский стряпчий обстоятельно передал слова воеводы: «чи де мне и самому не хочетца дому святого огласить, да и молчать де нам не уметь, хороше приказное дело делать по-приказному. Только ему я бил челом, – живописал беседу стряпчий, – чтоб пожаловали обложили пирожком, а ловоцкое дело прекратить и прошлых дел не вчинать и мужика не пытать. И он сказал: дайте де от сего ловоцкого дела и чтоб не описыватца о вышеписанных делах к Москвы мне и сыну 200 рублей на оба двора», сверх того воевода запросил еще и своим подчиненным 78 рублей. Стряпчий осведомился у своего начальства: «откупать ли тех крестьян или отдавать, а как отдать, и станут пытать, а с пытки станут многих оговаривать, чтоб всей вотчины не связать и крестьян всех не разорить. А как человек с десятков другой оговорят друга друга или больши, – напоминал стряпчий, – и государской пени по 20 по 5 рублей доправят, а боярин и стольник, и дьяк, и подьячие, и иные, своих пирогов однако не оставя, да огласки и убытки, чтоб больши не было б». Стряпчий извещал, что дворянин К. Б. Болтин, чей крестьянин попался заодно с иверскими табатчиками, уже заплатил от этого дела 130 рублей. «А и иначе де, хотя по сему окладу становитца, да еще ево легче, потому что боятцы пирогов своих от себя отпустить, чтоб дела не взяли к Москвы». В заключение стряпчий передал твердое слово воеводы: «А мне последнее слово сказал, что де как хочешь, быть ли не быть ли, так меньше не возмем. И то де хотя даетца дому святому, чтоб в огласке не быть и вотчины не розорить. А другое дело, сказал, инде мужика пытать, что хочет тот говорит» [АСПБИИ, ф. 181, оп. 1, № 3924. С. 58–58 об.].

Стряпчий буквально торговался с воеводой о величине посула за табачное дело. В конце концов порешили на 150 рублях для воеводы и его сына и 85 рублях для подчиненных с обязательством отдать иверскому стряпчему сами дела

о табачном розыске. Уступив более полусотни рублей, воевода обнаружил свою подлинную цель – не упустить взятки из своих рук: «Мне и сыну – не уступлю ни копейкою, а з дьяками и с приказными как знает», – заявил он. Такова была цена словам воеводы, что приказное дело следует делать «по-приказному».

Однако монастырское начальство не согласилось на такой большой посул: «и та почесть не в силу, если на четвертую долю возможно договоритца», такие большие взятки показались в монастыре чрезмерными: «почали кидать мешками, чего и в людях не ведетца». Пойманного с поличным крестьянина следовало научить говорить у пытки такие слова: «что на себя в табачке сказал, убояся стрельцов, потому что оне ево научили, а пытать ж будут», то за «лишние» слова на своих соучастников будет ему в монастыре «поучение впредь кнутом ободрать кожу, чтоб иным неповадно было воровать и друга друга оговаривать». Более всего иверские власти надеялись на то, что заступник монастыря в Москве боярин П. В. Шереметев доложит о сем деле и поведении новгородского воеводы царевне Татьяне Михайловне, «которой вручены Воскресенской и Иверской монастырь». Своё решение иверские власти разъяснили новгородскому стряпчему так: «Нынешнему воеводе с приказными дай полпяста рублей, и он будет молчать, пока будет жить, а другой, приехав, от тех же дел тово ж захочет, а как возьмут к Москве по нашему челобитью, так и почести все пали. Да и дать нам такую большую почесть не к лицу, вся де нам посмеетца: не судимы де делами да судимы стали мешками. <...> А естли и боярин похочет и писать, и он пиши, хуже нам и убыточнее того не будет, и тольки ж и ему единой копейки не будет».

Дело пошло на принцип. Узнав, что иверские власти начали хлопоты в Москве, воевода вообще отказался брать какие-либо деньги с монастыря: «и чем обложил сперва пирожком, и того не емлет. А что посоветовав з добрыми людьми прибавили, и поготову не хочет имать: мне де ваши денги не надобны, а розыскивать про то дело буду. И по архиерейскому прошению тако ж и властей, которые благочестивые, прошению розыск хотел учинить бутто лехкой. А всяко думаетца, чтоб из города зжить архиерея, какой дому святому пакости не учинил».

Намерение воеводы донести на новгородского митрополита Корнилия и «зжить его» с кафедры только за то, что он вступился за Иверский монастырь, показывает, насколько далеко зашел конфликт. Новгородский владыка и какие-то монастыри его епархии просили воеводу князя И. С. Прозоровского учинить «лехкой» ро-

зыск по табачному делу. Вся эта история случилась всего лишь потому, что воевода не получил посул, который он сам и назначил, но теперь ситуация вышла из-под контроля.

Стряпчий обстоятельно описал сложившееся положение дел: «Нихто бы етово дела не слышал, и насмешки б такой дому святому не было, как бы то дело сперва прекратилась, а ныне то дело стало всему граду в огласку. Тако ж боярин опасен против указу великих государей и денег имать за наше дело не хочет. А мне, послушнику вашему, по вся дни то и говорит, что де поставь мужиков». Стряпчий обратился за помощью к новгородскому митрополиту, «чтоб на отъезде ему боярину изволил поговорить. И архиерей милость явил: <...> я де ему еще поговорю, чае де что и возьмет, а розыск учинит полегче, не розыскав де ему против указу великих государей не уметь, стало дело в огласку».

Для того чтобы мириться с воеводой, в Новгород от иверских властей был послан старец Виктор с «советными грамотками». Но воевода их даже не распечатал и начал «с великим гневом говорить, что де писал ко мне племянник мой боярин князь Петр Иванович своею рукою, что де ваши на Москве два старца меня оглашают, бутто я у вас от того дела просил пятисот рублей». Старец Виктор отвечал «со всяким покорением», но воевода был непреклонен «и сказал, что ты, старец, впредь не ходи ко мне на двор с обманом, а буде дело есть, и ты приходи в приказ; в очи де льстите, а за очи промысел на Москве чините». Далее в черновой отписке из Новгорода написаны слова, которые затем были вычеркнуты, видимо, из осторожности. Воевода сообщил старцу: «Писано ко мне в той же грамотки от племянника ево, чтоб я с вас не взял от того дела ни алтына, а учинить вправду против государева указу для того: как был де я племянник и сам, Петр Иванович, на воеводстве, а в котором городе, того он, боярин, мне <...> не сказал, и дело было так же как ныне и с вами в табатчиках и винщиках [*В отписке “в табатчиках и винщиках” зачеркнуто*], и я де покусился взять с них сто рублей, и те денги им назад отдал [*В отписке “взять с них сто рублей, и те денги им назад отдал” зачеркнуто*] да токож по огласке и в том деле сыскивал вправду, и на тех ворах по сыску» доправил «пени» на 1000 рублей [АСПБИИ, ф. 181, оп. 1, № 3924. С. 69, 71, 84 об., 87, 90–91, 93, 95, 99–100, 104, 124–125, 127; № 3922. С. 41, 48, 50, 52; № 4082. С. 24, 32, 86; № 4211. С. 41].

Далее дело было передано на рассмотрение в Москву. Иверский стряпчий в столице явился к племяннику новгородского воеводы боярину князю П. И. Прозоровскому, который «выслу-

шав той отписки, сперва говорил многие грубые слова, а после как мы, послушники ваши, известили ему на словах боярину про запросы боярские, что посулов просит многое число, и он, боярин князь Петр Иванович, стал говорить смирнее и гораздо сумнился и тотчас приказал отписать чрез почту» к своему дяде в Новгород. Стряпчий советовал, что «нечего опасатца» новгородского воеводы стольника князя Никиту Прозоровского, а следует его «и самого огласнуть, что он и сам про табачное дело ведал, как отец ево по два года с табачных дел посул брал и потачку чинил. И в котором году сколько взял посулу, и которые крестьяне в том табачном деле приличны были, написать имянно вам, государем, нечто учинят».

В столице дело пошло «в протяжку»: оно было передано в приказ Большой казны, но еще и в ноябре 1690 г. «не докладывано для того, что времени не излучат». Только одна перечневая выписка по делу заняла полтора листа. Иверский стряпчий показал выписку С. А. Лопухину, который хотел «доложить великого государя как он государь будет у него на загородном дворе или где на безлюдстве излучит время. И как я ему Сергею Аврамовичю подробно розказал все то разорение сначала и до конца, и он, слушая моих слов, заплакал». Хлопотать взялся было и А. А. Матвеев, «только сами изволите знать, – заметил стряпчий, – что говорит красно, а помощь от него медленка» [АСПБИИ, ф. 181, оп. 1, № 3922. С. 78, 84, 86–87].

Более двух недель составленные челобитные оставались без движения, и наконец около 10 декабря 1690 г. стряпчий сообщил из Москвы, что «будучи на всенощном у Афтамона Ивановича ныне на Николин день, говорил мне: вчерашняго дня у боярина нашего [П. В. Шереметева. – П. С.] со князем Петром Ивановичем Прозоровским перед государем была великая пряха о разорении монастырском. И государь де, долго слушав такой у них преки, выбежал от них вон и указу никакова не учинил. И что учинитца, про то Бог весть. И я ныне стал в размышлении: не ведаю как и куда болши того и поступать, только с печали все сердце высохло» [АСПБИИ, ф. 181, оп. 1, № 3924. С. 94].

Вероятно, этот доклад по табачному делу стал памятен Петру. Полторы сотни листов спорного дела, очевидная лживость обеих сторон, страстное и небескорыстное заступничество в деле первых сановников государства – все это не оставляло реальной возможности разрешить спор по старине. Проблемный узел нужно было разрубать по-новому. Не пройдет и пяти лет, как царь снимет запрет на ввоз табака из-за рубежа, чтобы прибыль получала казна, а не воеводы-лихоимцы.

Это громкое дело показывает, что меры против контрабанды табака были совершенно неэффективными, поскольку легко обходились обычным на Руси порядком. Лишь в исключительных случаях, когда чиновник был слишком алчен или виновный излишне прижимист, возникал сыск. Документы Иверского монастыря полны указаний, что табаком торговали крестьяне не только Иверского монастыря, но и других обитателей, а также во владениях митрополита и новгородских дворян. Новгородский воевода князь И. С. Прозоровский признавался, что в его вотчине тоже торгуют табаком, а князь П. И. Прозоровский вспоминал, как и ему приходилось сталкиваться с табачной торговлей. Страна уже курила табак, и остановить этот процесс было невозможно. Так же было и в других странах, где категорические запреты на употребление табака мало что значили. Существенно, что потребление табака шло «снизу», его сначала курило простонародье, а уж затем – верхи общества.

Рост потребления табака и крах борьбы с его контрабандой подвели царя к мысли о возможности его легализации. Решающее значение имело отношение самого Петра к табаку: он видел в нем не погибель души, а принадлежность к новому укладу жизни, к которому и сам стремился. Сначала какие-то права на ввоз табака в страну получил Яков Брюс. В 1695 г. исключительное право на продажу табака в Архангельске и московской Немецкой слободе, «как велено было тем табаком торговать Якову Брюсу», Петр передал за три тысячи рублей Томасу фон де Брахту.

Затем табачный откуп был передан прибыльщику Мартыну Богданову сыну Орленку. Именной указ об этом 1 февраля 1697 г. содержит важную информацию, которую следует сопоставить с уже рассмотренными данными о контрабандной торговле табаком в вотчине Иверского монастыря: «продавать табак и торговать явно для того <...> что во многих домех у всяких чинов людей табаку является много и из черкасских городов и из-за моря к Архангельскому городу привозят и продают тайно, не являсь в таможене, и пошлин нигде не платят, а в иных городех и в уездах тот табак продают с ведома воевод и приказных людей и дают им от той явки многие дачи» [ПСЗ. Т. III. № 1570]. Указ не содержит никакого понуждения курить табак, речь идет лишь о том, что подданные потребляют заповедный товар и не платят за это пошлины в казну, тогда как воеводы и приказные люди обогащаются посулами.

Следующие шаги в сторону легализации табака в России относятся ко времени Великого

посольства. 16 апреля 1698 г. Петр отдал табачный откуп англичанину маркизу Перегрину Кармартену за 200 тысяч фунтов стерлингов или 400 тысяч рублей серебром сроком на семь лет. Откупщик получил также монопольное право («с запрещением всем другим») продавать «на Москве в городах и уездах табачные немецкие трубки, и коробочки (табакерки), и иные мелочи, к тому табачному куренью принадлежащие». Одновременно царь дозволил своим подданным «табак курить и другим образом употреблять по воле каждого» [Милюков, 1905. С. 163–164; Богословский, 1941. С. 287–289, 338–339, 342–343, 345, 347–349].

Документы Иверского монастыря сохранили сведения о том, какова была практика торговли табаком в новых условиях. Первое упоминание о легализации табачной торговли в монастырской переписке относится к июлю 1697 г. Поводом послужила очередная поимка иверских крестьян с табаком. Однако теперь ситуация изменилась, и инициативу преследования на себя взял не воевода, а откупщик табачной продажи. Когда старорусский воевода сообщил в Москву о факте контрабандной торговли, то табачный откупщик, член гостиной сотни Мартын Богданов Орленок, подал челобитную о пресечении незаконной торговли. В ответ из приказа Большой казны в Старую Руссу намеревались послать сержанта и подьячего для сыска «табачной продажи». Однако иверские власти «гостинчиком челом ударили» и остановили сыск.

В этой связи с московского подворья и сообщили о новом царском указе: «А указ великого государя состоялся о той неявиной табачной продажи против винной выимки корчемников, и пеня на великого государя имати». Иверский стряпчий просил разослать во все монастырские погосты «памяти» с запрещением торговли табаком «утайкою». «А кому хочетьца табаком торговать, и оне б у него подьячего и у целовальников явились и договаривались договором до декабря месяца, а з декабря месяца 206-го года у того табаку у продажи будут верные головы и целовальники городовые. И впредь, государи, и пуще продажи будет много, да в том воля великого государя, никто ему не укажет» [АСПБии, ф. 181, оп. 1, № 4812. С. 95–96].

Перед нами единственное в своем роде высказанное в переписке Иверского монастыря отношение к царскому указу. Это ни в коем случае не прямое осуждение, такое было страшно даже помыслить, а тем более написать. Отписка с московского подворья составлена от имени двух иеромонахов Филарета и

Кирияка, которые спрятали свое личное отношение к невиданному доселе царскому указу за словами «в том воля великого государя, никто ему не укажет». Однако уже сами эти слова свидетельствуют о том, что иеромонахи полагали этот указ необычным, хотя и подчеркнута смирялись перед царской волей.

Любопытна и другая сторона отношения иверских старцев к легализации торговли табаком. Суть введения табачных откупов состояла в том, что казна получала прибыль: средства, которые раньше шли в карман приказных в качестве посулов, теперь должны были легализоваться в виде пошлин с разрешенной табачной продажи. На деле, как и прежде, вопрос был решен «гостинчиком». На словах иверские старцы могли дивиться разрешению табачной торговли, но при этом, как и раньше, потворствовали своим крестьянам заниматься этим прибыльным для них, а значит, и для монастыря делом.

Хотя разница все же была: табачный откупщик не был заинтересован в том, чтобы утаивать факты тайной торговли табаком. В августе 1697 г. с московского подворья сообщили, что судья Преображенского приказа И. Т. Инихов, с которым иверские старцы договорились было по этому делу, сообщил, что «хотят против челобитья гостиные сотни Мартына Орленка ис Преображенского приказу отпустить великого государя грамоту в Великий Новгород к окольному о розыске <...> А того де учинить невозможно, что не отпустить грамоты, потому что истец непрестанно докучает» [АСПБии, ф. 181, оп. 1, № 4812. С. 100].

В дальнейшем по вопросам незаконной табачной торговли иверским властям приходилось иметь дело с табачным откупщиком в Новгороде. В июле 1699 г. с новгородского подворья сообщали, как «иноземец Николай Олферьев, которой живет в Великом Новгороде для продажи никоцыану», известил иверские власти о факте контрабандной продажи табака иверскими крестьянами. Этот факт был установлен табачными откупщиками Деревской А. Марининым и Д. Григорьевым: прошлой «зимой, за неделю масленицы» крестьянин деревни Пестова «продал им пять фунтов табаку без людей». Получается, что откупщики Деревской пятины спровоцировали потенциальных контрабандистов на незаконную сделку, а потом доносили об этом своему начальству в Новгороде. Иноземец Н. Олферьев запрашивал: «бить ли де челом ему о том в Великом Новгороде или зделку учинить». Как видим, откупщик был готов «утоптать» это дело между собой, как это делали и новгородские воеводы. В ответ иверские власти велели «провеждать от посто-

ронних людей, которые при нем Николае живут, чего он от того дела хочет. <...> А есть ли с ним ныне договариватца, и он заищет много, и крестьяном будет вконец розоритца». Однако откупщик странным образом не проявил никакой настойчивости. Две недели спустя: «от него по се число с тех времен никаких слов не бывало, а знатно, что о том впредь будет ли челобитье» [АСПБии, ф. 181, оп. 1, № 4938. С. 148, 152, 169–170, 181]. Похоже, что иноземец-откупщик не стал связываться с влиятельным монастырем по столь незначительному эпизоду.

История табачной торговли в конце XVII – начале XVIII в. на примере вотчины Валдайского Иверского монастыря приводит к выводу о том, что Петр лишь легализовал ввоз и потребление табака, которые уже существовали подпольно. Монастырские власти знали о незаконной табачной торговле своих крестьян, но никогда сами не доносили на них. При получении сведений о раскольниках в своих вотчинах монастырские власти прибегали к помощи властей, здесь они поступали последовательно, но на табачную торговлю монастырское начальство предпочитало закрывать глаза.

В данном случае церковная риторика против курильщиков не выдерживала проверки на искренность: монахи говорили одно, а поступали иначе, они лукавили и изворачивались, лишь бы прекратить нежелательные для них во всех смыслах дела о табачной торговле собственных крестьян. Подобное поведение свидетельствует о двойственном отношении к табачникам даже среди монастырской братии: церковные проклятия в адрес табака уживались с укрывательством тех, кто занимался этим греховным делом. Получается, что на деле монастырское начальство допускало потребление табака у собственных крестьян, что исподволь меняло официально принятую церковью норму поведения в этом вопросе. Сначала сами монахи попустительствовали табачной контрабанде в своей вотчине, а уже десятилетия спустя царский указ разрешал ее в интересах казны.

Легализация табака при Петре решительно противостояла средневековой традиции, и ее можно считать знаковой в смысле утверждения новых обычаев. В Голландии, где Петр имел случай поближе познакомиться с повседневной жизнью ее обитателей, табачный дым был непрямым атрибутом быта корабельщиков и горожан. Он олицетворял быстротечность жизни, заносчивую манеру пускать деньги на ветер, веселое отношение к времяпровождению. Этот новый обычай противостоял церковным запретам и прежним нравственным устоям. Табак курили для удо-

вольствия, это была своего рода реабилитация телесного начала, характерная для Нового времени.

Так же как и в иных своих нововведениях, Петр, разрешая, а отчасти и понуждая подданных курить и нюхать табак, исходил из уже существовавшей практики, которую он рационально ставил на службу самодержавному государству.

Литература

Архив Санкт-Петербургского института истории РАН (в тексте – АСПБИИ).

Богословский М. М. Петр I. Т. II. М., 1941.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ:

Седов Владимир Павлович

д. и. н.

Санкт-Петербургский институт истории РАН

Санкт-Петербург, Россия

эл. почта: sedovpv@rambler.ru

Законодательные акты Русского государства второй половины XVI – первой половины XVII века. Л., 1987.

Милюков П. Государственное хозяйство России в первой четверти XVIII столетия и реформа Петра Великого. СПб., 1905.

Соборное уложение 1649 г. Л., 1987. Глава XXV. Ст. 11–21. Комментарии. С. 397–400.

Чулков М. История законодательства о табачной промышленности в России до Екатерины II. Казань, 1855.

Шаповалов А. В. Табак в Западной Сибири в XVII–XVIII вв. // Чуждое – чужое – наше. Наблюдения к проблеме взаимодействия культур. Новосибирск, 2000. С. 107–121.

Sedov, Pavel

Institute of History, Sant-Petersburg,

Russian Academy of Science

Sant-Petersburg, Russia

e-mail: sedovpv@rambler.ru

УДК 947 (470.22)

ПРОВЕДЕНИЕ СТОЛЫПИНСКОЙ АГРАРНОЙ РЕФОРМЫ В КАРЕЛИИ: ПРОБЛЕМЫ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА

Н. А. Кораблев

Институт языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН

Столыпинская аграрная реформа – последняя крупная социально-экономическая реформа в истории дореволюционной России. Она была призвана ускорить модернизацию сельского хозяйства страны и стабилизировать социально-политическую обстановку в российской деревне. Изучение реализации этой реформы в Карелии представляет значительный научный интерес, так как здесь она проводилась в особых условиях, заметно отличавшихся от условий центра Европейской России. Определены факторы, сдерживавшие проведение реформы в Карелии – почти полное отсутствие дворянского землевладения, комплексный аграрно-промысловый характер крестьянского хозяйства, потребительская направленность сельского хозяйства, прочность общинных традиций и запутанность общинного землевладения. Характеризуется реализация столыпинского законодательства, основные направления и специфика преобразований. Раскрывается и подчеркивается особая роль землеустройства в проведении реформы в условиях Карелии. Итоги преобразований в крае, несмотря на краткий срок, отпущенный для них историей, могли бы быть более весомыми при всестороннем учете центром регионального фактора.

К л ю ч е в ы е с л о в а : Столыпинская аграрная реформа, Карелия, крестьянство, землеустройство, землепользование, община, хозяйство, отруб, хутор.

N. A. Korablyov. STOLYPIN LAND REFORM IN KARELIA: PROBLEMS OF LAND MANAGEMENT

Stolypin land reform was the last large-scope socioeconomic reform in the history of pre-revolutionary Russia. It was devised to expedite modernization of the national agriculture and stabilize the sociopolitical situation in the Russian countryside. Research into the implementation of the reform in Karelia is of great scientific interest since the conditions for it in the region differed significantly from those in the centre of European Russia. The factors hindering the reform in Karelia were determined – nearly total lack of manorial estates, the complex farming/fishing/hunting nature of the peasant economy, consumption-oriented agriculture, strong community traditions, and intricate communal land tenure. We characterize the implementation of Stolypin's legislation, the principal directions and features of the reforms. The remarkable role of land management in the progress of the reform in Karelia is disclosed and emphasized. Although history did not let the reform last long, it could have yielded much more tangible results in the land had the centre taken the regional factor into account.

Key words : Stolypin's agrarian reform, Karelia, peasantry, land management, land-use, economy, community, otrub, farm.

Столыпинская аграрная реформа явилась краеугольным звеном экономической политики российского правительства после бурных революционных потрясений 1905–1907 гг. Она была призвана ускорить модернизацию сельского хозяйства страны и стабилизировать социально-политическую обстановку в многомиллионной российской деревне. Главной целью реформы являлось создание широкого слоя хозяйственно активных земельных собственников за счет сокращения общинного землевладения. Прикрепление к общине и общинное землепользование с уравнительными переделами, в известной степени предохранявшие крестьян от разорения, в условиях развивающейся рыночной экономики становились факторами, тормозившими прогресс сельского хозяйства в масштабах России. В частности, порождаемые переделами чересполосица и мелкополосица препятствовали внедрению сельскохозяйственной техники и введению многопольных севооборотов. Представители Олонецкого земства в своей резолюции на губернском собрании в конце 1906 г., например, образно писали по данному поводу: «Нельзя пользоваться усовершенствованными орудиями, например, рядовой сеялкой, на полосах, ширина которых измеряется лаптями, а число доходит до нескольких десятков у общинника». [Вопрос..., 1908, № 5. С. 3–4]

Юридической основой новой аграрной политики стал указ Николая II от 9 ноября 1906 г., который после одобрения его III Государственной Думой 14 июня 1910 г. обрел статус закона. Реформа включала целый комплекс мероприятий, главными из которых являлись: выход крестьян из общины с закреплением за ними наделной земли в собственность; создание на укрепленной земле участковых (хуторских и отрубных) хозяйств; проведение землеустроительных работ без выдела из общины; организация переселения крестьян на окраины империи.

В дополнение к основным законодательным актам по проведению реформы 29 мая 1911 г. было утверждено Закон о землеустройстве, регламентировавший техническую сторону связанных с нею землеустроительных действий. До принятия этого закона данные действия осуществлялись на основе Временных правил о землеустройстве, изданных 4 марта 1906 г.

В пределах карельского края Столыпинская аграрная реформа проводилась на территории четырех уездов, входивших в то время в состав Олонецкой губернии (Петрозаводский, Олонецкий, Повенецкий Пудожский). На Кемский уезд,

находившийся в составе Архангельской губернии, она не распространялась, так как там, как и во всей этой губернии, не было осуществлено поземельное устройство бывших государственных крестьян, предусмотренное реформой 1866 г. (отграничение крестьянских земель от казенных).

Администрация Олонецкой губернии активно поддержала Столыпинскую аграрную реформу. Концепция Указа 9 ноября 1906 г. вполне соответствовала и личным убеждениям тогдашнего губернатора Н. В. Протасьева. Еще в 1904 г. на губернском совещании по пересмотру законоположений о крестьянах он заявлял: «Я горячий сторонник подворного владения и нахожу, что Россия действительно выйдет из косности в отношении земледелия только тогда, когда каждый будет работать на своей полосе земли, а не в составе фиктивной общины, которая, на мой взгляд, является только тормозом для развития хозяйства» [Журналы..., 1904. С. 67]. Да и в целом большинство руководителей губернских ведомств, участвовавших тогда в совещании, высказалось за облегчение выхода из общины [Журналы..., 1904. С. 69].

В поддержку реформы высказались и земские круги Олонецкой губернии. Вскоре после издания Указа от 9 ноября 1906 г. по инициативе председателя Повенецкого уездного земского собрания Е. А. Богдановича вопрос об общинном и подворном землепользовании был вынесен на обсуждение очередного губернского земского собрания. В результате дискуссии губернское собрание одобрило резолюцию, в которой говорилось: «Переход к подворному владению является единственным средством к подъему благосостояния крестьян... Земство непременно должно в той или иной форме прийти на помощь крестьянам, желающим перехода к подворному владению» [Обзор постановлений..., 1907. № 4. С. 30]. На следующей сессии в 1907 г. при обсуждении поступивших из Пудожской и Повенецкой уездных управ материалов местных обследований, свидетельствовавших об осторожном или отрицательном отношении большинства крестьян к выходу из общины, вопрос об отношении к реформе вновь был подвергнут рассмотрению. В своем докладе губернская управа подтвердила ранее выраженную земством позицию. При этом, правда, была добавлена уточняющая формулировка о том, что окончательный выбор формы землевладения принадлежит самим крестьянам. В докладе заявлялось, что управа «так же, как и большинство прошлогоднего состава собрания, склоняется к мысли, что при подворном владении представляется больше возможности

перейти к более совершенным способам ведения хозяйства... Но она считает ошибкой... указывать крестьянскому населению губернии ту или иную определенную форму землепользования и принимать какие-либо меры, которые могли бы склонять, например, к выделу из общины или сохранению ее во что бы то ни стало» [Вопрос..., 1908 № 5. С. 3–4]. Собрание одобрило предложения управы.

Условия для реализации Столыпинской аграрной реформы в карельском крае заметно отличались от условий, существовавших в центре и на юге России. Главным собственником земли здесь являлась казна, которой в рассматриваемых нами четырех уездах к 1905 г. принадлежало 68,1 % всей земельной площади. Крестьянские надельные земли составляли 30,1 % площади. На долю других категорий владельцев приходилось всего 1,8 % земельных угодий, в том числе лишь 0,1 % – на дворян [подсчитано по данным: О землевладении..., 1907. С. 285, 297, 301; Копяткевич, 1907. № 8. С. 15–16, № 10. С. 22–23]. Вследствие ничтожной роли дворянского землевладения аграрный вопрос в крае в основном сводился к взаимоотношениям между крестьянами и государством и не стоял столь остро, как в «помещичьих» регионах страны.

Немаловажное значение имело и то обстоятельство, что основную часть своих денежных доходов (по данным земской статистики, от 60 до 80 %) местные крестьяне получали не от земли, а от разнообразных промысловых занятий [Материалы..., 1910. С. 418–419]. После обнародования Указа от 9 ноября 1906 г. один из крестьян Петрозаводского уезда на страницах местного земского журнала так выразил скептическое мнение об указе части сельских хозяев, наиболее тесно связанных с промысловой деятельностью: «...Званием собственника сыт не будешь, да еще при таких исключительных, как наши, климатических условиях и малом количестве пахотной земли. У большинства крестьян главное занятие – отхожие промыслы, а земледелие на заднем плане... Клочки земли обрабатывай хоть китайским способом, все хлеба не будет хватать и отхожий промысел будет средством к пропитанию. До тех пор, пока существует более легкий способ добывания хлеба, крестьянин не сядет на землю» [Крестьяне..., 1907. С. 8].

Для Карелии с ее суровыми природными условиями и неразвитой сетью дорожных коммуникаций были характерны слабый уровень развития аграрного капитализма и укорененность общинных традиций, способствовавших

выживанию крестьянского двора в экстремальных ситуациях. По данным, относящимся к Олонецкой губернии в целом, в 1905 г. общинное землепользование охватывало здесь 98 % крестьянских дворов и 99 % надельной земли, тогда как в среднем по Европейской России эти показатели составляли соответственно 76 и 82 % [Зырянов, 1982. С. 36–37]. Правда, далеко не все общины в крае практиковали переделы. По сведениям, собранным для губернского совещания по пересмотру законоположений о крестьянах в 1904 г., в карельских уездах Олонецкой губернии только в 25,8 % земельных общин (595 из 1955) за пореформенное время производились либо общие, либо частные переделы. При этом по отдельным уездам картина была не одинаковой. Так, в Пудожском уезде доля переделывающихся общин достигала 53,5 %, в Повенецком – 50,1 %, тогда как в Олонецком она равнялась 18 %, а в Петрозаводском уезде составляла всего лишь 3,3 %. Однако те же материалы свидетельствовали не об угасании, а об усилении переделных тенденций в изучаемом нами районе. Так, если за период с 1858 г. по 1887 г. (год перевода бывших государственных крестьян на обязательный выкуп) переделы произошли в 16 общинах, то с 1888 г. по 1894 г. (6 лет) – в 166 общинах, а с 1895 по 1904 г. (9 лет) – в 324 общинах [подсчитано по данным: Кожевников, 1909. С. 258–259]. При этом необходимо учитывать, что в 1893 г. появился закон об ограничении переделов, а в 1894 г. в крае был введен институт земских начальников, которые, в частности, контролировали соблюдение данного закона. Явное снижение числа переделов отмечалось в два последних периода только в Петрозаводском уезде, где в 1888 – 1894 гг. переделы были зафиксированы в 17 общинах, а в 1895 – 1904 гг. – только в 5. Но переделные устремления были широко распространены и в этом уезде. На собеседовании по вопросам крестьянского землевладения в Петрозаводском уезде, состоявшемся 30 октября 1907 г. в Олонецком губернском присутствии, на вопрос о том, легко ли будет отдельным домохозяевам получить в «беспеределных» общинах приговор о выделении, все волостные старшины единодушно заявили: «В селениях... многолюдных приговоров выделяющимся не дадут... воспротивятся этому малоземельные домохозяева, полагающие, что разделенная земля пойдет когда-нибудь в общий передел, и тогда часть ее достанется на их долю» [Собеседование..., 1908. № 3. С. 4].

По мнению петрозаводского историка В. Г. Баданова, среди значительной части местного крестьянства все еще бытовала некая

психологическая, мировоззренческая и даже религиозная установка на общину как на особую ценность, данную свыше [Баданов, 1994. С 15].

Общинное землевладение в Олонецкой губернии имело осложненную, запутанную структуру, вследствие преобладания здесь в ходе реализации реформы 1866 г. в отношении государственных крестьян группового землеустройства. При пореформенном землеустройстве межевые отряды уделяли основное внимание отграничению казенных земель от крестьянских, разграничения же внутри крестьянских дач выполнялись формально или вообще не проводились. Сами же крестьяне, по свидетельству старшины Ладвинской волости Петрозаводского уезда Е. Мокеева, тогда «отнеслись к этому обстоятельству довольно равнодушно, – не оценили, не видели своего интереса; теперь видят, да поздно» [Собеседование..., 1908, № 1. С. 8]. Земский начальник из Петрозаводского уезда В. Соловьев также отмечал, что «работа межевых при выдаче владенных записей оставила в народе печальную память» [НА РК, ф. 55, оп. 1, д. 22/267, л. 50]. В результате тогдашнего землеустройства из 3996 селений Олонецкой губернии 3566 селений – или 89,2 % – были наделены общинами (однопланнми) дачами. Один акт владения приходился в среднем на 11 деревень [Обзор..., 1913. С. 43]. При этом зачастую существовал разнобой во владении разными видами угодий. Группа деревень, имея отдельные наделы пахотных земель, располагала в то же время совместным наделом сенокоса, леса, а также угодий, предоставленных вместо подсеки (так называемый земельно-подсечный надел). Начальник отделения губернской казенной палаты П. П. Сергеев на совещании по пересмотру законоположений о крестьянах в 1904 г. приводил следующий пример: «В Повенецком уезде... Селезневское и Кажемское общество имеют более 120 селений, у всех есть свои наделы, то есть у каждого селения своя усадебная земля и полевые угодья, но сенокосами эта группа в 120 селений владеет таким образом: два-три селения сообща владеют сенокосом, а в подсеках участвуют еще с тремя, четырьмя другими селениями, совершенно не участвующими ни в полевых, ни в сенокосных угодьях» [Журналы..., 1904. С. 31].

Ясно, что разверстка угодий в таких условиях была крайне затруднена и требовала значительных затрат на размежевание со стороны государства. По данному поводу олонецкий губернатор Н. В. Протасьев в письме к П. А. Столыпину 16 августа 1910 г. сетовал: «Большим тормозом... служит неудовлетворительность

работ, произведенных в свое время при наделении государственных крестьян землею. Далеко не редкое исключение в Олонецкой губернии составляет группировка 40–100 селений, владеющих надельными землями по одному владенному акту, причем в этом наделе находятся земли единственного владения каждого селения и общего владения как нескольких селений, так и общего владения всех селений, поименованных во владенном акте. Борьба с этим порядком владения составляет насущную задачу крестьянских учреждений Олонецкой губернии» [НА РК, ф. 1, оп. 1, д. 106/1, л. 217 об.].

Край не только по сравнению с сопредельной автономной Финляндией, но и по сравнению с Центральной Россией отличало слабое развитие дорожных коммуникаций. До начала Первой мировой войны карельские уезды, да и вся Олонецкая губерния, за исключением ее отдаленной восточной окраины (небольшой части Каргопольского уезда), не имела выхода к формирующейся сети российских железных дорог, архаичной была и внутрикраевая дорожная сеть. К 1913 г. в пределах четырех карельских уездов Олонии 53,9 % всех селений не имели никаких дорог и сообщались с внешним миром только с помощью лесных троп [Олонецкая губерния, С. 71]. В условиях полного бездорожья реальных перспектив для успешного развития хуторского хозяйства, конечно же, не существовало. Участвовавшие в упоминавшемся выше собеседовании по вопросам крестьянского землевладения в 1907 г. волостные старшины пришли к согласованному мнению, что образованию хуторов «будут препятствовать пути сообщения». «Удобных дорог не имеют целые селения, а отдельные хутора окажутся полностью недоступными», – резюмировали они [Собеседование..., 1908. № 3. С. 4].

Существенную специфику в крае имела организационная сторона проведения преобразований. Первоначально реализация новой аграрной реформы в Олонецкой губернии была целиком возложена на учреждения по крестьянским делам (губернское присутствие, земские участковые начальники и их съезды), перегруженные административными делами и не имевшие своих землемерных сил. В отличие от большинства губерний Европейской России здесь с началом реформы не были открыты землеустроительные комиссии. Правительство сочло возможным сэкономить средства на реализации реформы в малонаселенном северном крае. А нужда в землеустройстве здесь была особенно острой. На практике крестьянские учреждения могли только оформить выход домохозяина из общины с закреплением за ним зе-

мельных угодий в том виде, как они ранее находились в общине. В условиях Карелии, при разбросанности полевых угодий среди неудобий и обширных лесных пространств, дальнеземелье и мелкополосице, это не давало возможности для последующей рационализации сельскохозяйственного производства. Губернская администрация констатировала, что «в собственности укрепляется лишь земля, находящаяся в фактическом владении данного домохозяина, что имеет громадное значение для большинства губерний России, где надельная земля вся разверстана между крестьянами. Для губернии же Олонецкой законы эти имеют меньшее значение, если при укреплении в собственность не отводить одновременно всю землю к одним местам и не выделять ее в виде отдельных хуторов или, по невозможности этого, отрубов» [НА РК, ф. 1, оп. 1, д. 112/27, л. 89].

После неоднократных ходатайств губернатора Н. В. Протасьева Комитет по землеустроительным делам 14 августа 1908 г. принял решение о включении с 1909 г. в штат землеустроительных комиссий соседней Петербургской губернии 4 техников-землемеров для прикомандирования их на полевой сезон к крестьянским учреждениям Олонецкой губернии [НА РК, ф. 55, оп. 1, д. 22/267, л. 14–15]. По предложению Председателя Совета Министров П. А. Столыпина 28 августа 1908 г. в Олонецкой губернии было создано особое межведомственное совещание по применению Закона от 9 ноября 1906 г. под председательством губернатора с координационными и контрольными функциями. В его состав наряду с вице-губернатором и чиновниками губернского присутствия был включен и губернский землемер. В числе задач, поставленных перед особым совещанием, значились и упорядочение дел по устранению внутринадельной чересполосицы и отводу укрепленных земель к одним местам, то есть по созданию участков (хуторских и отрубных) хозяйств [НА РК, ф. 55, оп. 1, д. 18/226, л. 55].

Принятые меры дали возможность наконец, с опозданием на два года, начать в крае землеустроительные работы в рамках реформы. Вскоре после начала своей деятельности особое совещание констатировало, что выделенных землемеров далеко не достаточно, чтобы справиться с уже имеющимся фронтом работ на площади в 62 тыс. десятин. Оно заявило, что «находит необходимым экстренно ходатайствовать о возможном увеличении теперь же числа землемеров, состоящих в распоряжении олонцкого губернатора, а затем, ввиду крайней желательности широкой и совершенной орга-

низации дела землеустройства, и об открытии в Олонецкой губернии землеустроительной комиссии» [НА РК, ф. 55, оп. 1, д. 22/267, л. 75–76 об.]. С полевых сезонов 1910 г. группа межевых техников, командированных в губернию, была увеличена до 14 человек, им придавалось еще 11 помощников [Обзор..., 1911. С. 43]. Объемы землеустроительных работ постепенно возрастали, однако их направленность оставалась узкой, сдерживавшей образование участковых хозяйств. Недостаточное внимание уделялось и групповому землеустройству. Как отмечалось в изданном в 1913 г. губернским земством статистическом справочнике, землеустроительная деятельность крестьянских учреждений «в большинстве случаев... сводилась лишь к сокращению чересполосности путем соединения пахотной земли в один участок и закрепления остальных угодий в том виде, в каком они находились в общине» [Олонецкая..., 1913. С. 106].

По существу, в полной мере реализация аграрной реформы в крае началась только после издания «Закона о землеустройстве» от 29 мая 1911 г. с созданием землеустроительных комиссий, наделавшихся широкими полномочиями вплоть до судебных. Олонецкая губернская землеустроительная комиссия была открыта 15 октября 1911 г., тогда же начала действовать Петрозаводская уездная комиссия. Пудожская и Олонецкая уездные комиссии открылись 28 декабря, а Повенецкая – 29 декабря того же года [Обзор..., 1912. С. 21].

Губернскую землеустроительную комиссию возглавлял губернатор, в ее состав входили неперемный член от Главного управления землеустройства и земледелия России, неперемный член губернского присутствия, председатель губернской земской управы, губернский землемер, член Петрозаводского окружного суда, два члена по выбору от губернского уездного собрания. Непременным членом губернской комиссии был назначен В. А. Лихачев, ранее служивший в аналогичной должности в Черниговской губернии и имевший значительный опыт ведения землеустроительных дел. Из-за отсутствия в крае корпоративной дворянской организации уездные землеустроительные комиссии возглавляли не предводители дворянства, как в большинстве российских губерний, а председатели уездных съездов. В состав этих комиссий входили: неперемный член от Главного управления землеустройства и земледелия, председатель уездной земской управы, земские участковые начальники, уездный член Петрозаводского окружного суда и по три вы-

борных члена от уездного земского собрания и от волостных сходов. В качестве временного члена в работе комиссии также участвовал выборный представитель от той волости, по которой рассматривалось дело [Расписание..., С. 57, 61–62; Памятная..., 1912. С. 61–62].

При губернской землеустроительной комиссии была сформирована своя группа землемерных чинов из штатных и вольнонаемных сотрудников. К концу 1913 г. в ней насчитывался 61 человек, в том числе 5 старших землемеров, 22 землемера и 35 помощников (техников) [НА РК, ф. 1, оп. 1, д. 120/40, л. 18 об.]. Губернская администрация не без основания оценивала количественный и качественный состав землемерных сил как не удовлетворяющий местным условиям. Олонецкий губернатор (с мая 1913 г.) М. И. Зубовский откровенно сетовал на невозможность привлечь на службу в отдаленный северный край хорошо подготовленных землемеров «с полным межевым цензом». Он справедливо объяснял данное обстоятельство «большой трудностью землемерных работ в Олонецкой губернии, что отрицательно отражается на продуктивности работы техников, а следовательно, и на размерах вырабатываемой ими задельной платы, и, кроме того, непривлекательными условиями жизни, как в материальном отношении, так и в общественном». «Из всех старших землемеров Олонецкой губернии, – указывал далее губернатор, – нет ни одного с высшим образованием и только четыре человека со средним образованием... остальные же все с низшим образованием. Что же касается землемеров и помощников землемеров, то таковые сплошь с низшим образованием» [Обзор..., 1915. С. 46]. В дополнение ко всему, несмотря на огромные расстояния между населенными пунктами губернии, разъездной кредит для землеустроительных чинов здесь отпускался по нормам, общим для всей России, и естественно, что средств для служебных поездок хронически не хватало [Обзор..., 1915. С. 51].

Имеющихся землемерных кадров было недостаточно для удовлетворения всех поступавших ходатайств о землеустройстве. Так, в 1913 г. губернской комиссией было запланировано проведение землеустроительных работ на площади в 187,4 тыс. десятин, но удалось выполнить работы на площади только в 103,2 тыс. десятин (55 % к плану) [НА РК, ф. 1, оп. 1, д. 120/40, л. 18–18 об.]. В отчете за 1913 г. губернатор М. И. Зубовский констатировал: «В 1914 г. предположены обширные землеустроительные работы на площади более 300000 десятин, но едва ли удастся вы-

полнить этот громадный труд, так как положительно не хватает землемеров» [НА РК, ф. 1, оп. 1, д. 120/40, л. 40]. В реальности на 1914 г. были запланированы работы на площади в 233,7 тыс. десятин, но в условиях начавшейся войны план был выполнен только на 37,8 % [Обзор..., 1915. С. 44, 46].

Особенности края, а также недостаточное организационное и финансовое обеспечение преобразований оказали сильное воздействие на темпы, масштабы и результаты реализации столыпинской аграрной реформы. Несмотря на активную пропаганду, а порой и на применение на местах, вопреки официальным установкам, мер административного принуждения, к 1 января 1916 г. в целом по 4 карельским уездам Олонецкой губернии вышли из общины и укрепили землю в личную собственность 2882 домохозяина, имевших 110,4 тыс. десятин надельной земли. Кроме того, 652 домохозяина из беспередельных общин на основании Закона от 14 июня 1910 г. взяли удостоверительные акты на свои земли в количестве 7,2 тыс. десятин, что также означало их закрепление в собственность. Всего, таким образом, за 1906–1915 гг. в карельских уездах Олонецкой губернии из общины вышло 4534 домохозяина, закрепивших за собой 117,6 тыс. десятин земли. Это составило 16,3 % от числа общинных дворов и 5,4 % площади крестьянского общинного землевладения [подсчитано по данным: РГИА, ф. 1291, оп. 121, 1916 г., д. 4, л. 219–226; Статистика..., 1906. С. 10]. Данные показатели были существенно ниже общих для Европейской России (соответственно 26,9 % и 13,8 %) [Сидельников, 1980. С. 177; Аврех, 1991. С. 88; Тюкавкин, 2001. С. 196] в 1,6 и в 2,6 раза.

Необходимо отметить, что большинство выходов из общины в крае осуществлялось в обязательном порядке, по постановлениям земских начальников и уездных съездов. В целом по карельским уездам Олонецкой губернии приговор схода о согласии на укрепление земли получили лишь 33 % пожелавших выделиться домохозяев [подсчитано по данным, РГИА ф. 1291, оп. 121, 1916 г., д. 4, л. 219–221]. В остальных случаях сходы либо прямо отказывались от составления приговора об укреплении, либо уклонялись от составления приговоров в установленный законом срок.

Наиболее активно выделялись из общины представители зажиточной и бедняцкой прослойки деревни. Зажиточные хозяева стремились таким путем закрепить и расширить землевладение, а беднота – поправить материальное положение за счет продажи земли.

Столыпинская реформа стимулировала вовлечение надельной земли в торговый оборот. В 1908–1914 гг. продали укрепленную землю 34,7 % домохозяев-выделенцев Олонецкой губернии, ими было реализовано 5,2 тыс. десятин укрепленной земли [История..., Т. 2, 1985. С. 181].

Значительную часть продававшейся земли составляли лесные угодья. Служащий Олонецкого управления земледелия и государственных имуществ И. Соловьев на страницах местного земского журнала отмечал: «С введением в Олонецкой губернии землеустройства стали замечаться случаи выхода крестьян на отруба и хутора с исключительно специальною целью хищнической вырубki отводимых лесных участков... Отрубники с открытием землеустроительных работ начали продавать лес со своих участков, получая за него значительные суммы, иногда по несколько тысяч и даже десятков тысяч рублей. Возможность легкой и быстрой наживы с операциями по продаже леса на отрубках вызвала в некоторых местах появление особых скупщиков, которые, разъезжая по губернии и пользуясь неопытностью и малокультурностью населения, начали скупать крестьянские укрепленные в собственность наделы по дешевым ценам и затем перепродавать с них лес по его действительной стоимости, очень часто превышающей во много раз цену всего надела» [Соловьев, 1916. № 14. С. 5–6]. В целях борьбы с подобной практикой по инициативе губернатора П. П. Шиловского Олонецкое губернское присутствие 21 марта 1913 г. приняло определение «О размере прав хуторян и отрубников на рубки и продажу леса с их участков», согласно которому рубка леса с выделенных участков допускалась только после составления владельцами упрощенных лесохозяйственных планов [НА РК, ф. 1, оп. 1, д. 117/37, л. 132–134 об.]. Однако, как справедливо полагал тот же И. Соловьев, данное ограничение не могло предотвратить самовольную тайную продажу леса, тем более что законодательно продажа лесоматериалов с земель коренной части надела, отведенных под постоянную пашню и сенокос, в отличие от подсечно-земельной части надела ограничению не подлежала, а внутри крестьянского надела межевых разграничительных знаков не имелось [Соловьев, 1916. № 14. С. 16].

Обращение покрытых лесом земель в пахотные и сенокосные угодья в пределах участковых хозяйств осуществлялось с санкции правительственного агронома или сельскохозяйственно-го инструктора [Наймарк, 1915. С. 49–50].

Создание хуторских и отрубных хозяйств в условиях края происходило замедленными

темпами. Губернатор М. И. Зубовский в отчете за 1913 г. признавал: «...Разверстание же на отруба и вообще переход к единоличному владению пока прививается туго. Требования отдельных предприимчивых домохозяев об отводе им хуторских участков обыкновенно вызывают явное неудовольствие общинников...». Вместе с тем он отмечал, что это неудовольствие не перерастает в крае в активные формы противодействия реформе: «Случаев грубого насилия над хуторянами не было и никакой агитации в этом направления никем не ведется» [НА РК, ф. 1, оп. 1, д. 120/40, л. 40 об.].

Согласно официальным итоговым данным о работе землеустроительных комиссий к 1 января 1916 г. в карельских уездах Олонецкой губернии было образовано 514 участковых хозяйств с общей земельной площадью в 52,2 тыс. десятин. [Подсчитано по данным: РГИА, ф. 408, оп. 1, д. 978, л. 2–5, 10–11]. При этом 95 % всех хуторов и отрубков было создано путем разверстания на участковые хозяйства целых селений, и лишь 5 % – путем единоличного выделения домохозяев из общины. Доля владельцев хуторов и отрубков составила в целом по изучаемому нами району на 1916 г. только 1,5 % ко всей массе крестьян-домохозяев (общинников и подворников). [Процент подсчитан по отношению к общему числу дворов по данным сельскохозяйственной переписи 1916 г.: Бузин, 1916. С. 4.], тогда как по Европейской России в целом этот показатель достигал 10,3 % [Дубровский, 1963. С. 250; Сидельников, 1980. С. 178; Аврех, 1991. С. 89; Мэйси, 2004. С. 268].

Становление участковой системы хозяйствования в карельском крае отличалось крайней неравномерностью. Территориальное распределение хуторов и отрубков по уездам было следующим [составлено по данным: РГИА, ф. 408, оп. 1. д. 978, л. 2–5, 10–11; Бузин, 1916. С. 4]:

Уезды	Общее число хозяйств (по данным сельскохозяйственной переписи 1916 г.)	Число участковых хозяйств (на 1 января 1916 г.)	% участковых хозяйств к общему числу крестьянских хозяйств
Олонецкий	8751	317	3,6
Повенецкий	5333	178	3,3
Петрозаводский	13529	10	0,1
Пудожский	7100	9	0,1
Итого по 4 уездам	34713	514	1,5
Всего по губернии	71778	997	1,4

Как мы видим, несколько активнее участковая система прививалась в западных, приграничных уездах края – Олонецком и Повенец-

ком, где сказывалось влияние аграрного опыта сопредельной Финляндии. Непременный член губернской землеустроительной комиссии В. А. Лихачев констатировал: «Наиболее благоприятную почву для развития землеустройства землеустроительные комиссии нашли в уездах Повенецком и Олонецком, где благодаря близости Финляндии с ее мызным хозяйством крестьяне уже видели на живых примерах все преимущества новых форм землепользования» [Лихачев, 1913. С. 184]. В этих двух уездах было сосредоточено 96 % всех хуторов и отрубов Карелии. Но все же даже в Олонецком и Повенецком уездах доля хуторских и отрубных хозяйств была в 2,9–3,1 раза ниже общероссийского уровня.

В Петрозаводском уезде с наиболее развитыми промыслами (в том числе и отхожими) и относительно меньшей ролью земледелия, а также в глубинном Пудожском уезде с устойчивыми общинными традициями хутора и отруба продолжали оставаться редким, единичным явлением. Доля участков хозяйств (0,1 % к общему числу дворов) была в этих уездах на порядок ниже, чем в Олонецком и Повенецком уезде.

Хуторянам и отрубникам предусматривалось оказание финансовой помощи от землеустроительных комиссий в виде безвозвратных пособий или ссуд на перенос строений на новое место, первоначальное обустройство и хозяйственные улучшения (мелиорация и т. п.). Ссуды выдавались на 15 лет, с условием возврата их после 5-летнего льготного срока в течение 10 лет равными частями без процентов [Олонецкая..., 1913. С. 112]. Ограниченность денежных ресурсов, выделявшихся казной для этих целей, вынуждала комиссии подходить к делу осторожно. В первую очередь предписывалось оказывать помощь тем хозяйствам, которые могли бы сыграть роль показательных в своей округе. За период с 1907 по 1915 г. в крестьянские и землеустроительные учреждения Олонецкой губернии поступили ходатайства на ссуды и пособия от 875 домохозяев. Из этого числа были признаны подлежащими удовлетворению полностью или частично лишь 377 ходатайств, или 43 %. А получили денежные выплаты всего 292 домохозяина (33,4 % от числа заявителей). Выдано было 168 ссуд на общую сумму в 21350 рублей (или в среднем по 127,1 рубля) и 124 пособия на сумму 9348 руб. (в среднем по 75,4 рубля). [Итоговые..., 1916. С. 100–101]. Для сравнения укажем, что средняя стоимость крестьянского дома в Олонецкой губернии, по данным выборочного бюджетного исследования, проведенного Л. К. Чермаком в

1909 г., составляла 209 рублей [Олонецкая..., 1913. С. 281]. Сами же местные крестьяне считали, что, «не имея в кармане 500 рублей, нечего и думать сделаться хозяином на хуторе» [Никulina, 1986. С. 58]. Таким образом, размеры ссуд и пособий следует рассматривать как явно недостаточные для полного обустройства единоличного хозяйства в условиях края.

Наиболее актуальным и перспективным направлением поземельных работ в ходе столыпинской аграрной реформы в условиях Олонецкой губернии являлось проведение землеустроительных мероприятий на общинных землях. На практике с 1912 г. это и стало основной заботой местных органов по проведению реформы. Однако при большой потребности в работах данного рода их объем сдерживался из-за нехватки землемеров и недостаточного финансирования, в чем явственно сказывался недоучет центром специфики губернии.

В силу указанных причин основную массу поступивших от крестьян ходатайств об общинном землеустройстве (79 %) к 1916 г. не удалось удовлетворить. Всего в карельских уездах такое землеустройство было проведено в отношении 1950 хозяйств (5,6 % от их общего числа) на площади в 130,2 тыс. десятин [Подсчитано по данным: РГИА, ф. 408, оп. 1, д. 978, л. 6–9, 12–17; Бузин, 1916. С. 4]. В общем объеме осуществленных землеустроительных работ доля группового землеустройства по числу дворов составила 79,1 %, единоличного – 20,9,5 %, а по площади земли – соответственно 71,4 и 28,6 %. Подобная картина была характерна и для губернии в целом. М. И. Зубовский, подчеркивая местное своеобразие в реализации реформы, констатировал, что «землеустройство в Олонецкой губернии, если его сравнить с землеустройством всей России, является как бы полюсами последнего, занимая одним из них – размерами группового землеустройства – первое место, а другим – размерами единоличного землеустройства – последнее место среди землеустройства Европейской России» [Обзор..., 1915. С. 50].

Доминирующим видом группового землеустройства в крае являлось, что вполне закономерно, выделение надела отдельным селениям. Оно было проведено в отношении 111 земельных единиц, в которых насчитывалось 1700 дворов. Кроме того, в 12 земельных единицах, включавших в себя 250 дворов, была проведена ликвидация чересполосицы [подсчитано по данным: РГИА, ф. 408, оп. 1, д. 978, л. 6–9, 12–17]. Осуществление этих мероприятий имело большое значение для упорядочения и рационализации крестьянского землепользо-

вания. В частности, М. И. Зубовский акцентировал внимание на следующем обстоятельстве: «После группового землеустройства крестьяне начинают очень дорожить своими лесными богатствами, заводят правильное лесное хозяйство, принимают ряд коренных мер к предупреждению хищнического истребления лесов. В последнем отношении групповое землеустройство дает значительно большие результаты, чем все вместе взятые лесоохранительные правила и административные меры воздействия» [Обзор..., 1915. С. 51–52]. Еще раз подчеркнем, что групповое землеустройство в перспективе создавало возможность для перехода отдельных хозяев к личному землевладению. Согласно данным землеустроительных комиссий, 83,2 % крестьянских хозяйств Олонецкой губернии, укрупнивших землю в личную собственность, сначала принимали участие в групповом землеустройстве [Никулина, 1986. С. 51].

В ходе реформы карельский край первоначально предполагалось также использовать в качестве одного из районов для размещения крестьян-переселенцев. В 1908 г. заместитель министра внутренних дел даже обратился со специальной запиской к управляющему Главным управлением землеустройства и земледелия А. В. Кривошеину о необходимости заселения Олонецкой губернии. Акцентируя внимание на «весьма остром положении с переселенческим вопросом вообще», автор записки призывал управляющего принять все меры к немедленной и энергетической организации дела переселения из внутренней России в Олонецкую губернию» [Якименко, 1984. С. 88]. Данное предложение имело определенную предысторию.

Незадолго до начала аграрной реформы, в 1905 г., Управление землеустройства организовало предварительное изучение колониционных возможностей Олонецкой губернии силами специальной временной партии по заготовлению переселенческих участков в северных и северо-восточных губерниях Европейской России. В результате обследования, проведенного в казенных дачах малонаселенных Повенецкого и Пудожского уездов, пригодной для колониционных целей была признана площадь в 2,6 млн. десятин. В Управление поступило немало ходатайств о желании переселиться на эти обследованные земли, преимущественно от крестьян Кирилловского уезда Вологодской губернии [Колонизация..., 1913. № 2. С. 7–8]. Однако в разгар масштабных преобразований у Государственного управления землеустройства и земледелия не нашлось свободных средств и сил для прове-

дения работ по нарезке переселенческих участков в натуре на территории Олонецкой губернии, и проект не осуществился.

В условиях Первой мировой войны проведение аграрной реформы, и в первую очередь землеустройство, стало свертываться. В январе 1915 г. на основе указаний из центра губернатор М. И. Зубовский рекомендовал землеустроительным комиссиям принимать к исполнению те дела, по которым «наилучшие возможности достигнуть добровольного соглашения всех заинтересованных владельцев». Исполнение дел в обязательном порядке признавалось нежелательным в условиях, когда повсеместно «имеются домохозяева, призванные на действительную [службу в] армию, земельные интересы которых должны быть ограждены от нарушений самым тщательным образом» [НА РК, ф. 261, оп. 1, д. 3/76, л. 4–5].

В новом предписании в сентябре 1915 г. М. И. Зубовский сетовал на значительное сокращение штата землемерных чинов из-за призыва в армию и с обеспокоенностью констатировал, что «число дел, законченных подготовкой и подлежащих включению в план работ, уже значительно превышает то количество дел, которое может быть исполнено наличным землемерным составом...». Также отмечалось, что «дальнейшая подготовка дел за призывом в действующую армию значительной части населения сильно затруднена... ввиду невозможности собрать на сходы предусмотренное законом большинство». Губернатор потребовал принимать к производству лишь те дела, которые будут признаны неотложными и по которым есть полная уверенность в добровольном порядке исполнения. «Включение в план работ дел, подлежащих исполнению в обязательном порядке, совершенно не может быть допущено», – заключал он [НА РК, ф. 480, оп. 1, д. 1/1, л. 87]. В ряде случаев и сами крестьяне, ранее подавшие заявление о выходе на отруб и хутора, добровольно отказывались от проведения землеустройства до окончания войны [НА РК, ф. 482, оп. 1, д. 1/13, л. 85–85 об.; д. 2/26, л. 29–30].

После Февральской революции Временное правительство, занявшись подготовкой своих аграрных преобразований, 28 июня 1917 г. приняло постановление о роспуске землеустроительных комиссий и прекращении Столыпинской аграрной реформы.

Думается, что в нашем северном крае потенциал Столыпинской реформы был раскрыт лишь в небольшой степени. Итоги преобразований, несмотря на краткий срок, отпущенный для них историей, могли бы быть более весо-

мыми при всестороннем учете центром региональных факторов. В отношении карельских уездов и Олонецкой губернии в целом имела место явная недооценка центром приоритетного значения землеустройства для успешного развертывания реформы в условиях края. Землеустроительные комиссии здесь были открыты лишь через 6 лет после начала реформы, несмотря на неоднократные ходатайства местных властей по этому вопросу. Потеря времени особенно негативно сказалась на решении первоочередной и особенно острой для края проблемы группового землеустройства, сдерживавшей процесс образования участковых хозяйств. Финансирование землеустройства также осуществлялось по общим нормативам для Европейской России, без учета специфики севера (большие расстояния между селениями, сильно пересеченный характер местности, наличие значительного количества лесных участков и неудобий в составе наделов, меньшая продолжительность полевого сезона по сравнению с центром и югом страны). Представляется, что такой подход к северному краю был следствием акцентированного внимания правительственных кругов к реформированию деревни в «помещичьих» регионах страны, где аграрный вопрос стоял наиболее остро. Хотя, как убедительно свидетельствовал опыт аграрного развития соседней Финляндии, переустройство села на принципах, заложенных в основу столыпинской аграрной реформы, имело в карельском крае большие перспективы.

Литература

- Аврех А. Я. П. А. Столыпин и судьбы реформ в России. М.: Политиздат, 1991. 286 с.
- Баданов В. Г. Использование олонеким земством финляндского опыта при проведении реформы П. А. Столыпина // Вопросы истории Европейского Севера. Петрозаводск: ПетрГУ, 1994. С. 11–15.
- Бузин В. Результаты предварительного подсчета материалов Всероссийской сельскохозяйственной переписи по Олонецкой губернии // Вестник Олонцкого губернского земства. 1916. № 17. С. 4–10.
- Вопрос об общинном и подворном землепользовании на губернском земском собрании // Вестник Олонцкого губернского земства. 1908. № 4. С. 1–3, № 5. С. 2–4; № 6. С. 6–7; № 7/8. С. 1–4.
- Дубровский С. М. Столыпинская земельная реформа. М.: Изд-во АН СССР, 1963. 600 с.
- Дякин В. С. Столыпинская земельная реформа // Кризис самодержавия в России. 1895–1917. Л.: Наука, 1984. С. 349–374.
- Журналы Олонцкого губернского совещания по пересмотру законоположений о крестьянах. Петрозаводск, 1904.
- Зырянов П. Н. Крестьянская община Европейской России. 1902–1914 гг. М.: Наука, 1992. 256 с.
- История северного крестьянства. Т. 2. Крестьянство Европейского Севера в период капитализма. Архангельск: Сев.-Зап. кн. изд-во, 1985. 386 с.
- Итоговые сведения о деятельности землеустроительных комиссий за 1907–1915 гг. Петроград, 1916.
- Кожевников А. Ф. Земельные переделы в Олонецкой губернии // Памятная книжка Олонецкой губернии на 1909 г. Петрозаводск, 1909. С. 255–259.
- Колонизация в Олонецкой губернии // Известия Архангел. об-ва изучения Рус. Севера. 1913. № 2. С. 85–86.
- Копяткович В. Распределение земельной собственности в Олонецкой губернии за 1905 год // Вестник Олонцкого губернского земства. 1907. № 8. С. 14–17; № 10. С. 21–24.
- Крестьяне о выходе из общины / И. М. // Вестник Олонцкого губернского земства. 1907. № 20. С. 7–8.
- Лихачев В. А. Краткий обзор деятельности землеустроительных комиссий Олонецкой губернии за 1912 г. // Известия общества изучения Олонцкой губернии. 1913. № 2/3. С. 180–188.
- Материалы по статистико-экономическому описанию Олонцкого края. СПб.: Изд-во Олонцкого губернского земства, 1910. 105 с.
- Мэйси Д. Аграрные реформы Столыпина как процесс: Центр, периферия, крестьяне и децентрализация // Россия сельская. М.: РОССПЭН, 2004. С. 251–283.
- Наймарк И. Я. Обзор агрономической помощи хозяйствам единоличного владения Олонцкой губернии за 1914 г. Петрозаводск: Сев. скоропечатня А. Г. Каца, 1915. 50 с.
- Национальный архив Республики Карелия (в тексте – НА РК).
- Никулина Т. В. К вопросу об аграрной политике царизма в Олонцкой губернии (1906–1917 гг.) // Вопросы истории Европейского Севера. Петрозаводск: ПетрГУ, 1986. С. 49–62.
- О землевладении в Олонцкой губернии // Памятная книжка Олонцкой губернии на 1907 г. Петрозаводск: Олон. губ. тип., 1907. С. 281–302.
- Обзор Олонцкой губернии за 1910 г. Петрозаводск: Олон. губ. тип., 1911. 27, [75] с.
- Обзор Олонцкой губернии за 1911 г. Петрозаводск: Олон. губ. тип., 1912. 69 с.
- Обзор Олонцкой губернии за 1912 г. Петрозаводск: Олон. губ. тип., 1913. 95 с.
- Обзор Олонцкой губернии за 1914 г. Петрозаводск: Олон. губ. тип., 1915. 119 с.
- Обзор постановлений очередного губернского земского собрания // Вестник Олонцкого губернского земства. 1907. № 4. С. 26–30.
- Олонцкая губерния: Стат. справочник. Петрозаводск: Стат. бюро Олонцкой губернской земской управы, 1913. 348 С.
- Памятная книжка Олонцкой губернии на 1912 г. Петрозаводск: Олон. губ. тип., 1912. 320 с.

Расписание состава землеустроительных комиссий, образуемых согласно закону о землеустройстве // Закон о землеустройстве 29 мая 1911 года и изданный на основании сего закона Наказ землеустроительным комиссиям от 19 июня 1911 года. СПб., 1911. С. 56–61.

Российский государственный исторический архив (в тексте – РГИА).

Сидельников С. М. Аграрная политика самодержавия в период империализма. М.: Изд-во МГУ, 1980. 288 с.

Собеседование о крестьянском землевладении // Вестник Олонецкого губернского земства. 1908. № 1. С. 7–9; № 2. С. 10–12; № 3. С. 3–4.

Соловьев И. Олонецкие крестьянские леса // Вестник Олонецкого губернского земства. 1916. № 13. С. 1–16; № 14. С. 1–16; № 15. С. 1–4.

Статистика землевладения 1905 г. Вып. 25. Олонецкая губерния. СПб., 1906. 10 с.

Тюкавкин В. Г. Великорусское крестьянство и стольпинская реформа. М.: Памятники исторической мысли, 2001. 304 с.

Якименко Н. А. Переселенческая политика царизма и проблема заселения Севера Европейской России (конец XIX – начало XX вв.) // Вопросы истории Европейского Севера. Петрозаводск: ПетрГУ, 1984. С. 80–91.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ:

Кораблев Николай Александрович
старший научный сотрудник, к. и. н.
Институт языка, литературы и истории
Карельского научного центра РАН
ул. Пушкинская, 11, Петрозаводск,
Республика Карелия, Россия, 185910
эл. почта: nikolship@mail.ru
тел.: (8142) 772675

Korablyov, Nikolay
Institute of Language, Literature and History, Karelian Research
Centre, Russian Academy of Science
11 Pushkinskaya St., 185910 Petrozavodsk, Karelia, Russia
e-mail: nikolship@mail.ru
tel.: (8142) 772675

УДК 811.161.1'372+811.161.1'373.21

ПИТЕР В РУССКОЙ НАРОДНОЙ ЯЗЫКОВОЙ ТРАДИЦИИ*

Ю. А. Кривошапова

Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина

В статье представлен языковой образ *Питера*, закрепленный в народном сознании и отраженный в диалектных семантических и словообразовательных оттопонимических дериватах, фразеологизмах и устойчивых речениях, содержащих данный топоним. В результате семантико-мотивационного анализа языковых данных выделены ключевые параметры, характеризующие лингвистический образ города: локативная характеристика; социальный состав населения и материальная культура. Питер представляется удаленным северным пределом России, до которого трудно и долго добираться. Образ города амбивалентен: в Питере можно как разбогатеть, так и пропасть и разориться. Как интеллектуальный и административный центр страны, «мужской» Петербург противопоставлен провинциальной и патриархальной «женской» Москве. Ярко представлен в народной речи образ *питерщика*, приехавшего в город на отхожий промысел: это мастеровой человек, перенявший манеры горожанина, часто наглый и заносчивый. Предметы материального мира, охарактеризованные как «питерские», расцениваются диалектоносителями как «столичные», качественные и дорогие.

Ключевые слова: топонимия, диалектная лексикология, оттопонимические производные, языковая картина мира, семантический анализ, ономаσιологический анализ.

Yu. A. Krivoshchapova. *PITER* IN THE RUSSIAN FOLK LINGUAL TRADITION

The article is devoted to presentation of the linguistic image of Piter which exists in national mind and is reflected in dialectal semantic and word-formative toponymical derivatives, phraseology and fixed expressions including this toponym. As a result of semantic and motivational analysis of the language data the main features of the linguistic image of the city have been described. These features are locative characteristics, social composition of the population and material culture. To the native speaker of Russian Piter seems to be situated at the Nord confines of Russia which are difficult to be reached. The image of the city is ambivalent: in Piter it is possible to become rich and to lose everything. As an intellectual and administrative center of the country "male" Piter is in contrast with patriarchal and provincial "female" Moscow. The image of *pitershchik* («that who lives in Piter») is well represented in folk speech: it is an artisan who has come to Piter to seasonal work; he behaves like a city dweller and he is often impudent and arrogant. The objects of the material sphere characterized like "Piter-made" are concerned to be "downtown style", expensive and of high quality.

Key words: toponymy, dialectal lexicology, toponymic derivatives, language picture of the world, semantic analysis, onomasiological analysis.

* Исследование выполнено при поддержке госконтракта 14.740.11.0229 в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» (тема «Современная русская деревня в социо- и этнолингвистическом освещении»).

Тема Петербурга для русской (и шире – мировой) культуры неисчерпаема. Сложная и противоречивая судьба этого города неразрывно связана с историей досоветской, советской и постсоветской России, что отражено уже в номинативных трансформациях самого топонима: из Санкт-Петербурга (Петербурга, Питера) – в Петроград, затем – в Ленинград и снова в Санкт-Петербург. Вокруг каждого из этих наименований формируется особый культурный фон, свойственный конкретному обозначению города и соответствующий определенному историческому периоду (так, совершенно уникальны образы дореволюционного Петербурга, красного Петрограда, блокадного Ленинграда и, наконец, «внехронологического» народного Питера).

В научной (преимущественно литературоведческой и культурологической) литературе прочно закрепились термины «образ Петербурга» и «петербургский текст». Термин «петербургский текст» принадлежит В. Н. Топорову, который отметил, что, «как и всякий другой город, Петербург имеет свой “язык”. Он говорит нам своими улицами, площадями, водами, островами, садами, зданиями, памятниками, людьми, историей, идеями и может быть понят как своего рода гетерогенный текст, которому приписывается некий общий смысл и на основании которого может быть реконструирована определенная система знаков, реализуемая в тексте» [Топоров, 1995. С. 274].

Общекультурную символику Петербурга раскрывает статья Ю. М. Лотмана «Символика Петербурга и проблемы семиотики города» [Лотман, 1984]. Феномену Петербурга в русской литературе посвящена монументальная статья В. Н. Топорова «Петербург и «Петербургский текст русской литературы»» [Топоров, 1995], охватывающая «петербургские тексты» XVIII–XX вв. Книга О. Лукас «Поробрик из бордюрного камня» посвящена реконструкции и сопоставлению образов москвича и питерца с опорой на сложившиеся культурные стереотипы, связанные с Москвой и Петербургом [Лукас, 2011]. Что же касается лингвистического разворота темы Петербурга, то здесь следует упомянуть «Словарь петербуржца» Н. А. Синдаловского [Синдаловский 2003], содержащий жаргонные слова и выражения, используемые петербуржцами в разговорной речи, а также городские топонимы, фразеологизмы, народные речения, анекдоты, рекламные лозунги и проч. Этот весьма пестрый и разнородный материал показывает мир Петербурга изнутри, глазами жителя города. Следует указать и монографию «На языке улиц (Рассказы о петер-

бургской фразеологии)», в которой Наум Синдаловский собрал и прокомментировал пословицы, поговорки и каламбуры, чье появление так или иначе связано с Петербургом [Синдаловский, 2010]. Этому же автору принадлежат и другие работы, касающиеся петербургского фольклора и образа самого Петербурга в нем. Основной темой статьи О. В. Гордеевой является функционирование топонимов *Петербург*, *Питер* и *Петроград* в русском фольклоре Пермского края [Гордеева, 2009]. Концепту «Петербург» и его лексическому воплощению в художественной картине мира А. Блока посвящена диссертация Л. Н. Авдониной [Авдонина, 2009].

Очевидно, что образ Петербурга формировался не только изнутри (главным образом силами местных жителей и писательской братии, покоряющей град Петров), но и извне. Среди носителей внешнего взгляда – русские крестьяне, жители небольших городов, размышляющие о северной столице издали или отправляющиеся туда на заработки. Языковой результат добровольного или вынужденного взаимодействия этих слоев населения с Петербургом – функционирующая в русских говорах и общенародном языке вторичная топонимия, лексика и фразеология, словообразовательно или семантически связанная с неофициальным названием города Питер (гораздо реже – с другими обозначениями Петербурга). По мнению Е. М. Поспелова, топоним Питер получил распространение еще до 1724 г. [Поспелов, 2000. С. 162] и использовался наряду со всеми существовавшими официальными обозначениями города (Петроград – с 1914, Ленинград – с 1924 и Санкт-Петербург – с 1991 по настоящее время).

Таким образом, основной задачей данной статьи является реконструкция системно-языкового образа Петербурга, закрепленного в народном сознании и отраженного, прежде всего, в диалектной лексике, фразеологии, топонимии. Значительная часть диалектного материала, приведенного в статье, извлечена из лексической и топонимической картотек Топонимической экспедиции Уральского университета [ЛКТЭ; ТКТЭ]; кроме того, используются другие диалектные словари русского языка. В качестве поддерживающего фона также приводятся факты разговорного языка, городского просторечия и жаргона, извлеченные в основном из «Словаря петербуржца» Н. А. Синдаловского. Оговоримся, что факты городского просторечия типа *ленинградка* ‘типовой дом ленинградской серии; квартира в таком доме’ [ЯРГ] в статье подробно не рассматриваются.

Как уже говорилось, лингвистический «абрис» города формируется в народном языковом сознании с опорой на семантико-словообразовательные производные от неофициального топонима *Питер*. В меньшей степени представлены производные от других названий города (*Петербург*, *Петроград* и *Ленинград*). В число производных входят нарицательные лексемы (*питер* 'способ зарабатывания денег путем каких-либо промыслов'), антропонимы (*Питер* 'прозвище жителя деревни'), а также фразеологизмы, включающие топоним (*можно в Питер съездить* 'о долгом времени, в течение которого кто-либо отсутствовал') и производные от него (*питерский гриб* 'белый').

В периферийную зону нашего внимания попадают устойчивые текстовые образования: поговорки, пословицы и присловья (*Питер бока повытер*), клишированные сочетания, встречающиеся в фольклорных текстах (*Питер Москве поклонился*) и др.

Следует также отметить, что «питерская» лексика и топонимия характерна в основном для говоров областей, граничащих с Ленинградской областью, центром которой был и остается Петербург, или же не пограничных, но близких к ней. Это архангельские, вологодские, костромские, псковские, ярославские, реже – говоры Карелии. Подобный перевес материала объясняется, в первую очередь, сопредельностью территорий, во вторую – большей представленностью лексики северных говоров в русской лексикографической традиции.

В результате семантико-мотивационного анализа языковых данных выявляются некоторые сквозные линии, характеризующие образ города. Выявленные ключевые мотивы, подкрепленные материалом, подаются далее по тематическим рубрикам: ЛОКАТИВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОРОДА; СОЦИАЛЬНЫЙ СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ; МАТЕРИАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА.

Локативная характеристика

Очевидно, что для языкового образа Петербурга крайне важна локативная составляющая, ведь город – это прежде всего конкретный географический объект. Представление о Питере как о месте формируется в сознании носителя языка по двум направлениям. С одной стороны, это объективные характеристики локуса, совпадающие с реальными свойствами объекта (географическое положение, ландшафт, климат и проч.). С другой стороны, это субъективные свойства, приписываемые объекту предста-

вителем народной традиции (например, представление о Питере как о райском месте). При этом необходимо учитывать, что объективное свойство локуса может подвергаться субъективизации и переоцениваться (так, например, реальная удаленность Питера трансформируется в почти мифологическую недостижимость объекта). Более того, практически все субъективные свойства локуса основаны на реальных характеристиках, которые как бы возводятся в некоторую оценочную степень. Постараемся описать локативные параметры Петербурга, начиная с объективных и заканчивая субъективными.

Объективные локативные свойства *Географическое положение*

Как было указано выше, Петербург как топоним является главным ориентиром прежде всего для жителей севернорусских территорий России, т.е. он по-прежнему остается северной столицей, составляя конкуренцию Москве. Основной массив «питерской» лексики и топонимии зафиксирован в говорах Русского Севера. Для жителей обозначенной территории Питер становится тем главным географическим объектом, относительно которого выстраивается вся пространственная система координат. При этом чаще всего Петербург является максимально **удаленной** «последней» точкой, «закрывающей» обозримое для народного сознания пространство.

Об этом свидетельствует прецедентная топонимия (в основном названия покосов или полей, расположенных далеко от деревни, или же тех, на которые надолго выезжали косить), ср. покос *Питер* в пяти километрах от д. Конюхово Устюженского района Вологодской области и мотивировка названия – «Дней на десять ездили косить, вроде как в Питер съездили» [ТКТЭ]; поле *Гогин Питер* в Холмогорском районе Архангельской области – «Далеко оно, сама последняя новина, потому и Питер» [Там же]; поле *Петенбур* Верховажского района Вологодской области – «Может быть, Петин бур там был, может быть, чувство юмора: если Петербург где-то есть, то пусть у нас Петенбур будет» [Там же]. Ср. также шутивную присказку о территории, которая далеко простирается и не имеет границ: костр. *а теперь ограда до Петрограда* 'об отсутствии выделенных границ между деревнями' [ЛКТЭ].

Отметим, что для жителей самого Петербурга город, что вполне естественно, становится точкой отсчета, относительно которой может выстраиваться система координат «центр / периферия», ср. петерб. прост. <чай> *что из Петербурга Кронштадт видно* 'о жидком,

прозрачном чае' [Даль, 1994. Т. 4. С. 580]. Как отмечает Е. Л. Березович, «прозрачность слабо заваренного чая [здесь] “измеряется” тем расстоянием, которое якобы просматривается через жидкость, – до определенного “предела видимости”, которым может стать... близлежащий город» [Березович (в печати)]. В данном случае это город-порт Кронштадт, находящийся на одном из островов Финского залива. Еще об этой модели в обозначениях жидкого чая см. далее.

Предполагается, что до Питера нужно **долго ехать или идти**, ср. арх. *можно в Питер съездить 'о долгом времени, в течение которого кто-либо отсутствовал' [КСГРС], эти щи из Питера пеши шли 'о залежавшемся товаре' [Бурцев, 1898. С. 290]*, а к поездке нужно специально готовиться, ср. арх. *в Питер ехать – тогда и кобыла снаряжать 'о том, что собираться надо непосредственно перед отъездом' [КСГРС]*.

Добираться до северной столицы не просто долго, но и **физически тяжело**, ср. название детской игры *в Питер по шапочку* – «В этой игре взрослые проверяют подростков на физическую закалку. Ребенок берет в каждую руку по палочке, животом ложится на пол, опирается на палочки. Взрослые спрашивают его: “Куда пошел?” – “В Питер по шапочку” – “Далеко, не уйдешь!” – “Эта головушка хаживала и еще не раз сходит”. При последнем ответе подросток должен оторвать руку от пола и дотронуться палочкой до головы. Если игрок удерживает равновесие и не падает, то его считают сильным» [Дети и детство, 2008. С. 120].

Иногда Питер становится местом, куда вообще невозможно попасть, ср. *не видать свинье неба, а бабе Питера 'о чем-то недостижимом, неосуществимом [СРГК, С. 521]*. Топоним *Питер* часто встречается в предикативных сочетаниях с глаголами движения: в город на Неве **идут** издалека (*шел Кондрат в Ленинград 'идти издалека, без особой цели, постоянно, идти вообще, стихотворная строка К. И. Чуковского, вошедшая в народную речь' [Синдаловский, 2003. С. 234]*), из него **приезжают** (пск. «К людям всё приезжают с Питера, а ко мне сиротинушке никто. Как-то души больно, сиротно» [СППП, С. 38]).

С некоторой долей условности можно отметить, что Петербург в народном сознании располагается на **севере** и является **северо-западным центром** России. Некоторые архангельские и вологодские топонимы, образованные от основы *Питер* (4 из 17), сориентированы на север или северо-запад от деревни (т.е. точки отсчета), ср. болото и покос *Питер*, болото

Питерское и покос *Ленинград* [ТКТЭ]. Ср. также костр. *один глаз смотрит на Вологду, другой – на Ленинград 'о косом человеке' [ЛКТЭ]*, в котором относительно костромской территории обозначаются северное (на Вологду) и северо-западное (на Ленинград) направления.

В некоторых присловьях и фольклорных текстах провинциальные города России (чаще северные) характеризуются как уголок (отруб) Питера, ср. *от Питера отрубков, от Москвы уголок – то Пинега-городок* (варианты: *Шенкурск-городок, Обоянь-городок*) [Снегирев. С. 591]. (Пинега – поселок в Архангельской области, Шенкурск – город в Архангельской области, Обоянь – город в Курской области). Н. А. Синдаловский связывает происхождение выражений такого типа с указом Екатерины II строить русские города с учетом петербургского опыта, который с 1762 г. активно выполнялся по всей России. По такому же принципу образована поговорка *Ярославль городок – Москвы уголок* [Синдаловский, 2003. С. 263–264].

Климат, ландшафт, архитектура

Как уже было отмечено, Петербург воспринимается сознанием жителей Русского Севера весьма дистанционно, как далекая столица, поэтому в диалектной характеристике города практически нет конкретных деталей. Наиболее скупое в образе Петербурга проявлены климатически-метеорологические и ландшафтные аспекты, столь активно функционирующие в художественных текстах. В частности, отмечается болотистая местность, ср. в топонимии Вологодской области названия болот *Питер* и *Питерское* [ТКТЭ], в поговорке *стоит Питер на болоте, никто муки (ржи) в нем не молотит* [Синдаловский, 2003. С. 223]. Примечательно, что эти болота находятся в северном и северо-западном направлении от деревень. В городском же просторечии намечаются такие сугубо питерские элементы, как **наводнения**, ср. *петербургский потоп 'о знаменитом наводнении 1824 года' [Синдаловский, 2003. С. 139]*, *несгораемая Москва, непотопляемый Петербург* [Синдаловский, 2003. С. 219]; **дождливый климат**, ср. разг. *петербургский климат 'нехороший, нездоровый климат', питерская моросевка* [Синдаловский, 2003. С. 142]; **ветер**, ср. *в Питер по ветер, в Москву по тоску* [Синдаловский, 2003. С. 218]; **белые ночи**, ср. *чай – белые ночи 'об очень жидком чае' [СФСРЯ, С. 26]*.

В некоторой степени во вторичных топонимах проявляется пейзажно-ландшафтная характеристика города. Так, *Ленинградом* в

Кирилловском районе Вологодской области называется «покос большой, хороший, гладкий» [ТКТЭ], т. е. подчеркивается предполагаемая **открытость** и **просматриваемость пространства**. Кроме того, добавляется сема «городской, столичный» → «хороший, качественный».

Субъективные локативные свойства

Субъективный (оценочный) образ Питера находит свое отражение в присловьях и фольклорных текстах. При этом возникает достаточно противоречивая картина: с одной стороны – это **чудесное место** (особая версия Петербурга – некогда райского праведного места, а теперь несчастного города, расставшегося с «живым Богом», – бытовала у старообрядцев. Подробнее см. Топоров, 1995. С. 322), открывающее новые возможности, с другой стороны – это **гиблое место**, грозящее разорением, ср. *Питер кому город, а кому ворог* [Синдаловский, 2003. С. 233]. Питер представляет неограниченные возможности для **денежного обогащения**, но чтобы чего-то добиться, нужно **постараться**, ср. влг. *в Питенбурге денег много, только даром не дают* [Дилакторский, 2006. С. 361].

Петербург воспринимается как место, где можно **развлечься** (мотив «веселости» Петербурга – ср. название места, где, собственно, и возник «первый» Петербург – *Lust-Eiland*, т.е. Веселый остров – закреплен в так называемом «низовом» городском фольклоре, см. Топоров, 1995. С. 262), хорошенько **выпить, загулять**. Ср. арх. выражение *съездить в Питер* ‘хорошо провести время в развлечениях и попойках’ [КСГРС], которое, как отмечает Е. Л. Березович, появилось благодаря притяжению *питер* ↔ *пить*, проявляющемуся и во фразеологизмах, обозначающих питье, напиток: олон., север. *питер-едер, питер и ядер, питер и идер*; ср. также влг. *ни питера, ни идера не знать* ‘о высокой степени усталости’, курск. *питёра* ‘обжора’ [Березович, 2007. С. 179]. Репутация Петербурга как запойного города, в значительной мере «наведенная» созвучием лексем *Питер* и *пить*, находит отражение и в шутовском названии *Питинбрюх*, встречающемся в «петербургском фольклоре». На «народно-этимологическом» уровне топоним отсылает к двум из основных наслаждений «веселого» Петербурга – питию и чревоугодию (брюхо) [подробнее см. Топоров, 1995]. Отметим также, что в вологодском селе Новленское существует трактир под названием «*Петербург*» [КСГРС].

Отмечается также и **густонаселенность** российских столиц вообще и Петербурга в частности, ср. костр. фразеологизм *Москва и Пи-*

тер (наговорить) ‘наговорить, наболтать очень много’ [ЛКТЭ].

В ряде речений город подвергается некоторой антропоморфизации – ему приписываются вполне человеческие свойства и особенности поведения. Рассмотрим их.

~ Питер меняет человека, делает его более **опытным, «тертым калачом»**, ср. севернорус. *попал бы ты в Питер, он бы тебе бока вытер* [Снегирев, 1999. С. 216];

~ Питер делает человека **нерусским**, «онемечивает», ср. *Питер всех русских переколбасничал, все переколбасничались, онемечились* [Даль, 1994. Т. 3. С. 59];

~ Питер может **полюбить**, а может **разорить**, уничтожить человека, ср. *Кого Питер не полюбит, последнюю шубу слупит* [МЖРФ, С. 147], *Питер кому мать, кому мачеха* [Бурцев, 1898. С. 322], *Батюшко-питер бока наши повытер, Братцы-заводы унесли годы, а Матушка-канавы и совсем доконала* (канавой в Петербурге называли Обводный канал, по берегам которого во второй половине XIX в. появилось множество промышленных предприятий) [Снегирев, 1999. С. 580].

Особое место в языковом портрете города занимает **противопоставление Петербурга и Москвы**, сформировавшееся после перенесения столицы в Санкт-Петербург в 1712 г. Это противопоставление в какой-то мере было ослаблено лишением Питера столичного статуса в 1918 году, но все же оно остается актуальным и по сей день. Размежевание двух столиц, отраженное в ряде пословиц и поговорок, строится по ряду смысловых линий. Обозначим их.

Москва женского пола, Петербург мужского, ср. *Питер женится, Москва замуж идет* [Даль, 1994. Т. 1. С. 533], *Питер женится, Москву замуж берет* [Синдаловский, 2003. С. 221]. Петербург традиционно называется *батюшкой* (ср. поговорку *Батюшка-Питер бока повытер*) и отцом [Топоров, 1995. С. 331], а Москва *матушкой* [Синдаловский, 2003. С. 219].

Идея о брачных отношениях Москвы и Петербурга, как отмечает М. В. Ахметова, «поддерживается устойчивыми представлениями об их соответственно женской и мужской природе, о том, что эти города олицетворяют соответственно женское и мужское начала» [Ахметова (в печати)]. В работе М. В. Ахметовой приводится суждение С. Ю. Неклюдова о том, что пословица *Питер женится, Москву замуж берет* появилась сразу после официального бракосочетания Петра и Екатерины (1712 г.), ср. также ее более поздний вариант (по Далю): *Питер женится, Москва – замуж идет*; что касается пословицы *в Ленинграде женихи, а в Москве*

невесты, то она, по мнению С. Ю. Неклюдова, бытовала в Петербурге / Ленинграде до самого недавнего времени [Там же].

Москва – духовный центр, Питер – интеллектуальный, ср. *Питер голова, Москва сердце* [Даль ПРН, С. 330], *Новгород – отец, Киев – мать, Москва – сердце, Петербург – голова* [Даль ПРН, С. 329].

Москва – исторический и культурный центр, возникший естественным образом, Питер – финансовый центр, созданный искусственно, ср. *Москва создана веками, Питер миллионами* [Даль ПРН, С. 330].

Москва – провинциальная, скучная, Питер – столичный, веселый, ср. *в Питер – по ветер, в Москву – по тоску* [Синдаловский, 2003. С. 218].

Москва – патриархальная, Петербург – современный, ср. *Питер – город, Москва – огород* [Синдаловский, 2003. С. 220].

Москва славится выпечкой, Петербург – рыбой, ср. *славна Москва калачами, а Петербург сигамаи (усачами)* [Снегирев, 1999. С. 414].

Отметим, что в некоторых случаях Москва и Питер выступают практически как синонимы, объединяясь в образ столицы вообще, который, в свою очередь, противопоставляется провинции, страдающей от указов «сверху», ср. *в Питере (в Москве, в городе) дрова рубят, а к нам (а по всем городам, деревням) щепки летят* [Даль ПРН, С. 421]. Предполагается также, что в обеих столицах по-городскому пьют пустой чай, ср. костр. *Москва и Ленинград 'о жидком чае' – «Жидкий чай – Москва и Ленинград, ничего в их нет, пусто в чае, как в городе»* [ЛКТЭ]. Отметим, что, несмотря на мотивировочный контекст, это выражение «генетически» явно связано с фразеологизмами, обозначающими жидкий чай или суп и образованными по модели «Х видать» (где Х – некий пространственный предел), ср. прост. и диал. арх., твер. *Москву видать* [ЛКТЭ; Селигер 3. С. 290], костр. *Кострому видать* [ЛКТЭ] и проч. (об этой модели см. выше).

Социальный состав населения

Приблизительно с середины XIX в. Петербург становится местом отхожего промысла. Особенно резко социальный и этнический состав населения Петербурга меняется после отмены крепостного права, в 1860–1890 гг. Рост промышленных предприятий в столице влечет за собой мощный приток рабочей силы из близлежащих губерний, особенно тех, что находились по маршруту железнодорожных путей. В частности, Витебская и Псковская губернии становятся своеобразной кузницей питерских рабочих кадров, ср. выражение *псковский да*

витебский народ самый питерский [Синдаловский, 2003. С. 234]. Судьба приезжих в северную столицу складывалась по-разному: некоторые возвращались в родную деревню, а большинство из прибывших на заработки оседали в Петербурге навсегда, становясь петербуржцами в первом поколении. Для таких рабочих мигрантов, побывавших в Петербурге на промыслах, существовал целый ряд обозначений, возникших на базе многочисленных наименований собственно жителей столицы, ср. диал. севернорус. *пи(е)тенбур* [СРНГ 27. С. 53], собир. *пе(и)тенбура́* [Подвысоцкий, 1885. С. 121], арх. *петербуржец*, яросл. *питерщик* [СРНГ, Вып. 27. С. 54], *питерянец* [ЯОС, Вып. 7. С. 107], костр. *питерщик* [Синдаловский, 2003. С. 263], устар., прост. *питерец*, *питерщик* [ССРЛЯ, Вып. 9. С. 1258], разг. *питеряк* [Синдаловский, 2003. С. 263].

Питерские отходники могли характеризоваться с разных позиций: со стороны «домачей», оставшихся в деревне, и с точки зрения самих петербуржцев, привыкавших к новому соседству. Рассмотрим особенности образа *питерщика*. Прежде всего отмечалась цель пребывания деревенского жителя в столице: он приезжал на заработки, ср. арх. *петербуржец 'приехавший на заработки'* [ЛКТЭ], *петенбура́ 'то же'* [Подвысоцкий, 1885. С. 121]. На уровне просторечия слово *питерец*, *питерщик* в значении «крестьянин, уехавший на заработки в Питер» проникает в литературный язык и язык художественной литературы, ср. «Входит питерец... и кладет ему [барину] на стол рыбу или яблок, или просто полтинник... – Молодец вырос, а мастерству выучился ли?» <Писем. Питерщик> [ССРЛЯ, Вып. 9. С. 1258]. Постепенно это значение расширяется, и с Питером связывается не только «бизнес» в столице, но и вообще способ заработка посредством промысла, ср. арх. *питер* 'любой промысловый способ заработка' [КСГРС] или место отхожего промысла, ср. онеж. *Питер* 'место отхожего промысла бурлаков' [СРНГ, Вып. 27. С. 53].

Попав в городскую среду, человек изменялся, становился «бывалым», ср. просторечное *питерщик*, *питерец* 'бывалый человек, бывавший и промышлявший в Петербурге' [Мгеладзе, Колесников, 1965. С. 59]. Многие крестьяне, не способные честно заработать и закрепиться в столице на законных правах, сливались с городскими низами и становились либо отъявленными плутами (без указ. м. *напйтериться* 'побывав в Питере, набойчиться; стать продувным плутом' [Даль, 1994. Т. 2. С. 450], смол., калуж., влг., новг., арх. 'то же' [СРНГ, Вып. 20. С. 75]), в *Питере бывал, на полу сыпал, и то не*

упал! 'о многоопытном шуйском [Шуя – город в Московской области] плуте, человеку, много повидавшем и достаточно потертом жизнью' [Даль, 1994. Т. 4. С. 288]), либо просто бродягами (карел. *питерец* 'бродяга' [СРГК, Вып. 4. С. 521]).

Следует отметить, что для жителя деревни образ отходника являлся составной частью общего представления о жителе города. По мнению представителя традиционной культуры, крестьянин под влиянием чуждой ему среды существенно менялся, набирался городских манер. В этой связи нам кажется уместным рассмотреть здесь **образ петербуржца** вообще (жителя столицы) и увидеть его таким, какой он представлен в народном языковом сознании. Например, считается, что жительница Питера не умеет управляться с деревенским хозяйством (влг. *как у питерячихи* пренебр. 'о женщине, у которой плохо идут домашние дела' [СВГ, Т. 8. С. 19], ср. *питерячиха* 'женщина из Петербурга, петербурженка; горожанка' [Мокиенко, Никитина, 2008. С. 504]) или просто ленится что-либо делать (костр. *питерка* 'лентяйка' [ЛКТЭ]). С другой стороны, горожанин может отличаться красотой и щегольством (например, в отличие от деревенского носить сапоги), ср. влг. *питеряк* 'молодой красивый парень' [СВГ, Т. 7. С. 53], костр. «Питерщики приехали вон в сапожках из Ленинграда» [ЛКТЭ], ср. еще *петроградка* 'модница, франтиха' [СРГК, Вып. 4. С. 493].

Широкий спектр значений, характеризующих изменения, которые происходят с деревенским жителем в городе, демонстрирует семантика экспрессивных глаголов *напитериться*, *напитерачиться*, *запитерить* и др. Рассмотрим эти значения.

В столице можно:

~ **приобрести навыки**, научиться что-либо делать, ср. влг. *напетериться* – «Столько времени воевал, дак напетерилсё» [СВГ, Вып. 5. С. 58];

~ **набойчиться**, сделаться ловким, изворотливым, ср. влг., калуж., новг., смол. *напитериться* [СРНГ 20. С. 75]; стать продувным плутом [Даль, 1994. Т. 2. С. 450].

~ **перенять манеры городского жителя**, стать более культурным, ср. пск. *напитериться* – «Напитерился – благородства набрался значит» [ПОС, Вып. 20. С. 137];

~ **перенять речь городского жителя**, ср. *напитериться* – «Вишь уж совсем напитерились, культурно говорить начали» (арх.) [СРНГ, Вып. 20. С. 75], пск. *напитерачиться* [ПОС, Вып. 20. С. 137];

~ **начать одеваться с лоском**, по-городскому, ср. пск. *напитериться* экспр. 'нарядно одеться' [ПОС 20. С. 137];

~ **зажить на широкую ногу**, ср. *запитерить* шутол. 'зажить по-питерскому, столичному; барски, мотовато' [Даль, 1994. Т. 1. С. 616];

~ **стать бесцеремонным**, наглым, заносчивым, ср. смол. *обпитериться* – «По яровому начал ходить. Обпитерился» [СРНГ 22. С. 189]; арх. «Уехала учиться, дак напитерилась» [КСГРС].

~ **насытиться городской жизнью**, ср. пск. «Я типерь напителилась так ни хачу» [ПОС 20. С. 137];

~ **вернуться домой ни с чем**, ср. влг. *напитериться* 'так в Вологодской губернии смеялись над парнями, которые вернулись из столицы без денег' [Синдаловский, 2003. С. 261].

Материальная культура

С Питером в народном языковом сознании ассоциируется и ряд предметов быта. Некоторые из них связаны с северной столицей «генетически»: они там производятся, продаются или используются, ср. *петербургская гармонь* 'гармонь, которая производилась в Петербурге' [БЛС, С. 121], петерб. *питерские веретёна* 'веретена, продававшиеся в Петербурге' [СРНГ, Вып. 27. С. 53], *питерская шапка* 'шапка синего сукна' [Там же], карел. *питерка* 'длинная юбка со шлейфом' [СРГК, Вып. 4. С. 52] (возможно, такие шапки и юбки носили в Питере).

Есть предметы материальной культуры, которые воспринимаются как *питерские*, так как отличаются высоким «столичным» качеством: кубан. *ленинградка* 'трикотажная мужская рубашка с короткими рукавами и воротником' – «Ленинградку не каждый мог купить» [Борисова, 2005. С. 143]. Коннотации «столичного» (высокого) качества имеются и у обозначений некоторых природных реалий, используемых человеком. Так, прилагательное *питерский* в арх., петерб. *питерский гриб* 'белый гриб' [СРНГ, Вып. 27. С. 53] приобретает качественную семантику и обозначает хороший, «дорогой» гриб (ср. образованные по той же семантической модели арх. *москóвик (дорогой гриб)* 'белый гриб' [КСГРС], пск. *московец* [ПОС, Вып. 18. С. 377]). Возможно, сходные коннотации есть у яросл. *питерка* 'сладкая редька' [СРНГ, Вып. 27. С. 53], арх. *питерка* 'щука средней величины' [КСГРС], хотя мотивация этих лексем пока недостаточно ясна.

С другой стороны, *питеряками* называли и незатейливую выпечку без начинки, сделанную на скорую руку, «по-городскому», ср.

влг. *питеряк* 'выпечное изделие из муки без начинки' – «Утром в школу пойдёшь, вот мать быстренько на сковородку пирог да в печку, опокиши называли или питеряки» [СВГ, Вып. 7. С. 61].

Отдельного внимания заслуживает «питерская» обувь: лапти и сапоги. *Питериками* называют лапти, имеющие, в отличие от обыкновенных, большую выемку [Дилакторский, 2006. С. 361]. Кажется, что здесь реализуется описанный выше коннотативный смысл «столичное, качественное, не такое, как обычное». Возможно, впрочем, что подобные лапти можно было купить в Петербурге, ср. поговорку *валяй, Матвей, не жалей лаптей: тятка с Питеру приедет, новы лапти привезет* 'если уж поехал отец в Питер на заработки, то можно надеяться на улучшение жизни [Синдаловский, 2003. С. 234]. В то же время обыкновенные лапти – в оппозиции с сапогами – поддерживают противопоставление деревенского мира городскому. Сапоги являются более дорогой, городской обувью, ср. костр. «Питерщики приехали вон в сапожках из Ленинграда» [ЛКТЭ], в то время как по лаптям узнаваем прежде всего деревенский житель, ср. *Питер меня вытер, а я ему отомстил – в лаптях по Невскому походил* [Синдаловский, 2003. 233]. Приведем в качестве наглядного примера текст, встретившийся у А. Е. Бурцева: «В незапамятную старину двое любимых поселян собрались покататься на масленице. Заложили лошадь в сани. У обоих были одни **сапоги**; вот они надели их, кто справа сидел на правую ногу, а кто слева – на левую. Тех двух ног, что внутри саней, и не видать, что оне в **лаптях**, а все же **питерщиной** нужно побахвалить» [Бурцев, 1898. С. 318]. Как можно увидеть, сапоги, которыми щеголяют поселяне, здесь называются *питерщиной*, свидетельствуют о «столичном» статусе владельцев и противопоставляются деревенским лаптям.

В заключение представим сводный языковой образ *Питера*, нашедший отражение в семантических и словообразовательных оттопочных дериватах, фразеологизмах и устойчивых речениях, содержащих данный топоним. Рисую общую картину, попытаемся наметить основные и факультативные смысловые линии, организующие питербургский сюжет в народной культуре. Следует также учесть точку зрения субъекта, погруженного в пространство города или же, напротив, дистанцированно от него.

В результате семантико-мотивационного анализа языковых данных были выделены следующие ключевые параметры описания образа Питера: локалитивная характеристика города; социальный состав населения; материальная культура. Внутри каждой категории можно условно выделить объективные и субъективированные (оценочные) характеристики, приписываемые Питеру.

Задумываясь о Питере как о месте, диалектоноситель прежде всего отмечает его удаленность. Это далекий северный предел России, до которого физически трудно или даже невозможно добраться. Отмечается, что город стоит на болоте, климат в нем дождливый, ветреный. Ландшафт Питера характеризуется открытостью и просматриваемостью, красивой архитектурой. Что же касается оценочной характеристики, то здесь образ Питера амбивалентен: с одной стороны – это город неограниченных возможностей, с другой – гибельное место, где легко разориться. Считается также, что Питер – веселый город, где можно как следует напиться и развлечься.

Важное место в структуре оценочного образа Питера занимает его противопоставление Москве. Москва воспринимается как исторический и духовный центр России, возникший естественным образом, в то время как Петербург создан искусственно и является прежде всего интеллектуальным и административным центром страны. В некоторых случаях Москва и Питер выступают как «синонимы», объединяясь в образ столицы вообще, который, в свою очередь, противопоставляется образу провинции.

Что же касается социального состава населения города, то достаточно детально в языке проработан образ *питерщика*, крестьянина, приехавшего в столицу на отхожий промысел. Здесь важно отметить, что образ отходника в большей степени прорисован с позиции извне и подробно характеризуется с точки зрения «домача», деревенского жителя, оставшегося дома. По его мнению, городская среда существенно меняет приезжего: он может приобрести мастерские навыки, наловчиться в чем-либо, перенять манеры и речь горожанина, может стать наглым и заносчивым, зажить на широкую ногу, а может, напротив, устать от городской жизни и вернуться в деревню ни с чем. Что же касается образа самого питербуржца (жителя столицы), то он может отличаться красотой и щегольством в одежде, но при этом ленив и не способен заниматься домашним хозяйством.

Материальный мир Питера описывается не столь детально. Отмечены только пища, одежда, обувь и некоторые другие сферы быта. Вещи, охарактеризованные как «питерские», отличаются особым качеством и в основном расцениваются как дорогие, «столичные». В качестве городской обуви воспринимаются сапоги – в отличие от деревенских лаптей. Эта обувная оппозиция поддерживает существующее в народной культуре противопоставление «городской – деревенский».

Литература

Авдони́на Л. Н. Лексическая объективация концепта «Петербург» в художественной картине мира А. Блока: автореф. дис. ... канд. филол. наук. Воронеж, 2009. 19 с.

Ахметова М. В. Города как родственники (об одном типе метафорического употребления терминов родства в русском языке). (В печати).

Березович Е. Л. К понятию «языкового мифа» // АБ-60: сборник к 60-летию А. К. Байбурина. СПб.: Изд-во Европейского ун-та в Санкт-Петербурге, 2007. Вып. 4. С. 177–187.

Березович Е. Л. Русские народные местные топонимы в свете деривационной и фразеологической семантики // Язык и история народа. Екатеринбург, 2012. (В печати).

Бирих А. К., Мокиенко В. М., Степанова Л. И. Словарь фразеологических синонимов русского языка / Ред. В. М. Мокиенко. Ростов-на-Дону: «Феникс», 1996. 349 с. (В тексте – СФСРЯ).

Борисова О. Г. Кубанские говоры: материалы к словарю. Краснодар: Изд-во Кубан. гос. ун-та, 2005. 252 с.

Бурцев А. Е. Народный быт Великого Севера. СПб., 1898. Т. 1. XXI, 497 с. – Сказки, перепечатанные из изданий А. Е. Бурцева.

Гордеева О. В. Топонимы Петербург, Питер, Петроград, Ленинград в русском фольклоре Пермского края // Лингвокультурное пространство Пермского края: материалы и исследования. Пермь: Изд-во Перм. гос. ун-та, 2009. С. 193–205.

Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. В 4-х т. М.: ТЕРРА, 1994. (В тексте – Даль).

Даль В. И. Пословицы русского народа. М.: Гослитиздат, 1957. XXVIII, 990 с. (В тексте – Даль ПРН).

Дети и детство в народной культуре Усть-Цильмы: исследования и материалы / Сост. Т. И. Дронова, Т. С. Канева; науч. ред. Т. Н. Бунчук. Сыктывкар: Изд-во Сыкт. гос. ун-та, 2008. 200 с. + 24 с. цв. вкл.

Елистратов В. С. Язык старой Москвы: лингвоэнциклопедический словарь. М.: Русские словарь, 2004. 703 с.

Картотека Словаря говоров Русского Севера (кафедра русского языка и общего языкознания Уральского университета, Екатеринбург). (В тексте – КСГРС).

Лексическая картотека Топонимической экспедиции Уральского университета (кафедра русского языка и общего языкознания Уральского университета, Екатеринбург). (В тексте – ЛКТЭ).

Лукас О. Поребрик из бордюрного камня: сравнительное петербургомосквоведение. СПб.: Комильфо, 2010. 192 с.

Малые жанры русского фольклора / Сост. В. Н. Морохин. М.: Высшая школа, 1979. 284 с. (В тексте – МЖРФ).

Мгеладзе Д. С., Колесников Н. П. Слова топонимического происхождения (топонимы) в русском языке. Тбилиси: Изд-во Тбилис. гос. ун-та, 1965. 127 с.

Мокиенко В. М., Никитина Т. Г. Большой словарь русских народных сравнений. М.: «ОЛМА Медиа Групп», 2008. 800 с.

Подвысоцкий А. И. Словарь областного архангельского наречия в его бытовом и этнографическом применении. СПб.: Типография Императорской академии наук, 1885. 197 с.

Поспелов Е. М. Историко-топонимический словарь России: досоветский период. М.: Профиздат, 2000. – 219 с.

Псковский областной словарь с историческими данными. Л., 1967–2009. Вып. 1–21. (В тексте – ПОС).

Россия: Большой лингвострановедческий словарь: 2000 реалий истории, культуры, природы, быта и др. / Ред. Ю. Е. Прохоров. М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2007. (В тексте – БЛС).

Русский Север: этническая история и народная культура XII–XX века. М.: Наука, 2001. 864 с. (В тексте – РС).

Селигер: материалы по русской диалектологии: словарь. СПб., 2003. – Вып. 1. (В тексте – Селигер).

Синдаловский Н. А. Словарь петербуржца. СПб.: Норинт, 2003. 320 с.

Синдаловский Н. А. На языке улиц: (рассказы о петербургской фразеологии). М.: ЗАО Издательство Центрполиграф, 2010. 263 с.

Словарь вологодских говоров: в 12 вып. / Ред. Т. Г. Паникаровская. Вологда, 1983–2007. (В тексте – СВГ).

Словарь областного вологодского наречия: по рукописи П. А. Дилакторского 1902 г. СПб.: Наука, 2006. 677 с. (В тексте – Дилакторский).

Словарь псковских пословиц и поговорок / Сост. В. М. Мокиенко, Т. Г. Никитина. СПб.: Норинт, 2001. 176 с. (В тексте – СПП).

Словарь русских говоров Карелии и сопредельных областей: в 6 вып. / Гл. ред. А. С. Герд. СПб., 1994–2005. (В тексте – СРГК).

Словарь русских народных говоров / Под ред. Ф. П. Филина, Ф. П. Сороколетова. М.; Л.: Наука, 1965–1991. Вып. 1–26. СПб.: Наука, 1992–2010. Вып. 27–43. (В тексте – СРНГ).

Словарь современного русского литературного языка: в 17-ти т. М.; Л., 1948–1965. (В тексте – ССРЛЯ).

Словарь «Языки русских городов»: [Электронный ресурс]: <http://community.lingvo.ru/goroda/dictionary> (В тексте – ЯРГ).

Снегирев И. М. Русские народные пословицы и притчи. М.: «Индрик», 1999. 624 с.

Топонимическая картотека Топонимической экспедиции Уральского университета (кафедра русского языка и общего языкознания Уральского университета, Екатеринбург). (В тексте – ТКТЭ).

Топоров В. Н. «Петербург и «Петербургский текст русской литературы» // Топоров В. Н. Миф. Риту-

ал. Символ. Образ: Исследования в области мифопоэтического: Избранное. М.: Прогресс-Культура, 1995. С. 259–367.

Ярославский областной словарь / Отв. ред. Г. Г. Мельниченко: в 10-ти вып. Ярославль, 1981–1991. (В тексте – ЯОС).

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ:

Кривошапова Юлия Александровна

канд. филол. н.

Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б. Н. Ельцина

ул. Ленина, 51, Екатеринбург, Россия, 629000

эл. почта: insekt@yandex.ru

тел.: (8343) 2679136

Krivoshchapova, Yulia

Ural Federal University

51 Lenina St., 620000 Ekaterinburg, Russia

e-mail: insekt@yandex.ru

tel.: (8343) 2679136

УДК 940

ИМПЕРСКАЯ СИМВОЛИКА ГЕЛЬСИНГФОРСА ГЛАЗАМИ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ: РУБЕЖ XIX – XX вв. И ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ*

Е. Ю. Дубровская

Институт языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН

Статья посвящена исследованию городского пространства Гельсингфорса (Хельсинки), столицы Великого княжества Финляндского, как одного из аспектов той реальности, в которой на рубеже XIX – XX вв. и в период Первой мировой войны оказались военнослужащие российской армии и Балтийского флота. С позиций военной антропологии рассмотрены факторы, обусловившие специфичность восприятия «центра» и «периферии» Гельсингфорса российскими солдатами, матросами и их офицерами. Пространство и ландшафт города виделось им особым миром, отчужденным от русского культурного контекста. Несмотря на государственную и имперскую символику столицы Финляндии, военные – выходцы из России – остро ощущали оппозицию «восток/запад» на уровне восприятия символов.

Ключевые слова: городское пространство, финляндская столица, Первая мировая война, российские военные, «центр/периферия», государственная и имперская символика, российская революция 1917 года

E. Ju. Dubrovskaya. IMPERIAL SYMBOLS OF HELSINGFORS THROUGH THE EYES OF RUSSIAN SERVICEMEN: TURN OF THE 20TH CENTURY AND YEARS OF WORLD WAR I

The paper deals with the city space of Helsingfors (Helsinki), the capital of Grand Duchy of Finland, as one of the aspects of the reality common to Russian Army and Baltic Fleet servicemen at the End of 19th – the Very Beginning of the 20th Centuries and during the World War I. Investigation based on the principles of military anthropology throws light upon the factors which caused the specific way of perception of the “center” and “periphery” of Helsingfors by Russian soldiers, sailors and their officers. The city space and landscape was seen by them as a strange world far from Russian cultural context. Despite the State and Imperial semioticity of the capital of Finland the enlisted men, who have come from Russia, felt deeply the opposition between the “East” and the “West” on the level of perception of symbols.

Key words: city space, capital of Finland, World War I, Russian servicemen, “center/periphery”, State and Imperial semioticity, Russian Revolution 1917.

* Статья подготовлена в рамках проекта по созданию междисциплинарного научно-образовательного Центра прибалтийско-финских исследований «Fennica» (Программа стратегического развития ПетрГУ на 2012–2016).

История русских войск, размещавшихся в Финляндии, восходит к событиям начала XIX века, когда при Александре I Финляндия была отвоевана у Швеции и присоединена к Российской империи, получив статус автономного Великого княжества. Водружение в мае 1808 г. флага с двуглавым орлом над шведской твердыней Свеаборгской крепостью ознаменовало начало «русского» периода финляндской истории. Два столетия тому назад, 12 апреля (27 марта по старому стилю) 1812 г., Гельсингфорс (Хельсинки) был избран Александром I в качестве столицы княжества как город, ближе расположенный к Санкт-Петербургу и, следовательно, более подходящий для этой роли по сравнению с прежней столицей Турку (Або), городом, близким к Швеции и по духу, и географически [Клинге, 2005. С. 50–56; Воспоминание..., 2011. С. 21–27; Расила, 1996. С. 64–65].

С приобретением большой гавани достигалась одна из целей завоевания Финляндии, а с перенесением столицы в Гельсингфорс Россия тверже закрепилась на северном побережье Финского залива. Крепость Свеаборг прикрывала подступы к новой столице благодаря трем глубоким гаваням, береговым и островным укреплениям и батареям. Гельсингфорс обещал превратиться в крупнейшую базу русского флота, что и произошло к началу Первой мировой войны [Башмакофф, Лейнонен, 1990. С. 6–7].

Обращает на себя внимание вопрос о том, какое влияние оказывала имперская символика Гельсингфорса на восприятие российскими военными места прохождения их службы в первые годы войны и в период революционных потрясений 1917 г., а также о том, как в обстановке первых месяцев революции символы прежней власти трансформировались и заменялись новыми.

Цель настоящего исследования – взглянуть на пространство «своего» – «чужого» города глазами российских военных, проследить за стремлением матросов и солдат к символическому освоению этого пространства в обстоятельствах, когда «место» их службы осталось прежним, но изменилось само «время». Это позволяет не только сделать наблюдения над многолетним семиотическим присутствием империи в городской среде финляндской столицы, но и увидеть, как политический переворот сопровождался переворотом символическим, как в новой ситуации ритуализировалось поведение военных.

По наблюдению Ю. М. Лотмана, отметившего «принципиальный семиотический поли-

глотизм любого города», город как генератор культуры и сложный семиотический механизм «может выполнять эту функцию только потому, что представляет собой котел текстов и кодов», принадлежащих разным языкам и разным уровням. «Реализуя стыковку различных национальных, социальных, стилевых кодов и текстов, город осуществляет разнообразные гибридизации, перекодировки, семиотические переводы, которые превращают его в мощный генератор новой информации» [Лотман, 2002. С. 212–213].

«Город, как и культура, – пишет Лотман, – механизм, противостоящий времени», он постоянно заново рождает свое прошлое, «которое получает возможность сопоставляться с настоящим, как бы синхронно», ведь «архитектурные сооружения, городские обряды и церемонии, самый план города, наименования улиц и тысячи других реликтов прошедших эпох выступают как кодовые программы, постоянно заново генерирующие тексты исторического прошлого» [Там же. С. 213].

Такой подход позволяет исследовать финляндскую великокняжескую столицу как особое пространство, как идею, учитывая то обстоятельство, что русское высшее командование беспокоило иностранный характер Гельсингфорса. В годы войны город воспринимался как место особой опасности, центр шпионажа, а отчуждение от русской культуры подчеркивало противостояние жителей Великого княжества и империи.

На страницах романа, посвященного судьбе Балтийского флота во время Первой мировой войны, писатель-маринист Леонид Соболев, один из последних выпускников Морского кадетского корпуса, описывает город таким, каким увидел его, прибыв в Гельсингфорс для прохождения службы в канун военных событий. Правда, не в маскулинном воплощении, как обычно представлялась приехавшим главная военно-морская база российского флота на Балтике, а в женском облике, более соответствующем образу Хельсинки – дочери Балтийского моря – в восприятии самих финнов.

«... Гельсингфорс стоял на граните своих набережных у тихой воды рейдов аккуратно и чистенько, как белокурая крепкая фрёкен в крахмальном переднике у кафельной плиты над тазом теплой воды: чистый, неторопливый, хозяйственно-удобный город. Зеленые трамваи катились, как игрушки. Витрины каждого магазинчика миниатюрно-солидны, а на Эспланаде они размахивались во всю стену, и тогда солидность их граничила с роскошью, и в них беспошлинные иностранные товары. Беспешность

автомобилей равна молчаливости их шоферов. Полицейские на перекрестках – в черных сюртуках, вежливы, неразговорчивы и подтянуты. Шведские и финские надписи на вывесках, на трамваях, на табличках с названиями улиц, белокурые проборы и локоны, розовые щечки молодых людей и девушек, марки и пенни сдачи заставляли чувствовать себя в иностранном городе. Даже часы – и те отличаются на двадцать минут от петербургского времени: здесь время свое, не российское.

В двенадцати часах езды от столицы Российской империи стоит на голубом граните скал иностранный город, и время в нем – не российское» [Соболев, 1977. С. 12–13].

Первоначально войска располагались в островной крепости Свеаборг, откуда в первой половине XIX в. и началось «освоение» пространства города [Погребов, 2011. С. 108–116]. Затем рядом со Свеаборгским портом на острове Скатудден (Катаянокка) появились морские казармы. Под влиянием Петербурга город виделся его строителям и как морской порт России, и как «военная столица» княжества, и как центр административного управления. Идеал военной столицы, обуславливавший ее претензии на олицетворение имперской власти в Финляндии, требовал, чтобы, подобно Петербургу, «город строился, как полк на параде, по струнке» [Лотман, 2002. С. 213; Лурье, 2001. С. 313; Санкт-Петербург, 2003. С. 230–231; Hellberg-Hirn, 1996. С. 68–88].

Частью архитектурного облика города и монументальным выражением могущества империи стали казармы. Вместе с армией в Гельсингфорс прибыла специальная инженерная команда для проектирования и строительства казарм. В конце 1820-х гг. в районе Круунунхака появились казармы для жандармов и казаков, а в начале 1830-х – Абоские казармы на тогдашней окраине города, вблизи дороги, ведущей в старую столицу Финляндии. Самым значительным среди гражданских зданий, возведенных при участии военных инженеров, стал Русский Александровский театр, предназначенный для удовлетворения культурных запросов офицеров гельсингфорсского гарнизона и их семей [Byckling, 2000. С. 3–6; Pakarinen, 1984. С. 99; Käsänen, 1993. С. 6]. Из-за сходства в росписи потолка зала с петербургским прототипом театр называли «малым Мариинским».

Унионская улица, находившаяся в центре города, получила название в честь унии, заключенной в 1809 г. между российским монархом и Великим княжеством. На ней по соседству с казармами был построен русский Военный госпиталь в неоклассическом стиле, дей-

ствовавший в этом качестве до конца апреля 1918 г. [Bonsdorf, Smedslun, 1969. S. 46]. Казарменная улица получила имя от здания Гвардейских казарм, на ней располагался и Гвардейский манеж.

Главным символом императорской власти стал один из красивейших городских ансамблей Европы – монументальный комплекс в стиле ампир – административный центр Сенатской площади. Ансамбль формировался почти полвека с 1818 г., включив здания Императорского Сената и Императорского Александровского университета (канцлерами университета были русские монархи), а также находящуюся чуть поодаль старейшую православную церковь Гельсингфорса – Храм Святой Троицы. С 1852 г. над площадью возвышается здание лютеранского Николаевского кафедрального собора, напоминающего Исаакиевский собор в Петербурге.

Характеризуя морфологию этой части города, исследователь И. Воловик подчеркивает, что она уже не «петербургская», а скорее является воспроизведением «идеальных городов» XVII–XVIII веков. По его наблюдению, Сенатская площадь – это не только пространство перед собором, но и весь примыкающий к нему квартал, застроенный общественными зданиями, отразивший представления, вкусы и стили путешествовавших по Европе градостроителей. Сенатская площадь в Гельсингфорсе стала, таким образом, результатом сочетания архитектурных пристрастий ее создателя, выходца из Германии Карла Энкеля, запросов русского наместника – генерал-губернатора финляндского княжества – «строить по образу и подобию» и веяния времени, делавшего ставку на модную российскую столицу [Воловик, 2011. С. 15–16].

На Торговой площади города с ее Эспланадной пристанью, являвшейся водными воротами Гельсингфорса, приезжего встречали здание Мариинского дворца – финляндской резиденции российского императора и Дом генерал-губернатора княжества. В центре площади возвышался «Камень (или Обелиск) Императрицы», увенчанный позолоченным двуглавым орлом, – первый городской монумент, установленный в 1835 г. в память о посещении Гельсингфорса императорской четой – Николаем I и Александрой Федоровной. Торговая площадь стала традиционным местом появления перед финляндцами российских монархов. Площадь приобрела статус особого, освященного их присутствием, городского пространства, что в 1917 г. делает её особо притягательной для солдат и

матросов, стремившихся «освоить» прежде малодоступную для них имперскую святыню, сделать «своей» территорией.

Уроженка Гельсингфорса А. Йортиikka вспоминала церемонию встречи Николая II и цесаревича Алексея во время приезда августейших особ в финляндскую столицу в феврале 1915 г.: «Помню, как нужно было стоять на Торговой площади, напротив нынешнего президентского дворца, из него вышли царь с сыном, шагали важно, отдавая честь, а мы приветствовали их здравицей в честь Великого князя Финляндского и наследника» [SKS KRA, Side 41: 92]. Финских школьников расставили шпалерами, через которые прошли августейшие гости.

С площади открывался вид на величественный православный Успенский собор из красного кирпича, построенный на скале в конце XIX в. по проекту архитектора А. М. Горностаева, автора многих строений на острове Валаам. У подножия храма можно было видеть еще один монумент имперской культуры города – «часовню мира», установленную в честь заключения мирного договора в 1809 г., по которому Швеция уступила Финляндию России. Часовня должна была служить мерилom исторической памяти подданных Российской империи, подобно упоминавшимся объектам городской среды. Однако этот символ имперской власти нельзя обнаружить на карте современного Хельсинки. Разрушенный после гражданской войны 1918 г., он, по-видимому, больше других ассоциировался с русской властью, которая ушла в прошлое, но еще раз была подвергнута уничтожению, теперь уже ритуальному стиранию. Сходная судьба постигла и православный собор Александра Невского в Свеаборгской крепости, перестроенный сначала в маяк, а затем в лютеранскую церковь.

В августе 1914 г., в первые дни войны, среди населения княжества возникли слухи о том, что Выборг и пол-Гельсингфорса сожжены, крепость Свеаборг, по одной версии, подверглась нападению и взята, по другой – сама расстреливает Гельсингфорс, а его жители «вследствие невероятных притеснений и лишений бегут, причем все это происходит по вине русских, объявивших войну Финляндии» [КА ККК, Fb 916].

Восприятие Свеаборга как символа «русскости» и «имперства» отразилось в апрельской 1918 г. публикации на страницах гельсингфорской шведоязычной газеты "Hufvudstatsbladet". Заметка, появившаяся после занятия Гельсингфорса немецким экспедиционным корпусом, свидетельствует о том, что Свеаборг в воспри-

ятии жителей города был связан с постоянной военной угрозой со стороны России. Автор с удовольствием отмечал: «Свеаборг уже не русский. Весенние ветры с Финского залива обвевают Эренсвардовские бастионы, и потрепанный бело-красный флаг, последний признак русских, указывает на это подчинение». Территория, которая прежде не могла служить местом прогулки репортеров финляндских газет и, вероятно, увиденная автором впервые, даже после вывода войск воспринималась как чужеродный анклав: «Местность производит заметно русское впечатление: церковь и большие белые казармы и офицерские здания. Небольшие низкие дома разбросаны повсюду без всякого плана, часто помещая в себе какую-нибудь лавку и едва ли усиливая собой мощь крепости. Сельская идиллия перемешивается с крепкими военными сооружениями.

Громадные, типично русские кучи отбросов с массой пустых банок из-под консервов близ казематов и погребов с боевыми припасами... На наружных бастионах, откуда видно открытое море, за окопами скрываются замысловатые лафеты, дальнобойные пушки, с которых заблаговременно были увезены замки, побежденной нации. Некоторые из колоссов еще остаются и глядят в бессильной ярости вдаль за горизонт. Немецкая комендатура железною рукою восстанавливает порядок» [Русский..., 1918. 24 апр.].

А. И. Куприн в начале войны служил офицером в Великом княжестве. Он посещал Финляндию более десяти раз в различные периоды жизни и неизменно относился к ней с любовью [Дубровская, 2012. С. 285–290, Науменко, 2010. С. 731–737, Хеллман, 2001. С. 7–22]. В 1933 г. в последней статье, посвященной стране Суоми, он отметил переплетение «своего» и «чужого» в культуре независимой Финляндии и перечислил те «знаковые» явления, которые «будут надолго, если не навсегда, напоминать ее жителям о русской культуре»: «Это, во-первых, лиственная аллея, посаженная Петром I в Куоккала, во-вторых, Сайменский канал, где на последнем шлюзе выгравирована четкая надпись «Построен русскими солдатами по повелению Николая I в таком-то году», в-третьих, Свеаборгская морская крепость, в-четвертых, памятник императору Александру II против Сената и в-пятых, Александровская улица, Александрсгатан» [Куприн, 2001. С. 344].

Примечательно, что литератор, хорошо знакомый с историей края, упомянул крепость, построенную шведами в XVIII в., как памятник русского военно-инженерного искусства [Хеллман, 2001. С. 424]. Рядовые же военнослужа-

щие безоговорочно воспринимали Свеаборг как «освоенное» пространство, «островок» России, защищенный от внешнего, подчас враждебного мира.

В то же время для армейцев и экипажей кораблей Гельсингфорс был самым желанным местом отдыха. Матросы, получившие увольнение на берег, сначала попадали в порт, а затем расходились по знакомым им в городе местам. Самым привлекательным из таких мест являлся приморский парк развлечений Брунс-парк, располагавшийся вблизи порта и предлагавший военным служащим широкий спектр развлечений [Бажанов, 2007. С. 70].

Как уже было отмечено, «иностранный» характер города беспокоил армейское и флотское командование. По воспоминаниям капитана 1-го ранга С. Н. Тимирева, флаг-капитана командующего Балтийским флотом, Гельсингфорс считался среди русских офицеров «центром германского шпионажа и разрушительной революционной работы». Одной из причин такого предубеждения стал «состав населения», говорящего «на чуждом языке» и «в некоторых своих слоях настроенного германофильски». Опасение вызывала и «продолжительная стоянка больших кораблей» в Гельсингфорсе. По словам С. Н. Тимирева, частые посещения матросами берега давали агитаторам «полную свободу ведения самой широкой революционной пропаганды среди команд» [Тимирев, 1998. С. 71].

Однако возможностей сойти на берег у матросов было не так много, в частности, на 1-й бригаде линейных кораблей их увольняли в город раз в 7–10 дней. Один раз в неделю команда того или иного корабля в качестве поощрения за службу выводилась в Гельсингфорс «на прогулку», и это становилось настоящим парадом моряков, проходивших через весь город [Бажанов, 2004. С. 155–157].

Зачастую парады русских войск, призванные продемонстрировать силу режима, воздействовали на эстетические чувства населения, не искушенного в политике, вдохновляли эмоционально, а военные оркестры оживляли жизнь гарнизонных городов, влияли на музыкальную культуру великокняжеской столицы [Luntinen, 1997. P. 406].

Однако проявляемое русскими властями в разгар борьбы с т. н. «панфеннизмом» пренебрежительное отношение к ценностям национальной культуры не оставалось незамеченным жителями Гельсингфорса. Заложниками в этих столкновениях становились российские военные. Финская интеллигенция, прежде всего шведоязычная, настроенная антирусски, обви-

няла их в непочтительном отношении к национальным святыням.

В марте 1914 г. в газете “Nya Pressen” появилась заметка «Русские войска поют на улицах». Автора возмущало, что в финляндской столице «русские военные, кажется, считают ул. Рунеберга подходящей для своих променадов»: «в двенадцатом часу дня команда солдат, распеваящих во все горло, прошла по северной Эспланаде мимо памятника Рунебергу на Казарменную ул. Нужно бы как можно скорее положить конец этому, почти что ежедневному пению и галдежу войск на улицах нашей столицы» [Nya Pressen. 1914. 6 Mars.]. В шведской “Hufvudstadsbladet” некий «Гражданин», как сообщила «Финляндская газета», выражал негодование по поводу того, что русские моряки стали пользоваться Железнодорожной (Вокзальной) площадью для своих занятий: «Движение на самых оживленных частях города прерывается на несколько часов к большому неудобству публики и к весьма малому удовольствию тех, кто живет у нашей центральной площади». Полемизируя с автором, правительственная «Финляндская газета» писала: «Добрая часть этих мест учений бывает заполнена толпой городских обывателей, которым, судя ещё и по доброжелательному выражению их лиц, учения эти вовсе не неприятны» [Финлянд. газ. 1914. 8 (21) марта].

Так или иначе, Гельсингфорс оставался для военнослужащих особым, отчужденным от русского культурного контекста миром, и не только в силу иноязычного окружения. Оппозиция «восток/запад» на уровне восприятия символов остро ощущалась выходцами из России, несмотря на государственную и имперскую семиотику центра великокняжеской столицы. С конца XIX в. в Гельсингфорсе строились здания с высокими башнями и толстыми стенами из серого гранита в национально-романтическом направлении северного модерна. Этот стиль получил, как и в Германии, название «югенд». Над городом возвышалась католическая церковь Св. Генриха в Кайвопуйсто, немецкая кирха, огромная Бергхальская церковь. Необычными казались здание Рыцарского зала в неоготическом стиле, украшенные растительным и животным орнаментом здания Национального музея и Национального театра, «Фонтан Вальгрена» – скульптурный комплекс «Хавис Аманда» на Торговой площади, ставший символом города, и монумент жертвам кораблекрушения на холме вблизи Обсерваторской горки. С пьедесталов памятников смотрели незнакомые российским военным изваяния – собиратель рун карело-финского эпоса и создатель эпической

поэмы «Калевала» Элиас Леннрот, Фредрик Па-циус, написавший музыку национального гимна «Наш край», поэт-классик Йохан Людвиг Рун-берг, автор текста гимна.

К весне 1917 г. концентрация войск в фин-ляндской столице значительно увеличилась. Еще в марте 1915 г. в Свеаборге насчитывалось 4 тыс. военнослужащих. В казармах на терри-тории Гельсингфорса, в его окрестностях и на островах, составлявших линию обороны горо-да и крепости, – до 5 тыс. чел. Согласно при-казу № 92 по Свеаборгской крепости к 4 марта 1917 г. численность сухопутных войск, раз-мещенных в городе и крепости, выросла до 20 698 чел. [Eerola Ja., 1995. Liite 2].

Из-за недостатка казарменных помещений они занимали здания финских народных школ, где размещались все батальоны пехотных 510-го Волховского и 511-го Сычевского, роты 428-го Лодейнопольского и 509-го Гжатского полков [Eerola Ja., 1995. Liite 7; Звонарев, 1917. С. 2].

Военнослужащие «осваивали» новые город-ские пространства. Иногда «освоение» приво-дило к курьезам, подобно тем, о которых рас-сказала уроженка Гельсингфорса А. Йортиikka в воспоминаниях о своем детстве (предполо-жительно они связаны с солдатами 2-го Свеа-боргского артиллерийского полка, одна из его рот стояла в районе городского кладбища): «Поскольку кладбище Хиетаниemi распола-галось поблизости, то солдаты заходили туда – посмотреть и полюбоваться красивыми траур-ными лентами на венках. Мы ходили поглядеть, как они живут в лагере. Видели, как они разо-жгли костер, спилили дерево, увидев нас, они заулыбались, т. к. смогли обратиться к нам по-фински»: солдаты произнесли расхожее фин-ское ругательство, по-видимому, единственное из известных им выражений, «а потом пришел еще один солдат, на шее которого красова-лась ленточка от венка с надписью “Последний привет от семьи Лунден”» [SKS KRA, Side 41. S. 95].

Военные «осваивали» территорию мест по-гребения и в прямом, и в переносном смысле. Дети наблюдали церемонию проводов простых деревянных гробов, «в сопровождении 6–8 русских солдат и команды трубачей, игравших русский боевой гимн», на близлежащее клад-бище [SKS KRA, Side 41. S. 95]. С начала вой-ны в больницах Великого княжества выдели-ли несколько сотен коек для раненых. Солдат и офицеров с фронта привозили на лечение в Гельсингфорс [Соломещ, 1992. С. 24]. Умер-ших же хоронили на русском военном кладби-ще. По воспоминаниям А. Йортиikka, погребе-

ние «знати и офицеров» проходило на русском православном кладбище в Лаппинлахти. Как отметила архангелогородская исследовате-льница А. Н. Соловьева, историческая память о местах погребений «надолго остается источ-ником знаний и эмоций, а эстетика ландшафта становится источником как художественного, так и политического выражения», вот почему «ситуации возрождения былого знания или его реконструкции также становятся контек-стом объединения знания и эмоции, на этот раз в связи с чувством ностальгии» [Соловье-ва, 2006. С. 90].

Гельсингфорс был городом многонацио-нальным и поликонфессиональным. Среди ми-грантов из России русские составляли самую многочисленную этническую группу. Но вме-сте с войсками в Финляндию прибывали уро-женцы прибалтийских губерний, поляки, ев-реи, татары. Мусульманские и еврейские клад-бища, однако, в отличие от православных не разделялись на «офицерские» и «солдатские». За более чем вековой период кладбища, где покоились сотни соотечественников [Halen, 2001. S. 6–168], становились для военнослу-жащих «кусочком» российской территории и неофициальным местом поклонения далекой родине.

Другим местом, напоминавшим солдатам о России, но не наделявшим сакральным смыс-лом, стали безлюдные скалы в живописных ок-рестностях города, которые солдаты и матро-сы называли «Карпатами». Как свидетельст-вует карикатура «Веселье на Гельсингфорских Карпатах», помещенная в матросском литера-турно-художественном журнале «Моряк», это было излюбленное место досуга, которое в 1917 г. в обстановке наступившей «свободы» стало синонимом веселого времяпровождения с игрой в «орлянку» и алкогольными излишест-вами [Моряк. 1917. № 4. С. 95].

«Карпаты», как и другие городские про-странства, удаленные от парадных улиц и пло-щадей (парки Кайсаниemi, Хисперия (Циспе-рия)), воплощали представления военнослу-жащих о символике «периферии», оппозицион-ной официальному «центру», с допустимыми для маргинальных территорий нарушениями пове-денческих норм, функционированием бытовых практик «социальных низов», криминогенно-стью. Об этом сохранилось множество сви-детельств. Показательны звучавшие весной 1917 г. призывы читателей гельсингфорских и абоских «Известий» не допускать действий, позорящих «революционные войска и юную обретенную свободу» [КА, д. 11970; РГА ВМФ, ф. Р-315, оп. 1, д. 21].

С маргинальным статусом жителей окраин, социальными низами и девиантным поведением ассоциировались у военнослужащих разные «кофейни», воспринимавшиеся как «нечистые» места городского пространства. В письмах в редакцию «Известий Гельсингфорсского совета», обнаруженных в коллекции «Русские военные бумаги» Национального архива Финляндии и в фонде РГА ВМФ, приводятся адреса таких заведений, где собирались и финны, и русские солдаты и матросы. Невзирая на запреты, там производилась продажа крепких напитков, процветала проституция, а бродячие торговцы сбывали всевозможные вещи, преимущественно краденые. Авторы заметок предостерегали от посещения таких мест, где «зараженная атмосфера спиртом», советовали не ходить на знаменитый гельсингфорсский рынок возле Абоских казарм, на котором из-под полы велась торговля обмундированием и казенным имуществом.

Примечательно, что обсуждение матросами и солдатами первых неофициальных сведений о революции в Петрограде происходило 3 марта 1917 г. в «известных столовых и кофейнях», в этом маргинальном пространстве города. Здесь нижние чины собирались группами в 5–12 человек, договаривались выступить на следующий день по орудийному сигналу [Грикри, 1918. С. 127]. Такое же постановление вынесли участники матросского митинга за Петроградским мостом [РГА ВМФ, ф. Р-315, оп. 1, д. 120, л. 36].

С «периферии» Гельсингфорса, какой оставались в представлениях военнослужащих разбросанные по городу казармы, кофейни и отдаленные места проведения митингов, составшим предстояло двинуться в центр финляндской столицы, воспринимавшийся как двойник имперского Петрограда, который надо было завоевать. Первые сведения о событиях в имперском центре России просачивались в виде слухов и порождали страх, тревогу и неуверенность. Поиск «врага» переносился извне вовнутрь окружения военных, и врагом мог оказаться каждый.

С утра 4 марта в центр великокняжеской столицы стали стекаться колонны рядовых военнослужащих. Их прохождение через «сакральные» точки пространства города стало явным нарушением приказа высшего флотского начальства. Это была демонстрация символической «сопричастности» к революционным событиям в Петрограде и формой протеста против недостаточного информирования о них со стороны командующего флотом А. И. Непенина, ко-

торый попытался удержать матросов и солдат «вне политики».

Прежнее противостояние имперского/финляндского в политической топографии Гельсингфорса усиливалось новой оппозицией буржуазного/демократического, и эта оппозиция проявлялась как на уровне символического пространства, отделявшего «центр» города от его «окраин», так и на уровне ритуала-шествия, в который вовлекались «свои» и которым отторгались «чужие».

В контексте событий, осмысливавшихся как символически переходные, поведение людей – групповое, индивидуальное, на уровне лидеров – было повышено семиотичным. Поэтому в, казалось бы, привычных и знакомых картинах повседневной жизни городского центра рядовые усматривали особый смысл покушения на завоеванное пространство и восстановления того, «что было прежде». Летом 1917 г. к этой будничной жизни кто-то относился с яростным негодованием, кто-то – с иронией и сарказмом, которые чувствуются в стихотворении В. Фролова. Автор, служивший писарем в Свеаборге, в 1917 г. опубликовал в Гельсингфорсе несколько стихотворных сборников. В стихотворении «Штрихи», написанном в форме шутивного послания «дядюшке», он дал картинку повседневной жизни крепости и показал беспокойную обстановку в Гельсингфорсе:

«...Если в город приезжаю,
То брожу по Эспланадной
Среди публики нарядной.
Вечно ясная погода.
Много праздного народу.
Повергают в умиление
Мою душу, наслажденье
Навевает мне бряцанье
Шпор военных...
...Ах, забыл, со дня восстанья
В Петрограде к нам вниманья
Здесь немало проявили.
Офицеры порешили
На другой же день согласно,
Что служить без них [погон – Е.Д.]
– ужасно,
И с девизом «Единенье!»
Нацепили украшенья
Все зараз к себе на плечи,
Но... опасны эти речи...».

[Фролов, 1917. С. 22]

В стихотворении звучат отголоски перипетий «погонной революции», потрясавшей Балтийский флот в апреле 1917 г. и ставшей едва ли не самым ярким проявлением разрушительных действий восставших по отношению

к прежним символам господства/подчинения [Колоницкий, 2001а. С. 18–28]. Ношение погон балтийскими моряками было отменено приказом № 125 нового командующего флотом А. С. Максимова от 15 апреля [Колоницкий, 2001б. С. 162–197]. Отчасти это было продиктовано необходимостью избежать случаев насилия над офицерами, подобных тем, что стали печально известны всей стране в связи с расправами на кораблях и в городе 4–5 марта.

Жители финляндской столицы обнаруживали последствия нововведений буквально «под ногами» на улицах Гельсингфорса. Согласно апрельской дневниковой записи И. И. Ренгартена, «командующий флотом и комендант крепости издали приказы, и это было приведено в исполнение. Но при этом сделали уличный беспорядок: улицы Гельсингфорса полны груд матросских и солдатских погон – они снимают их с себя и друг с друга и бросают на мостовую. Со встречных офицеров, еще не знавших о приказе, тоже снимали погоны – вообще, это явное желание унижить» [РГА ВМФ, ф. Р-29, оп. 1, д. 220, л. 22].

Обращаясь к солдатам и матросам, свеаборгский артиллерист Д. Усов убеждал: «мы теряем достоинство, останавливая на улицах Гельсингфорса своих товарищей – солдат, матросов и офицеров, срезая с плеч погоны без всякого на то основания от представителей наших депутатов. Почему бы не вынести распоряжение снять погоны через комитет? Совестно это делать свободному гражданину, портить своему же товарищу одежду», ведь «через постановление депутатов погоны сняли бы все без исключения сами» [Известия..., 1917. 20 апр.].

Однако ритуализированный характер девинантного поведения на улицах Гельсингфорса, все-таки воспринимавшегося военнослужащими как «чужое» пространство, строился на отрицании обычных этических норм. Стратегия такого поведения, ориентированная на нанесение оскорбления явным или мнимым приверженцам самодержавной власти, должна была «принизить» социальный статус противника. Срезание погон и демонстративное их выбрасывание подразумевало не только «очищение» от символов прошлого.

Границы между «своим» и «чужим», установившиеся в первые дни революции, по прошествии времени утрачивали силу и оказывались размытыми. Наряду с семантикой разграничения «освоенного» и «неосвоенного» и десакрализацией морально устаревших символов царской армии срезание погон и их ниспровержение на мостовую (сходное с популярным

в плакатной символике мотивом «попирания разбитых цепей») служило восстановлению нарушенных связей внутри сообщества моряков и армейцев перед лицом враждебного внешнего мира.

Отрицание этикетного поведения, в том числе и на улице, воспринималось ими на фоне особой значимости упорядоченной жизни финляндской столицы. Шокировавшее очевидцев стремление рядовых двигаться по проезжей части, а не по тротуарам, достигало такого эффекта потому, что прежде контроль за соблюдением порядка передвижения в великокняжеской столице возлагался именно на военных.

Подобное поведение, входящее в кодекс поведения захватчика на оккупированной территории, все же не было типичным для солдат и матросов, остававшихся в бывшей великокняжеской столице вплоть до вывода российских войск из Финляндии весной 1918 г. Их больше беспокоила пусть даже мнимая опасность утраты уже «освоенных» ими городских пространств и объектов. Подозрения в «покушениях» такого рода вызвали ярость рядовых по отношению к офицерам и военным чиновникам. Осенью 1917 г. перипетии возникли между членами гельсингфорского Матросского клуба и врачами морского госпиталя.

В представлениях рядовых военнослужащих «освоенные» городские объекты бывшей великокняжеской столицы тесно связывались с завоеваниями революционного времени и становились символами этих завоеваний, которые необходимо было уберечь от поглощения «чужой» средой. Угроза им виделась не столько со стороны внешнего противника, сколько от «внутреннего врага» в собственном окружении. Вражеские аэропланы и опасность, которую нес неприятель городу, воспринималась как намного меньшее зло по сравнению с «происками» командного состава российской армии и флота, а любые действия офицеров неизбежно предполагали «презумпцию виновности».

В заключение следует отметить, что Гельсингфорс, ставший столицей Финляндии вскоре после ее присоединения к России, изначально строился как город, не связанный с памятью о шведском прошлом. К концу XIX в. он сам стал символом имперской власти в Великом княжестве, противопоставлявшимся прежней древней столице Або (Турку). В его архитектуре и планировке имперская и административная символика поддерживали друг друга и должны были напоминать российским военнослужащим о могуществе и величии государства, на страже которого они призваны были стоять

здесь, в Финляндии, прикрывая с моря столицу империи.

Служившим в Гельсингфорсе офицерам, солдатам и матросам во время увольнения в город приходилось «обживать» незнакомую территорию с ее площадями, улицами, парками, привыкать к иноязычным топонимам и выстраивать свои отношения со зданиями, памятниками и другими объектами городской среды. Многие из пространств города носили русские названия, другие же неофициально переименовывались военными по ассоциации со знакомыми местами, прежде виденными в России (знаменитые «Карпаты» в Брунс-парке).

Постепенное освоение города позволяло военным составить семиотическую «шкалу ценностей» различных точек на плане Гельсингфорса. Символические противостояния, в том числе и на уровне городского пространства финляндской столицы, стали частью Первой мировой войны наряду с конфликтами между военными и гражданской администрацией Великого княжества, с насаждением чрезвычайных мер военного времени в качестве государственной политики и общей атмосферой взаимного недоверия между российскими военными и жителями Финляндии.

В условиях снижения привычной воинской дисциплины и в соответствии с представлениями рядовых о наступившей «свободе» пространство города подчас воспринималось ими как место проведения ежедневного праздника с импровизированными представлениями, привлекавшими как военнослужащих, так и горожан. Подобные «карнавалы» представляли с участием казаков-кубанцев летом 1917 г. в течение нескольких дней разворачивались вблизи Артиллерийских казарм и завода Николаева.

Один из трех казаков, «испачкавших лица сажей», по свидетельству очевидца, «одевал на себя искусственное изображение лошади» и «представлял коня и всадника одновременно», «показывал, как лошадь пьет», двое других «погоняли его хворостиной», пытаясь продать «хорошую кобылку» проезжавшим мимо на извозчике финнам, а те «торговались», зараженные общим весельем [КА, д. 11970].

И горожане, и российские военные – недавние подданные империи, почувствовавшие себя гражданами, зачастую воспринимали политический переворот как ритуальное праздничное «действие», в которое включалось городское пространство финляндской столицы.

Литература

Бажанов Д. А. Матросы и берег: 1-я бригада линейных кораблей Балтийского флота в Гельсингфорсе (1914–1917 гг.) // Санкт-Петербург и страны Северной Европы. Материалы ежегод. междунар. науч. конф. СПб.: Изд. РХГА, 2004. С. 155–164.

Бажанов Д. А. Щит Петрограда: служебные будни балтийских дредноутов в 1914–1917 гг. СПб.: Изд. РГПУ им. А.И. Герцена, 2007. 224 с.

Балтийские моряки в подготовке и проведении Великой Октябрьской социалистической революции. Сб. докум. М.; Л.: Наука, 1957.

Башмаков Н., Лейнонен М. Из истории и быта русских в Финляндии 1917–1939 // *Studia Slavica Finlandensia VII* / Eds. V. Melanko, A. Mustajoki, E. Peuranen. Helsinki, 1990. 100 с.

Воловик И. Городская партитура // Воспоминания о Гельсингфорсе. Историко-литературный очерк / Ред. Л. Коль. Helsinki: LiteraruS, 2011. С. 13–20.

Гри-Кри. Две встречи // Моряк. 1918. № 6. 2 марта.

Дубровская Е. Ю. Население Финляндии и российские военные: проблемы взаимного восприятия в годы Первой мировой войны // Труды Карельского научного центра РАН. 2011. № 6. С. 80–89.

Дубровская Е. Ю. Проблемы российско-финляндского приграничья начала XX в. и этнический образ финна в курсах по истории родного края // Историческое краеведение в Карелии: учеб. пособие. Петрозаводск: КГПА, 2012. С. 282–291.

Звонарев Г. Наши пехотные части в Гельсингфорсе (Из личных впечатлений унтер-офицера Свеаборгского пехотного полка, выделенного из 428-го Лодейнопольского). Гельсингфорс, 1917. 23 с.

Известия Гельсингфорского совета депутатов армии, флота и рабочих. 1917.

Клинге М. Имперская Финляндия / [Пер. с фин.]. СПб.: Изд. дом «Коло», 2005. С. 545–588.

Колоницкий Б. И. Погоны и борьба за власть в 1917 году. СПб.: Остров, 2001. 83 с.

Колоницкий Б. И. Символы власти и борьба за власть: к изучению политической культуры российской революции / Ред. В. Ю. Черняев. СПб.: Дм. Булантин, 2001. 349 с.

Куприн А. И. Немножко Финляндии // Куприн А. И. Мы, русские беженцы в Финляндии... СПб.: Журнал «Нева», 2001. С. 313–344.

Лотман Ю. М. Символика Петербурга и проблемы семиотики города // Лотман Ю. М. История и типология русской культуры. СПб: Искусство–СПБ, 2002. С. 208–220.

Лурье Ф. М. Архитектурные ландшафты Петербурга (печатная графика) // Феномен Петербурга / Ред. Ю. Н. Беспятых. СПб.: БЛИЦ, 2001. С. 304–315.

Науменко В. Г. «Здесь, на конце России исполинской...» Финляндия в творческом наследии русских путешественников XVIII – начала XX века. Ярославль: Ремдер, 2010. 840 с.

Погребов С. Кому служила крепость Свеаборг? // Воспоминания о Гельсингфорсе: историко-литературный очерк / Ред. Л. Коль. Helsinki: LiteraruS, 2011. С. 104–118.

Расила В. История Финляндии / Ред. Л. В. Суни. Петрозаводск: ПетрГУ, 1996. 294 с.

Российский государственный архив Военно-морского флота (в тексте – РГА ВМФ).

Санкт-Петербург: 300 лет истории. СПб.: Наука, 2003. 760 с.

Соболев Л. С. Капитальный ремонт. Роман: в 2-х ч. М.: Совет. Россия, 1977. 416 с.

Соловьева А. Н. Ландшафт: память и история в антропологической перспективе // Поморские чтения по семиотике культуры. Сакральная география и этнокультурные ландшафты народов Европейского севера. Архангельск: Помор. ун-т, 2006. С. 83–93.

Соломещ И. М. Финляндская политика царизма в годы первой мировой войны (1914 – февраль 1917). Петрозаводск: ПетрГУ, 1992. 90 с.

Тимирев С. Н. Воспоминания морского офицера. СПб.: Изд. альманаха «Цитадель», 1998. 191 с.

Фролов В. На заре (стихотворения). Гельсингфорс, 1917. 40 с.

Хеллман Б. Александр Куприн в Хельсинки // Куприн А. И. Мы, русские беженцы в Финляндии... СПб.: Журнал «Нева», 2001. С. 7–22, 345–424.

Bonsdorf B., Smedslun T. Helsingin Venäläinen Sotilassairala. Helsinki, 1969.

Byckling L. Aleksanterin Teatteri 120 vuotta. Helsinki: SKS, 2000. 28 s.

Eerola Ja. ”Siunattu olkoon turvamme tuoja...” Upseereihin kohdistunut väkivalta Helsingin venäläisessä varuskunnassa helmikuun vallankumouksen 1917 aikana. Helsingin yliopisto. Humanistinen tiedekunta, Historian laitos. Pro-gradu työ, 1995. 178 s.

Halen H. Helsingin venäläinen sotilashautausmaa Taivallahdessa 1826–1918. Kalmisto ja vainajat. Helsinki: Helsingin yliopisto, 2001. 182 s.

Hellberg-Hirn E. Символика Петербурга: тема пространства // Studia Slavica Finlandensia. T. XIII. 1996. С. 68–88.

Kansallisarkisto (в тексте – КА).

Käsänen A. Bulevardin ooperatalo tyhjenee ensi kesänä // Helsingin Sanomat. 1993. 13.01. S. 6.

Luntinen P. The Imperial Russian Army and Fleet in Finland 1808–1918. Helsinki: SHS, 1997. 486 p.

Pakarinen R. The Russian builders of Helsinki // Venäläisyys Helsingissä 1809–1917. Helsinki: Helsingin kaupungin museo, 1984. S. 98–99.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kansanrunous Arkisto (в тексте – SKS KRA).

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ:

Дубровская Елена Юрьевна

старший научный сотрудник, к. и. н.
Институт языка, литературы и истории
Карельского научного центра РАН
ул. Пушкинская, 11, Петрозаводск,
Республика Карелия, Россия, 185910
эл. почта: dubrovskaya@krc.karelia.ru
тел.: (8142) 577758

Dubrovskaya, Elena

Institute of Language, Literature and History, Karelian Research
Centre, Russian Academy of Science
11 Pushkinskaya St., 185910 Petrozavodsk, Karelia, Russia
e-mail: dubrovskaya@krc.karelia.ru
tel.: (8142) 577758

УДК 394:94(480+470.22)«1930/1939»

ПОВСЕДНЕВНОСТЬ СОВЕТСКО-ФИНЛЯНДСКОГО ПОГРАНИЧЬЯ 1930-Х ГОДОВ В ВОСПОМИНАНИЯХ О ДЕТСТВЕ*

О. П. Илюха

Институт языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН

В статье анализируется многослойный источник – воспоминания людей, родившихся в 1920 – начале 1930-х годов, о своем детстве. В них запечатлены не только детали повседневности советского пограничья, его символические объекты и фигуры, но и опыт пережитого, особенности социализации и самоидентификации «детей фронта». Воспоминания рассматриваются с учетом официального дискурса 1930-х годов о границе.

Ключевые слова: воспоминания, детство, советско-финляндское пограничье, повседневная жизнь.

O. P. Ilyukha. DAILY LIFE OF THE SOVIET-FINNISH BORDERLAND OF THE 1930s IN CHILDHOOD MEMORIES

The paper analyses the multilayered source – memories of people born in the 1920s – early 1930s about their childhood. Not only the details of daily life in the Soviet borderland, its symbolic objects and characters, but also the experience of life, socialization and self-identification of the “children of the frontier” are inscribed in those memories. We consider them with regard to the official frontier-related discourse of the 1930s.

Key words: memories, childhood, Soviet-Finnish borderland, daily life.

Государственная граница, деля социальное пространство на «своих» и «чужих», «своих» и «других», создает совершенно особый социокультурный ландшафт. Здесь соприкасаются, встречаются и расходятся различные ментальные, культурные, политические и экономические миры. При этом нормы и предписания, касающиеся поведения людей при пересечении границы или при нахождении в приграничье, варьируют и меняются в пространственно-временной перспективе. Крайними, полярными вариантами ситуации являются «железный за-

навес» периода холодной войны и «прозрачные границы» современного Евросоюза.

История советских границ и советского пограничья («погранполосы», «погранзоны») привлекает внимание исследователей в различных контекстах [Заерко, 2002; Граница и люди, 2005; *Frontières du communisme*, 2007]. В СССР изучение этой глубоко идеологизированной темы было возможно лишь под грифом секретности, а основные публикации в открытой печати сводились к описаниям подвигов советских пограничников. В 1990-х – 2000-х гг., настроив созданную зарубежными учеными оптику изучения границ на решение собственных научных задач, российские исследователи существенно расширили видение проблем, связанных с социокультурной специ-

* Работа выполнена при поддержке РГНФ (проект 12-31-01028) и Программы фундаментальных исследований Президиума РАН «Традиции и инновации в истории и культуре».

фикой пограничья. Различные дисциплинарные подходы (социологический, политологический, антропологический, географический) открыли новые возможности для пространственных и социальных интерпретаций границ [Замятин, 2003. С. 102–114].

Пограничье привлекательно и для исследования специфики повседневности, поскольку является территорией особого цивилизационного взаимодействия. В последние годы по обе стороны российско-финляндской границы активно изучают многообразные аспекты ее истории, включая повседневную жизнь пограничья [Россия и Финляндия..., 1999; Рупасов, Чистиков, 2000, 2007; Мусаев, 2007; Hämynen, 1993; Paasi, 1996; Lähteenmäki, 2009]. Однако в целом этот аспект темы пока остается малоисследованным.

Советское пограничье 1930-х годов – предвоенного десятилетия, когда в идеологическом дискурсе родилась и закрепилась метафора «граница на замке», представляет интерес как особая территория. Режим пограничья формировал свои территориальные общности, знаковые системы, свое ментально-географическое пространство и свой образ жизни. Большинство советских граждан, проживавших в это время вдали от «широких границ» СССР, получали представление о жизни пограничья через СМИ, кинофильмы, художественную литературу и т. д. Особой аудиторией, проявлявшей интерес к этой теме, были дети. В процессе конструирования «нового советского человека» теме границы отводилась значительная роль. Анализ содержания поступавших в каждую школу пионерских газет и журналов 1930-х гг., а также учебников, т. е. самых массовых печатных изданий того времени, позволил выявить адресованный детям официальный дискурс о границе [Илюха, 2007; Илюха, 2011]. В текстах, предназначенных для детей (расхождения в репрезентации темы для взрослых и детей состоят лишь в деталях, в подробностях), можно выделить следующие ключевые позиции.

Доминирующей является семантика безопасности, защищенности советских границ. Образ запертых ворот («граница на замке») иногда усиливается дополнительными эпитетами: «граница на прочном замке», «на железном замке». Советская страна рисовалась островом счастливого детства во враждебном мире, что было частью советской концептосферы, грандиозного мифологизированного образа «новой» России.

Центральные фигуры созданного в литературе социокультурного ландшафта пограни-

чья – пограничник и шпион. Первый в текстах для детей изображен исключительно как герой, друг пионеров, второй – антигерой, злодей, враг всех советских людей. Тема границы в текстах для детей, как правило, раскрывается через описание инцидента, связанного с задержанием шпиона. Дети в текстах такого рода присутствуют исключительно в качестве помощников пограничников. Итак, официальные репрезентации образа границы делят социальную реальность на врагов, проникающих в советскую страну с целью узнать ее тайны, героев-пограничников и помогающих им советских граждан.

Источниковая база исследования

В данной статье мы обратимся к другому источнику – воспоминаниям людей, родившихся в 1920 – начале 1930-х годов. Сегодня только это уходящее поколение может представить «прямые» свидетельства о довоенном времени. Корпус собранных нами воспоминаний насчитывает 25 интервью. Тексты хранятся в Научном архиве Карельского научного центра РАН [НА КарНЦ РАН]. Воспоминания записаны в 2005–2007 гг. у людей, чье детство прошло в населенных пунктах Северного Приладожья и Сямозерья, расположенных вдоль старой советско-финской границы. Это деревни и поселки, как непосредственно примыкавшие к границе (Погранкондуши, Раймяля, Кавайно, Вешкелица), так и находившиеся от нее на некотором удалении (Пенгисельга, Юргелица, Колатсельга, Эссойла). Особым населенным пунктом в этом списке являются Погранкондуши (фин. – Rajakontu) – советская деревня, смыкавшаяся по линии границы с финской деревней Мансила (фин. – Manssila). Подобные «двойные поселения»* [Кайсто, Нартова, 2008] создают специфическую контактную среду, состояние которой в условиях идеологического размежевания вызывает несомненный интерес.

Воспоминания были собраны в форме свободного интервью (жесткая схема вопросов отсутствовала), основная часть которого касалась образа жизни родительской семьи и детства респондентов. Длительная табуированность разговоров о границе сказывается и в наши дни: не все охотно разговаривали на эти темы,

* В историографии имеется опыт изучения «двойных поселений», в основном двойных городов («City Twins»). На советско-финляндской границе привлекательным для исследователей оказался «двойной город» Светогорск – Иматра. Нарботка подходов в изучении «зеркальных» поселений получена также при изучении разделенной границей с Эстонией территории Ивангорода – Нарвы.

пришлось столкнуться и с завуалированным отказом говорить о границе. Осторожность и подозрительность являются одним из проявлений фундаментальной психологической травмы, нанесенной сталинским режимом гражданам своей страны [Figes, 2007. P. 645]. Вопросы о границе приходилось формулировать с учетом индивидуальных особенностей респондента и встраивать их в общую логику интервью о детстве. Установлению доверительного общения с респондентами способствовала помощь в этой работе школьных учительниц, авторитет которых в сельском сообществе до сих пор открывает двери многих домов*.

Памятные рассказы о детстве расцениваются специалистами как воспоминания «малорефлексивного» возраста, пропущенные через напластования пережитого, внутреннюю цензуру последующей жизни и «выученную историю», нередко спорящую с личным опытом [Безрогов, 2010. С. 39–42]. В воспоминаниях проявляется отношение к детству как к периоду девиантного поведения [Разумова, 2001. С. 289]. Критика этого уникального и вместе с тем крайне сложного для интерпретации источника должна происходить с учетом его специфики: вспоминая детство, взрослые руководствуются уже иной логикой, чем логика детского запоминания, и выстраивают нечто цельное из того, что изначально таковым не является [Безрогов, 2010. С. 48]. Если воспоминания о детстве могут вызывать сомнения как источник достоверной информации о коллективном прошлом, то они незаменимы при изучении деталей повседневности, а также вариативности индивидуального жизненного опыта и проблем конструирования исторической памяти.

«Были эти ворота на замке»

Полупрозрачная восточная граница Великого княжества Финляндского, до конца 1917 г. входившего в состав России, с получением Финляндией независимости приобрела качества межгосударственного рубежа. Он разделил семьи и людские судьбы, не говоря уже о поселках, деревнях и микроландшафтах. «Погранкондуши кончаются, Мансила начинается – уже финская территория», – информация, рефреном звучащая в воспоминаниях местных жителей.

* Выражаю искреннюю признательность учительницам, помогавшим в организации сбора воспоминаний – Елене Александровне Калининой (пос. Эссойла) и Марине Ивановне Керро (пос. Салми), а также жителям Карелии, которые принимали нас в своих домах и беседовали с нами.

Память детства сохранила фрагментарные сведения о внешнем оформлении линии границы: ее ограждении, символах и знаках. «Вдоль границы была частая изгородь»; «Границей был забор, из жердей сделанный – это была граница. Легко можно было перейти туда и сюда»; «Там [на границе между деревнями Погранкондуши и Мансила] была просто такая глубокая канава, копали финны и наши..., папа рассказывал. И была изгородь, просто деревянная такая, обыкновенная изгородь... Ну, метра, наверно, полтора»; «В Погранкондушах, где дорога, дак там [на границе] ворота стояли и часовые. А остальное, что там: паханое поле, полоса паханая, ну и пограничники ходили» [НА КарНЦ РАН, ф. 1, оп. 1, кол. 213, ед. хр. 3, 4, 6, 7].

Ворота, сквозь которые шла дорога в соседнюю деревню, в страну Финляндию описываются подробно: «...тут граница была. Огромные деревянные ворота были такие. Большие ворота, некрашенные, из простого дерева. Когда границу закрыли, были эти ворота на замке. Огромный такой замок с нашей стороны был...» [НА КарНЦ РАН, ф. 1, оп. 1, кол. 213, ед. хр. 7, л. 34]. Метафора «граница на замке» в ландшафте деревни Погранкондуши обрела свое реальное, предметное воплощение, стала «самоисполняющимся пророчеством» [Лакофф, Джонсон, 2004. С. 184].

Мальчики активнее девочек познавали пространство и фиксировали более широкую информацию. Именно мужские воспоминания содержат сведения о размещении пограничных застав, их местонахождении и подробностях пограничного ландшафта: «Много застав было. Застава была в Погранкондушах. Потом была между Кавайно и Кавгозером, застава была в Раясельге, застава была в Хабосярви... Вот по дороге идешь в Кавайно, раньше эта дорога закрыта была, только пограничник по ней [патрулировал], потому что совсем близко, метрах в пятидесяти, уже граница проходила. Она же, граница, виляет...» [НА КарНЦ РАН, ф. 1, оп. 1, кол. 213, ед. хр. 6, л. 24–25].

От детского внимания не ускользали и посты-«секреты» пограничников: «...я один раз пошла там, около куста, дак пограничник вот так руку [выставил]... Следили... куст такой, большущий куст. А он там, в кусту сидит и караулит весь день» [НА КарНЦ РАН, ф. 1, оп. 1, кол. 213, ед. хр. 4, л. 14]. Описание несет отчетливый след наивного мировосприятия: «большущий куст» – характерный маркер детских впечатлений. А уверенность в том, что пограничник

весь день «в кусту сидит» – скорее отражение сформированных пропагандой представлений о нерушимости границ и бдительных пограничниках, днем и ночью не смыкающих глаз.

Лес, в котором карелы учились ориентироваться с раннего детства, вблизи границы приобретал черты опасности, но не как локус природной стихии, а с точки зрения социального использования этого пространства: он был естественным укрытием для тех, кто намеревался нарушить установленный порядок. Для детей лес оказывался коварным местом: «...да там же лес, туда ягоды пойдём [собирать], уже окажемся на их стороне. Посмотрим вверх, если церковь видать, так быстро на эту сторону бежим или на Ладугу, и по Ладуге идем домой» [НА КарНЦ РАН, ф. 1, оп. 1, кол. 213, ед. хр. 4, л. 13]. Опасность границы заставляла взрослых делать для детей дополнительные опознавательные знаки, метки на деревьях и камнях, для того чтобы, заблудившись в лесу, те случайно не приблизились к запретной черте. Таким образом, зоны опасности были отмечены знаками, расставленными не только властью, но и «рядовыми гражданами».

Люди с мешочками: социально-политический контроль в погранполосе

Социально-политический контроль в полосе западных границ СССР охватывал широкий спектр вопросов. В повседневной жизни 1930-х гг. привычной практикой была регулярная проверка документов у населения. Человек, отправляясь на работу, всегда брал с собой так называемый «паспорт» – официальную бумагу, разрешавшую перемещение по близлежащей территории. Для этих документов шили специальные мешочки и носили их на теле. «На работу если родители уходили, вот моя мать, например, уходила, не было паспорта, надо было здесь (показывает на грудь. – О. И.) [документ] держать. Кто мешочек шил, кто как. Среди ночи могли прийти проверять, обыски делали. Наш дом раньше был там, на хуторе, дак нас выселили. До финской войны уже мы не жили там, нам надо было жить уже в деревне. А дом так и пустовал. Видимо, боялись чего-то... Чуть в стороне, без контроля...» [НА КарНЦ РАН, ф. 1, оп. 1, кол. 213, ед. хр. 5, л. 22].

Для работы на колхозном лугу, примыкавшем к линии государственной границы, требовалось получить разрешение местных властей с указанием имен всех, отправлявшихся на сенокос или погрузку сена. Подростки, работавшие на сенокосе, уже хорошо понимали опасность общения с теми, кто находился за

границей, и осваивали тактику «политически корректного» поведения, в основе которой было молчание: «Вот в Раясельге, там покосы шли, через речку финская сторона, там финны косят, сено сушат, а на этой стороне наши. Запрещалось разговаривать с ними. Пограничники, они как, – в секрете. Мы их не видим, а они нас видят, что мы делаем. Ну, предупреждали, чтоб не разговаривали. Ну, а с той стороны они другой раз крикнут слово, другое, третье, но не ответишь, – и они перестанут» [НА КарНЦ РАН, ф. 1, оп. 1, кол. 213, ед. хр. 6, л. 26].

Родственные связи были порваны с теми, кто находился за границей, они также ограничивались и с проживавшими на советской территории, но уже за пределами погранзоны, поскольку для посещения родственников на этой «буферной» территории требовалось особое разрешение. «Местный праздник – Спасов день, но [людей] из других деревень пограничники не пускали сюда. У меня свекровь из Видлицы родом, и родители ей говорили, лучше ты приезжай, а они сюда [в погранзону] никогда не приезжали» [НА КарНЦ РАН, ф. 1, оп. 1, кол. 213, ед. хр. 3, л. 12]. Советское приграничье являлось пространством повышенной власти и одновременно изолированности не только от «чужих», но и от «своих».

В Финляндии тоже дождь идет? Искушение границей

Любопытство, непреодолимый интерес к запретному и неизведанному влекли маленьких детей к границе. Пограничье создавало широкие возможности для удовлетворения всеобщей детской потребности посещения «запретных территорий», «страшных мест». В результате самостоятельно осваивались и эмоционально постигались важные элементы окружающей среды и формировался собственный детский миф о мире, осколки которого сохранились в воспоминаниях:

«Было строго-настрого запрещено детей пускать на границу, а дети идут туда, куда им не разрешают. Мы, как плохая погода, обычно часто перелезали через этот забор [на границе] – как там в Финляндии, тоже дождь идет или не идет, надо проверить... А второе – там было очень много ягод, естественно, там их никто не собирал, а мы идем туда, где можно быстрее собрать ягоды... И потом Ладуга, огромная наша Ладуга. Берег, там и сейчас стоит такой камень – Variskivi, как бы Вороний камень*.

* Имеется в виду Варашев камень.

граница была, вода была разделена этим камнем, вода дальше финская, а берег еще наш. И естественно, мы шли купаться там, где финская вода» [НА КарНЦ РАН, ф. 1, оп. 1, кол. 213, ед. хр.7, л. 33]. Автор воспоминаний делает интересное уточнение, отсылающее нас в область детской психологии: «...мы боялись, нас все-таки ругали. Уйдем [за линию границы], немножечко постоим и обратно». Здесь в полной мере проявились те стороны «территориального поведения» детей, в основе которого лежит нарушение пространственных запретов. Психолог М. В. Осорина подчеркивает, что, нарушая запреты, дети руководствуются не разумом: «Какая-то непонятная, но могучая сила наперекор разуму и страху влечет детей к тому, чтобы переступить эти запреты или, по крайней мере, постоять у опасного порога и пережить нечто исключительно важное, без чего будет трудно жить дальше» [Осорина, 2009. С. 87]. Для совершения таких подвигов дети объединялись, ощущая себя в группе более сильными и уверенными, чтобы вместе создать и пережить важные для них события.

Существовавшая практика наказаний и взысканий по отношению к детям не приносила видимого эффекта: «Были случаи, когда нас, детей [зашедших в запретную зону], брали на заставу пограничники (там была вышка такая, они следили). А мы умоляем: дяденька, мы больше не пойдем. Все равно они приводили нас на заставу, приглашали туда родителей, говорили: вот ваши дети, примите меры, чтобы они больше сюда не ходили. Нас ругали, но это все было бесполезно» [НА КарНЦ РАН, ф. 1, оп. 1, кол. 213, ед. хр. 7, л. 33].

Отчетливо проявилась гендерно-возрастная дифференциация в поведении, связанном с фактором границы. Для девочек характерна усиливавшаяся по мере взросления осторожность: «Дети к границе не бегали, даже смотреть боялись»; «Мы боялись. Нас как-то учили, что они уже это..., ну, фашисты» [НА КарНЦ РАН, ф. 1, оп. 1, кол. 213, ед. хр. 4, л. 15; ед. хр. 3, л. 12]. Мальчикам, существование которых развернуто в пространстве гораздо шире, чем у девочек, в воспоминаниях приписывается смелость, которая подчас выглядит напускной: «...мы, пацаны, в то время не ходили туда, пограничники не пускали. Да и не боялись, но и не ходили...». Как итог уже взрослой рефлексии звучит фраза: «С той стороны никакого общения не было, хотя свои же были, свои тут и свои там» [НА КарНЦ РАН, ф. 1, оп. 1, кол. 213, ед. хр. 5, л. 20; ед. хр. 6, л. 25].

Граница как витрина советских достижений

Хозяйственное и культурное развитие территорий, расположенных вдоль западных границ СССР, составляло предмет постоянных забот советского правительства. На эти цели выделялись дополнительные ассигнования [Кен, Рупасов, 2000. С. 488–489]. Воспоминания свидетельствуют, что советские пограничные поселения, особенно такие, как Погранкондуши, были своеобразной агитационно-пропагандистской площадкой, витриной страны, демонстрирующей «достижения советской системы». Сюда раньше, чем во многие другие деревни и поселки, было проведено радио и электричество, в 1930-х годах здесь регулярно появлялась кинопередвижка. Этот набор благ цивилизации в воспоминаниях представлен как исчерпывающий, максимально возможный для своего времени:

«Потому что приграничная деревня, у нас все было: электричество, радио было» (6–27). «У нас же тогда электричество горело, потому что граница, а в других деревнях – там, глубже – не было света» (6–26). «Тут, на границе, обязательно это [радио и электричество] было... Тут было, чтобы видели, что у нас электричество, а у них нету. У финнов не было, а у нас было. До 12 [часов] было, потом 3 раза мигнет лампочка, и все. Централизованно отключали электричество. Радио тоже до войны было, тарелки вот эти, громкоговорители, московское вещание» [НА КарНЦ РАН, ф. 1, оп. 1, кол. 213, ед. хр. 5, л. 23; ед. хр. 6, л. 26–27].

В интервью осознание преимуществ жизни людей в пограничье сопровождается подчеркиванием тех минусов, которые были здесь по сравнению с местностями, расположенными дальше, «глубже» от границы: «В Видлице еще не было света, хоть жизнь и была богаче, шире» [НА КарНЦ РАН, ф. 1, оп. 1, кол. 213, ед. хр. 5, л. 23]. Широта и богатство (большее разнообразие) жизни в деревнях, отдаленных от границы, в данном контексте условны: автор тем самым подчеркивает обделенность близких к границе деревень.

Установленный в деревне Погранкондуши обычай особым образом отмечать советские праздники – Международный день трудящихся 1 мая и День октябрьской революции 7 ноября – рельефно запечатлен в детской памяти. Воспоминания об уличной «сценической площадке», на которой разворачивались театрализованные представления, предназначенные для жителей финской деревни Мансила, дополняют и уточняют друг друга.

«Я помню хорошо, в праздники, 1 мая, 7 ноября, у заставы, там, где жили пограничники, возле самой границы (метрах в 20-ти или 30-ти) праздновали, митинг держали, духовой оркестр откуда-то приезжал. Школьники колонной шли на демонстрацию, председатель сельского совета держал речь, кто-нибудь из руководителей приезжал с района. После митинга тут же танцевали. Показывали той стороне, что у нас люди хорошо живут. Мы даже не смотрели в ту сторону. А оттуда даже на забор поднимались девочки да мальчики на праздник посмотреть» [НА КарНЦ РАН, ф. 1, оп. 1, кол. 213, ед. хр. 3, л. 12].

Другой вариант воспоминаний подчеркивает принудительный характер участия местных жителей в такого рода праздниках: «Как-то там танцы были на нашей стороне. На улице, там, около заставы, на этой, на полянке. ...выгоняли силой молодежь, тогда молодежи много было, угощались. А финны с той стороны пришли на границу... Смотрели, как же, одетые такие они... У детей игрушки разные, а у нас еще не было, [мы] сами шили куклы какие-то из тряпок. А они приходили, как наши празднуют...» [НА КарНЦ РАН, ф. 1, оп. 1, кол. 213, ед. хр. 4, л. 14].

Детская память зафиксировала не только необычные игрушки, но и «праздничную», «хорошую» одежду людей по ту сторону границы. Для младших детей это событие было, безусловно, притягательно: «Мы, детишки-то, не строем шли, мы бегом, босиком впереди всех бежали». Взгляд детей подмечал праздничную инверсию будничной нормы, запоминающуюся своей необычностью: «...И разрешалось даже пограничникам: плясали, пели песни, веселились, показывали, как мы хорошо живем». Вовсе недетским кажется сегодня внимание к фразам, долетавшим с той стороны границы: «И кричат, там... у кого родня? "Еще ли живой, вот там... Иван Васильевич? Передайте привет ему"» [НА КарНЦ РАН, ф. 1, оп. 1, кол. 213, ед. хр. 4, л. 14; ед. хр. 5, л. 20; ед. хр. 7, л. 33].

Эти «образцово-показательные» праздники становились событием и для советской, и для финской деревни. Взрослых они привлекали не потому, что «звучала хорошая музыка», выступал духовой оркестр пограничников и самодеятельные коллективы сельского клуба, а в первую очередь из-за возможности увидеть знакомые лица или услышать родной голос.

В результате Второй мировой войны граница была перенесена, и традиция «демонстрации советских успехов» в этой местности потеряла смысл: «Когда мы вернулись из эвакуа-

ции*, то в очередной праздник я брату говорю: «Ну, Федя, мы теперь пойдём на демонстрацию». А пришли, и никакого праздника нет...» [НА КарНЦ РАН, ф. 1, оп. 1, кол. 213, ед. хр. 3, л. 12]. Вместе с границей исчезла и локальная традиция театрализованных представлений, ориентированная на зарубежных зрителей.

Люди по ту сторону границы. «Они так же выглядели, как и мы»

Взгляд подростка, украдкой брошенный через границу, подмечал принципиально важные для формирующегося человека моменты: сходство и различие чужого, заграничного с местным, привычным: «У нас огород был очень близко к границе, так мама и сестры предупреждали меня: "Не смотри туда!" Там дети кричат, на изгородь поднимаются. Они так же выглядели, как и мы» [НА КарНЦ РАН, ф. 1, оп. 1, кол. 213, ед. хр. 3, л. 12].

Среди людей по ту сторону границы в воспоминаниях особо выделяются дети. Не только потому, что именно на них обращали внимание ровесники с советской стороны, но и в силу того, что по обе стороны границы маленькие дети беспечно нарушали установленные правила. «Детям даже не разрешали смотреть в сторону финской границы, отвечать на вопросы с той стороны. Иногда дети с финской территории висели на заборе и что-нибудь кричали, спрашивали» [НА КарНЦ РАН, ф. 1, оп. 1, кол. 213, ед. хр. 3, л. 12].

С колхозного луга в д. Погранкондуши прекрасно просматривалась финская деревня Мансила: «А сенокос был там внизу... и видать их дома. Видать, как они на великах ездят, да разговаривают, да кричат...» [НА КарНЦ РАН, ф. 1, оп. 1, кол. 213, ед. хр. 4, л. 14]. Велосипед – символ подросткового покорения пространства – был предметом вождения советских детей, территориальное поведение которых нормировалось многими ограничительными факторами, включая дефицит элементарных предметов повседневного быта.

«Может, там веселее жить?». Преодоление «священного рубежа»

Разорванные с установлением советско-финляндской границы родственные связи – тема, которая присутствует практически во всех воспоминаниях в виде семейных преданий: «...все-го их было 5 братьев, эти братья, естественно, поехали в Финляндию, когда границы Ленин за-

* Речь об эвакуации населения Карелии в 1941–1944 гг.

крыл. Отец поехал бы тоже, потому что это была его родина, а у них [с матерью] уже было трое детей, и мама сказала: я в чужую страну не поеду. Он, конечно, вынужден был остаться здесь, и он всю жизнь очень страдал из-за этого» [НА КарНЦ РАН, ф. 1, оп. 1, кол. 213, ед. хр. 7, л. 32].

Драматизм ситуации усиливался географической близостью ставших недоступными родственников, магнетизмом родительского дома по ту сторону границы: «Там же и знакомые были, родня была. Вот Вергеля назывались, так что там, полкилометра из Кавайно, через ручей прошел – и уже дома... Он [дед], все равно, не смотря на то, что границу закрыли, ходил туда ночью, прятался» [НА КарНЦ РАН, ф. 1, оп. 1, кол. 213, ед. хр. 6, л. 25].

Вырабатывались особые ритуалы, связанные со спецификой жизни. Например, дымок из трубы в доме родственников по ту сторону границы – признак жизни – был своего рода утешением, а наблюдение за дымовой трубой становилось для конкретных людей ритуальным элементом повседневности: «...бабушка встанет [утром], пойдет туда на крыльцо (сейчас нету таких сходней, раньше были такие сходни деревенские), поднимется: «А надо хоть посмотреть, у Авдотьи топится ли печка, идет ли дым из трубы...» [НА КарНЦ РАН, ф. 1, оп. 1, кол. 213, ед. хр. 8, л. 46].

Подобные наблюдения позволяли сверить ритм собственной повседневности с порядком, заведенным у родственников: «Наш дом высокий был, двухэтажный, а родительский дом отца – через границу, видно было даже. Он утром вставал, смотрел на свой дом и все говорил: вставайте, у меня дома уже печка топится...» [НА КарНЦ РАН, ф. 1, оп. 1, кол. 213, ед. хр. 7, л. 32]. Таким образом поддерживалось ощущение родственных связей и происходило символическое преодоление границы.

Если взрослые осознавали опасность, а порой и судьбоносность перехода границы, то маленьких детей, как уже отмечалось, могли увести за запретную черту любопытство или неосторожность: «...маленькие еще, пять лет было, мне подружка говорит: «Лиза, давай перейдем. Там, смотри-ко, какие игрушки у них хорошие, и играют на этих, на гармошках губных. Давай перейдем, может, там веселее жить будет, лучше». Она перешла через изгородь, не тут только, около заставы, а повела меня туда в тень, а там была простая такая... изгородь. Она туда перешла, и я перешла. Пограничник финский увидел, подошел, нас бросил через границу, через забор назад. <...> Никто [из родных] даже долго не знал [о случившемся], потому что

меня забрала там одна женщина. «Это, – говорит, – арестовые... Марш домой, пока зад не надеру вичкой...» [НА КарНЦ РАН, ф. 1, оп. 1, кол. 213, ед. хр. 4, л. 13]. Пропагандистское клише 1930-х годов «Жить стало лучше, жить стало веселей» в этом фрагменте присутствует как маркер недетской рефлексии и как способ сверки «личного времени» с ходом истории страны.

Пограничные были

В воспоминаниях встречаются рассказы с общими сюжетами, смысловым стержнем которых является переход границы или ее символическое преодоление. Одна из таких историй рассказана дважды: самой участницей события и ее родственницей (женой брата).

«Свекровь рассказывала о том, как ее маленькая дочь Надя чуть не перешла границу. Ее не взяли в детский сад, как дочь арестованного врага народа. Девочка, видимо, увидела, куда мать пошла на сенокос (у самой границы), и направилась в ту сторону. Свекровь вспоминала: работаю на сенокосе, смотрю – пограничник идет, ведет маленькую девочку, только волосы белые мелькают – напугалась: это Надя моя! Хорошо, попала пограничникам, а то могла бы уйти на ту сторону. С тех пор ее стали брать в детский сад» [НА КарНЦ РАН, ф. 1, оп. 1, кол. 213, ед. хр. 3, л. 12].

Приведенный выше рассказ, передававшийся из уст в уста, отличается от версии непосредственной участницы этой истории: «Еще до войны меня в садик не брали. У врага народа нельзя и ребенка взять, а то враг там будет, среди них. Мама меня на покос водила, а на второй день ее в другое место отправили. Возле границы... Утром я встала, дома же нет никого, оделась немножко да пошла маму искать по следам, где вчера была. Иду-иду, да я и границу перешла. Свои военные уж меня манят-манят, но они же по-русски говорят, а я же ничего не понимаю, иду да иду, мать искать иду. Все равно меня выманили оттуда. ...А после того, как пограничники меня выманили оттуда, меня на заставу [отвели]. Я ничего не соображала, мое дело какое. А на заставу вечером мать пригласили. С заставы уже в сельский совет, да велели в садик устроить. На другой день я уже в садике была, тут уже меня в садик взяли» [НА КарНЦ РАН, ф. 1, оп. 1, кол. 213, ед. хр. 5, л. 19].

Если в первом случае граница не была перейдена, то во втором случае этот переход состоялся. Характерные детали ситуации, содержащиеся в последнем варианте, делают его непохожим на детскую фантазию. Вместе с тем

нельзя не заметить, что текст стилистически отшлифован в результате многократного рассказывания. В первом же варианте факт перехода границы мог быть преднамеренно изъят из-за осторожности взрослого человека, который ввел эту историю в местный «оборот».

Особый интерес представляют типовые рассказы с «бродячим сюжетом» о хитроумных способах передачи информации за границу, когда с формальной точки зрения никаких нарушений не происходило. Это становилось возможным из-за незнания русскими пограничниками карельского и финского языка. Например, громко разговаривая между собой, колхозники на сенокосе могли включать в свой диалог необходимую информацию, которую хотели бы донести до людей, находившихся по другую сторону границы. Наиболее интересной с точки зрения заключенных в ней архетипов является неоднократно услышанная история, действие которой разворачивалось на берегах речки Вешкельзоя. Мать и дочь, жившие по разные стороны границы, приходили на реку полоскать белье. Находясь на разных берегах, они поочередно пели песни, в которых в виде монолога-импровизации рассказывали о собственной жизни и в песенной форме задавали вопросы о жизни по другую сторону реки.

Пограничник и шпион: социальные границы и социальные дистанции

Пограничье рождает свои социальные границы и социальные дистанции. Двумя оппозиционными фигурами социокультурного ландшафта, запечатленного памятью детства, являются пограничник и нарушитель границы. Коллизии, возникающие вокруг одной и другой символических фигур, и сами эти фигуры привлекали внимание детей.

Взрослые, относившиеся к пограничникам как к представителям власти, нередко запрещали детям общаться с ними: «Нет, нам не давали ...Свои, родители не разрешали... Они идут на смену, смотрим, вдвоем с собакой... Мимо домов ходили. К нам-то заходили, но мы очень боялись сперва, [когда] маленькие были. Наши родители уходят на сенокос или куда, ...отец оставлял записку. Если пограничники приходили, то мы со старшей сестрой показывали им эту записку, а малыши прятались» [НА КарНЦ РАН, ф. 1, оп. 1, кол. 213, ед. хр. 4, л. 15]. Но запреты взрослых и в этом отношении действовали не всегда. Личный опыт общения с пограничниками приобретали, прежде всего, мальчики: «Мальчишкам интересно было посмотреть: лошадей, как они тренировались на лошадях...

Мы не умели по-русски-то, но кое-как говорили. Фуражки мерили. Собаки у них были... Нам не давали с ними играть, нельзя. Пограничники с собаками ходили на границу, хорошие, веселые ребята были» [НА КарНЦ РАН, ф. 1, оп. 1, кол. 213, ед. хр. 9, л. 51].

Нарушителей границ в воспоминаниях именуют с использованием различных понятий: беглец, шпион, перебежчик, нарушитель. Иногда со всей очевидностью проявляются попытки осмыслить разнообразие состава людей, переходивших границу: «*Как границу нарушали, а нарушения часто были, они [пограничники] подымали людей в любое время дня и ночи, чтобы поймать этого беглеца, помочь поймать этого шпиона, или как его можно еще назвать. Обязательно помогали. Пока не поймают, поиски не прекращали, все время искали»* [НА КарНЦ РАН, ф. 1, оп. 1, кол. 213, ед. хр. 6, л. 25].

Сообщение пограничникам о появлении «чужака», а тем более его задержание, стимулировалось не только морально (дети становились героями местной школы), но и материально (наградой могли служить часы, патефон или другая ценная вещь). Но к концу 1930-х гг. доверие к власти было в значительной мере подорвано, и нормой поведения все более становилась семейная установка: молчать. «*В лесу видели [чужих], дак боялись говорить – еще затаскают... Учили [в школе]: незнакомый – доложить надо, в школе – завучу или директору или в сельсовет. А мы никого не видели, нечего докладывать. Мы не умели шпионить... Встречали, так молчали. Нет, один, Юдин, он поймал шпиона. Герой. Ему даже дали медаль какую-то, не помню какую. Часы карманные подарили... Пришел на хутор – там далеко – мужик хлеба просить, бабка там как раз пекла хлеб. Бабка: “Хлеб еще не готовый, подожди”, а мальчику: “Беги быстрее на заставу”. Пока мальчик бежал туда, у бабки даже хлеб в печке сгорел, не вынимала, пока мальчик не вернется. Вот его и поймали, вот и Юдину тогда дали... Мы смотрели, удивлялись: какие часы. На часах еще сетка была какая-то сделана, чтоб стекло не разбить. Такая, полосками. И цепочка, в кармане носить»* [НА КарНЦ РАН, ф. 1, оп. 1, кол. 213, ед. хр. 9, л. 53]. В рассказ «о подвиге Юдина» имплантирован «пограничный сюжет», упорно навязывавшийся советской пропагандой 1930-х гг. Его фабула состоит в том, что взрослые отвлекают внимание подозрительного чужака, отправляя детей в качестве гонцов на заставу. Подобную гибридность текстов можно рассматривать как результат «принудительной ассоциации» [Гусейнов, 2005. С. 19].

Перемещенная граница. Освоение нового пространства

Память сохранила послевоенное детское ощущение расширившейся свободы в связи с перемещением линии границы на запад. Подросстки наряду со взрослыми постепенно осваивали новые территории: «*Уже границы нет, знаешь это и чувствуешь себя более свободно. А так мы, пацаны, далеко не ходили в ту сторону. А когда границу отодвинули, дак мы бегали туда... [На той] стороне много кое-чего оставалось...*» [НА КарНЦ РАН, ф. 1, оп. 1, кол. 213, ед. хр. 6, л. 30].

Ландшафт, созданный границей, точнее, его следы сохранялись и после перемещения государственных рубежей в результате второй мировой войны. Это не только просеки и канавы, городки пограничных застав, но и проложенные пограничниками лесные тропы: «*...я бегала на Ладугу стирать... с сестрой бегали... пограничников вспоминали, от пограничников, от их лошадей дорожки [остались], маленькие... У них своя работа, им надо было шпионов ловить...*» [НА КарНЦ РАН, ф. 1, оп. 1, кол. 213, ед. хр. 4, л. 15].

Итак, память о детстве многослойна. Рассказы о себе содержат не только личный опыт пережитого, семейные истории, но и десятилетиями циркулирующие в локальных сообществах и отшлифованные многократными пересказами повествования-были о коллективном или чужом опыте. В ряде воспоминаний можно увидеть влияние учебных и пропагандистских текстов, свидетельствующее о том, что официальный дискурс выступает фактором конструирования исторической памяти, в том числе и памяти о жизни советского приграничья.

В воспоминаниях о детстве есть значительный пласт, в котором запечатлены детали повседневности советского пограничья, символические предметы и персонажи границы, ситуации, порожденные спецификой погранполосы. Эта информация раздвигает рамки исследований по антропологии приграничья, позволяет понять характерные особенности жизни «детей фронта». Социальная реальность пограничья в воспоминаниях о детстве оказалась значительно более сложной, чем схемы официального дискурса. Несовпадение государственных предписаний, семейных, а также личных интересов человека проявилось в разнообразных формах взаимодействия детей со взрослыми, наделенными различной силой власти. Святость родственных связей

вступала в конфликт с официальным мифом о священности государственных рубежей.

В пограничье выстраивание детьми собственной идентичности шло в условиях эмоционального осмысления государственной границы. При этом сравнение осуществлялось не только с заграницей, чужесты которой смягчалась наличием родственных связей, но и в сравнении с территориями своей страны, лежащими «глубже». Происходило осознание своей «инаковости» по отношению как к «чужим», так и к «своим».

Литература

Безрогов В. Г. Помнить нельзя забыть: коллективная память, воспоминания о детстве и тема войны в учебниках для начальной школы конца 1940-х – начала 2000-х гг. // Вторая мировая война в рамках детской памяти: Сб. науч. ст. / Ред. А. Ю. Рожков. Краснодар: Экоинвест, 2010. С. 31–65.

Граница и люди: Воспоминания советских переселенцев Приладожской Карелии и Карельского перешейка / Ред. Е. А. Мельникова. СПб.: Изд-во Европ. ун-та, 2005. 484 с.

Гусейнов Г. Карта нашей родины: идеологема между словом и телом. М.: ОГИ, 2005. 214 с.

Заерко А. Л. Кровавая граница. Кн. 1. 1918–1939. Минск: Камерон-Д, 2002. 271 с.

Замятин Д. Н. Гуманитарная география: пространство и язык географических образов. СПб.: Алетей, 2003. 331 с.

Илюха О. П. Пограничник и шпион в учебно-воспитательных текстах для школьников: грани мифотворчества сталинского времени // «Букварь – это молот»: Учебники для начальной школы на заре советской власти, 1917–1932 гг. Сб. науч. трудов и материалов / Ред. Т. С. Макарова, В. Г. Безрогов. М.: Азимут; Тривант, 2011. С. 133–149.

Кайсто В., Нартова Н. Двойной город Иматра-Светогорск. Лаппеенранта, 2008. 166 с.

Кен О. Н., Рупасов А. И. Политбюро ЦК ВКП(б) и отношения СССР с западными соседними государствами (конец 1920–1930-х гг.). Проблемы. Документы. Опыт комментария. СПб.: Европ. дом, 2000. 704 с.

Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем. М.: Едиториал УРСС, 2004. 256 с.

Мусаев В. И. Россия и Финляндия: миграционные контакты и положение диаспор (конец XIX – 1930-е годы). СПб.: Изд-во политех. ун-та, 2007. 484 с.

Научный архив Карельского научного центра РАН (в тексте – НА КарНЦ РАН).

Осорина М. В. Секретный мир детей в пространстве мира взрослых. Изд. 5-е. СПб.: Питер, 2009. 297 с.

Разумова И. А. Потаенное знание современной русской семьи. Быт. Фолбклор. История. М.: Индрик, 2001. 376 с.

Россия и Финляндия в XVIII – XX вв. Специфика границы. СПб.: Европ. дом, 1999.

Рупасов А. И., Чистиков А. Н. Советско-финляндская граница. СПб.: Европ. дом, 2000. 162 с.

Рупасов А. И., Чистиков А. Н. Советско-финляндская граница. Очерки истории. СПб.: Европ. дом, 2007. 222 с.

Figes O. The Whisperers: Private Life in Stalin's Russia. London: Allen Lane, 2007. 740 p.

Frontières du communisme. Mythologies et réalités de la division de l'Europe de la révolution d'Octobre au mur de Berlin / Sous la direction de S. Coeuré et S. Dullin. Paris, 2007. 462 p.

Hämynen T. Liikkeellä leivän tähden. Raja-Karjalan väestö ja sen toimeentulo 1880–1940. Helsinki, 1993. 562 s.

Ilyukha O. La «frontière verrouillée»: images, symboles et réalités de la frontière dans l'éducation des écoliers

soviétiques des années 1930 au début des années 1950 // Frontières du communisme. Mythologies et réalités de la division de l'Europe de la révolution d'Octobre au mur de Berlin / Sous la direction de S. Coeuré et S. Dullin. Paris, 2007. C. 336–357.

Lähteenmäki M. Maailmojen rajalla. Kannaksen rajamaa ja poliittinen murtumat 1911–1944. Hämeenlinna: Kariston Kirjapaino Oy, 2009. 469 s.

Paasi A. Territories, boundaries and consciousness: the changing geographies of the Finnish-Russian border. Chichester: John Wiley & Sons, 1996. 353 p.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ:

Илюха Ольга Павловна

зам. директора по научной работе, д. и. н.
Институт языка, литературы и истории
Карельского научного центра РАН
ул. Пушкинская, 11, Петрозаводск,
Республика Карелия, Россия, 185910
эл. почта: iljuha@krc.karelia.ru
тел.: (8142) 781886

Ilyukha, Olga

Institute of Language, Literature and History, Karelian Research
Centre, Russian Academy of Science
11 Pushkinskaya St., 185910 Petrozavodsk, Karelia, Russia
e-mail: iljuha@krc.karelia.ru
tel.: (8142) 781886

УДК 78

ФОЛЬКЛОРНАЯ ТРАДИЦИЯ И МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ ПРИГРАНИЧЬЯ: НАЧАЛО ТВОРЧЕСКОГО ПУТИ АНСАМБЛЯ «ТОЙВЕ» (1982–1992)

Пекка Суутари

Университет Восточной Финляндии

Ансамбль народной музыки «Тойве» был создан в Петрозаводске 1982 году. В статье рассматривается деятельность и особенности репертуара этого коллектива в первые десять лет его существования. Особое внимание уделяется роли народной музыки, возрожденной усилиями молодых исполнителей в 1980-е годы, в популяризации национальной культуры, а также тому взаимному влиянию музыкальных культур стран-соседей, которое сказалось на характере и репертуаре ансамбля «Тойве» в начале его творческого пути. Географическая близость границы и новые возможности фольклорной деятельности послужили предпосылками для формирования особого музыкального ландшафта Петрозаводска и создали основу для будущего подъема петрозаводской народной музыки и фолк-рока в 1990-е годы. Молодое поколение ансамбля «Тойве» сумело найти новые формы исполнения и методику собирания народной музыки, которые впоследствии образовали собственную традицию, свою национальную культуру. В статье также обсуждается важное социальное значение ансамбля «Тойве», которое он имел для молодых участников коллектива.

Ключевые слова: ансамбль народной музыки, «Тойве», этномузыкология, карельский фольклор, молодое поколение, народная песня, народный танец, финская музыка пелиманни, руководитель хора.

Pekka Suutari. THE FOLK TRADITIONS AND YOUNG GENERATION OF THE BORDERLAND: ONSET OF THE TOIVE ENSEMBLE ARTISTIC CAREER (1982–1992)

The Karelian Folk Music Ensemble “Toive” was founded in Petrozavodsk in 1982. This article studies its activities and repertoire during the first 10 years. The key questions in the article are: what was the role of new folk music performed by the young in the Republic of Karelia, and how the cross-border interaction with Finland affected its functioning. The closeness of the border and the new chances were typical features for the development of the musical landscape in Russian Karelia and created a foundation for the rise of the success of folk music and folk rock that emerged in Petrozavodsk during the 1990s. In the ensemble “Toive” the young generation learned new methods of performing and collecting folk music so that it became part of their own tradition, their personal embodiment of national culture. In the article also the social role of the group for its participants is analyzed via interviews.

Key words: folk music, ensemble “Toive”, ethnomusicology, Karelian folklore, young generation, folk songs, folk dances, Finnish folk music, director of choir.

Исследование современной культуры уже на протяжении пары десятков лет занимает весьма существенное место в этномузикологии и других этнографических и антропологических дисциплинах, однако вопрос об объектах исследования, постановке проблемы и методах изучения по-прежнему не утратил актуальности. Под современной культурой понимается исследование собственной, чаще всего городской среды с помощью таких этнографических методов, как интервью, мониторинг СМИ, простое, так называемое не включенное наблюдение «со стороны» и внутреннее наблюдение, предполагающее непосредственное участие исследователя в жизни изучаемого социума. Когда объектом исследования становится современность, горизонты исследования раздвигаются практически до бесконечности и предлагают такое огромное количество возможных вариантов, что ответственность за их выбор ложится исключительно на самого исследователя [Lehtonen, 1994]. Объекты исследования могут оказаться весьма обширными, поэтому целью исследователя является описание объекта и определение круга исследовательских вопросов на основе отобранных им методов. Хотя некоторые темы выглядят в общем ряду проблем несколько обособленно, при ближайшем рассмотрении оказывается, что они всегда имеют непосредственную связь с окружающей действительностью, с другими объектами, и задача исследователя – вычленив из этого многообразия материал для исследования и сформулировать тему.

В этномузикологии, которая является для автора данной статьи главной сферой научных исследований, изучение различных меньшинств начиная с XIX века представляет собой в основном наблюдение и фиксацию объектов на информационные носители. Однако следует заметить, что подобные исследования выполняются в контексте, который считается традиционным (историческим), тогда как урбанистической культуре уделяется на этом фоне заметно меньшее внимание. В качестве примера подобного классического исследования можно назвать книгу Рут Финнеган *“The Hidden Musicians”* [Finnegan, 1989], в которой автор рассматривает восемь «музыкальных миров» своего родного британского города с точки зрения живущих в нем непрофессионалов – хоровых певцов и музыкантов кантри и вестерн. Примерами другого типа являются монография об американских поляках [Keil, 1992], исследование о ливерпульских рок-площадках (Cohen, 1994) и книга об английских ночных клубах [Thornton, 1995].

Очень важные методологические вопросы широко обсуждались на междисциплинарных культурологических форумах. Исследования британского Центра современных культурных исследований в Бирмингеме (Centre for Contemporary Cultural Studies), выполненные в духе идей французской философии, оказали очень заметное влияние на практически всю сферу исследований, особенно в области гуманитарных и общественных наук, и способствовали внедрению принципов качественного исследования в тех отраслях науки, объектом изучения которых являются общество и культура, в частности, в медицинских, географических и педагогических науках. Хотя в широком смысле культурология не является автономной научной дисциплиной, взаимодействие различных научных областей очевидным образом указывает на меняющуюся парадигму, культурный поворот в общественных науках и критическое отношение к культурным традициям в гуманитарных науках 80–90-х годов XX века.

С точки зрения этнографии в целом и этномузикологии в частности важно рассматривать современность не как единственно возможное следствие истории, а как осознаваемое пространство будущих конкурирующих сценариев исторического развития. Современность, таким образом, оказывается результатом совершенно конкретного выбора, который был сделан в прошлом. Поскольку существующая культурная реальность могла бы сложиться совершенно иным образом, чем в настоящий исторический момент, культуролог получает возможность выразить свое отношение к различным вариантам развития культуры в будущем. Он стремится реконструировать прошлое исходя не из современных позиций, а с точки зрения того, каким образом нынешние привычные культурные практики можно возвести к культурно-политическим практикам, доминировавшим в свое время и определявшим жизнь простых людей, поэтому современная культурология во многом представляет собой изучение повседневной реальной действительности.

Когда исследователь имеет возможность широкого выбора, он сталкивается с опасностью чрезмерно увлечься сбором материала, поскольку перед ним не поставлена четкая цель и исследовательская задача. Журналист вполне мог бы быть удовлетворен подробным описанием какого-либо явления, но от научного исследования, как правило, ожидается системный подход к проблеме. Все изучить невозможно, поэтому материалом исследования не

может быть абсолютно все, как пишет Сеппо Кнууттила [Knuuttila, 2010]. Необходимо определиться с точкой зрения и перекрестно осветить выбранную тему. Важно понять, в чем заключается в данный момент роль ученого при формулировании исследовательских вопросов. Как известно, ответы на них во многом зависят от поставленных вопросов и степени взаимодействия исследователя и объекта изучения.

«Тойве» как объект исследования культуры приграничья

Объектом исследования этой статьи является ансамбль народной музыки «Тойве», который был создан при Петрозаводском государственном университете в 1982 году. Мы попытаемся ответить на вопрос, какова была роль фольклорно-музыкальной традиции, возрожденной усилиями молодых исполнителей, в популяризации национальной культуры, а также какое влияние оказала зарубежная музыка на характер и репертуар ансамбля «Тойве» в начале его творческого пути. Ансамблем с момента основания и по сей день руководит его создатель Генрих Туровский, которому на протяжении уже почти 30 лет помогают хореограф Раиса Калинкина и музыкант Игорь Архипов. За несколько десятилетий в ансамбле сменилось не одно поколение молодежи, которая приходила учиться танцевать, петь и играть в основном из Петрозаводского университета и городской школы № 17 [Жукова, 1990. С. 95].

Особое внимание в статье уделяется приграничному расположению Карелии, во многом определившему своеобразие этого коллектива в 1982–1992 годах. В тот период ансамбль поначалу ездил с выступлениями по Карелии, а затем выезжал в другие регионы СССР, в Финляндию и, наконец, в декабре 1992 года – в США.

Осенью 2011 года я работал в качестве приглашенного исследователя в Институте языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН в рамках проекта «Гибкие этничности» (Flexible Ethnicities). Фольклорная музыка Карелии находится в сфере моих интересов с 1992 года, с того времени, когда я стал регулярно ездить в Петрозаводск и когда мне впервые выпала возможность услышать ансамбль «Тойве» во время репетиций. С того времени многие участники коллектива стали моими друзьями, и мы встречаемся с ними как в Петрозаводске, так и в Финляндии [ср. Hall, 1992. С. 66].

Основной материал статьи составляют интервью, записанные мной в Петрозаводске осенью 2011 года, а также записи ранней музыки ансамбля «Тойве», собранные Арто Ринне и выпущенные на компакт-диске в 2007 году.

Национальная культура в Карелии со времен основания республики играет, как известно, важную общественно-политическую роль. Помимо самой Карелии во многих других странах также существует интерес к карельской культуре, особенность которой заключается в том, что она находится по обе стороны границы двух стран. Однако для нас важно рассмотреть деятельность ансамбля на уровне местной культуры, определить его значение в его собственном окружении и среди его непосредственных участников. Для приграничных территорий в рассматриваемый период решающее значение имел слом идеологических установок холодной войны и распространение взаимного влияния в приграничных регионах.

В статье не затрагиваются особенности музыкальных произведений, исполняемых ансамблем, их мелодии или стихи как таковые. Основное внимание уделяется самой приграничной территории, значительнейшим образом повлиявшей на становление и судьбу ансамбля «Тойве», взаимоотношениям музыкантов, сложившимся «поверх барьеров», и тем условиям, в которых карельской современной народной музыке стало наконец важно завоевать себе определенное место на международной сцене.

Возникновение коллектива и его место на музыкальной сцене

Поначалу ансамбль «Тойве» Петрозаводского госуниверситета представлял собой во многом обычный фольклорно-музыкальный коллектив, задача которого заключалась в популяризации национальной культуры через исполнение карельских и финских народных песен и танцев. Подход молодых исполнителей к народной музыке оказался для своего времени весьма необычным, в особенности это касается инструментальной группы, которая численно значительно превосходила аналогичные группы в традиционных ансамблях. Ансамблю также удалось сохранить очевидную связь между исполняемыми произведениями и живой традицией, во многом благодаря полевой работе во время гастрольной деятельности. При этом молодой коллектив заявил о необходимости поддержки и обновления местной традиции через взаимовлияние музыкальных культур стран-соседей. Впоследствии в си-

лу целого ряда художественных и социальных причин «Тойве» превратился в весьма своеобразную группу. Ансамбль сравнительно легко достиг художественных целей, изначально поставленных перед ним, но важно отметить, что в первую очередь он стал для своих участников тем коллективом, который не только формировал уважительное отношение к финской культуре, но и послужил своеобразным трамплином практически для всех фолк-рок-музыкантов республики.

Идея создания ансамбля была предложена в 1982 году активными деятелями национального искусства Республики Карелия. Писатель Яакко Ругоев пригласил к себе Генриха Туровского. В 1985 году должна была отмечаться очередная годовщина публикации «Калевалы», в связи с чем ожидалась целая череда международных юбилейных мероприятий, приуроченных к этому событию. Кто-то из вдохновителей обронил фразу о том, что консерватория в Карелии была, а фольклорной музыки не было. По мнению Ругоева, не иметь собственного молодежного ансамбля в республике было стыдно. Изменившаяся позиция Карелии в отношении Финляндии и остального мира была основным фактором в стремлении продемонстрировать собственные творческие умения. К мнению Ругоева присоединился директор и главный режиссер Национального театра Тойво Хайми. Генрих Туровский, который на тот момент уже имел десятилетний опыт руководства Вепским народным хором и преподавания в Петрозаводской консерватории, взял осуществление этой задачи на себя.

По словам Туровского, решение о том, где лучше создавать ансамбль, при Национальном театре или при Петрозаводском университете, было принято не сразу. Туровский остановил выбор на университете, поскольку, во-первых, он уже привык работать с непрофессиональными музыкантами, во-вторых, там было много молодежи. Затем он обратился в Институт языка, литературы и истории и в Петрозаводскую консерваторию с просьбой предоставить для работы образцы народной музыки, собранные в деревнях в 1960–70-е годы. Вепский хор располагал очень незначительным материалом на своем языке, но зато карельских песен у него было предостаточно. Эти обстоятельства также повлияли на решение Туровского возглавить вновь создаваемый коллектив.

Туровский сблизился с Марией Муллонен, работавшей в то время заведующей кафедрой финского языка и литературы в университете, и ее мужем Юхо Муллоненом. Они с воодушевлением восприняли новую идею, хотя поначалу

полагали, что речь идет только лишь о создании вокального квартета, подобного ансамблю «Манок», который некогда работал в Национальном театре. Мария Муллонен оказывала большую поддержку создателю коллектива, рассказывала студентам о создаваемом ансамбле, и в результате на первую репетицию, где производился отбор в вокальную группу, пришло 13 девушек. Туровский объяснил, что без участия юношей группа существовать не может, поскольку многие песни должны сопровождаться хороводными плясками. На следующую репетицию Мария Муллонен привела уже всех юношей, которые обучались на отделении финского языка в то время. В результате все остались в коллективе. Генрих Туровский рассказывает:

– Я твердо верю, что карельскую культуру можно возродить. На наши концерты приходили очень заинтересованные люди, студенты потом с благодарностью подходили к нам, когда слышали народные песни. Я изучал историю национального костюма и узнал, что во время войны финские солдаты скупали все народные костюмы. К счастью, я познакомился с хорошими специалистами из Финляндии, уже не из университетской среды, и они предложили мне свою помощь. Все с большим воодушевлением поддерживали меня.

Ансамбль ездил с выступлениями по карельским деревням, и особое настроение многих гастрольных концертов навсегда с тех пор осталось в памяти. Радиожурналист, который оказался свидетелем гастрольей ансамбля в одной из деревень, подтвердил, что у сотен ее жителей во время концерта выступали слезы. Концерт был своеобразным знаком уважения к традиции в лице местных жителей. Многие известные писатели во время выступления ансамбля в Калевале поднимались прямо на сцену, чтобы обнять студентов. Впоследствии студенты удивлялись: «Кто мы такие, что нас так принимают?» [интервью с Туровским, 2011]. Постепенно начинающие музыканты стали понимать, какую силу несет в себе музыка, а также то, какую роль играет их коллектив в возвращении уважения к местной культуре и ее возрождении.

С другой стороны, помимо запланированных выступлений коллектив получил возможность записать в Калевале песни непосредственно от самих жителей. Позже, к примеру, в ансамблях «Мюллярит» и «Саттума» основную часть репертуара составляли песни, собственноручно записанные участниками коллективов в Беломорской Карелии. Таким образом, музыканты учились методике полевого сбора материалов

традиционной культуры. Туровский рассказывал, что благодаря знакомствам постановщика карельских танцев, хореографа ансамбля Раисы Калинкиной удалось собрать материал и в южнокарельских деревнях. Вокальной группой ансамбля руководила Галина Химич (в то время – Гальпер).

Молодое поколение

Основной движущей силой коллектива были молодые исполнители. В 1980-х годах большую часть участников ансамбля составляли студенты отделения финского языка Петрозаводского университета, при этом многие из них были друзьями еще со школьных времен. Активное общение продолжалось и помимо учебы с репетициями: все вместе отмечали дни рождения, 8 Марта и другие праздники, вместе ходили в кино и вообще использовали любую возможность для общения. Рабочим языком репетиций был русский, однако участники ансамбля активно использовали и финский язык. Таня Ройвас (Кокконен) рассказывала, что раз в месяц на отделении проходило заседание клуба «Керяхмо»:

– Собирались раз в месяц, говорили только по-фински. Приглашали нашего преподавателя Сантери Пакканена, который был журналистом «Пуналиппу», и Тойво Тупина. А затем вся программа шла на финском языке. Мы тогда даже не знали, что вообще когда-нибудь попадем в Финляндию. Это была как отдушина, источник, из которого мы черпали силы для сохранения финской и карельской культуры.

Преподаватели также не оставались в стороне: «Пекка Зайков и Юкка Киуру приходили пару раз на репетиции послушать, правильно ли мы поем. Поправляли нам произношение» [Ройвас (Кокконен), 2011]. Так или иначе практически все имеющие отношение к национальной культуре, кто в большей степени, кто в меньшей, были вовлечены в деятельность ансамбля. Арто Ринне вспоминает о том духе солидарности и сплоченности коллектива, который ощущался в ансамбле перед его уходом в армию:

– Там было особое духовное единение, очень сильное. Хотя, конечно, нам ведь всем было по двадцать лет, все были друзьями, учились на одном отделении. По окончании университета мы все равно встречались почти ежедневно, на всяких вечеринках, репетициях или на концертах. Мы стали по-настоящему дружной командой. Народу через ансамбль прошло много, но часть, естественно, отсеялась. Остался очень крепкий костяк, и вот уж

когда действительно было грустно, так это когда пришлось оставить ансамбль на целых два года. Для «Тойве» стало почти катастрофой, когда сразу семи-восьми парням пришлось уйти в армию. А это большая часть танцевального и вокального состава, всей его мужской половины. Но всегда приходят новые люди, и все продолжается, и так снова и снова. Но именно те годы, 1984, 1985, это особенное время, которое вспоминают во многих семьях и сейчас.

П. Суутари: Это ведь стало большим достижением, тот концерт в Москве, да и некоторые другие выступления.

А. Ринне: Да, тогда еще было советское время, но нашему руководителю Туровскому удалось добиться для нас отсрочки от армии, на целый месяц, а ведь это было что-то небывалое, потому что студенты и так уходили (в армию) позже, после сессии в конце июня. Мы же туда попали аж в конце июля. А через пару месяцев начался уже следующий призыв, то есть в сентябре. Получили отсрочку, и в итоге в армии пробыли неполных два года. Но тот фестиваль молодежи в Москве был таким серьезным событием, что это помогло уговорить даже армейских офицеров. Сейчас такое, наверное, невозможно. Сегодня решают все только деньги.

Летом 1985 года ансамблю была определена настолько важная миссия, что его поездка в Москву на XII Всемирный фестиваль молодежи и студентов была принята военным начальством в качестве уважительной причины для предоставления отсрочки от призыва.

Финский фактор

Деятельность ансамбля в приграничных регионах оказала влияние на его дальнейшую судьбу. После калевальских гастролей коллектив отправился в путешествие по стране, в том числе побывал в Йошкар-Оле, где произвел большое впечатление на эстонского музыковеда Ингрид Рюйтель. После этого состоялось важное выступление в Петрозаводске, на котором присутствовал консул Финляндии. Публика была в восторге от концерта, под конец зал даже встал. После концерта Мария Муллонен пригласила Туровского на встречу с первым секретарем Карельского обкома Владимиром Степановым (который некогда также был послом СССР в Хельсинки). Туровский рассказывает:

– Я держал в руках йоухикко, и Степанов сразу же обратил на него внимание. Я нашел его в Национальном музее Карелии, и когда

узнал, что на нем играют в Финляндии, то организовал группу молодых людей, которым интересно было сделать такой инструмент самим. Создание инструмента – это как заразная болезнь: сначала пятиструнные кантеле, затем йоухикко, потом духовые. Мы изучали старые фотографии и по ним определяли ширину инструментов и все остальные параметры.

Консул Финляндии понял, что этот коллектив – нечто совершенно особенное, и спросил у Степанова, поедет ли ансамбль в Москву. Туровский знал, что состав делегации на Международный фестиваль молодежи и студентов уже утвержден. Но Степанов отреагировал моментально: «Конечно же, поедет!». Туровский поначалу растерялся, но в итоге все сложилось так, что университетский ансамбль народной музыки без лишних бюрократических проволочек и отборов в июле 1985 года отправился в Москву. «Это просто невероятно. Наши ребята стали настоящими национальными героями», – рассказывает Туровский. Московская поездка оказалась очень успешной. Таня Ройвас вспоминает:

– Мы получили приглашение, и нас тут же отправили на фестиваль молодежи и студентов. Там к нам пришла известность. После этой поездки мы стали общенациональным карельским ансамблем, неофициально, конечно. Помню, как нам непрерывно твердили, что мы должны хорошо выступить, что все должно быть как надо, что это необычайно важный концерт. Ну и вроде бы все прошло хорошо. Программа была расписана с утра до вечера, а потом Арто узнал, что там еще будет Финский клуб, где выступают группы «Туулен виетмя» (Tuulen viemä) и «Сиелун Вельет» (Sielun veljet).

Концерт имел огромное значение для будущих карельских рок-музыкантов, потому что участники Финского клуба практически определили дальнейшую их судьбу. В свое время группа «Сиелун Вельет» была очень известна в Финляндии своими безудержными выступлениями и неистовой энергией. Основу их музыки составляло завораживающее исполнение и громкое выкрикивание текстов композиций под безумство команды на сцене. Их выступление шокировало и московских рок-звезд, и карельских музыкантов. По словам Криса Кельми, советские музыканты даже и представить себе не могли, что можно выступать с такой энергией и непринужденностью, как «Сиелун Вельет». Причиной тому не только внешние запреты, но и внутренняя неспособность к такого рода действиям [Troitski, 1988. S. 143].

П. Суутари: Какое впечатление произвели на вас «Сиелун Вельет»?

А. Ринне: Это было что-то невероятное. Как поленом по голове. Хотя они выглядели слегка устрашающе, все равно впечатление осталось очень хорошее, ведь я увидел, насколько неистовым может быть живой рок, насколько полно можно этому отдаваться. Я услышал музыку, которой раньше никогда не слышал. Мне и сейчас очень нравится тот период у «Сиелун Вельет», 85–86-й годы! Потом еще я был под впечатлением от панк-версии «Миллиона алых роз» группы «Пелле Мильоона» (Pelle Miljoona). Именно тогда я понял, что даже такую музыку, которую все слушают и знают, можно исполнять совершенно по-разному.

П. Суутари: Значит, перестройка в некотором смысле начала ощущаться уже прямо на фестивале?

А. Ринне: Перестройки тогда не было еще и в помине, в 85-м году совершенно ничего не ощущалось. Нам было трудно даже на концерт-то попасть, чтоб послушать «Сиелун Вельет». Все здание оцеплено, повсюду товарищи в штатском, говорят, мол, все билеты проданы. Внутри не пускают. Но неожиданно, буквально на улице, мы встретили одного финна, который участвовал в организации концерта, и он дал одной из наших девочек билеты. По его просьбе нас пустили внутрь. Там (на концерте), наверное, все было под контролем КГБ. Это был по тем временам настоящий улет. Исмо Аланко из «Сиелун Вельет» разбрасывал презервативы. Хотя, может быть, это был не он, а кто-то другой из группы, я тогда их всех в лицо еще не знал, так что точно не скажу, кто бросал.

Благодаря концерту Финского клуба в Москве в июле 1985 года участники ансамбля получили колоссальный творческий заряд и опыт политической свободы, о которых рассказывается даже в фильме, посвященном истории ансамбля. В результате коллектив начал будто бы отвергать все то, что имело отношение к политической корректности, превращая все это в объект насмешки и ломая все привычные рамки своими анархическими выступлениями. Однако никаких санкций или соответствующего наказания за это так и не последовало.

В Финляндию ансамбль народной музыки впервые отправился только в 1989 году. Эта поездка оказалась незабываемой, в том числе и для Тани Ройвас.

Т. Ройвас: Да, вот тогда мы и попали в Финляндию, в 1989-м, благодаря перестройке. В Кухмо были построены туристическая деревня Калевала и гостиница с таким же названием. Мы поехали туда выступать на открытие. Про-

вели там что-то около недели: сначала было открытие, потом поехали по городам – Нурмес, Соткамо, Каяни, всех не вспомнишь.

П. Суутари: Как тебе показалась Финляндия в то время?

Т. Ройвас: Раньше я думала, что вот побываешь там хоть разок в жизни, и все – можно умереть. То есть просто хотя бы «увидеть Финляндию». И вот поехали. Все казалось будто из мультфильма какого-то. Леса, дома... Будто город не настоящий, везде так чисто, все как будто нарисовано. Принимали нас очень хорошо. В карельском доме – Бомбан-тало в Нурмесе – был как раз какой-то карельский праздник. Насколько помню, мы даже интервью давали для радио и газет. Нас пригласил Маркку Ниеминен, они, собственно, и организовали нашу поездку.

Гастрольные поездки в Финляндию продолжались, а в 1992 году ансамбль народной музыки Петрозаводского университета в полном составе был приглашен в США. Именно тогда, в начале 1990-х годов коллектив берет себе название – «Тойве». А. Ринне рассказывает:

– Первый раз в Америку мы попали с «Тойве» по проекту «Гармония», у нас были гастроли в Вермонте, штате-побратиме Карелии. Американцы хотели помочь налаживанию взаимопонимания и сотрудничества между США и территориями бывшего СССР. Проект «Гармония» имел множество филиалов по всему Советскому Союзу. В Петрозаводске его офис работал в течение многих лет, и при финансовой поддержке США было реализовано множество разных программ.

Творчество советских, а после развала СССР уже российских исполнителей вызывало удивление, интерес и восхищение, как в Финляндии, так и в Америке [ср. например Ramnarine, 2003]. Для участников ансамбля другие страны, казавшиеся когда-то чужими и далекими, благодаря концертам стали теперь намного понятнее и ближе. Впоследствии многие музыканты, входившие в 1980-е годы в состав этого коллектива, переехали жить в Финляндию как репатрианты.

Инструментальная группа

Еще одной отличительной особенностью университетского ансамбля народной музыки в сравнении с другими хоровыми коллективами (вокальными и танцевальными ансамблями) того времени было то, что в «Тойве» очень быстро сложилась сильная и многообразная инструментальная группа. Уже в середине 1980-х годов в ансамбле было две

скрипки, контрабас, аккордеон, мандолина, йоухикко, двенадцатиструнное кантеле и несколько духовых. Укреплением инструментальной группы ансамбля особенно активно занимался Генрих Туровский, поскольку сам был выпускником Ленинградской консерватории, однако самое решительное влияние на дальнейшее развитие и использование инструментов в ансамбле оказал Игорь Архипов, посвятивший «Тойве» более 25 лет своей жизни. Скрипачи в ансамбле были из консерватории, а аккордеонистом стал Арто Ринне, пришедший с отделения финского языка в 1983 году.

П. Суутари: Это Мария Муллонен привела тебя в «Тойве», точнее отправила?

А. Ринне: Ну, если точнее, то это Генрих Туровский, который пришел к нам на курс и рассказал... Вообще-то тут еще стоит упомянуть о том, что я как раз в то время вслед за отцом стал уже поигрывать на аккордеоне. В музыкальной школе, конечно, учился (по классу фортепиано), у нас дома был свой инструмент, точнее – у сестры. А у отца был аккордеон. На нем я и начал играть, да так потом увлекся, что стал много слушать, потом пытался записывать то, что у меня получалось на аккордеоне, даже ноты сам писал. Ноты так, в качестве упражнения. На тот момент, когда Туровский пришел нас в «Тойве» агитировать, я уже кое-что умел на аккордеоне и сразу сказал, что я пойду, то есть могу пойти в ансамбль, но только с одним условием: я только играю на гармошке и больше ничего.

П. Суутари: И как, получилось?

А. Ринне: Ну а как же... Получилось, но только все равно пришлось не только этим заниматься: петь и даже что-то типа хороводов водить. Но на гармошке я так и играл, а позже научился немного еще и на кантеле – в «Тойве» это было впервые. Диатоническое кантеле.

П. Суутари: То есть его в Карелии не было?

А. Ринне: Да, наверное, это было первое диатоническое кантеле, которое вообще сделали.

Так Арто попал в ансамбль, в котором одни участники только играли на инструментах, а другие пели и танцевали.

Игорь Архипов до приглашения Туровского пойти работать в университетский ансамбль и представить себе не мог, что будет заниматься народной музыкой. Архипов был тогда на четвертом курсе, учился классическому хоровому дирижированию в Петрозаводской консерватории, которую окончил в 1986 году.

Кроме скрипки, контрабаса, аккордеона и мандолины, которые считаются традиционными инструментами финской народной музыки,

Архипова интересовали также и старинные инструменты. Мастер музыкальных инструментов государственного национального ансамбля «Кантеле» Виктор Челомбитко занимался изготовлением небольших кантеле и йоухикко, и затем во многом благодаря Архипову они попали в университетский ансамбль.

Сергей Стангрит, работавший в 1980–1988 годах дирижером оркестра ансамбля «Кантеле», рассказал мне, что «обнаруженное» в Финляндии диатоническое кантеле и другие старинные инструменты совершили настоящий переворот в жизни его ансамбля. Летом 1985 года в местечке Каустинен состоялась встреча коллектива «Кантеле» с главными реформаторами народно-музыкального творчества и образования Финляндии: Хейкки Лайтиненом, Рауно Ниеминеном и Ханну Саха. С. Стангрит рассказывает:

– До этого в ансамбле «Кантеле» использовалось только хроматическое кантеле, гудковское. (Достаёт из-под стола с несколькими инструментами альтовое кантеле.) Они играли только классику, все по нотам. Было очень интересно читать книги в архиве. В восемьдесят пятом я познакомился с финскими музыкантами и с представителями Института народной музыки на Каустиненском фестивале, там я впервые попробовал пятиструнное кантеле. Я знал, что ансамбль «Кантеле» начался именно с простых народных инструментов, хроматическое кантеле появилось позже. В самом начале была традиционная культура. Когда я пришел в ансамбль, лучшей народной песней там была «Я люблю тебя, жизнь». То есть ансамбль исполнял политические и коммунистические песни на финском и карельском языке. И тут мне очень помог Ханну Саха, как раз когда мы были на (давшем мощный импульс) фестивале в Каустинене, он показал основные мелодии и тоники на кантеле. А на йоухикко – Рауно Ниеминен. Тут вот как раз и началась карельская традиционная культура. С 1985 года в «Кантеле» начали играть на пяти- и десятиструнных кантеле. Йоухикко, вирсиканнель. Разные дудочки, рожки и никаких академических флейт. Очень увлекательный процесс!

Вдохновленный примером мастера старинных инструментов из «Кантеле», Игорь Архипов тоже начал создавать разнообразные кантеле в том числе и двенадцатиструнные. Кроме кантеле, он делал еще духовые инструменты и йоухикко. Чтобы играть на них, музыканту было необходимо иметь особое музыкальное восприятие, заметно отличающееся от привычного, и обладать четким пониманием необычного характера звучания старинной музыки. Туровский рассказывает:

– Освоение йоухикко началось с того, что кто-то из сотрудников Института ЯЛИ подарил нам старинную книжку о специалистах игры на кантеле и йоухикко (речь идет о книге А. Вяйсянена: Väisänen A. O. *Kantelejouhikkosävelmiä*, 1928. – П. С.). Благодаря ей стал понятен принцип игры на инструменте: одна струна – мелодия, другая – бордун. К нам на репетиции приходил один финский ученый (преподаватель народной музыки из Академии Сибелиуса Хейкки Лайтинен), который объяснил нам очень важную вещь. Он сказал: «В сборнике только самое начало мелодии, дальше уже надо импровизировать». Затем показал как.

Арто Ринне собрал некоторые записи ансамбля 1980-х годов на одном компакт-диске (2007). Всего на нем записано 35 композиций разных лет: 1985, 1987 и 1988 года. Записи сделаны на кассетный магнитофон и содержат лишь отдельные вокальные композиции. Однако в целом диск дает неплохое представление о звучании университетского ансамбля в те годы. К сожалению, вокальный материал, разработанный хормейстером Галиной Химич (Гальпер), представлен на диске в очень малой степени.

Большая часть композиций – финские мелодии в пелиманни-стиле, где ведущую партию исполняют скрипки, а аккомпанирующим инструментом является аккордеон, который имитирует игру на фисгармонии в каустиненском стиле. Арто Ринне рассказывает, что гастролы известного в Финляндии с 1970-х годов ансамбля «Канкаан пелиманнит» (Kankaan pelimannit) весной 1985 года стали очень значительным и вдохновляющим событием:

– Гастролы «Канкаан пелиманнит» в Петрозаводске лично на меня произвели очень большое впечатление. Тогда вроде, я точно не помню, проходили какие-то дни культуры или что-то вроде того, и там были «Канкаан пелиманнит» и состоявшая в то время еще из студентов Академии Сибелиуса фолк-группа под названием «Фёршкотти» (Förskotti). Очень понравилось. Они исполняли народные песни, играли на кантеле, но музыка «Канкаан пелиманнит» меня просто потрясла. После этих гастролов – или даже еще во время их выступлений – я записал кое-что на «кассетник» (кассетный магнитофон), затем записал ноты, разобрал мелодии, и мы начали играть те же вещи. У нас тогда еще не было, поэтому все делали на слух. Играли на двух скрипках и аккордеоне с контрабасом. Так вот каустиненская музыка попала в Петрозаводск.

Любопытно отметить, что Арто Ринне внес определенный вклад в репертуар ансамбля еще и как студент отделения финского языка. Из композиций в каустиненском стиле на упомянутом диске среди прочих есть произведения Консты Юльяхя, однако большую часть диска составляют все-таки народные мелодии. Из вокальных композиций «Тойве» на диске записана только их инструментальная часть. К примеру, исполняемая на протяжении многих лет песня-визитная карточка «*Pappanitalo*» на диске представлена только в виде мелодии, без слов. Есть там также кое-что и из произведений, представляющих репертуар Беломорской Карелии.

Довольно большое количество треков – это мелодии, исполняемые на рожках и йоухикко. Возрождение старинных народных музыкальных инструментов в Карелии в то время еще только началось, поэтому на записях слышно, что их интонации и настройки еще несовершенны. Звучание этих инструментов только-только пошло на лад. Мастеров-создателей инструментов было и остается очень мало; кроме Челомбитько и Архипова инструменты для ансамбля делал еще Александр Кузькин, который, к большому сожалению, рано ушел из жизни.

Школа народной музыки

Народная музыка в Петрозаводске 1980-х годов приобрела в университетском ансамбле молодежные черты. Она завоевала большую популярность на отделении финского языка и литературы и, распространившись за пределы университета, на рубеже 1980–1990-х годов способствовала определенному росту финского и карельского языка и культуры. Интерес к своим корням и родному языку совпал с национальным движением, которое стало возможно благодаря начавшейся перестройке.

Эти процессы привели к тому, что участники ансамбля стали пробовать себя и на других финно- и карелоязычных музыкальных площадках. Сантту Карху уже в 1998 году приехал в Финляндию записывать свой первый сольный альбом «*Mustaskois*», а в его фолк-рок-группу «Талвисоват» вошли Арто Ринне и Лео Севец из «Тойве». Пионер петрозаводского финноязычного арт-рока Энска Якобсон тоже начинал свою музыкальную карьеру в университетском ансамбле. По словам Дмитрия Демина (2011), Александром Быкадоровым, руководителем группы «Мюллерит», репертуар университетского ансамбля и эксперименты с аранжировкой были взяты за образец построения музыкальной стратегии, когда в конце 1980-х

годов он стал дирижером «Кантеле» и с 1992 года возглавил ансамбль «Мюллерит».

С точки зрения приграничных исследований, репертуар ансамбля и его история – любопытный пример того, как преодолевшее границы внешнее влияние, возникшее до перестройки и особенно усилившееся с ее началом, способствовало появлению нового молодого поколения музыкантов, которое заметно обогатило народную музыку Петрозаводска. Это поколение, в том числе и ансамбль «Тойве», сформировали, пожалуй, одно из самых популярных направлений петрозаводской культуры – молодежную народную музыку и фолк-рок, изучение которой осуществляется в рамках совместного проекта Карельского института университета Восточной Финляндии и ИЯЛИ КарНЦ РАН «Гибкие этничности», который продлится до конца 2015 года.

Литература

Жукова В. А. Очерки музыкальной культуры Карелии. Петрозаводск: Карел. ин-т усовершенствования учителей, 1990.

Cohen S. Identity, Place and the 'Liverpool Sound' // Ethnicity, Identity and Music / toim. M. Stokes. Berg: Oxford, 1994. S. 117–134.

Finnegan R. The Hidden Musicians: Music-making in an English Town. Cambridge University Press, 1989.

Hall S. Kulttuurin ja politiikan murroksia / toim. M. Lehtonen & al. Tampere: Vastapaino, 1992.

Keil Ch., Keil A. Polka Happiness. Philadelphia: Temple University Press, 1992.

Knuutila S. Tutkimusaineistojen muodostaminen // Vaeltavat metodit / toim. Jy. Pöysä, H. Järviluoma, S. Vakimo. Joensuu: Suomen kansantietouden tutkijain seura, 2010. S. 19–42.

Lehtonen M. Kulttuurintutkimus modernin kritiikinä // Filosofinen aikakauslehti 1/1994.

Ramnarine T. Ilmatar's Inspirations: Nationalism, Globalization, and the Changing Soundscapes of Finnish Folk Music. University of Chicago Press, 2003.

Thornton S. Club Cultures: Music, Media and Subcultural Capital. Cambridge: Polity Press, 1995.

Troitski A. Terveisiä Tshaikovskille: Rock Neuvostoliitossa. Kustannusliike Vastavoima, 1988.

Интервью

Архипов Игорь, 1 ноября 2011, Петрозаводск.

Демин Дмитрий, 9 сентября 2011, Петрозаводск.

Ринне Арто, 19 октября 2011, Петрозаводск.

Ройвас (Кокконен) Таня, 2 октября 2011, Йоэнсуу.

Стангрит Сергей, 20 сентября 2011, Петрозаводск.

Туровский Генрих, 1 ноября 2011, Петрозаводск.

Якобсон Энска, 10 сентября 2011, Петрозаводск.

Все интервью записаны Пеккой Суутари.

Аудиозаписи

Ансамбль народной музыки «Тойве». Ранние инструментальные записи 80-х. Составитель – Арто Ринне, 2007. Petroskoin yliopiston

kansanmusiikkiyhtye Toive. Varhaisäänityksiä 80-luvulta. Koonnut Arto Rinne 2007.

Перевод статьи с финского выполнен Александрой Беликовой.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ:**Суутари Пекка**

директор Карельского института университета Восточной Финляндии, профессор культурологии. ПЯ 111, 80101 Йоэнсуу
Эл. почта: pekka.suutari@uef.fi
Тел.: +358 50 491 5171

Suutari, Pekka

Prof. of Cultural Studies; Director, Karelian Institute
University of Eastern Finland, Joensuu
POB 111, 80101 Joensuu
e-mail: pekka.suutari@uef.fi
tel.: +358 50 491 5171

УДК 39

ФАКТОРЫ ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ НА ПРИМЕРЕ КАРЕЛОВ КАРЕЛИИ

Е. И. Клементьев

Институт языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН

Структура национального (этнического) самосознания карельского этнического образования развивалась и изменялась под влиянием сложного переплетения исторических, политических, социально-экономических и этнокультурных факторов. Особую роль в его динамике сыграли языковые процессы, а также широкое распространение национально-смешанной брачности.

Ключевые слова: национальное (этническое) самосознание, языковые процессы, межнациональная брачность, «национальная» школа.

E. I. Klement'ev. THE FACTORS BEHIND THE ETHNIC IDENTITY EXAMPLE OF KARELIANS IN KARELIA

The structure of the national (ethnic) identity of the Karelian ethnic education evolved and changed under the effect of intricately interwoven historical, political, socioeconomic and ethnocultural factors. A peculiar role in its evolution belonged to language-related processes, as well as to the wide occurrence of inter-ethnic marriages.

Key words: national (ethnic) identity, linguistic processes, inter-ethnic nuptuality, "national" school.

Каждая этническая общность формируется в процессе длительного исторического развития под воздействием социально-экономических, политических, географических, природно-климатических и других факторов и условий. Считается, что в основе возникновения и самоподдержания этносов лежат сгустки коммуникативных, информационных связей. Образовавшийся социальный организм способен воспроизводить всю палитру своего этнокультурного многообразия: различные формы культуры, язык, особенности семейной и обрядовой жизни, образцы поведения и т. д.

Национальное (этническое) самосознание народа как групповая солидарность базируется на комплексе взаимосвязанных, взаимообуслов-

ленных признаков (факторов), представляющих собой систему. Национальное (этническое) самосознание есть результата объективных и субъективных признаков (элементов) любого этнического образования, по которым народы отличаются друг от друга. Каждый народ, как и каждый индивид, имеет свой набор ценностей и признаков, вовлеченных в его жизнедеятельность. Чувство этнического единства укрепляется в процессе социализации личности в системе внутриэтнических и межэтнических связей и отношений. И в зависимости от того, в каких условиях происходит социализация индивида, какой опыт внутриэтнической жизни осваивается, вырабатывается то или иное чувство привязанности к своей национальности.

Осознание внутриэтнического единства с определенной этнической общностью тесно связано с серией этнообъединяющих факторов: наличием общего самоназвания (этнонима), представлениями об общности происхождения и родной земле, общностью исторических судеб народа, единой территорией проживания, родным языком, материальными и духовными ценностями, традициями, образцами и нормами поведения, психологическими представлениями о себе и своей национальности в отличие от других.

Изучению национального (этнического) самосознания, признаков, формирующих его, их роли в утверждении этнической идентичности посвящена огромная научно-исследовательская литература [Арутюнов, 1995; Бромлей, 1969, 1983; Губогло, 1971, 1973, 1975, 1998, 2003; Дашдамиров, 1968; Козлов, 1969, 1970, 1971, 1974, 1979, 1995; Козлов, Шедепов, 1973; Кузнецов, 1988; Кушнер (Кнышев), 1951; Пименов, 1972, 1993; Тишков, 1993, 1994, 1997; Подходы..., 1994; Чешко, 1994; Чистов, 1997 и др.].

Некоторый опыт изучения национального (этнического) самосознания накоплен и в Карелии. Проблемам его устойчивости на примере карелов и вепсов – сознательному стремлению к воспроизводству и сохранению внутриэтнических связей – посвящены работы А. А. Кожанова. Использование различных методик (методы выбора портрета, выбора этнонима, опроса «третьих» лиц, анализа признаков этнической общности и этнического сопоставления, применение фотографий) позволило автору показать сложность данного феномена, функционирующего в условиях интернационализации общественной жизни [Кожанов, 1976а, 1976б, 1977, 1978].

Под воздействием социально-экономических, политических и ряда других условий, изменяющих культурный облик этноса, его коммуникативные связи, трансформируется и структура национального (этнического) самосознания, изменяется «вес» ее составляющих: роль одних признаков снижается, других, напротив, возрастает, третьих весьма длительное время остается неизменной. Перестройка структуры признаков сигнализирует о направленности развития национального (этнического) самосознания, его уровне. Изменение национального (этнического) самосознания (ассимиляция) представляет конечный результат завершившегося развития этноса.

В настоящей статье обсуждаются некоторые вопросы трансформации национального (этнического) самосознания карелов путем анализа

серии факторов, формирующих его. В работе используются материалы авторских социологических исследований 1960–2000-х годов, языковых дискуссий рубежа 1980–1990-х годов, переписей населения разных лет.

Предваряя анализ обсуждаемых проблем, существенным представляется отметить следующее. Во-первых, возникновение и развитие самооценки, осознание своих поступков, мотивов, своего отношения к другому человеку, к представителям других национальностей связано с принципом противопоставления. По этому поводу К. Маркс писал, что «человек сначала смотрится, как в зеркало, на другого человека», и это является отправной точкой личного самосознания. «Лишь относясь к человеку Павлу, как к себе подобному, человек Пётр начинает относиться к самому себе как к человеку» [Маркс, Энгельс, Т. 23. С. 62], т. е. осознает себя как личность, принадлежащая к определенному этническому коллективу.

Во-вторых, проблема формирования национального (этнического) самосознания по существу является проблемой «перевода» фактов национальной жизни в содержание отражения, в субъективное восприятие и отношение к объективной действительности на основе этой реальности. А оценка факта своей национальной принадлежности формируется под воздействием внешних факторов (окружения) и внутренних факторов (собственный опыт, личностные характеристики).

В-третьих, самооценка есть свойство, определяющее поведение человека, его адаптацию к среде, повседневным явлениям национальной жизни. Межнациональные взаимосвязи, отношение к своей национальной принадлежности осуществляется в процессе взаимодействия личности и этнического образования с реальным миром и зависят как от личностного, так и от группового опыта познавательной и практической деятельности.

В-четвертых, внешние и внутренние факторы, определяющие то или иное отношение к национальной жизни, факту национальной принадлежности, подвержены изменениям. По мысли К. Маркса, «...вместе с условиями жизни людей, с их общественными отношениями, с их общественным бытием изменяются также их представления, взгляды и понятия, – одним словом, их сознание» [Маркс, Энгельс, Т. 4, С. 445]. Эволюции подвергается и национальное (этническое) самосознание.

Национальное (этническое) самосознание рассматривается нами как своеобразный фокус, суммарное выражение исторического развития этноса, всего комплекса свойств

социально-этнического характера. Приобретение опыта, способствующего внутриэтническому единству, сводится к проблеме социализации личности одновременно в двух сферах жизни – социальной и этнической.

В 1969 г. автором был проведен первый массовый опрос карельского сельского населения КАССР, посвященный состоянию и тенденциям развития социальной структуры и национального (этнического) самосознания. В ходе обследования в 53 сельских населенных пунктах был опрошен 1231 карел. Материалы исследования позволили сделать, как представляется, некоторые важные наблюдения [Клементьев 1971а, 1971б, С. 38–44], которые сегодня могут быть существенно расширены и дополнены.

В исследовании 1969 г. связи индивида со своей этнической общностью выяснялись, в частности, вопросом: «Что сближает (роднит) Вас со своей национальностью?». Для каждого опрашиваемого предлагалось два варианта вопроса – открытый и закрытый.

При открытом вопросе велась свободная беседа, в ходе которой опрашиваемый объяснял свои представления о связях с карелами. Затем представлялся закрытый вопрос, который содержал заранее подготовленный перечень факторов (условий), сближающих людей одной национальности. В этот перечень были включены следующие варианты ответов: мать карелка, отец карел, родственники и близкие карелы, национальный язык, живу в Карелии, национальные обычаи, привычки, обряды, национальные песни, танцы, национальная пища, жилище, национальная литература, искусство. Предусматривались и такие варианты ответов, как «затрудняюсь ответить» и «ничто не сближает». Столь широкий набор индикаторов, как представлялось, позволит получить более развернутые ответы на вопрос: «Какую они играют роль в национальном (этническом) самосознании?»

От общей численности опрошенных только 1,8 % заявили, что их «ничто не сближает со своей национальностью». Так обычно отвечали родившиеся в национально-смешанных семьях. 8 % опрошенных затруднились ответить на поставленный вопрос.

Устойчивую связь со своей национальностью приблизительно в равной мере разделили представления о родной земле («живу в Карелии» – 59,4 % ответов), национальный язык (56,1 %) и кровнородственные связи (мать карелка – 55,1 %, отец карел – 54 %, родственники и близкие карелы – 41,2 %).

«Живу в Карелии» расшифровывалось опрошенными по-разному: это и республика, и привычное место длительного жительства, и знаковый ландшафт и т. п.

Значительную часть содержания понятия «национальное (этническое) самосознание», как справедливо считается, составляют отношения людей, основанные на общности происхождения, которая «неотделима от отношений родства», и «как правило, осознание людьми своей этнической принадлежности утверждается посредством осознания ими этнической принадлежности своих родителей [Шелепов, 1968. С. 68, 72–73]. Опрос это подтвердил.

Многие исследователи, особенно языковеды, настаивают на том, что язык является главным, ведущим, определяющим, основным признаком этнической идентификации. Особо подчеркивается тот факт, что язык является «входом» во все многообразие культурного наследия народа. И если социализация в раннем возрасте происходит на языке своей национальности, который обычно становится родным, то этническому образованию и национальному (этническому) самосознанию задается весьма высокая степень устойчивости.

Не умаляя важности и силы языкового фактора во внутриэтнических связях, обратим внимание на другое. К сожалению, межпоколенные кровнородственные связи обычно редко или вообще не фиксируются в опросном листе социологического исследования, посвященного вопросам этнической идентификации. Думается, что язык следовало бы рассматривать в тесной связи с генетическим фактором, реальным этническим происхождением индивида, задающим языковую преемственность поколений. Конечно, и вне семьи язык того или иного народа может быть освоен и восприниматься родным, но это скорее исключение из правил, чем правило. Примечательно, что у финнов понятие «родной язык» – это «язык матери» («äitin kieli»). В данном случае явно выражена непрерывная межпоколенная этногенетическая и языковая связь. Иными словами, в данном случае в осознании идентичности отражается та часть этнического бытия, которая фиксирует отношения людей одной национальности, основанные на кровном родстве, шире – общности происхождения [Шелепов, 1968. С. 72].

После завершения исследования записанные мнения опрошенных по открытому вопросу были сгруппированы по факторам, содержащимся в вопросе с закрытым вариантом ответов. Это позволяло ранжировать значимость

элементов в структуре национального самосознания.

Сравнительный анализ ответов по двум вопросам проводился с учетом языка раннего детства, родного языка, степени владения карельским языком, его использования в различных сферах общения, знания карельского языка по сравнению с русским языком, возраста, образования, социально-профессиональной принадлежности. Подобная методика позволяла иметь более полное представление о «силе» и «весе» каждого фактора в осознании внутриэтнических связей и в конечном итоге судить о подвижности, устойчивости или неустойчивости осознания принадлежности к карельскому этносу.

По ответам на открытый и закрытый вопросы были выделены две большие группы опрошенных, представляющие два типа (два уровня) национального (этнического) самосознания. Основные различия между ними оказались весьма выразительными.

Первая группа опрошенных свою самоидентификацию отождествляла с общностью происхождения, широкими и тесными родственными связями, знанием национальной жизни (обычаев, обрядов, традиций и т. д.), особенностей духовной культуры (национальных песен, танцев, различных обрядов и пр.). Значительный акцент в связях делался на свободное владение языком своей национальности, который являлся основным средством внутринациональной коммуникации и признавался родным. Опрошенные этой группы свою этническую солидарность нередко объясняли исходя из повседневно-привычных и обыденных образцов и норм поведения.

Такой набор элементов внутриэтнической солидарности, включая поведенческую модель, характерен для карелов старшего поколения, поддерживающих постоянные связи с широким кругом родственников в пределах и за пределами конкретного места жительства. Их ориентации в сфере культуры базируются на сохранении в реальном быту традиционных форм культуры. У представителей этой группы стойкими являлись установки на выбор их детьми совпадающей с ними национальности, хотя родители и не противодействовали бы выбору детьми другого этнонима. Это чаще женщины, чем мужчины, имеющие образование не выше среднего, занятые преимущественно физическим трудом, постоянно или длительное время проживающие в одном населенном пункте, в «своей» этнической среде. Непосредственно-стихийное отражение опыта практической деятельности, проживания в условиях, в которых

еще достаточно широко была представлена этническая специфика, свидетельствует о том, что в структуре национального (этнического) самосознания первой группы значителен пласт обыденного сознания.

У этой группы опрошенных открытый вопрос: «Что роднит, сближает Вас с людьми своей национальности?» вызывал подчас удивление, встречные вопросы и утверждения типа: «Кто мне может быть ближе, если мои родители, все мои родственники из поколения в поколение карелы?», «Я всю жизнь живу в этой деревне, где все для меня родное и близкое», «Учились жить по карельским обычаям» и т. д. Неоднократное уточнение анкетного вопроса в различных вариантах типа: «А чем Вам близки карелы?», «Что у Вас общего с ними?», «А что еще сближает?» и т. д. позволяло снимать определенное недопонимание и затруднения, облегчая проведение опроса-беседы.

Другая группа опрошенных, в отличие от первой, свою этническую принадлежность весьма убедительно аргументировала не только такими же примерами, но и чаще теоретическими представлениями о роли различных этнических компонентов и их совокупности в структуре национального (этнического) самосознания. Свою этничность они далеко не всегда связывали с повседневностью. Абстрагируясь от реальных социально-этнических связей, свою принадлежность к карелам доказывали серией убедительных маркеров-факторов, объясняли свою позицию логикой, но не всегда причастностью их к национально-культурному, в том числе языковому наследию своей национальности. Не все из них умели свободно говорить по-карельски, а если и знали карельский язык, то значительно реже, чем первая группа, использовали его в повседневном общении. Часть опрошенных этой группы родным считали русский язык. Песенную или танцевальную традицию карелов они знали значительно хуже, а о таких особенностях национальной культуры, как обряды, верования, имели или весьма смутное представление, или вообще не знали их. Они были значительно лучше осведомлены об образцах современной культуры, в том числе профессиональной, отдавали им свое предпочтение и т. д. Иными словами, начавшие размышлять внутриэтнические связи, ослабляющие реальную устойчивость их национального (этнического) самосознания, восполнялись у них научными знаниями и теоретическими рассуждениями.

Второй тип представлений, в котором присутствуют элементы теоретического понимания внутриэтнической идентичности, заметнее

всего проявлялся у работников преимущественно умственного труда, со средним, средним специальным и реже высшим образованием и специальной профессиональной подготовкой. Такие образцы поведения и национально-культурные ориентации особенно характерны для карельского городского населения [Клементьев, 1976. С. 57–68].

Различия в отражении действительности свидетельствуют о том, что теоретическое сознание «значительно больше в количественном отношении и оно гораздо весомее по существу» [Грушин, 1967. С. 29].

В то же время отметим, что и в первой группе встречались сведущие в общих вопросах теории этноса и национального (этнического) самосознания. В сельской местности таких знатоков обычно называют «деревенскими философами».

В числе факторов, слабо влияющих на внутреннюю монолитность карельского этноса, оказались особенности материальной и духовной культуры, как традиционный ее слой (народные песни, танцы, обрядовая жизнь и т. д.), так и профессиональный, не получивший широкого распространения в карельской среде в силу слабой развитости.

Одни факторы (кровнородственные связи, язык, представления о родной земле) оказались очевидными, как бы «лежащими на поверхности», другие – особенности духовной и материальной культуры – ускользающими из поля зрения.

Исследователи неоднократно подчеркивали, что внутриэтническая солидарность, запечатленная в национальном (этническом) самосознании, существенно варьирует по структуре, набору индикаторов этнической сопряженности, их «весу», будучи в то же время психологически окрашенной [См., например: Дашдамиров, 1968; Губогло, 1973, 1975, 1998, 2003; Национальное..., 1994; Дробижина, Аклаев, Коротеева, Солдатова. 1996; Идентичность..., 2002].

Наше исследование, как было показано выше, подтвердило это общее положение. Существенно подчеркнуть следующее: осознание национальной (этнической) принадлежности «я – карел», несмотря на разное восприятие внутриэтнических связей отдельным индивидом, представляло собой не сумму индивидуальных сознаний, а некую результанту, в которой переплеталось сочетание всего многообразия объективных и субъективных факторов. В конце 1960-х годов родной язык еще оставался довольно сильным фактором этнического единения: у 90 % всех опрошенных языком ран-

него детства был язык своей национальности, родным его считали 86,6 % всех сельских карелов, 94 % работающего сельского населения свободно владели им [Клементьев, 1971. С. 39–40].

Потенциальное знание карельского языка в общении дома карелы-селяне использовали примерно на 73 %. В то же время начинала возрастать языковая дистанция между поколениями. Разность по уровню свободного владения языком своей национальности между 16–29-летними и 50-летними, составляющая 37,9 %, – убедительное свидетельство ослабления языкового фактора во внутриэтнических связях.

В условиях сельской этнически смешанной среды конца 60-х годов XX века, когда средством внутринациональной коммуникации уже нередко выступал русский язык, языковая граница между карелами и русскими, русскоязычным населением в целом, начинала размываться, особенно в производственных контактах, где доминировал язык межнационального общения. Росту функциональной нагрузки на русский язык способствовали урбанизация сельской среды, высокая миграционная подвижность населения, дальнейшее этническое смешение населения деревень и особенно лесных поселков, куда в послевоенные годы массово мигрировали представители различных национальностей, в том числе карелы-аграрии [Клементьев, Кожанов, 1988, 2001]. Мощность карельского языка во внутриэтнической консолидации в течение всего послевоенного времени, напротив, последовательно ослабевала, усиливая растущую доверительность к русскому языку.

Браки карелов с представителями других этнических групп приобрели массовый характер: если в начале 1940-х годов в национально-смешанных браках состояло 10 % сельских карелов, то в конце 1960-х годов – более 31 % [Бирин, 1982. С. 113, 118].

В последующие десятилетия число национально-неоднородных браков быстро и неуклонно росло. В поселках городского типа и городах межнациональные брачные союзы преобладали. Национально-смешанные браки последовательно превращали карельский этнос в слабо интегрированную общность.

Продолжали ускоряться и темпы смены языка: по данным Всероссийской переписи населения 1970 г., 42,2 % карелов-горожан родным считали русский язык, в сельской местности 17 %. Городская среда превращалась в сильный фактор развития этнических процессов, в том числе ассимиляционных: в 1970 г. 45 % всех ка-

релов проживали в городских поселениях [Итоги Всесоюзной переписи населения 1970 года, т. 4. 1972. С. 138].

По данным социологического исследования 1972 г., языком раннего детства у 76,6 % горожан в возрасте 16 лет и старше был карельский язык, свободно владели им около 69 %, признавали родным примерно 59 % [Клементьев, 1974. С. 26–36].

Влияние русскоязычной городской среды на языковые характеристики карелов-горожан особенно заметно в разрезе возрастных групп. Так, например, примерно у половины молодежи до 29 лет языками раннего детства были карельский и русский, в то время как у 95 % пожилых – только язык своей национальности. Наиболее часто молодежь говорила по-карельски лишь с родителями (каждый седьмой-восьмой), отдавая предпочтение русскому языку (свыше 51 %); нередко молодежь прибегала и к двуязычной речи (каждый третий). Потенциальное знание языка своей национальности использовали не более половины карельской молодежи. Но ни в супружеском общении, ни в разговорах с детьми карельский язык уже практически не использовался, что увеличивало разрыв языковых связей между поколениями.

В течение 1970–1980-х годов число карелов с родным карельским языком сокращалось в 5 раз быстрее, чем уменьшалась общая численность карельского населения. К 1989 г. совпадение национальности и родного языка снизилось до критического показателя – до 50,6 % [НА РК, ф. 659, оп. 19/114, с. 81–85, 141–145, 201–205, 261–265]. Считается, что после «перехода» 50-процентного рубежа этого показателя сохранение этнического и самого этноса становится проблематичным.

С начавшимся переходом к демократическим преобразованиям национальное (этническое) самосознание, образно говоря, было «разбужено» – резко возросла значимость социально-этнических элементов национальной жизни, находящихся в латентном состоянии. Обострившийся интерес к этнической, политической, экономической истории, культурным ценностям карельского народа оказался «выплеснутым» на страницы периодической печати. Рубеж 1980–1990-х годов стал временем активной реакции на сложившуюся в карельском этносе критическую ситуацию, временем начального пробуждения и выстраивания региональной политики, когда национальная принадлежность приобрела массовую публичность, подчас лозунговый характер. Факт языковой ассимиляции стал активно работать на поли-

тизацию этничности [Карелы..., 2005; Карельское..., Ч. 1. 2009].

Языковая составляющая, как фактор, подерживающий языковой суверенитет народа, была представлена в дискуссии широким спектром мнений и оценок. Но разная степень причастности к решению языковых проблем разделила пишущих в республиканские газеты на несколько групп. В письмах одних высказывалось одобрение начинаниям, звучал оптимизм по поводу перспективы развития карельского языка (активисты), в заметках других звучали сомнения (пессимисты), часть участников диспута протестовала против начавшихся нововведений (нигилисты).

Активисты национального движения – самая многочисленная группа, состояла из представителей гуманитарной интеллигенции, настойчиво утверждающих в массовом сознании коллективистскую идеологию защиты культурно-языковых ценностей народа (примерно 85–90 % публикаций). Триада «язык – национальная (этническая) принадлежность – этническая общность» рассматривалась ими как неразрывная целостность.

В период перестройки этничность приобрела новые качественные признаки, среди которых существенную роль стали играть этнополитические и идеологические моменты. Республиканские власти весьма активно включились в решение национальных проблем. В эпицентре этнической мобилизации оказались вепсский и карельский языки. Политическая, правовая, экономическая защита языков, инициированная активистами зарождающегося вепсского и карельского движений, внедрялась в практику, направленную на сохранение народами коллективной идентичности.

Одна из центральных задач состояла в том, чтобы использовать мобилизационную силу языковой составляющей в решении первостепенных проблем: возродить письменность, обеспечить изучение языков в образовательной системе, использовать их в средствах массовой информации, издательской деятельности и т. д., содействуя тем самым воссозданию культурно-языковой среды как фактора консолидации этноса. Значительное внимание уделялось разработке нормативно-правовой базы – важнейших условий сохранения прибалтийско-финскими народами своей этнической индивидуальности [Клементьев, 2003. С. 101–177].

Спад в карельском движении, начавшийся в Карелии, как и по всей России, во второй половине 1990-х, наиболее остро затронул «национальную» школу, на которую националь-

ная общественность возлагала большие надежды. Если в 1989 г. карельский язык изучался в 11 школах (301 ученик), в 1995 г. – в 60 школах (2552 ученика), то в 2008 г. – в 40 школах (1559 учащихся). К настоящему времени число их уменьшилось до 30 [Текущий архив Министерства образования Республики Карелия]. Резко сократился прием студентов на кафедру прибалтийско-финской филологии. Такая динамика убеждала, что возрожденческим надеждам, возлагаемым на школу, не суждено сбыться.

В XXI век карелы вступили с «возом» нерешенных проблем. Карелы сегодня – это «таящая» этническая общность практически по всей серии социально-этнических характеристик.

С 1959 г. по 2002 г. существенно сузилась демографическая база этноса: общая численность карельского населения сократилась с 85473 до 65651 чел., или на 23,2 %, к 2010 г. – до 45570 чел., или еще на 30,6 % по сравнению с 2002 г. К 2002 г. демографическая пирамида карелов, изображенная графически, имела противоестественный вид перевернутого конуса: доля молодых (до 16 лет) была в два раза ниже, чем удельный вес пожилых (старше 60 лет) [Национальный состав населения Республики Карелия. Сборник статей V. Петрозаводск, 2005. С. 30].

Языком своей национальности в 2002 г. владеет только 48,3 %, т.е. более чем у половины карельского населения республики существенно ослабла связь со своей национальностью по языковой составляющей.

Социологический опрос 2002 г., проведенный в 5 городах, 3 поселках городского типа и в более чем 40 сельских поселениях 7 районов (опрошено 1000 чел. в возрасте 16 лет и старше), показал: к началу XXI столетия ни одна из возрастных групп, за исключением карелов преклонного возраста, знание языка своей национальности не оценивала выше, чем русского. Мощность и притягательная сила русского языка, его распространенность обусловили предпочтительное отношение к нему и сельских, и городских карелов как к фактору социального (в широком смысле этого слова) развития. Такое восприятие русского языка выразилось в нечастом использовании языка своей национальности практически во всех сферах языковой коммуникации.

Снижение интенсивности национального (этнического) самосознания демонстрируют и данные по вопросу: «Беспокоятся ли карелы о будущем своего народа?», разделившие участников опроса на несколько групп. Придерживаются они различных установок.

Самую большую группу составили те, кто ничего не делает для сохранения культурно-языкового наследия своего народа (40 %). Среди них повышен удельный вес лиц со средним образованием, служащих-неспециалистов, работников торговли, сферы обслуживания, здравоохранения, детских дошкольных учреждений, работающих в сельском и лесном хозяйстве, а также проживающих в многонациональной семье, в которой есть представители не менее трех национальностей.

В составе второй группы – те, кто принимает активное участие в возрожденческой работе (их почти 32 %). Это чаще женщины старше 50 лет, многие с высшим образованием, занятые в сфере науки, культуры, образования. В числе активистов свободно владеющие карельским языком, как правило, освоившие язык своей национальности в раннем детстве.

В группе не интересующихся национальными проблемами (таких около 17 %) повышена доля мужчин, лиц с неполным средним образованием, рабочих, занятых в отраслях промышленного производства, из неработающего населения это безработные, учащиеся и студенты, проживающие в национально-смешанных семьях.

Относительно небольшую группу составили те, кто считает, что «карельский язык все равно не сохранится и работать в этом направлении – пустая трата времени» (7 %). В этой группе заметна доля карелов со средним общим образованием, молодых матерей, а также живущих в национально-смешанной семье.

Неоднозначное отношение было высказано и по поводу придания карельскому языку статуса государственного языка.

Точку зрения, что карельский язык способен в полной мере выполнять такие функции, поддержали меньше всего участников опроса – 12,5 %. Это карелы различных возрастных групп, но чаще 50-летние и старше, как работающие, так и неработающие, представители различных социально-профессиональных групп.

Чаще были отданы голоса второму варианту: карельский язык следует наделить статусом государственного языка в будущем, хотя сегодня он и не готов выполнять эту функцию (17,4 % ответов). В этой группе повышена доля пожилых работающих, лиц с высшим образованием, работников различных сфер приложения труда.

Примерно в равной мере распределились мнения, что карельский язык сегодня не готов выполнять функции государственного языка и наделять его таким статусом не следует (около 21,5 %), но в будущем ему следует придать статус государственного языка (21,8 %). В пер-

вой из этих групп выше удельный вес карелов в возрасте 16–49 лет. Это студенты и учащиеся, люди с высшим образованием, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за детьми, занятые в сферах культуры и образования, во второй – представители разных поколений, работающие в органах власти и управления, проживающие в многонациональных семьях.

Больше всего среди опрошенных оказалось тех, кто не согласился ни с одним из этих вариантов ответа (27,2 %). Это люди 16–29 лет, имеющие неполное среднее образование, работники физического труда.

Приведенные суждения-оценки по двум стратегическим вопросам развития карельского этноса свидетельствуют о том, что большая часть карельского населения (около 70 %) индифферентно отнеслась к перспективам сохранения своего народа. Ни идея огосударствления карельского языка, ни идея создания единого для всех групп карелов литературного языка не нашли поддержки большинства представителей этноса. Усилий, предпринятых как структурами власти и управления, обязанными по закону обеспечить сохранение народами культурно-языкового наследия, так и карельской общественностью, оказалось недостаточно, чтобы противостоять лавинообразному характеру языковой и этнической ассимиляции.

На заре этнической мобилизации самые, пожалуй, большие надежды в деле сохранения языка возлагались на школу. Время показало, что изучение карельского языка в школах с опорой на советский опыт преподавания иностранных языков оказалось явно неэффективным. При двухчасовой практике преподавания языка вести серьезный разговор о возврате к карельско-русскому двуязычию, широко распространенному в послевоенные десятилетия, нет веских оснований. Выстраивание системы изучения языка по непрерывной цепочке «детское дошкольное учреждение (по типу «языкового гнезда») – школа – вуз», о которой постоянно говорилось с конца 1980-х годов вплоть до наших дней, так и не получило широкого распространения. Современная «национальная» школа, работающая в условиях, когда семья уже не в состоянии научить детей говорить по-карельски в раннем детстве, не способна сдержать движение карельского этноса к одной языковой, к языковой, а затем и к этнической ассимиляции. Лозунги «Мы сохраним родные языки!», «Мы сохраним коренные народы Карелии как уникальные образования исторического сообщества!», озвученные представителями властных структур в начале двадцать первого столетия, приняли выраженный мани-

фестный характер, явно не всегда подкрепленный реальными делами.

Таким образом, коренные изменения в социальной (в широком смысле этого слова) и языковой жизни в послевоенные годы привели карельский этнос к такому критическому состоянию, когда проблема сохранения народа стала реальностью дня.

Литература

Александренков Э. Г. «Этническое самосознание» или «этническая идентичность»? // *Этнограф. обозрение.* 1996. № 3. С. 13–22.

Арутюнов С. А. Этничность – объективная реальность // *Этнограф. обозрение.* 1995. № 5. С. 7–10.

Бирин В. Н. Брак и семья сельского населения Карельской АССР в 1950–1970-е годы. Петрозаводск, 1982. 256 с.

Бромлей Ю. В. Этнос и эндогамия // *Совет. этнография.* 1969. № 6.

Бромлей Ю. В. Очерки теории этноса. М.: Наука, 1983.

Вепсы: модели этнической мобилизации: сб. док. и материалов. Петрозаводск: КНЦ РАН, 2007. 337 с.

Грушин Б. А. Мнение о мире и мир мнений. Проблемы методологии общественного мнения. М., 1967.

Губогло М. Н. Элементы этнической идентификации в оценках экспертов // *Всесоюз. науч. сессия, посвящ. итогам полевых археологических и этнографических исследований 1970 г. Секция этнографии, фольклора и антропологии.* Тбилиси, 1971. С. 5–9.

Губогло М. Н. Языковые контакты и элементы этнической идентификации. IX Междунар. конгресс антропологических и этнографических наук (Чикаго, сент. 1973). М.: Наука, 1973. 13 с.

Губогло М. Н. Интегрирующие функции языка // *Социолингвистические проблемы развивающихся стран.* М.: Наука, 1975. С. 223–240.

Губогло М. Н. Языки этнической мобилизации. М.: Шк. Яз. рус. культ., 1998. 816 с.

Губогло М. Н. Идентификация идентичности. Этносоциологические очерки. М.: Наука, 2003. 766 с.

Дашдамиров А. Ф. Национальные моменты индивидуального сознания. Автореф. канд. дис. М., 1968. 19 с.

Дробижина Л. М., Аклаев А. Р., Коротеева В. В., Солдатова Г. У. Демократизация и образы национализма в Российской Федерации 90-х годов. М.: Мысль, 1996. 383 с.

Идентичность и толерантность. М., 2002. 418 с.

Итоги Всесоюзной переписи населения 1970 года. Т. 4. М.: Статистика, 1972. 848 с.

Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 4, т. 23.

Карель: модели языковой мобилизации. Сборник документов и материалов. Петрозаводск: КНЦ РАН, 2005. 281 с.

Карельское национальное движение. Часть 1. Сборник документов и материалов. Петрозаводск, 2009. 248 с.

Клементьев Е. И. Социальная структура и национальное самосознание (на материалах Карельской АССР). Автореф. канд. ист. наук. М., 1971. 19 с.

Клементьев Е. И. Языковые процессы в Карелии (по материалам конкретно-социологического исследования карельского сельского населения) // Совет. этнография. 1971. № 6. С. 38–44.

Клементьев Е. И. Развитие языковых процессов в Карелии (по материалам конкретно-социологического исследования карельского городского населения) // Совет. этнография. 1974. № 4. С. 26–36.

Клементьев Е. И. Национально-культурные ориентации карельского городского населения // Совет. этнография. 1976. № 3. С. 57–68.

Клементьев Е. И. В поисках правовой защиты культурно-языковых интересов карел, вепсов, финнов Республики Карелия. «Права человека и законодательство о языках в субъектах Российской Федерации». М.: Изд-во Рос. ун-та Дружбы народов, 2003. 63 с.

Клементьев Е. И. Республика Карелия: правовая ситуация в сфере этнокультурного и языкового образования // Правовой статус языков и этнокультурные потребности российской школы / Под ред. акад. В. А. Тишкова. М.: ИЭА РАН, 2011. С. 101–120.

Клементьев Е. И., Кожанов А. А. Сельская среда и население Карелии. 1945–1960. Историко-социологические очерки. Л.: Наука, 1988. 212 с.

Клементьев Е. И., Кожанов А. А. Сельская среда и население Карелии. 1960–1980. Историко-социологические очерки. Петрозаводск, 2001. 199 с.

Кожанов А. А. Этническая принадлежность в самооценках карелов и вепсов // Некоторые проблемы этногенеза и этнической истории народов мира: сб. науч. тр. М.: Ин-т этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая, 1976. С. 31–44.

Кожанов А. А. Элементы этнической идентификации и признаки этнической общности в оценках карел и вепсов (по материалам экспериментального исследования) // Этнография Карелии. Петрозаводск, 1976. С. 180–204.

Кожанов А. А. Внешность как фактор этнического сопоставления (к вопросу о методике изучения) // Совет. этнография. 1977. № 3. С. 14–21.

Кожанов А. А. Методика исследования национального самосознания (опыт разработки по материалам Карельской АССР). Автореф. канд. дис. М., 1978. 25 с.

Козлов В. И. Динамика численности народов: методология исследования и основные факторы. М., 1969.

Козлов В. И. Этнос и экономика. Этническая и экономическая общность // Совет. этнография. 1970. № 6. С. 47–60.

Козлов В. И. Этнос и территория // Совет. этнография. 1971. № 6. С. 89–100.

Козлов В. И. Проблема этнического самосознания и ее место в теории этноса // Совет. этнография. 1974. № 2. С. 79–92.

Козлов В. И. Этнос и культура // Совет. этнография. 1979. № 3. С. 71–86.

Козлов В. И. Проблема «этничности» // Этнограф. обозрение. 1995. № 4. С. 39–55.

Козлов В. И., Шелепов Г. А. «Национальный характер» и проблема его исследования // Совет. этнография. 1973. № 2. С. 69–82.

Кузнецов А. И. Адаптивность этнических культур и этнокультурные типы самосознания личности // Совет. этнография. 1988. № 1. С. 15–27.

Кушнер (Кнышев) П. И. Этнические территории и этнические границы // Труды Института этнографии АН СССР (новая серия). Т. 15. М.: Изд-во АН, 1951. 280 с.

Леонтьев А. Н. Понятие отражения и его значение для психологии. XVIII Междунар. психолог. конгресс. 4–11 авг. 1966. М., 1969.

Национальный архив Республики Карелия (в тексте – НА РК).

Национальный состав населения Республики Карелия. Сборник статей V. Петрозаводск, 2005. 48 с.

Пименов В. В. Некоторые черты национального самосознания (По материалам Удмуртской АССР) // Торжество ленинской национальной политики. Чебоксары, 1972. С. 344–358.

Пименов В. В. Удмурты. Опыт компонентного анализа этноса. М.: Наука, 1977. 364 с.

Подходы к изучению этнической идентификации. М., 1994.

Тишков В. А. О феномене этничности // Этнограф. обозрение. 1993. № 2. С. 3–21.

Тишков В. А. Этничность, национализм и государство в посткоммунистическом обществе // Вопросы социологии. 1994.

Тишков В. А. Очерки теории и политики этничности. М.: «Рус. мир», 1997. 532 с.

Чешко С. В. Человек и этничность // Этнограф. обозрение. 1994. № 6. С. 73–85.

Чистов К. В. Этническая общность, этническое сознание и некоторые проблемы духовной культуры // Совет. этнография. 1997. № 3. С. 73–85.

Шелепов Г. В. Общность происхождения – признак этнической общности // Совет. этнография. 1968. № 4. С. 65–74.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ:

Клементьев Евгений Иванович
старший научный сотрудник, к. и. н.
Институт языка, литературы и истории
Карельского научного центра РАН
ул. Пушкинская, 11, Петрозаводск,
Республика Карелия, Россия, 185910
эл. почта: eik@karelia.ru
тел.: (8142) 572066

Klement'ev, Jevgeniy
Institute of Language, Literature and History, Karelian Research
Centre, Russian Academy of Science
11 Pushkinskaya St., 185910 Petrozavodsk, Karelia, Russia
e-mail: eik@karelia.ru
tel.: (8142) 572066

УДК 811

ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СААМСКОГО ЯЗЫКА НА КОЛЬСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ

Г. В. Костина

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Петрозаводский государственный университет» Кольский филиал

Основными характеристиками ситуации для саамского языка в Мурманском регионе России являются малочисленность этноса, отсутствие статуса титульного языка, незначительная или отставшая во времени активность языковой и образовательной политики в отношении этноса. Кольские саамы говорят на четырех диалектах: нотозёрском, бабинском, йоканьгском и кильдинском. Интенсивное изучение языка кольских саамов началось в конце XIX в. Потеря саамского языка является серьезной проблемой, вызывающей озабоченность в обществе. Устойчивость этноса определяется не только способностью языка адекватно отражать все стороны жизни народа, но и тем, в какой степени язык функционирует в различных социальных группах населения.

Ключевые слова: саамский язык; культура саамов; этнос; кильдинский диалект; кольские саамы; алфавит; народы Севера; родной язык.

G. V. Kostina. ETHNOCULTURAL ASPECTS OF THE SÁMI LANGUAGE FUNCTIONING IN THE KOLA PENINSULA

The main characteristics of saami language position in Murmansk region of Russia are ethnic minorities, absence of titled language status, insignificant or left behind the times language activity and education policy concerning saami ethnic group. Kola saami speak four dialects: nothozyor, babinskiy, yokangskiy and kildin. Intensive study of Kola saami language began at the end of the XIXth century. The loss of saami language is a vital problem which worries everyone. Ethnic group stability is defined not only by language possibility to reflect all the ways of people's life, but in degree any language functions in different social groups of population as well.

Key words: sámi language, sámi culture, ethnic group, Kildin dialect, Kola sámi, alphabet, North people, mother language.

Изучением истории, быта, культуры саамов занимались исследователи на протяжении многих веков, поэтому круг источников, раскрывающих основные проблемы этнологии саамов, достаточно велик.

В начале XIX века происходит осознание того, что малые народы со всей их самобытно-

стью и непохожестью на русских представляют интерес не только в экономическом, но и в культурном плане. В этот период появляется этнографическая литература, включающая географические, геологические, исторические, лингвистические сведения об аборигенах. Путешественники, литераторы, натуралисты, которые в

силу различных причин оказались на Кольском Севере, попытались дать своё описание культуры саамов. В большинстве случаев сюда можно отнести очерковую, беллетризованную литературу, в которую входят путевые очерки С. В. Максимова, В. И. Немировича-Данченко, В. А. Елисеева, Д. Н. Бухарова и других.

Более профессиональным произведением следует считать монументальный труд Н. Н. Харузина «Русские лопари» [Харузин, 1890]. Активно занималось исследованием культуры саамов Русское Географическое Общество (РГО). С. В. Максимов, талантливый писатель, который издал двухтомный труд «Год на Севере» [Максимов, 1864], стал первым автором в российской этнографической литературе, который описал обычай ухаживания у саамов.

В. И. Немирович-Данченко [Немирович-Данченко, 1877. С. 196], отмечая некоторую «отсталость» лопарей в социальном и экономическом развитии, признавал самобытность и ценность их культуры.

В этот период исследование культуры саамов стало составляющей частью научной работы Архангельского общества изучения Русского Севера. Ценные полевые исследования были проведены русским этнографом В. Визе, посетившим в 1910–1912 годах саамские погосты в районе о. Кильдин и д. Аккала Выборгской губернии. В его отчете о саамских сейдах содержится много нового материала о расположении священных мест саамов, их жертвоприношениях, обрядах, преданиях. К сфере научных интересов В. Визе относились и традиционные саамские предания, находящиеся, по его мнению, на грани исчезновения под давлением соседних культур.

В. Алымов, этнолог и краевед, специализировавшийся на исследовании Кольского полуострова, также интересовался культурой саамов.

В 1928–1929 годах под его редакцией вышли в свет «Доклады и сообщения Общества изучения Мурманского края» [Алымов, 1927. С. 44–45], посвященные саамам. В сферу научных интересов В. Алымова входили также культ сейдов, предания о северном сиянии, топонимика и проблема происхождения и ассимиляции саамского народа. Интересовал В. Алымова и саамский фольклор: около 40 саамских фольклорных текстов, записанных им, хранятся в архивах Мурманского областного краеведческого музея и архивах Русского Географического Общества.

Русский ученый Н. Н. Волков проводил полевые этнологические исследования саамов на Кольском полуострове в 1938–1941 годах. Из-

дание Н. Н. Волкова «Российские саамы: Историко-этнографические очерки» [Волков, 1996] опубликовано в разделе исторического обзора советского периода. Это издание посвящено этнографии и этногенезу кольских саамов, их занятиям, источникам существования, материальной культуре, общественной жизни, фольклору и религии.

Саамский язык принадлежит к тем немногим языкам малочисленных народов Севера РФ, которые не являются титульными, поскольку саамы не имеют автономии в границах Мурманской области. Основными характеристиками ситуации для саамского языка являются малочисленность этноса, отсутствие статуса титульного языка, незначительная или отставшая во времени активность языковой и образовательной политики в отношении этноса.

Саамский язык – единственный миноритарный язык в регионе, что накладывает специфический отпечаток на региональную этническую и языковую политику. Вместе с тем, российские саамы – это часть этнической и языковой общности, присутствующей во всех странах скандинавского полуострова (Норвегии, Швеции, Финляндии), что дает основание сравнивать языковые политики и определять степень взаимозависимости языковых политик государств с саамскими меньшинствами. Саамы – один из уникальных как по своему происхождению, так и по культуре арктических народов. Генетически и типологически саамский язык наиболее близок к прибалтийско-финской группе финно-угорских языков. В саамском языке насчитывается в целом 55 диалектов. Кольские саамы говорят на четырех диалектах: нотозёрском, бабинском, йоканьгском и кильдинском.

Основным местом жительства саамов в России и Мурманском регионе является Ловозерский район. В районе проживают более половины малочисленных народностей Севера Мурманской области – саамов и коми. Административный центр района – село Ловозеро (Луяврсийт, по-русски – погост «Ловозеро»), старинное саамское поселение на берегу речки Вирмы.

Пожилые саамы, у которых мы брали интервью в с. Ловозеро и которые провели всю свою юность в небольших, изолированных, населенных главным образом только коренными саамами деревнях, объясняли, что они знают русский язык, потому что только с русскими они вошли в контакт во время переселения. Кильдинский диалект является главным диалектом на Кольском полуострове, однако существуют еще

около десяти других саамских диалектов, но некоторые из них разительно отличаются друг от друга. Саамы, говорящие на кильдинском диалекте, утверждают, что чем ближе они подходят к морю на территории Кольского полуострова, тем труднее им понять другой саамский диалект. Все дети оленеводов говорят как на русском, так и на саамском языке. Способность детей обучаться саамскому языку, особенно лексике, непосредственно связанной с оленеводством, значительно возрастает в пастбищных условиях.

В орбиту научного исследования саамы вошли уже в XVII в., когда в 1674 году была напечатана на латинском языке книга Ёханна Шеффера «Лаппония», в которой наряду с довольно полным описанием материальной и духовной культуры шведских саамов даются также общие сведения об их языке [Schefferi, 1963]. Подлинно научный характер исследование саамского языка приобрело в XIX в. в связи с развитием сравнительно-исторического языкознания.

Интенсивное изучение языка кольских саамов началось в конце XIX в. Уже в это время были сделаны попытки перевода на саамский язык некоторых книг, преимущественно духовного содержания. Деятельность эта осуществлялась одиночками-учеными и священниками-миссионерами. Они преследовали единственную цель – приобщить саамов к христианству. Однако эти первые попытки создания письменности не могли иметь сколько-нибудь серьезного значения, поскольку она не нашла широкого применения. В научном отношении она представляет собой определенный интерес как первая попытка передачи звуков языка кольских саамов на письме средствами русской графики.

К началу XX в. саамы были наименее грамотной народностью среди населения Кольского полуострова. По переписи 1926 года только 16,5 % этих аборигенов Крайнего Севера владели грамотой. У живших рядом с ними ненцев грамотность была выше вдвое, у коми – втрое.

Первая школа для детей саамов открылась в феврале 1888 года, а спустя 10-12 лет школы появились в Ловозерском и Кильдинском погостах. Затем школы открылись в погостах Сонгельском (ныне территория Финляндии) и в Йоканьгском. В основном это были школы церковно-приходские и работавшие всего 4–5 месяцев в году из-за полукочевого образа жизни оленеводов, рыболовов и охотников. В них обучалось 20–35 % детей школьного возраста. Преподавание в школах вследствие отсутствия письменности у саамов и учителей, знающих саамский язык, велось на русском языке.

Серьезное начало научному исследованию саамского языка было положено в советский период российской истории, который ознаменовал становление саамской письменности. У малочисленного северного народа с годами появляется своя письменность, литература, вырастает своя интеллигенция.

Первая школа по ликвидации неграмотности среди взрослых начала работать в Ловозере в 1923 году, а в 1924 году были открыты национальные школы для детей, которые быстро завоевали авторитет. В 1929 году появились первые школы-интернаты.

Вскоре после создания Комитета Севера СССР научно-педагогические организации Москвы и Ленинграда приступили к подготовке национальной письменности для малых народностей Севера.

В то же время шла работа по созданию саамского букваря. Над букварем вместе с учеными А. Г. Эндюковским и З. Е. Черняковым работали саамы И. А. Осипов, Н. И. Герасимов, И. А. Матрехина, А. Т. Осипова.

В 1931 году научно-исследовательской ассоциацией при Институте народов Севера был разработан единый северный алфавит, в основе которого была латинская графика, а также введены особые знаки для обозначения специфических саамских звуков. Этот алфавит был утвержден центральными руководящими органами.

Письменная форма развивается на основе кильдинского диалекта, носители которого занимали большую часть центральных районов Кольского полуострова и явились самой многочисленной группой саамов. Правильность этого выбора подтвердила и современная история.

На основе названных принципов был создан первый саамский букварь З. Е. Чернякова [Черняков, 1933]. Но нельзя не учитывать и того обстоятельства, что хотя кильдинский и был взят за основу, в букваре использовались слова всех четырех диалектов.

В 1937 году саамская письменность начинает реорганизовываться, в свет выходит новый саамский букварь, созданный на кириллице А. Г. Эндюковским [Эндюковский, 1937].

В последующие годы национальная политика, проводимая на Кольском полуострове, как и в других регионах Крайнего Севера, претерпевала изменения. Предавались забвению быт и культура народа, преподавание все больше стало вестись на русском языке. Саамский язык и письменность так и не были до конца внедрены среди саамов, как это планировалось.

С реорганизацией саамской письменности в 1937 году в Лапландию приходит крупная волна репрессий, изучение саамского языка полно-

стью прекращается. В эти годы не слышалась саамская речь ни на улицах, ни в учреждениях, только в тесном семейном кругу люди могли высказывать свои мысли на языке, данном им матерью. Вплоть до 70-х годов дети саамов вынуждены были приобщаться к русской культуре, а родным языком пользоваться только в домашней обстановке, но и там уже в молодых семьях русский язык стал вытеснять саамскую речь. Как пишет А. А. Антонова: «Можно приводить разные причины, почему это произошло, почему так трудно прививалась саамская письменность на севере Заполярного края, но главная причина может быть и в некоей «искусственности» этого мероприятия. Одно дело дать письменность народу, насчитывающему десятки тысяч человек, живущих изолированно, и куда труднее давать письменность небольшой народности, в чуть больше тысячи человек, окруженной русскоязычным населением» [Антонова, 1999. С. 7].

Несмотря на разного рода трудности, вновь находятся последователи первопроходцев в создании саамской письменности. В 1954 году с рядом научных экспедиций на Север приезжает Г. М. Керт. Он собирает большой текстовый и звуковой материал по всем саамским диалектам, и уже в 1961 году в издательстве Академии наук СССР выходит подготовленный им сборник образцов саамской речи [Керт, 1961]. Более поздними работами Г. М. Керта стали «Саамский язык (кильдинский диалект): фонетика, морфология, синтаксис» (1971); «Словарь саамско-русский и русско-саамский» (1985); «Саамская топонимная лексика» (2009) и другие. В числе исследователей саамского языка важным представляется назвать такие имена, как П. М. Зайков, В. З. Панфилов, Е. Я. Пация, Е. И. Мечкина, Р. Д. Куруч, которые занимались как фонологическим исследованием саамского языка, так и фольклористикой и литературоведением. С исследованиями Г. М. Керта в развитии саамской письменности наступает новый этап. Теперь к работе над саамским языком привлекаются студенты Института народов Севера. Ими становятся Октябрина Воронова, впоследствии первая саамская поэтесса, поэт Аскольд Бажанов и Александра Антонова. Позже присоединяются к этой группе Екатерина Коркина, Ираида Виноградова, Нина Афанасьева и другие. Теперь работа идет над созданием письменности на русской графике.

А. А. Антонова работает в школе с 1954 года. Являясь носителем саамского языка, она переводила с русского на саамский язык многие материалы из газет и журналов. Интерес к своему родному языку у школьников того времени

был большой. Серьезная работа над созданием саамского букваря началась в 70-х годах, когда А. Антонова стала преподавать саамский язык в школе.

В результате этой работы появился новый пополненный алфавит саамского языка, который и позволил в 1982 году написать первый послевоенный саамский букварь [Антонова, 1982]. За ним вышел из печати и учебник 2-го класса «Самъ килл» («Саамский язык») [Антонова и др., 1990].

В настоящее время в с. Ловозеро саамский язык преподается в школе-интернате, факультативно в средней школе и в Профессиональном училище № 26. Педагогами по саамскому языку являются Н. А. Золотухина, М. Г. Медведева, О. Г. Пауль, А. И. Яковлева. Взрослое население все больше проявляет интерес к родному языку, выражая просьбу открыть курсы по изучению саамского языка. Это движение положило начало формированию нового этапа национального развития родного языка, роста самосознания саамского народа.

В с. Ловозеро, однако, среди саамов, которые не являются оленеводами, потеря саамского языка является серьезной проблемой, вызывающей озабоченность. Школы недостаточно оснащены учебным материалом для преподавания кильдинского диалекта саамского языка. Имеющиеся учебники являются предметом горячих споров. Одни представители культуры саамов утверждают, что единственным способом сохранения кольского саамского языка является переход на письменную форму, которая используется в Фенно-Скандинавии. В этом случае кольские дети-саамы смогут пользоваться школьными учебниками, созданными в Скандинавии, и читать издаваемую там литературу на саамском языке. Другие представители настаивают на том, чтобы кольские дети-саамы имели свои школьные учебники, в основу которых положена русская графика, с которой они уже познакомились, изучая русский язык.

Известно, что с. Ловозеро и г. Карасьёк (Норвегия) являются городами-побратимами. Экспериментальная программа была предложена нескольким саамам – школьникам из села Ловозеро. В соответствии с этой программой несколько детей из села Ловозеро были приглашены в Карасьёк для изучения саамского языка. В Карасьёке распространен северный диалект саамского языка – наиболее крупный по числу говорящих. Знание этого диалекта и использование латинской графики, помогут представителям кольских саамов принимать более активное участие в Северных политических форумах саамов. Это, однако, не является

решением проблемы потери саамского языка на Кольском полуострове.

Жизнеспособность этноса зависит от развития и функционирования всех видов исторически сложившейся культуры, будь то традиционные направления хозяйства (оленоводство, рыболовство, охота), или средства передвижения, постройки, одежда, пища, утварь, или устное народное творчество, обряды, танцы. Главным же отличительным признаком этноса является язык. Устойчивость этноса определяется не только способностью языка адекватно отражать все стороны жизни народа, но и тем, в какой степени язык функционирует в различных социальных группах населения.

Степень сохранности языка зависит от размеров группы, условий расселения, длительности и интенсивности контактов с русскими.

Приблизительно с 1987 года в научных изданиях, популярных журналах и газетах начала подниматься волна публикаций о народах Севера и их языках. Ученые, журналисты, писатели и северные активисты, все пишущие о народах Севера, в один голос заговорили об исключительно тяжелой ситуации, в которой оказались к концу века эти народы. Ситуация описывалась как «этническая катастрофа».

В своей общей работе П. Х. Зайдфудим и С. И. Дороженкевич делают вывод о том, что «Этнокультуры начинают вымирать с потерей языка коренного народа, его быта и культуры. <...> Народ, который теряет свой язык, перестаёт быть самостоятельным этносом» [Зайдфудим, Дороженкевич, 1999. С. 14–19].

Этот мотив – родной язык находится в беде, утрата родного языка равнозначна гибели народа – повторяется практически в каждом публичном выступлении представителей народов Севера. Эвенский поэт, общественный деятель и ученый А. В. Кривошапков призывает: «Будем жить надеждой и верой, что малочисленные народы Севера будут жить и развиваться и в XXI веке. Для этого у нас есть одно-единственное условие – всемерно развивать языки коренных малочисленных этносов. Развивая родные языки, мы не исчезнем и в третьем тысячелетии!» [Кривошапков, 1998. С. 155].

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ:

Костина Галина Владимировна

зав. кафедрой филологии, к. филол. н.
Петрозаводский государственный университет
(Кольский филиал)
ул. Космонавтов, 3, Апатиты, Мурманская обл.,
Россия, 184209
эл. почта: gkostina@arcticsu.ru
тел.: +7 921 166 24 41

Таким образом, в русской культуре посредством этнографической литературы, которая выступает в качестве проводника межэтнического взаимодействия, формируется представление о культуре саамов. Не вызывает сомнения, что пласт этнографических источников по истории, культуре жизни и быта саамов Кольского Севера представляет собой сложный комплекс разноплановых материалов, которые позволяют судить о различных этнокультурных аспектах функционирования саамского языка на Кольском полуострове.

Литература

- Алымов В. О сейдах // Доклады и сообщения Мурманского общества краеведения. Мурманск, 1927. С. 44–45.
- Антонова А. А. Букварь: Для подготовительного класса саамской школы. Л., 1982.
- Антонова А. А. Саамская письменность – XX век // Живая Арктика: Историко-краеведческий эколого-информационный альманах. 1999. № 2. С. 7.
- Антонова А. А., Воронова О. В., Коркина Е. Н. Самь килл=Саамский язык: Учебник и книга для чтения для 2-го класса. Л.: Просвещение, 1990. 255 с.
- Волков Н. Н. Российские саамы: Историко-этнографические очерки. СПб.: Каутокейне, 1996.
- Зайдфудим П. Х. Коренные народы Севера на рубеже тысячелетий / П. Х. Зайдфудим, С. И. Дороженкевич // Энергия. 1999. № 3. С. 14–19.
- Керт Г. М. Образцы саамской речи, материалы по языку и фольклору саамов Кольского полуострова, кильдинский и йоканьгский диалекты. М.: Изд-во АН СССР, 1961.
- Кривошапков А. В. Развивая родные языки, мы не исчезнем в третьем тысячелетии // Образование как фактор развития языков и культур этнических меньшинств. СПб.: РГПУ, 1998. 284 с.
- Максимов С. В. Год на Севере. СПб., 1864. 854 с.
- Немирович-Данченко В. И. Страна Холода. М., 1877. 196 с.
- Харузин Н. Н. Русские лопари. М., 1890. 472 с.
- Черняков З. Е. Саамский букварь. М.; Л., 1933.
- Эндюковский А. Г. Букварь: На саамском (лопарском) языке. Л.; М., 1937.
- Schefferi J. Lapponia. Francofurti, 1674. (цит. по переводу на финский, изданному в 1963 г.).

Kostina, Galina

Chief of philology department, Ph. D in Philology, Professor
Petrozavodsk State University (Kola Branch)
3 Kosmonavtov st., Apatity, Murmansk region, Russia, 184209
e-mail: gkostina@arcticsu.ru
tel.: +7 921 166 24 41

УДК 903.3+903.022(470.22)

ЭВОЛЮЦИЯ ЖИЛЫХ ПОСТРОЕК В ФИНАЛЕ НЕОЛИТА И ЭНЕОЛИТЕ КАРЕЛИИ

И. Ф. Витенкова

Институт языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН

Статья посвящена процессам изменения полуземлянок в конце каменного века – начале эпохи металла. Древнее население намного больше зависело от природной среды, чем современное, и было вынуждено приспосабливаться к ее особенностям. Размещение древних поселений и других объектов (жилищ, очагов) на местности зависело от особенностей ландшафтов и подчинялось определенным закономерностям, пока недостаточно установленным. Выявление возможных связей между изменением палеоландшафтов и эволюцией жилых построек представляет интересную научную задачу, для окончательного решения которой потребуются дальнейшие исследования. В работе использованы материалы двух пока неопубликованных археологических памятников с жилищами – Кудамгуба VII и Шелтозеро XII, на которых были обнаружены и раскопаны остатки жилищ.

К л ю ч е в ы е с л о в а : жилища, ландшафт, деревянный, стены, пол, очаг, керамика, асбест, каменные орудия.

I. F. Vitenkova. EVOLUTION OF DWELLINGS IN THE LATE NEOLITHIC AND THE ENEOLITHIC PERIODS IN KARELIA

The paper deals with the evolution of dwellings in the late Stone Age – early Metal Age. Ancient people were more dependent on the natural environment than modern people, and had to adjust to its features. The siting of old settlements and other objects (dwellings, hearths) depended on the characteristics of the palaeolandscape, and followed certain, as yet insufficiently known patterns. Identification of potential links between the alteration of the landscape and the evolution of dwellings is an intriguing scientific task that requires more research to be ultimately solved. The study used materials from two yet unpublished archaeological sites with dwellings – Kudamguba VII and Sheltozero XII, which date closely but are situated far apart.

Key words: dwellings, pottery, landscapes, space between swells, hearths, asbestos.

Хотя современная геологическая, геоботаническая и гидрологическая обстановка в Карелии изучена основательно, сведений о динамике ландшафтов прошлого и о палеоландшафтах как целостном образовании пока недостаточно. Однако успехи в области палинологии позволяют реконструировать отдельные элементы па-

леоландшафтов. В течение последних десяти тысяч лет происходили постоянные изменения климата и всех природных факторов, формирующих растительность и ландшафты того или иного временного интервала. Наиболее значительные изменения произошли в начале атлантического времени (повышение среднегодовых

температур на 2–2,5°). Время максимального потепления 6000±250 л. н., в суббореале, после глобального похолодания, датируемого временем 4800–4500 л. н., климатические параметры стали близки к современным [Елина, Лукашов, Токарев, 2005. С. 5–13]. Показательно, что именно эти временные интервалы совпадают с периодами существования жилых построек, оставленных носителями гребенчато-ямочной и ромбоямочной посуды (время потепления), и жилищ носителей керамики с примесью асбеста (время похолодания).

Поселения каменного века и начала эпохи металла достаточно удачно вписывались в палеоландшафты. Избирательное отношение древнего населения к окружающей среде заметно по неравномерной концентрации археологических памятников на местности. Древние жители предпочитали для расселения удобные места, в которых и фиксируются скопления археологических памятников, причем нередко разновременных. В чем заключалось удобство? Близость водоема, богатого рыбой, сухая, относительно ровная терраса, пригодная для устройства поселения и хозяйственной деятельности, песчаная почва, на которой не застаивается дождь и талые воды. Перечисленные факторы хорошо известны. Их можно назвать явными, хорошо заметными. Но есть и другие особенности ландшафта, которые были совершенно ясны для древнего человека, но не всегда понятны современному исследователю. Например, насколько степень освещенности склона террасы в разное время дня и года влияла на удобство проживания, мешал ли крутой спуск к воде, каковы были господствующие ветры в данном районе и насколько они препятствовали или способствовали хозяйственной деятельности и быту. Иными словами, человек жил не в абстрактной природной среде, а в конкретном природном территориальном комплексе (ландшафте). К сожалению, исследования древних поселений с точки зрения особенностей ландшафта проводились сравнительно редко.

На поселениях без жилищ очертания пятен культурного слоя приблизительно соответствуют контурам площадки террасы. Границы территории археологического памятника обычно бывают естественными (повышение или понижение уровня поверхности террасы, обрыв, болото, скалы). Находки, очаги, хозяйственные ямы концентрируются в центральной части поселений. На памятниках с полуземлянками культурные остатки и находки сосредоточены в жилищах, между постройками их количество незначительно. Это позволяет

предположить, что на поселениях с жилищами люди обитали только в зимний период, то есть такие поселения были сезонными [Витенкова, 2002. С. 55].

При раскопках древних поселений нередко обнаруживаются более или менее сохранившиеся остатки жилых построек. Их размещение и особенности конструкции безусловно связаны не только с культурными традициями и хозяйственными навыками населения, но и с особенностями окружающего ландшафта.

Жилища обычно прослеживаются на современной дневной поверхности в виде впадин овальной, иногда округлой или подпрямоугольной формы, размером 5–7 × 8–10 м, глубиной жилищной впадины 40–60 см. Следует отметить, что иногда естественные западания между валами можно принять за жилищные впадины, поэтому в некоторых случаях на месте впадин при раскопках следов жилищ не обнаруживается. Так, на поселении Черная Губа III в одной из четырех раскопанных впадин жилища не оказалось; на соседнем памятнике Черная Губа IV из трех раскопанных впадин жилище четко выявилось только в одной; на месте другой следы жилища прослеживались только стратиграфически, видимо, постройка существовала очень короткое время; в третьей впадине жилища не было [Витенкова, 2002. С. 21–35].

В период раннего неолита на поселениях с керамикой сперрингс и ямочно-гребенчатой следы наземных или слегка (на 15–25 см) углубленных жилищ удавалось обнаружить в редких случаях [Журавлев, 1991. С. 125–127; Косменко, 1992. С. 115, Лобанова, 2009. С. 44–68]. Количество и разнообразие жилищ заметно увеличилось в позднем неолите и энеолите, что совпадает с климатическим оптимумом. К настоящему времени исследовано более двадцати поселений с гребенчато-ямочной и ромбоямочной керамикой, количество раскопанных на них жилищ приближается к пятидесяти (рис. 1).

Жилища обычно находятся на террасах с намывными валами, образованными деятельностью озера. Жилая постройка располагается в междувалье, длинными стенами параллельно валам. Благодаря этому жителям не приходилось тратить много усилий для выкапывания котлована. Обычно центр жилища углублялся незначительно, выравнивался и подкапывался только грунт у стен. Выходы делались в торцовых стенках, т. е. были направлены параллельно берегу, скорее всего для того, чтобы ветер с озера не попадал в жилище. Наиболее ранние жилища позднего неолита имели два выхода в противоположные стороны.

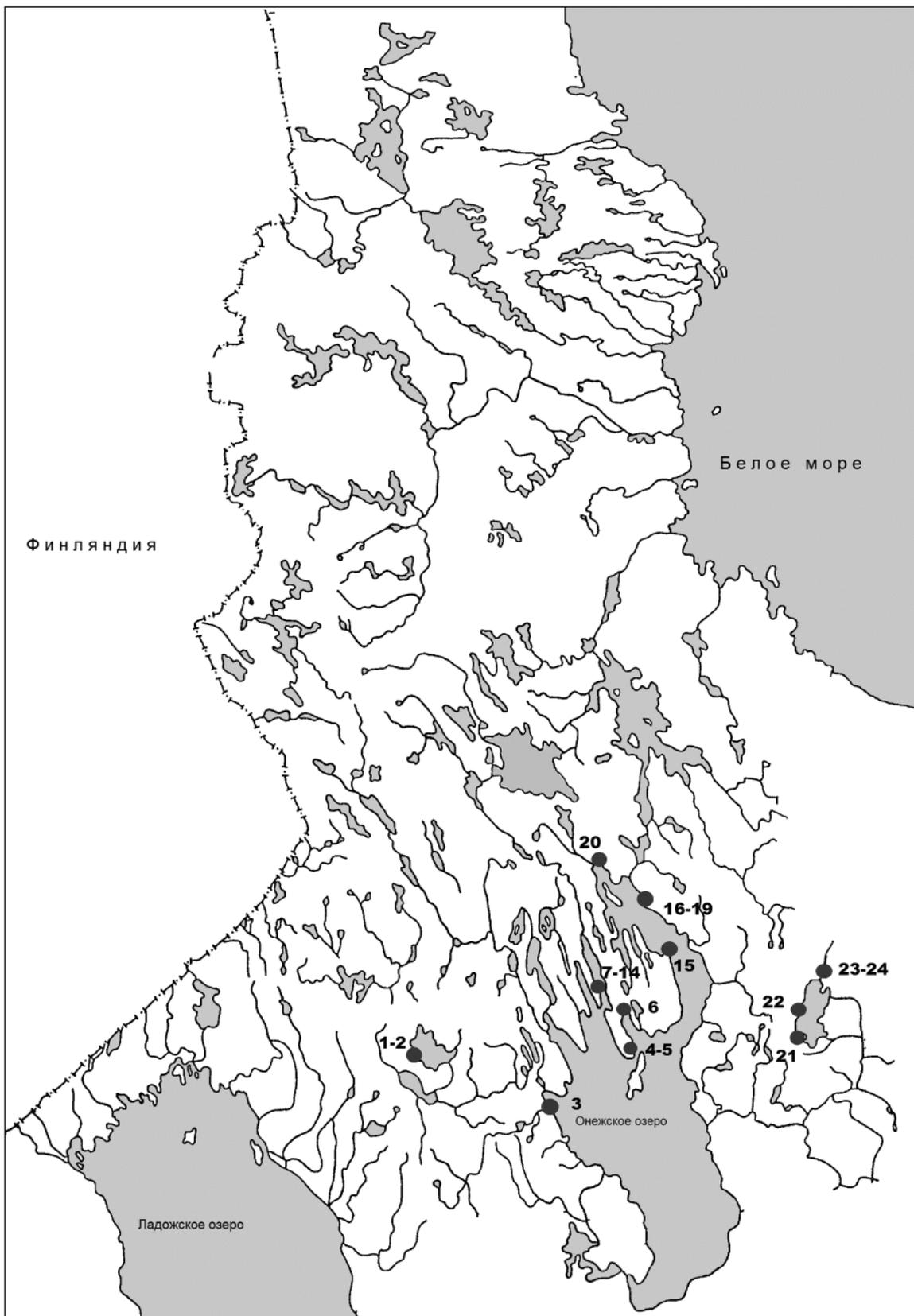


Рис. 1. Поселения с жилищами с гребенчато-ямочной и ромбоямочной керамикой на территории Карелии. ● – поселения:
 1, 2 – Питкяламба I, IV; 3 – Вигайнаволок I; 4, 5 – Возмариха 2, 4; 6 – Широ́й-наволо́к I; 7–14 – Пегрема I, II, III, VII, X, XII, XXIX, XXXIII; 15 – Клим I; 16 – Оровнаволо́к XVI; 17–19 – Черная Губа III, IV, IX; 20 – Сандермо́ха I; 21 – По́га I; 22 – Охто́ма I; 23, 24 – Илекса I, III

Так как в условиях Карелии деревянные конструкции жилых построек со временем почти полностью исчезают и прослеживаются в основном по следам в грунте, особое внимание приходится уделять очертаниям основания жилища. При сравнении оснований жилищ, связанных с гребенчато-ямочной и ромбоямочной посудой, выявляется существенная разница. На более ранних поселениях с гребенчато-ямочной керамикой (Черная Губа III) в большинстве случаев основания имели прямоугольные пропорции. Длинные и короткие стены соотносятся как 3:2, лишь в трех жилищах из десяти основания близки к квадратным. Наибольшая длина стен составляет 11 м, наименьшая – 3,6 м. Средняя их площадь 30–40 м². Между тем на поселениях с ромбоямочной посудой очертания большинства жилищ почти квадратные.

Другим важным элементом конструкции является степень углубления основания жилища в почву. Углубление пола всех исследованных жилищ составляет обычно не более 0,4–0,5 м, более глубокие жилища чрезвычайно редки. Учитывая расположение жилищ между песчаными намывными валами, а также толщину перекрывающего дерна и подзолистой почвы, приходится констатировать, что фактически в землю вкапывались только 1–2 нижних бревна стен. Уровень пола почти совпадал с древней дневной поверхностью. Видимо, пол в основном выравнивали, а углубляли лишь незначительно. Полы жилищ обычно представляют собой площадки плотно утоптанного, ожелезненного песка. В центре жилищ с двумя выходами или у дальней стены (если выход один) часть пола покрыта рыхлым песком. Видимо, здесь располагались спальные места (нары?) [Витенкова, 2002. С. 28].

Выходы из жилищ фиксируются по цвету слоя (окрашенного охрой) и распространению находок. После расчистки образуются канавки, углубленные в материк, шириной 1–2 м, их уровни примерно соответствуют уровню полов. Количество выходов связано с формой основания. У жилищ длинных пропорций два выхода, у жилищ квадратной формы – один. Особенности конструктивного оформления выходов неясны.

Жилища позднего неолита были обнаружены на памятниках северного побережья Онежского озера (Оровнаволок XVI – раскопки Н. В. Лобановой, Черная Губа III, IV, IX) и на Заонежском полуострове (Ширый-наволок I, Пегрема II, Возмариха 2, 4). В бассейне Водлозера выявлено одно жилище с гребенчато-ямочной посудой на поселении Пога I [Журавлев, 1991. С. 32–39; Мельников, 2001. С. 201–203; 2005. С. 216–248; 2006. С. 98–105; Витенкова, 2002. С. 21, 73]. Остальные связаны с комплексами ромбоямочной

керамики. В бассейне Сямозера, на поселении Лакшозеро II с выразительным комплексом гребенчато-ямочной посуды нет следов полуземлянок, не зафиксированы и какие-либо признаки наземных построек [Витенкова, 1986. С. 119–138]. Но в этом же районе вскрыты два жилища с ромбоямочной керамикой на поселениях Питкяламба I и IV – раскопки А. П. Журавлева.

В период позднего неолита на некоторых памятниках (Черная Губа IX, жилища 1–4) выявлено попарное размещение жилых построек: рядом с жилищем удлиненных пропорций располагалось жилище меньшего размера квадратных очертаний. Были ли эти постройки соединены – неясно, однако распространение находок в жилищах 1 и 2 на поселении Черная Губа IX указывает на отсутствие переходов между жилищами. Более позднее жилище на поселении Черная Губа IV, одиночное, почти квадратных очертаний, сравнительно небольшого размера, с одним очагом и выходом.

Жилища, которые можно с большей или меньшей уверенностью связывать с ромбоямочной посудой, на территории Карелии насчитывается свыше 30. Их количество превышает число жилищ, относящихся к комплексам с гребенчато-ямочной керамикой. Значительно шире и территория, на которой они встречаются. В бассейне Водлозера выявлено пять полуземляночных жилищ, связанных с ромбоямочной керамикой (Охтома I, Илекса I и III). На памятниках с ромбоямочной посудой известны и одиночные жилища с одним выходом, и жилища, соединенные переходами (на поселении Пегрема VII выявлен комплекс из трех жилищ, соединенных переходами [Журавлев, 1991. С. 45–55]), но одиночные почти квадратные жилища преобладают.

На поселениях с асбестовой и пористой посудой встречаются жилища различных пропорций, как с одним, так и с двумя очагами и выходами. Количество поселений этого времени с раскопанными жилищами составляет около четырех десятков, а количество вскрытых жилищ приближается к семидесяти (рис. 2). В этот период не только значительно увеличилось число жилых построек, но и расширилась к северу территория их распространения, хотя в этот период времени на территории Карелии наблюдается похолодание (рис. 1, 2). Увеличение числа памятников и продвижение их к северу показывает хорошую адаптацию населения к природным условиям. Об этом же говорит и увеличение количества стационарных жилищ. Причем, в отличие от жилищ позднего неолита, энеолитические жилища очень четко выделяются на поверхности, хорошо видны их правильные прямоугольные

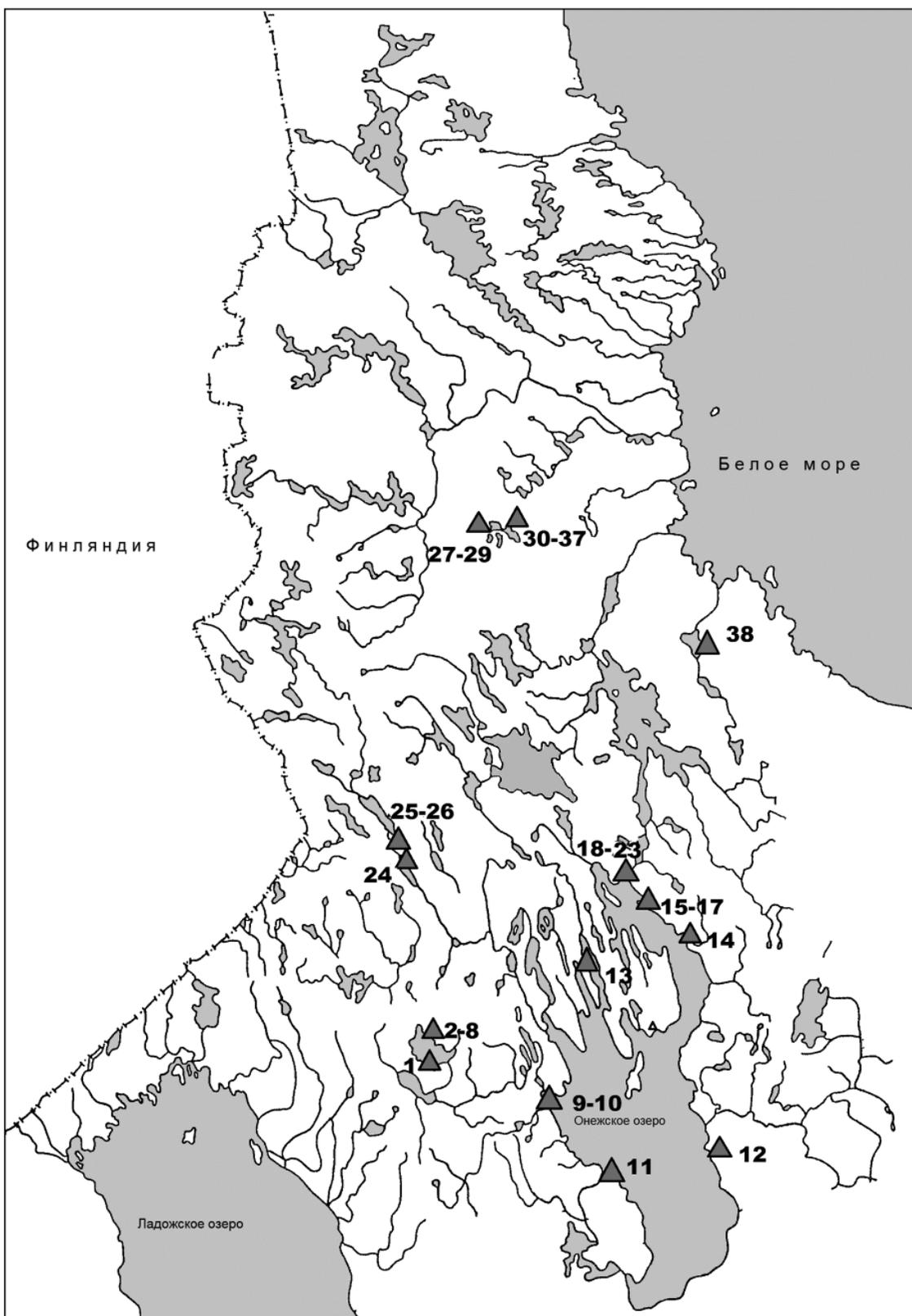


Рис. 2. Жилища, исследованные на поселениях с асбестовой и пористой керамикой на территории Карелии. ▲ – поселения с жилищами:

1 – Курмойла IV; 2, 3 – Кудома X, XI; 4, 5 – Лахта II, III; 6–8 – Сулгу III, IIIa, Va; 9 – Вигайнаволок II; 10 – Пески IV; 11 – Шелтозеро XII; 12 – Кладовец IX; 13 – Палайгуба II; 14 – Челмужская Коса XXI; 15 – Оровнаволок XVI; 16, 17 – Черная Губа VII, IX; 18–23 – Кочнаволок II, Войнаволок X, XXIV, XXV, XXVII, XXXVIII; 24 – Чудозеро IV; 25, 26 – Кудамгуба IV, VII; 27–29 – Березово IX, XIV, XVIII; 30–37 – Тунгуда III, IV, V, VI, XII, XIV, XV, XVII; 38 – Сумозеро XV

очертания и даже выходы. Особенно это заметно на поселениях бассейна Белого моря [Жульников, 2005. С. 43–45]. Поэтому можно достаточно уверенно утверждать, что далеко не все существующие жилища этого времени раскопаны, их действительное количество намного больше. Однако на многослойных памятниках, сосредоточенных в бассейне Водлозера и в низовьях Выга, полуземлянок не выявлено. В большинстве таких пунктов, вероятно, существовали сезонные стойбища. Не исключено также и существование наземных жилищ, впоследствии разрушенных хозяйственной деятельностью. Следы такого наземного жилища были раскопаны М. Г. Косменко на поселении Кочнаволок II. Постройка (8×4 м) была выявлена по пятну розового песка, окрашенного охрой, с большим количеством находок. В центральной части зафиксирован пол жилища в виде площадки твердого утоптанного песка [Косменко, 1992. С. 74–75]. На поселениях с жилищами-полуземлянками впадины расположены в один-два ряда. А. М. Жульников выделил два основных варианта жилищ: к первому отнесены постройки прямоугольных очертаний с двумя выходами, расположенными в центре коротких стенок, и двумя очагами, ко второму – полуземлянки квадратных или близких к квадрату очертаний с одним выходом и очагом. Жилища первого варианта больше по площади и преобладают количественно [Жульников, 1999. С. 34]. При изучении материалов археологических памятников с жилищами пока не вполне ясно, является ли разнообразие размеров и конструкций жилых построек случайным или намеренным, а также насколько особенности жилищ связаны с хозяйственными и бытовыми условиями населения. По этим вопросам можно высказывать только более или менее обоснованные предположения. Для примера рассмотрим материалы двух пока неопубликованных поселений.

Кудамгуба VII находится на северо-западной оконечности Кудамгубского озера, в 350 м от берега, на древнем мысу, к которому с севера и востока подступает обширное болото, бывшее озером во время существования поселения. В настоящее время территория стоянки возвышается над болотом на 1,8–1,9 м. Поселение было открыто Г. А. Панкрушевым в 1958 г., затем в 1984–85 гг. исследования были продолжены П. Э. Песонен (372 м²). Раскоп (240 м²), включавший жилищную впадину, располагался на краю древнего берега, занимая невысокий прибрежный вал, узкое междувалье и частично второй вал.

Жилищная впадина правильных овальных очертаний, расположенная в междувалье, была ориентирована длинной осью в направлении северо-запад–юго-восток в сторону берега

озера. Ее размеры 6×8 м, глубина в центральной части достигала 78 см. В западной части от нее отходил корытообразный выступ (выход) длиной до 3 м и глубиной 15–20 см. Под слоем подзола (10–20 см) впадину заполнял оранжевый пятнистый песок (25–40 см). На глубине 30–32 см от современной поверхности в жилище выявился пол, представлявший собой линзу коричневого сильно спекшегося песка с зольно-углистыми включениями толщиной 5–7 см, размерами 6×1,8–2,2 м. Следы сгоревших стен прослеживались в виде углистых линз и включений угольков, залежавших в слое серого песка, широкой полосой (до 2 м) окружавшего впадину. На глубине 40–45 см от современной поверхности на светлом слое окружающего материкового песка четко выявилась прямоугольная постройка, уничтоженная пожаром. По склону ее юго-западной стороны лежали части сгоревших бревен длиной до 4,5 м. Особенно отчетливо выделались северный, восточный и южный углы (рис. 3). Вдоль стен, на уровне нижнего венца, на глубине 50–60 см залежали полосы почти сплошного угля, которые с внешней стороны постройки были прикрыты чистым песком на 15–20 см, т. е. угольная полоса внешним краем заходила под песок. Видимо, стены снаружи были присыпаны песком для утепления. После зачистки на материке выявилась впадина (5,2–5,3 × 8 м) с почти плоским дном и прямыми стенками высотой до 40 см. Два выхода, в виде канавок, прослеженные в противоположных торцовых стенах, были направлены параллельно береговому валу и берегу болота (в древности – озера). У выходов из жилища залежали углистые линзы кострищ. Вероятно, эти небольшие костерки служили заслоном от комаров. Глубина выходов составляла 10–15 см от уровня материка. Очаг, сложенный из камней, размерами 1×1 м, обнаружен у стенки жилища, другой очаг, углубленный в землю, расчищен в яме, на глубине 25 см от древней поверхности, в его углистой линзе залежали два небольших валуна и отщепы кварца. Еще одна интересная деталь: вдоль длинных стен жилища на глубине 30 см от современной поверхности выявились округлые небольшие ямки (20–30 см диаметром, глубиной 10 см), заполненные охрой. Эти ярко-красные линзы располагались довольно симметрично вдоль длинных стен по две с каждой стороны. Запасы охры в горшках, ямках или в виде твердых кусков нередко встречаются в древних жилищах. В данном случае необычно симметричное расположение ямок с охрой. Рядом с северо-западным выходом из жилища был найден небольшой кусочек меди (бронзы?), а по обе стороны юго-восточ-

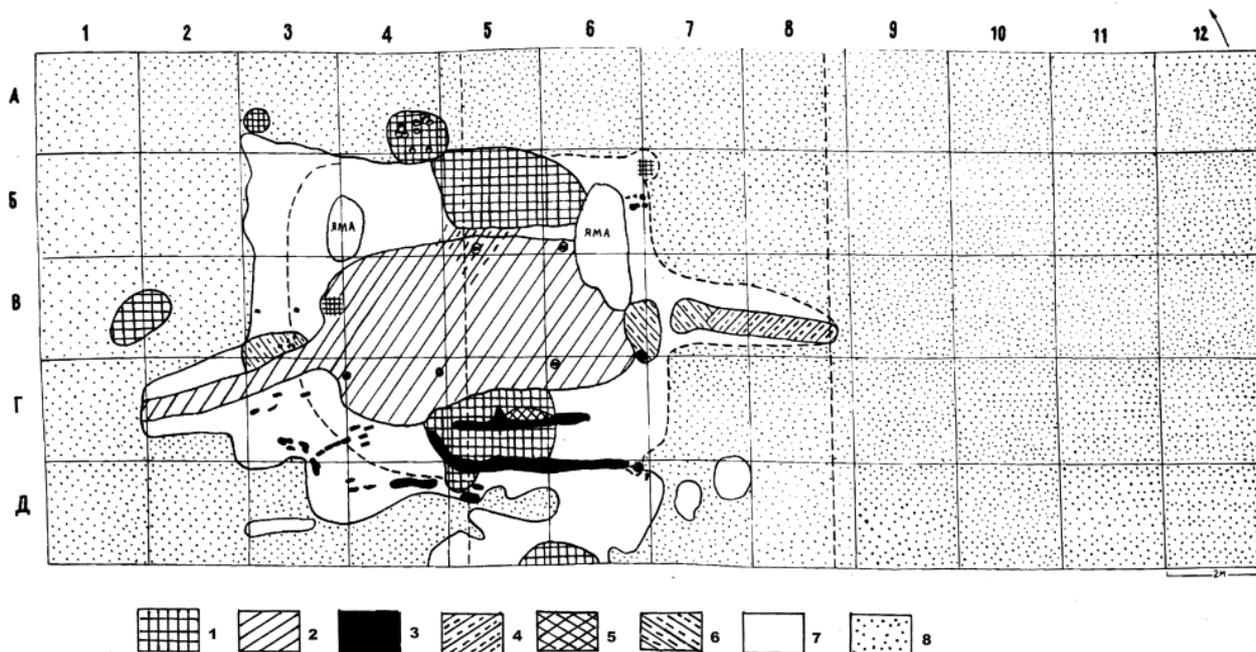


Рис. 3. Кудамгуба VII. План раскопа после выборки IV горизонта:

1 – углистый черный слой, 2 – оранжевый песок, 3 – угли, 4 – красновато-оранжевый песок, 5 – красный песок, 6 – коричневый песок, 7 – серый углистый слой, 8 – чистый материковый песок

ного выхода стояли плоскодонные горшки с примесью асбеста в глине. От первого сохранилось дно и часть стенок, второй сосуд сохранился почти полностью.

Коллекция изделий состоит из 512 фрагментов керамики (155 асбестовой, 5 – пористой, 182 – ромбоямочной, 48 – ямочно-гребенчатой, 62 – ямочной, 8 – сяряйс I, 52 – сперрингс), 3 обломков глиняных изделий, 317 каменных предметов, одной обработанной кости и кусочка меди. Отходы: кварца 2248, кремня 19, сланца 47, шифера 14, кусков асбеста 4, мелких кальцинированных косточек – 841.

Можно утверждать, что жилище связано с комплексом асбестовой керамики, так как лишь ее фрагменты концентрировались на полу жилища, у юго-восточного выхода и у очага. Сосудов насчитывается около десятка, все они плоскодонные, с венчиками, слегка расширенными сверху, иногда слегка загнутыми внутрь. Орнаментированы «елочкой» из оттисков длинных и коротких гребенчатых штампов, иногда веревочки. Керамика сделана из глины с умеренной, реже значительной примесью толченого асбеста. Иногда визуально заметна и примесь органики. Один из сосудов, орнаментированный оттисками редкозубого гребенчатого штампа, вылеплен из глины с примесью не только асбеста, но и кости.

Каменный инвентарь четко разделить на разновременные комплексы не удалось; в самом деле, обломки крупных рубящих орудий

(массивного топора и тесла прямоугольных очертаний) могли относиться и к более раннему времени, прочие изделия еще менее выразительны. Пожалуй, с жилищем можно определенно связывать обломки узких кремневых наконечников стрел с усеченным основанием.

По мнению П. Э. Песонен, автора раскопок, постройка была прямоугольной, срубной, нижние венцы клались прямо на землю, а с внешней стороны присыпались для тепла песком. Внутри постройки был вырыт неглубокий котлован, чтобы не сползал песок и не оголялись нижние венцы стен, он был по периметру укреплен еще рядом (а может быть, и двумя рядами) бревен. По углю из стенки жилища получена дата 4010 ± 80 (ТА-1893).

Поселение Шелтозеро XII, открытое Г. А. Панкрушевым в 1972 г., расположено на берегу Онежского озера в 50 м от уреза воды, в 600 м северо-западнее устья впадающей в него р. Шелтозерки. Неширокой полосой (длиной 100 м, шириной 15–20 м) стоянка тянется вдоль берега, занимая неглубокое понижение между третьим и четвертым береговыми валами и частично заходя за валы. На ее территории хорошо заметны четыре овальные впадины (размером 6–10 × 5–6 м), расположенные цепочкой между береговыми валами. Расстояние между впадинами 13–20 м. Раскоп 1973 г. (204 м²) заложен на месте одной из впадин, затем к нему для уточнения стратиграфии были прирезаны траншеи. На месте жилищной впадины выявле-

на довольно сложная стратиграфия, под слоем дерна и подзола залежали прослойки оранжевого, красного углистого и темного углистого песка. Пол жилища фиксировался по прослойке плотного коричневого ожелезненного песка. На месте юго-западной стенки жилища прослеживалась темная углистая полоса, толщиной 10–15 см, шириной 60–70 см, перекрытая беловатым песком с углями, вероятно, оставшаяся от сгоревших бревен.

В процессе раскопок была вскрыта жилищная впадина почти правильных прямоугольных очертаний, длиной 16 м, шириной от 4,8 м в северо-западной части до 5,7 – в юго-восточной. Площадь жилища с учетом толщины стен составляла около 70 м². Такое соотношение длины и ширины жилища встретилось в Карелии впервые (рис. 4). Судя по насыщенности культурного слоя углями, оно было уничтожено пожаром в древности, сгоревшие стены погребли под собой находившиеся на полу предметы. Видимо, поэтому на дне жилища сохранилось большое количество раздавленных глиняных сосудов и сравнительно многочисленный, хотя и довольно однообразный инвентарь. Дно жилищной впадины представляло собой довольно ровную площадку, на которой расчищены два кострища (1–1,5 м диаметром, углубленные в пол на 20–30 см), расположенные в центральной части жилища.

Коллекция изделий насчитывает 278 крупных (358 мелких) фрагментов асбестовой ке-

рамики и 19 крупных (80 мелких) фрагментов пористой, а также 268 орудий и нуклеусов из разных пород камня, отщепов и осколков кварца – 85, кремня – 11, сланца – 302, лидита – 6, песчаника – 13, кварцита – 35, куски асбеста – 3, глиняной массы – 3, обгоревшего дерева – 2, обгоревшей древесной коры – 6. Кроме того собрано 149 галек из сланца, 17 – из кварцита, 13 из песчаника, 1 – из лидита, 11 кальцинированных косточек, охра, древесный уголь. Материал орудий: сланец – 103, песчаник – 98, кварцит – 27, кварц – 20, лидит – 6, кремль – 11.

По венчикам выделено 23 сосуда, вылепленных из глины с большим количеством примеси мелко истолченных волокон асбеста. По форме они представляют собой плоскдонные горшки с выпуклыми боками и широким горлом, иногда профилированные. Толщина стенок от 3–5 до 6–7 мм, реже 8–9 мм. Большинство сосудов хорошего обжига, но встречаются и слабо обожженные, размокшие до тестообразного состояния. Орнамент чаще всего нанесен тонким гребенчатым штампом, образующим горизонтальные и косые линии, горизонтальный и вертикальный зигзаг (рис. 5: 1, 2, 4, 6). Реже встречаются простые узоры из короткого (двух- и трехзубого) штампа (рис. 5: 5, 7). Фрагменты пористой керамики орнаментированы коротким гребенчатым штампом, составляющим горизонтальный или вертикальный зигзаг или горизонтальные ряды (рис. 5: 3, 8). На венчике одного из сосудов заметны следы починки в виде просверленного отверстия (рис. 5: 2).

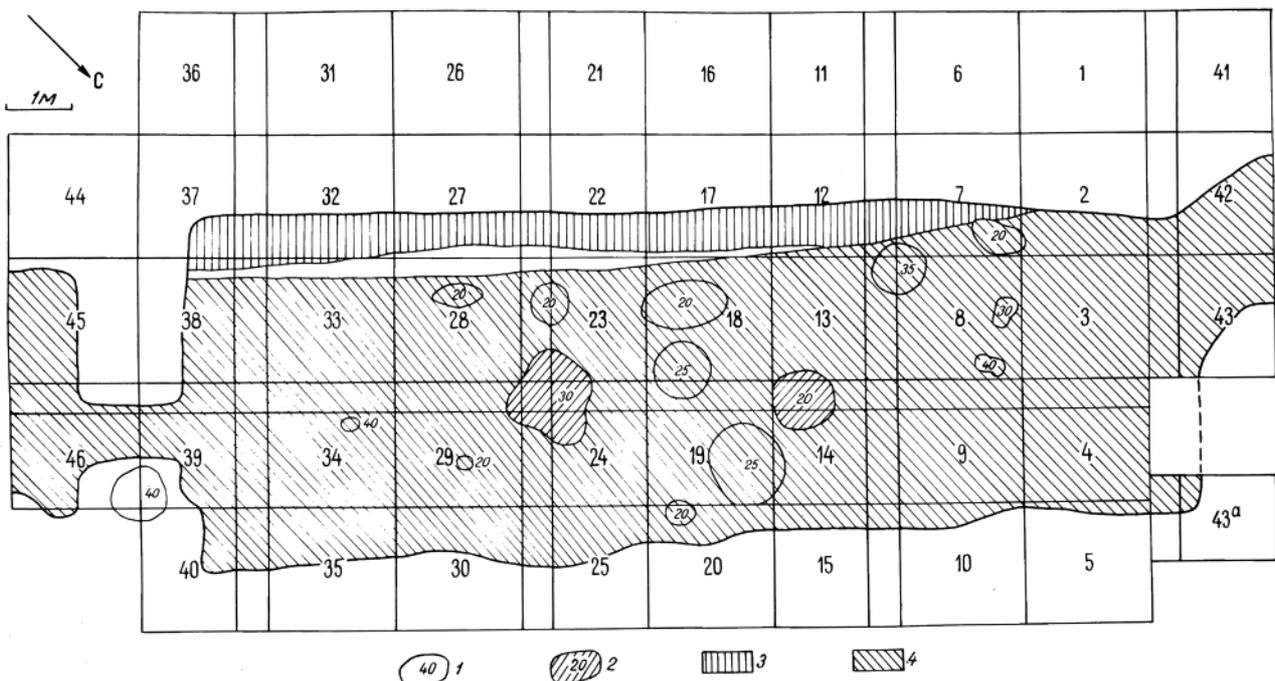


Рис. 4. Поселение Шелтозеро XII. План жилища на уровне пола:

1 – ямы, 2 – кострища, 3 – темный коричневый песок, 4 – углистый песок

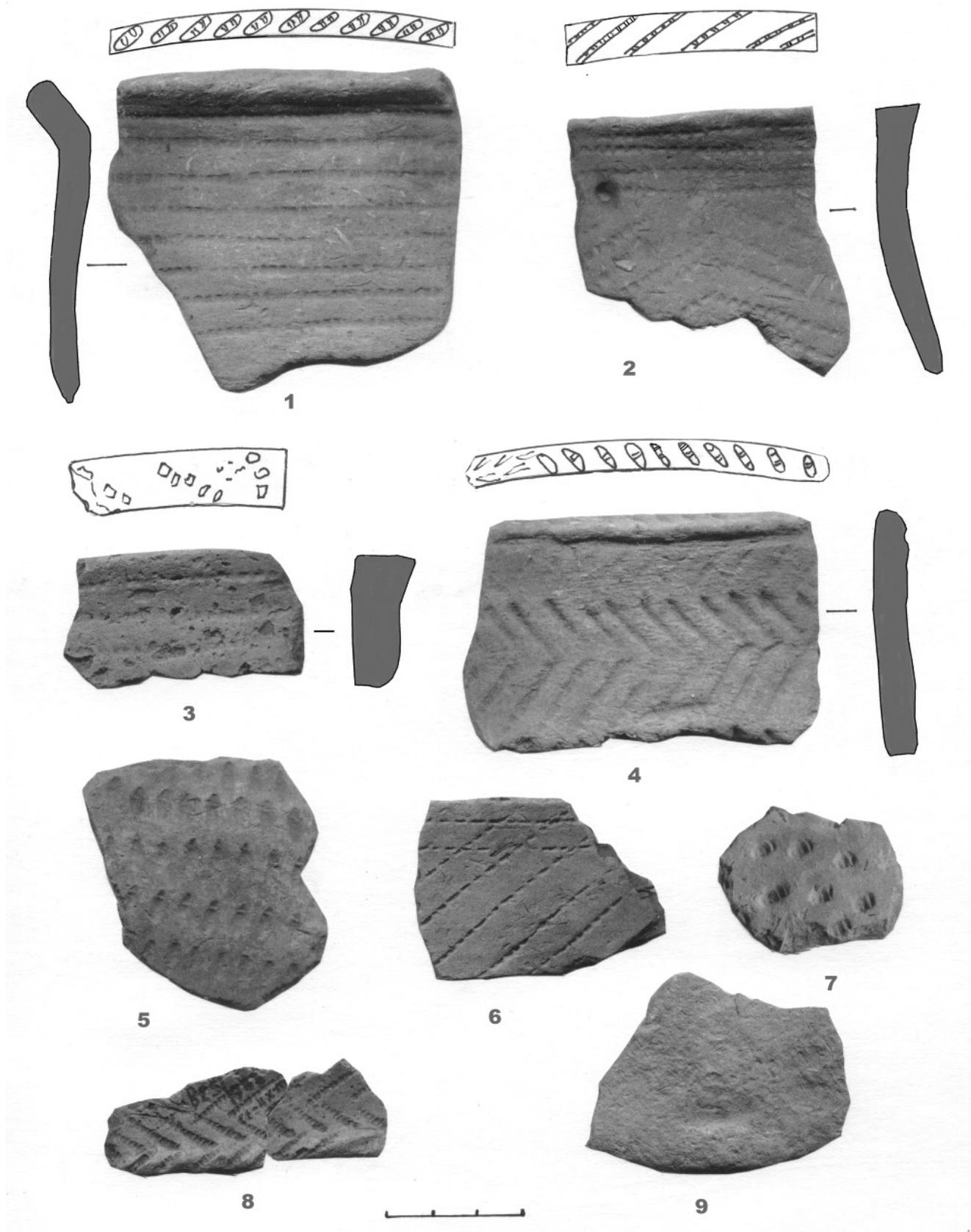


Рис. 5. Поселение Шелтозеро XII. Керамика с примесью асбеста и органики:

1–4 – фрагменты венчиков сосудов, 3 – венчик от сосуда с органической примесью, 5–7 – фрагменты стенок, 8 – придонная часть сосуда с примесью органики, 9 – фрагмент плоского дна

Каменный инвентарь поселения достаточно многочислен. Состав инвентаря типичен для памятников с асбестовой керамикой, сланцевые рубящие орудия отличаются хорошим качеством шлифовки и удлинёнными пропорциями, что характерно для этого периода. С другой стороны, в каменном инвентаре имеются некоторые особенности, не отмеченные в материалах других энеолитических поселений. Например, необычно большое количество абразивов (74 обломка шлифовальных плит, более 20 точильных брусков). Между тем, шлифованных орудий, вместе с обломками и заготовками, насчитывается только 33 экземпляра. Также слишком велико число рыболовных грузил, сделанных из плоских галек (44 экземпляра). Как правило, в материалах поселений их встречается не более 5–7 штук. На этом памятнике часто использовались гальки, применявшиеся для изготовления грузил, лощил, отбойников (рис. 6). Некоторые из них, возможно, предполагалось использовать в качестве заготовок подвесок. На большинстве галек следов обработки или использования нет, но они, несомненно, специально принесены на территорию стоянки и уложены компактными кучками, причем ино-

гда даже подобраны по размеру. Например, в юго-восточной части жилища, у его юго-западной стенки найдено скопление сложенных друг на друга продолговатых крупных галек. Признаков знакомства обитателей стоянки с металлом не выявлено.

Пропорции жилища настолько необычны, что другой аналогичной постройки на территории Карелии не обнаружено. Наибольшее сходство, пожалуй, можно найти с материалами поселения северного побережья Онежского озера Оровнаволок XVI (раскопки М. Г. Косменко). Хотя на последнем и не было таких длинных жилищ, как на Шелтозере XII, но жилище 2 также имело удлинённо-прямоугольные очертания и было снабжено тамбуром или пристройкой [Косменко, 1992. С. 72, рис. 12]. В керамике поселения можно найти и общие черты и различия с материалами Шелтозера XII. По мнению М. Г. Косменко, керамику Оровнаволока XVI можно отнести к поздней группе памятников с асбестовой керамикой, автор датирует ее согласно радиоуглеродным датам рубежом II – I тыс. до н. э. [Косменко, 1992. С. 130–145]. Возможно, к этому же времени относится и поселение Шелтозеро XII.

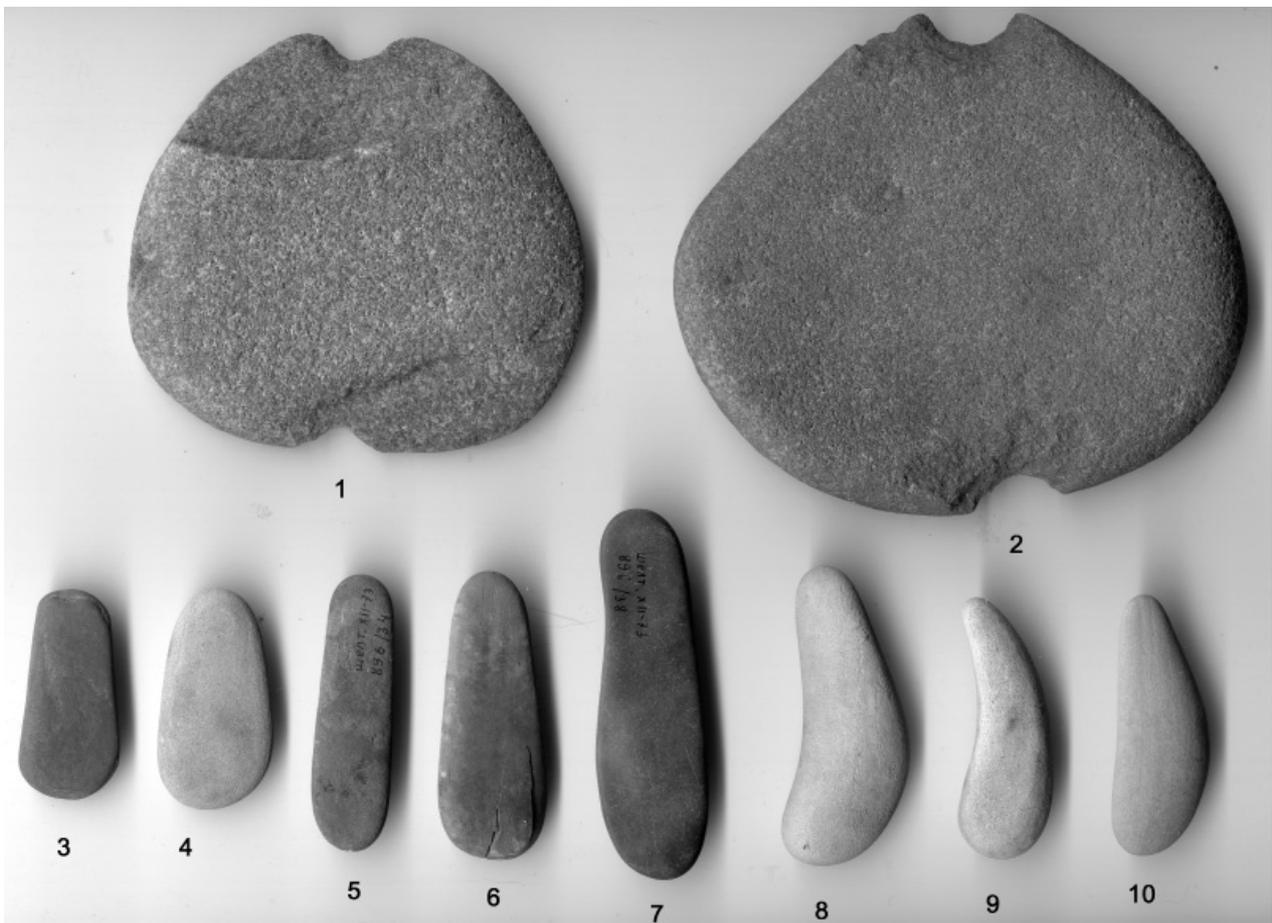


Рис. 6. Поселение Шелтозеро XII. 1, 2 – грузила из песчаника, 3–10 – сланцевые гальки

При сопоставлении материалов обоих памятников очевидно, что древние строители умело приспосабливались к особенностям ландшафта. Оба поселения расположены (Шелтозеро XII) или располагались в древности (Кудамгуба VII) поблизости от берега водоема. Жилища находились в междувальях и были ориентированы длинной осью вдоль валов. Выходы были направлены параллельно берегу водоема. Интересно, что хотя такое расположение выходов встречается чаще всего, есть и исключения. Так, в жилищах поселений, расположенных близ Пегремы, выход (обычно единственный) обращен к берегу озера [Журавлев, 1991. С. 72]. Безусловно, это не случайно, вероятно, какие-то природные особенности (направление господствующих ветров) делали удобным именно такое расположение выходов.

Всех археологов, вскрывавших древние жилища, интересовал вопрос о времени появления срубных построек в Карелии, а также с носителями какой культуры они связаны. В процессе исследования жилищ позднего неолита в районе Черной Губы автору не удалось обнаружить доказательств существования срубного жилища в это время. Стены жилищ в тот период строились из горизонтально лежащих бревен. Столбовые ямки вдоль стен (обычно хорошо выявляемые в процессе раскопок) отсутствуют. Данное обстоятельство указывает на то, что уже прекратилось строительство жилищ столбовой конструкции. Однако имеющиеся материалы не позволяют говорить об устойчиво сложившейся конструкции сруба. У более ранних жилищ (Черная Губа III, Черная Губа IX, жилища 1–4) короткие стены и углы построек выражены нечетко, утолщения или выступы углистых полос в углах не отмечены. Похожие жилища бытовали при переходе от неолита к энеолиту на территории Зауралья [Старков, 1983. С. 95–99]. В Прибалтике с гребенчато-ямочной керамикой связан иной тип жилища. На поселении Звидзе обнаружена наземная постройка столбовой конструкции из вертикально стоящих бревен, размерами 10,0 × 4,0 м [Лозе, 1988. С. 22]. Не завершился процесс сложения срубного жилища и на поселениях волосовской культуры: здесь углы построек, сложенные из горизонтально лежащих бревен, укреплены с помощью столбов [Бузин, 1990. С. 32–43]. На поселениях с ромбоямочной посудой также основания жилищ не имеют четких углов, тем более перекрестий в углах. Позднее очертания стен по всему периметру выявляются четче (Черная Губа IV), а у жилищ с асбестовой керамикой (Черная Губа IX, жилище 5) заметны и утол-

щения в углах. Скорее всего, именно в этот период на территории Карелии постепенно формируются традиции строительства срубного жилища, однако завершился ли этот процесс, с полной уверенностью сказать трудно. Заслуживает внимания предположение А. М. Жульникова, что присыпка стен грунтом могла способствовать укреплению конструкции жилищ [Жульников, 2003. С. 54–60].

О способах крепления кровли в жилищах позднего неолита и энеолита точных данных нет. Впрочем, следует указать, что в позднем неолите в наиболее длинном жилище (11 м) на поселении Черная Губа IX в центральной части пола зафиксированы четыре столбовые ямки, вероятно, от опор поддерживавших крышу. Кроме того, на поселении Черная Губа III на полу жилища 2 были найдены куски обгоревшей бересты. Не исключено, что они являлись частью покрытия крыши [Витенкова, 2002. С. 57]. Довольно крупные (до полуметра шириной) куски бересты, уложенные пластами, а также обгоревшие тонкие бревна, возможно, представлявшие собой части каркаса крыши, были обнаружены в жилищах с асбестовой керамикой на поселении Сумозеро XV в Беломорье [Жульников, 2005. С. 85–87].

Итак, на основании рассмотренных в статье материалов можно прийти к выводу, что древние жители Карелии и в конце неолита, и в эпоху раннего металла использовали особенности местных ландшафтов для облегчения строительства жилищ. Жилые постройки располагались в междувальях, обычно вдоль берега, выходы в большинстве случаев параллельны берегу, видимо, для защиты от ветра.

Самые ранние полуземляночные жилища, связанные с гребенчато-ямочной керамикой позднего неолита, были прямоугольными, с двумя выходами в противоположные стороны; позднее, в период существования ромбоямочной керамики, преобладали постройки почти квадратных очертаний с одним выходом. Затем, в позднем энеолите, увеличивается количество и разнообразие жилищ. Появляются оригинальные сооружения, необычно глубокие (Кудамгуба VII), необычно длинные (Шелтозеро XII), с пристройками-тамбурами (Оровнаволок XVI). Но чаще всего встречаются сооружения прямоугольной формы с двумя выходами в противоположные стороны, то есть близкие по очертаниям к жилищам позднего неолита. Возможно, такие жилища оказались наиболее удобными, но нельзя исключать и существование генетических связей между носителями гребенчато-ямочной и асбестовой керамики.

Литература

Бузин В. С. Поселения и жилища волосовской культуры как источник социологической реконструкции // Совет. археология. 1990. № 3. С. 32–43.

Витенкова И. Ф. Поселение Лакшозеро II с чистым комплексом гребенчато-ямочной керамики // Новые данные об археологических памятниках Карелии. Петрозаводск: КНЦ РАН, 1986. С. 119–138.

Витенкова И. Ф. Памятники позднего неолита на территории Карелии. Петрозаводск: КНЦ РАН, 2002. 182 с.

Витенкова И. Ф. Адаптация населения позднего неолита и энеолита к природным условиям Карелии // Адаптация культуры населения Карелии к особенностям местной природной среды периодов мезолита – Средневековья. Петрозаводск: КНЦ РАН, 2009. С. 69–97.

Елина Г. А., Лукашов А. Д., Токарев П. Н. Картографирование растительности и ландшафтов на временных срезах голоцена таежной зоны Восточной Фенноскандии. СПб.: Наука, 2005. 112 с.

Жульников А. М. Энеолит Карелии (памятники с пористой и асбестовой керамикой). Петрозаводск: КНЦ РАН, 1999. 187 с.

Жульников А. М. Древние жилища Карелии. Петрозаводск: Скандинавия, 2003. 200 с.

Жульников А. М. Поселения эпохи раннего металла. Петрозаводск: Паритет, 2005. 310 с.

Журавлев А. П. Пегрема (поселения эпохи энеолита). Петрозаводск: КНЦ РАН, 1991. 205 с.

Косменко М. Г. Многослойные поселения южной Карелии. Петрозаводск: КНЦ РАН, 1992. 222 с.

Лобанова Н. В. Адаптационные процессы в культуре населения Карелии эпохи неолита // Адаптация культуры населения Карелии к особенностям местной природной среды периодов мезолита – Средневековья. Петрозаводск: КНЦ РАН, 2009. С. 44–68.

Лозе И. А. Поселения каменного века Лубанской низины: мезолит, ранний и средний неолит. Рига: Зинатне, 1988. 206 с.

Мельников И. В. Новые археологические памятники южного Заонежья // Кижский вестник № 6. Петрозаводск: Б.и., 2001. С. 201–203.

Мельников И. В. Неолитический памятник Возма-риха 4 в южном Заонежье // Кижский вестник № 10. Петрозаводск: Б.и., 2005. С. 216–248.

Мельников И. В. О новом комплексе памятников первобытной археологии на территории южного Заонежья // Первобытная и средневековая история и культура Европейского Севера: проблемы изучения и научной реконструкции: междунар. науч.-практ. конф.: сб. науч. ст. и докл. Соловки: Б.и., 2006. С. 98–105.

Панкрушев Г. А. Отчет о работе Онежского отряда Карельской археологической экспедиции за 1973 год // Архив Карельского научного центра РАН. Ф. 1. Оп. 29. № 311.

Песонен П. Э. Отчет о работе Суоярвского отряда Карельской археологической экспедиции за 1985 год // Там же. Ф. 1. Оп. 50. № 997.

Старков В. Ф. Жилища эпохи неолита и энеолита в лесном Зауралье // Изыскания по мезолиту и неолиту СССР. М.: Б.и., 1983. С. 95–101.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ:

Витенкова Ирина Филипповна

научный сотрудник сектора археологии, к. и. н.
Институт языка, литературы и истории
Карельского научного центра РАН
ул. Пушкинская, 11, Петрозаводск,
Республика Карелия, Россия, 185910
эл. почта: plavira@onego.ru
тел.: (8142) 702991

Vitenkova, Irina

Institute of Language, Literature and History
Karelian Research Centre, Russian Academy of Science
11 Pushkinskaya St., 185910 Petrozavodsk, Karelia, Russia
e-mail: plavira@onego.ru
tel.: (8142) 702991

АСПИРАНТСКИЕ ТЕТРАДИ

УДК 903.024(470.2) «10/14»

ГОНЧАРНАЯ ПОСУДА НАСЕЛЕНИЯ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ПРИЛАДОЖЬЯ В КОНЦЕ XI – НАЧАЛЕ XV ВВ. *

И. М. Поташева

Институт языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН

В статье впервые рассматривается гончарная посуда средневековых городищ Хямеенлахти-Линнавуори, Соскуа-Линнамьяки, Терву-Линнасаари и Паасо. Установлено типологическое сходство керамического материала с датированными коллекциями гончарной посуды средневековых городов Северо-Запада России. Разработаны типология, периодизация и хронология гончарной керамики.

Ключевые слова: гончарная керамика, северо-западное Приладожье, типология, хронология, периодизация, развитие гончарного ремесла.

I. M. Potasheva. WHEEL-THROWN POTTERY OF THE NORTH-WESTERN PRILADOZHJE POPULATION IN THE LATE 11TH – EARLY 15TH CENTURIES

The article concerns original data on pottery from medieval hillforts such as Hämeenlahti-Linnavuori, Soskua-Linnämäki, Tervu-Linnasaari and Paaso. Ceramic material demonstrates typological similarity with dated collections from medieval towns of Russian Northwest. The research provides typology, periodization and chronology of wheel-thrown pottery.

Key words: wheel-thrown pottery, north-western Priladozhje, typology, chronology, periodization, pottery development.

На территории северо-западного Приладожья известны археологические памятники, которые сохранили вещественную память о карелах (упоминающихся в летописях как племя *корела*), населявших эти земли в эпоху Средневековья. Среди них – городища Хямеенлахти-Линнавуори, Соскуа-Линнамьяки, Терву-Линнасаа-

ри и Паасо, укрепленные поселения, большая часть которых обнаружена и исследована в ходе экспедиционных работ, проводившихся под руководством С. И. Кочуркиной в 1974–2009 гг. Городища функционировали в XII–XIV вв. За этот недолгий период в культурном слое памятников сохранилось немало предметов, когда-то принадлежавших проживавшим здесь жителям. Традиционно в число массовых находок вошла керамика, коллекция которой насчитывает 1368 фрагментов гончарных изделий.

* Статья выполнена при финансовой поддержке Программы фундаментальных исследований секции истории Отделения историко-филологических наук РАН «Нации и государство в мировой истории».

Обломки обожженной глиняной посуды прекрасно сохраняются, несмотря на разрушительное действие времени и природных сил, благодаря чему керамика количественно преобладает на большинстве археологических памятников. Глиняная утварь не представляла серьезной ценности ввиду доступности материала и относительной простоты изготовления изделий; поврежденные вещи выбрасывались, а в случае экстренных ситуаций, будь то пожар или набеги неприятеля, сосуды оставлялись хозяевами на месте. Все это свидетельствует в пользу надежности керамики как источника по изучению быта древних людей.

Керамика средневековых карел северо-западного Приладожья представлена самыми простыми формами посуды – кухонными горшками. В большинстве случаев это сосуды средних размеров (диаметр 13,2–36 см), выполненные из серой, желтой и значительно реже беложгущейся глины. Более половины сосудов (34 горшка, 56,7 %) имеют хороший обжиг, который по внешним показателям можно считать горновым, однако сами горны или их остатки не обнаружены на городищах.

Посуда изготавливалась при помощи гончарного круга, доказательством чему служат слегка заметные опоясывающие сосуд линии, сохранившиеся на внутренней и внешней поверхностях – следы вращения изделия при формовке и на конечных стадиях обработки. О применении гончарного круга также свидетельствуют сложно профилированные венчики сосудов, особенно так называемой «гофрированной» формы (подробнее об этих горшках будет сказано ниже), отличающиеся высоким качеством выделки.

Актуален вопрос о появлении гончарного круга у населения древнекарельских городищ. По мнению финляндской исследовательницы Э. Кивикоски, карелы получили гончарный круг «в историческое время из русских рук» [Цит. по Кирпичников, 1979. С. 70], что вполне возможно, учитывая наличие связей карелы с Новгородом и само собой разумеющееся заимствование карелами более развитых технологий соседей-славян. С другой стороны, как справедливо отметил Б. А. Рыбаков, гончарный круг мог самостоятельно изобретаться на поселениях и городищах, а не обязательно перениматься [Рыбаков, 1948. С. 74]. Такая точка зрения выглядит обоснованной в связи с тем, что первые гончарные круги не представляли собой сложнотехнические изобретения и «эволюционировали» из обычной подставки под сосуд, которая предотвращала прилипание дна к столу и облегчала процесс лепки изделия. Такой подстав-

кой удобно пользоваться при изготовлении сосуда, и она с легкостью могла быть преобразована в примитивный гончарный круг при креплении ее на ось или некое подобие оси либо вращающейся опоры.

На основе визуального анализа образцов гончарной керамики поселений установлено, что древние карелы изготавливали посуду из теста двух видов. В одном случае это могла быть обычная серая или желтая глина с примесью грубого отощителя – песка или дресвы, значительно снижавшего усадку и растрескивание сосудов при обжиге. Из такого теста сделан 51 (85 %) горшок. Меньшая доля утвари изготовлена из пластичной беложгущейся глины, в которую также добавлялась неорганическая примесь. Таких сосудов в коллекции керамики четырех городищ всего девять (15 %). Как правило, древние карелы украшали посуду орнаментом, различные узоры присутствуют на большинстве горшков (46 сосудов, 76,7 %). Наиболее популярны линейный (33,3 %) и волнистый (16,7 %) виды орнамента, которые являются традиционным декором гончарной посуды Северо-Запада Руси.

Для того чтобы проследить стадии развития гончарного ремесла на городищах, в первую очередь необходимо разработать типологическую классификацию керамики и синхронизировать типы круговой посуды с типом-хронологическими колонками сосудов центральных городов Северо-Запада Руси, а затем выявить последовательность смены форм гончарных изделий. Для классификации отобрано 60 сосудов, выделено восемь типов с вариантами.

Тип I (два сосуда). Слабопрофилированные горшки с отогнутым закругленным венчиком и небольшим утолщением на шейке, диаметром 14–20 см (рис. 1: 1, 2). Посуда типа I не была распространена на Северо-Западе Руси и соответствует типу V-1–А в Торжке, который имеет четкий верхний рубеж – 1160-е гг. Время появления данного типа не установлено, известно, что он начинает распространяться с конца XI в. [Малыгин, 1991. С. 208]. Ориентируясь на хронологию керамики Торжка, можно предположить, что тип I формируется в конце XI в. и выходит из употребления во второй половине XII в.

Тип II (12 сосудов). Горшки S-видной формы с короткой шейкой и отогнутым венчиком, диаметром 16–20 см (рис. 1: 3–5). **Вариант А** – сужающийся к краю венчик имеет уступ с внутренней стороны. Соответствует малораспространенному типу III в Новгороде и датируется 930-ми гг. – началом XI в. [Малыгин, Гайдук, Степанов, 2001. С. 89]. **Вариант Б.** Венчик

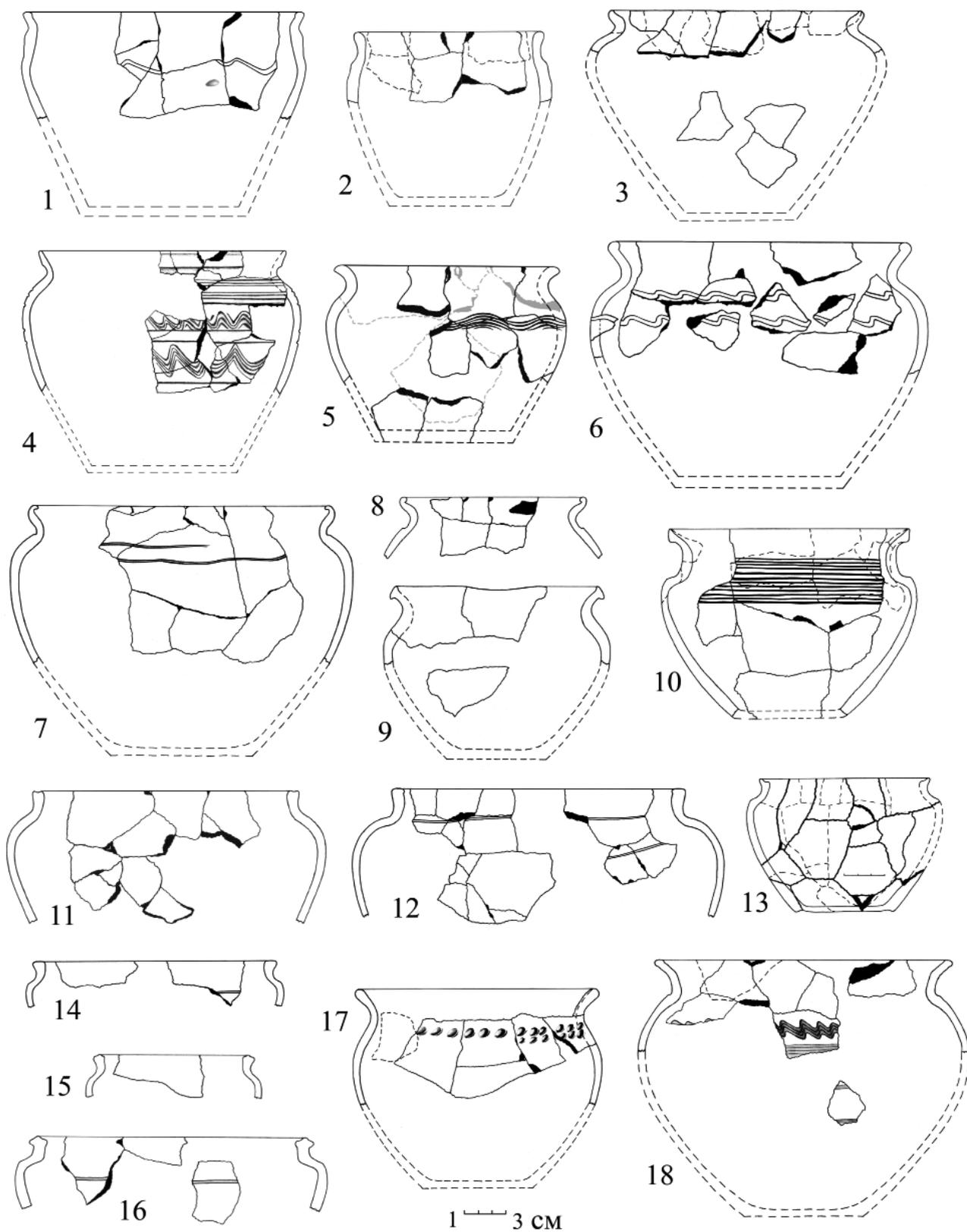


Рис. 1. Гончарная керамика. Типы I–VI

сужается кверху, край скруглен, с внешней стороны на венчике имеется уступ в виде зазубрины. Аналогичен типу II Новогрудка, где встречается с конца X в., заметно преобладает в XI в. и исчезает в первой половине XII в. [Малевская-Малевиц, 2005. С. 33]. **Вариант В.** Край немного заострен. Соответствует немногочисленному типу IX керамики Новогрудка, который бытует во второй половине XII в. и преобладает среди остальных форм посуды в XIII в., заходя в его вторую половину [Малевская-Малевиц, 2005. С. 42].

Вероятно – тип II появляется в X в. и сперва представлен горшками варианта А, которые выходят из употребления в начале XI в.; с конца X в. вместе с вариантом А начинает сосуществовать вариант Б, исчезающий в первой половине XII в. Поздний вариант В получает распространение в XII–XIII вв. и бытует до второй половины – конца XIII в.

Тип III (три сосуда). Горшки S-видной профилировки с удлиненным отогнутым венчиком, край которого загнут вовнутрь, диаметром 14–22 см (рис. 1: 6–8). **Вариант А.** Край венчика образует круглый валик. Такая посуда широко распространена на Северо-Западе России. Тип III-A находит аналогии в новгородском типе II-Д [Смирнова, 1956. С. 234], употреблявшемся в 1055–1238 гг. [Колчин, 1963. С. 90], в псковском типе IV-Б, бытующем во второй четверти XIII–XIV вв. [Кильдюшевский, 2002. С. 12]. В Твери соответствует керамике типа I-A из горизонтов XIII–XV вв. [Лапшин, 2009. С. 128], а в Суздале – типу VIII-A, появившемуся в конце XI в. [Лапшин, 1992. С. 97]. В Новогрудке сосуды аналогичной профилировки объединены в тип V-A, который складывается в середине – конце XI в., преобладает в XII в. и постепенно исчезает в XIII в. [Малевская-Малевиц, 2005. С. 37]. В Корельском городке керамика данного типа составляла до 40 % керамического набора в начале XIV в. [тип 1, по А. Н. Кирпичникову; Кирпичников, 1979. С. 72]. **Вариант Б.** Край венчика сильно утончен либо имеет миниатюрный валик. На шейке сосуда присутствует небольшой желобок. Как и предыдущий вариант, соответствует типу VIII-A в Суздале [Лапшин, 1992. С. 97], находит аналогии среди ранних вариантов типа IV в Пскове, которые возникают в XIII в. и бытуют в XIV в. [Кильдюшевский, 2002. С. 12], также в керамике типа V Новогрудка, распространенной в XII в. [Малевская-Малевиц, 2005. С. 37].

Варианты А и Б типа III, вероятно, синхронны и сосуществуют с середины XI в. до конца XIV в. Требуется уточнение нижней хронологической границы типа.

Тип IV (два сосуда). Горшки S-видной формы с удлиненным горлом, диаметром 15–18 см. Венчик отогнут наружу, край оттянут с верхней и нижней сторон (рис. 1: 9, 10). **Вариант А.** Сосуды с плавными очертаниями профиля и «секировидным» краем венчика в сечении. Повторяет форму горшков новгородского типа V-Б, которые бытовали в середине – конце X в., начале XI в. и, возможно, до начала – середины XII в. [Малыгин, Гайдуков, Степанов, 2001. С. 91]. Соответствует типу II-A (XI – вторая половина XII в.) в Суздале [Лапшин, 1992. С. 96], типу VI-A в Новогрудке, датирующемуся преимущественно XII в. [Малевская-Малевиц, 2005. С. 37], и отдельным горшкам из ижорского могильника близ д. Кирсино Ленинградской области, который, по всей вероятности, относится к середине XII в. [Сорокин, 2008. С. 113]. **Вариант Б.** Сосуды с выраженным уступом в плечике и горлом цилиндрической формы. III-Б находит аналогии в псковском типе VI-В, бытующем со второй половины XIV до середины или конца XV в. [Кильдюшевский, 2002. С. 12], и в типе II-Г Суздала из комплексов конца XI – середины XII в. [Лапшин, 1992. С. 96]. В Новогрудке это тип VI-В; он формируется в конце XI в., часто встречается в XII в. и почти отсутствует в XIII в. [Малевская-Малевиц, 2005. С. 37].

Тип IV, должно быть, появляется в конце X – начале XI в., сначала представлен горшками варианта А; он исчезает в первой половине XII в., когда оформляется вариант Б, распространенный в XII в. Маловероятно, что тип IV заходил в XIII в.

Тип V (семь сосудов). Крутобокие горшки с коротким вертикальным горлом, диаметром по венчику 12–22 см (рис. 1: 11–16). **Вариант А.** Край венчика срезан горизонтально, может иметь желобок или небольшую закраину. Соответствует варианту типа III-Г в Новгороде, появляющемуся на рубеже XI–XII вв. и достигающему пика распространения (70 %) и вариативности форм венчика в 17–16 ярусах, т. е. в 1177–1224 гг. [Смирнова, 1956. С. 241; Колчин, 1963. С. 90]. Обнаруживает аналогии в тверском типе XII, который появляется в 30-е гг. XIV в. и впоследствии преобладает до первой половины XV в., и в типе III Торжка, бытующем со второй трети XIV в. [Лапшин, 2009. С. 129; Малыгин, 1991. С. 200]. В Пскове схожие сосуды из белой глины, использование которой началось только на рубеже XV–XVI вв., объединены в тип X [Кильдюшевский, 2002. С. 14]. Аналогичная керамика присутствует в горизонтах 1310–1380 гг. Корельского городка (тип 5, до 27–35 %) [Кирпичников, 1979. С. 73]. **Вариант Б.** Горшки с высоким плечиком и венчиком, край которого

го срезан горизонтально либо имеет желобок или оттяжку. Соответствует варианту типа III-Г в Новгороде, преобладающему в 1177–1224 гг. [Смирнова, 1956. С. 241], тверскому типу VII, встреченному в слоях до 1360-х гг. [Лапшин, 2009. С. 128], и виду 2 типа VIII керамики Торжка, бытовавшему со второй трети XII в. [Малыгин, 1991. С. 201]. В Корельском городке соответствует керамике типа 5 [Кирпичников, 1979. С. 73]. **Вариант В.** Горшки с вертикальным горлом и «треугольным» в сечении венчиком. Находит аналогии в вариантах керамики типа III-Г в Новгороде, составлявшего более 50 % посуды в XIV в. [Смирнова, 1956. С. 244], и в типе XI-Б Торжка, появляющемся с последней четверти XIV в. [Малыгин, 1991. С. 202].

Варианты А и Б типа V существуют с начала – первой половины XII в. В XIV в. образуется вариант В. III-А и III-Б бытуют в XIII–XIV вв., неизвестно, заходят ли эти варианты в XV в. Верхний рубеж варианта В не определяется.

Тип VI (три сосуда). Сосуды с высоким венчиком, горлом в виде раструба, низким плечиком, диаметром 18–22 см (рис. 1: 17, 18). **Вариант А.** Линии профиля плавные, венчик расширяется кверху. Соответствует типу V-Б в Пскове, употреблявшемуся со второй четверти – середины XIII в. до первой половины XIV в. [Кильдюшевский, 2002. С. 12], и сосудам вида 2-А типа V Торжка, который часто встречается с конца XI до середины XII в. [Малыгин, 1991. С. 214, 215]. **Вариант Б.** Отличается резким изгибом в профиле шейки. Аналогичен типу IX в Твери, где обнаружен в слоях до 1380-х гг., и типу VIII в Новгороде, бытующему с середины XII до середины XIV в. [Лапшин, 2009. С. 129; Малыгин, Гайдуков, Степанов, 2001. С. 95]. В Новгородке распространен в XII–XIII вв. [тип VIII-В, Малевская-Малевиц, 2005. С. 41]. Также соответствует ранним вариантам типа V в Пскове, датированным второй четвертью–серединой XIII в. – первой половиной XIV в. [Кильдюшевский, 2002. С. 12].

Датировка варианта А типа VI неоднозначна; с большей вероятностью он синхронен типу V-2-А Торжка, т. е., появившись в конце XI в., исчезает уже в середине XII в., когда появляется вариант Б, бытующий до середины XIV в.

Тип VII (17 сосудов). Ребристые горшки диаметром 13,2–36 см (рис. 2: 1–8). **Вариант А** имеет удлиненный венчик с утолщенным краем. Соответствует типу VIII керамики Новгородка XII–XIII вв. [Малевская-Малевиц, 2005. С. 40], сосудам с крутым плечиком типа IX в Твери, встречающимся до 1380-х гг. [Лапшин, 2009. С. 129], и типу VI-Б Суздаля из комплексов

XII в. – первой трети XIII в. [Лапшин, 1991. С. 97]. Горшки с ребром в плече появляются в XIII в. в Новгороде и представлены вариантом III-Г, при этом Г. П. Смирнова указывает, что в целом посуда с уступом характерна для более позднего времени [Смирнова, 1956. С. 242]. **Вариант Б.** Сосуды с коротким утолщенным венчиком. Соответствует типу V-В керамики Пскова, бытующему в начале XIV–XVI вв. [Кильдюшевский, 2002. С. 12]. В Новгороде горшки с выраженным ребром и коротким венчиком появляются поздно – с 5-го яруса или 1409 г. [Колчин, 1963. С. 90]; они выделены в тип VIII [Смирнова, 1956. С. 232]. **Вариант В.** Сосуды с почти вертикальным горлом, край венчика слегка оттянут.

Установить четкие границы бытования типа VII не удастся. Сосуды варианта А определенно были распространены в XIII в., допускается их существование вплоть до конца XIV в. Горшки варианта Б, вероятно, употреблялись в XIV в. Вариант В на данный период не находит аналогий, в результате чего его датировка остается неясной.

Тип VIII (14 сосудов). Сосуды с длинным гофрированным венчиком, диаметром 9–20 см (рис. 2: 9–17). **Вариант А.** Сосуды с туловом усеченно-конической формы, вертикальным венчиком, край которого срезан или имеет ложбинку. Соответствует типу XI-А в Твери, обнаруженному в слоях 30–80-х гг. XIV в., и типу IV Торжка, бытовавшему со второй половины XIII до конца XIV в. [Лапшин, 2009. С. 129; Малыгин, 1991. С. 207]. **Вариант Б.** Венчик отогнут наружу, край оттянут с обеих сторон. Посередине венчика наблюдается утолщение, образованное, по-видимому, вследствие неаккуратной формовки. Находит аналогии в некоторых сосудах типа IV в Твери, встречающихся до 1330 г. [Лапшин, 2009. С. 128], и среди сосудов с уступом в плечике вариантов типа III-Г в Новгороде, которые входят в обиход в XIII в. [Смирнова, 1956. С. 242]. **Вариант В.** Сосуды с ребристым профилем, крутыми плечиками. Отличаются сложной профилировкой гофрированного венчика с вычурным краем. Так же, как и VIII-Б, соответствует типу IV в Твери, однако профилировка сосудов северо-западного Приладжья более сложная. Выделяются две разновидности: **разновидность 1** характеризуется причудливой формой края венчика, он может иметь закраины, оттяжки или форму неправильного в сечении многоугольника; **разновидность 2** представлена сосудами с мелким гофрированием венчика с закругленным краем.

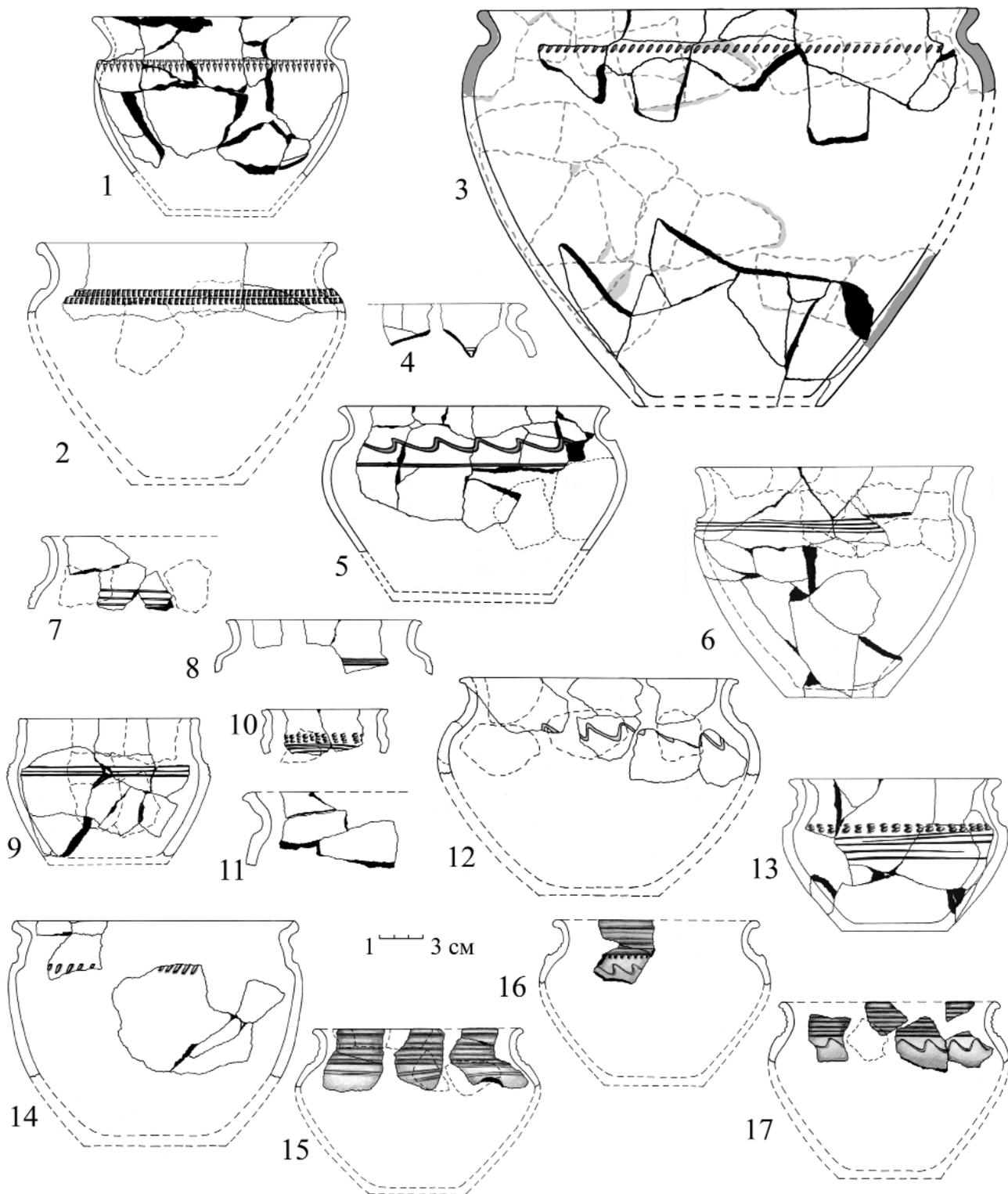


Рис. 2. Гончарная керамика. Типы VII и VIII

Варианты А и Б типа VII, вероятно, существуют синхронно с керамикой Торжка, т. е. со второй половины XIII в. Неизвестно время появления варианта В. Вместе с тем, все варианты бытуют в начале XIV в. и исчезают к его концу.

Гончарная керамика городищ северо-западного Приладожья находит много аналогий в

посуде Ленинградской, Новгородской, Псковской и Владимирской областей, центральной России и Белоруссии. Сходство закономерно: на момент образования укрепленных поселений в северо-западном Приладожье в близлежащих регионах уже существовали города с развитым гончарным производством, откуда,

по-видимому, и происходило заимствование гончарных традиций.

В небольшом количестве на городищах присутствуют горшки ранних форм, уходящих в X в. (тип II-A, II-B, IV-A), некоторые из них (II-B, IV-A) продолжают бытовать в первой половине XI в. В X – первой половине XI в. типичной формой гончарной керамики были горшки с правильным S-видным профилем, коротким отогнутым венчиком. Со второй половины XI в. встречаются горшки с удлиненным венчиком типа III, а в конце XI в. в керамическом наборе присутствует слабопрофилированная посуда с валикообразным утолщением на шейке (тип I, VI-A). На рубеже XI–XII вв. среди сосудов с коротким венчиком появляется тип II-B; оформляется тип IV-B с удлиненным венчиком и округлым уступом в плече.

В первой половине XII в. до его середины еще сохранялись формы XI в. (тип I, II-B, IV-A), возникает тип VI-A. В это же время оформляются варианты А и Б типа V – крутобокие сосуды с коротким вертикальным венчиком, край которого может иметь несколько вариантов. Позже, в середине XII в. появляется вариант Б типа VI – горшки с ломаным профилем и резко отогнутым удлиненным венчиком. Все XII столетие распространены S-видные сосуды типа II-B, III-A, а также горшки с резким перегибом в шейке типа III-B.

В XIII в. по-прежнему употреблялась посуда типа III (оба варианта) с валиком на внутреннем крае венчика; эта керамика долгое время существовала на памятниках Северо-Запада Руси. На протяжении всего XIII в. сохраняются сосуды с пухлым туловом типов V-A и V-B, а также тип VI-B. В середине XIII в. появляются горшки с гофрированным венчиком вариантов А и Б типа VIII. Не исключено, что в конце века получает распространение белоглиняная керамика типа V-B, а также ребристые формы горшков VII-A, VII-B, имеющие ярко выраженный излом в плечике. Вероятно, обе разновидности сложнопрофилированного типа VIII-B появились также в конце XIII в.; тип II-B исчезает.

На протяжении XIV столетия сохраняются архаичные сосуды типа III, крутобокие горшки типа V. Весь XIV в. бытуют ребристые сосуды типа VII-B и типа VIII, выделяющиеся гофрированной профилировкой венчика, которая у более позднего варианта В отличается мастерством выделки. Неизвестно, продолжал ли существовать тип VII-A. Особенную сложность вызывает датировка варианта В типа VII, пока временной диапазон существования сосудов этого варианта не определяется. В XV в., возможно, сохранились сосуды типов IV-B, V, VII-B, т. к. верх-

ние рубежи бытования аналогичных им типов не дают однозначных результатов для синхронизации.

В целом морфологическое развитие керамического комплекса выглядит следующим образом: в X–XI вв. горшки имели слабопрофилированную или S-видную форму с коротким венчиком, причем последняя сохранялась до конца XIII в. У некоторых сосудов XI в. венчик удлиняется, что наблюдается и в последующем столетии, когда наряду с плавным профилем сосудов появились ломаные формы с резко выраженной шейкой или округлым уступом в плечике. Тем не менее сохраняются сосуды с коротким венчиком, в XIII в. они отличаются крутыми припухлыми боками, вертикально расположенным венчиком, край которого может иметь различные варианты оформления. В XIII в. также возникают формы с резким переломом профиля в плече – т. н. ребристые горшки – и сосуды со слабо гофрированным венчиком. Искусно оформленный мелко гофрированный венчик появляется у сосудов в XIV в., они сосуществуют с древней керамикой, имеющей валик с внутренней стороны венчика, и крутобокими сосудами с коротким венчиком.

Схожие тенденции в эволюции форм керамики отчетливо наблюдаются в материалах Новгорода, отчасти Старой Ладого и Твери, что подтверждает роль гончарного ремесла этих центров как образцов для подражания и заимствования культурных традиций.

Литература

Кильдюшевский В. И. Керамика Пскова XII–XVII века // Ладoga и ее соседи в эпоху Средневековья. СПб.: ИИМК РАН, 2002. С. 5–33.

Кирпичников А. Н. Историко-археологические исследования древней Корелы («Корельский город» XIV в.) // Финно-угры и славяне. Л.: Наука, 1979. С. 52–74.

Колчин Б. А. Дендрохронология Новгорода // Новые методы в археологии: Труды Новгородской археологической экспедиции. Материалы и исследования по археологии СССР, № 117. М.: Изд-во АН СССР, 1963. Т. III. С. 5–103.

Кочкуркина С. И. Древнекарельские городища эпохи Средневековья. Петрозаводск, СПб.: Взлет, 2010. 262 с.

Лапшин В. А. Керамическая шкала домонгольского Суздаля // Древнерусская керамика. М.: ИА РАН, 1992. С. 90–102.

Лапшин В. А. Тверь в XIII–XV вв. (по материалам раскопок 1993–1997 гг.). СПб.: Факультет филологии и искусств СПбГУ, 2009. 540 с.

Малевская-Малевич М. В. Керамика западнорусских городов X–XIII вв. СПб.: Нестор-История, 2005. 160 с.

Малыгин П. Д., Гайдуков П. Г., Степанов А. М. Типология и хронология новгородской керамики X–XV вв. (по материалам Троицкого XI раскопа) // Новгород и Новгородская земля. 2001. Вып. 15. С. 82–97.

Малыгин П. Д. Типология и хронология новоторжской керамики XI–XIV вв. // Материалы по археологии новгородской земли. 1990. М.: Наука, 1991. С. 198–216.

Смирнова Г. П. Опыт классификации керамики древнего Новгорода (По материалам раскопок

1951–1954 гг.) // Материалы и исследования по археологии СССР. № 55. Труды новгородской археологической экспедиции. Т. 1. М.: Изд-во АН СССР, 1956. С. 228–248.

Сорокин П. Е. Археологическое изучение средневековых памятников в Приневье. Новые данные по археологии ижоры // Археологическое наследие Санкт-Петербурга. СПб.: ИИМК РАН, СЗИ Наследия, 2008. Вып. 2. С. 88–128.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ:

Поташева Ирина Михайловна

аспирантка
Институт языка, литературы и истории
Карельского научного центра РАН
ул. Пушкинская, 11, Петрозаводск,
Республика Карелия
Россия, 185910
эл. почта: irina.potasheva@mail.ru
тел.: (8142) 781886

Potasheva, Irina

Postgraduate student
Institute of Language, Literature and History
Karelian Research Centre, Russian Academy of Science
11 Pushkinskaya St., 185910 Petrozavodsk, Karelia, Russia
e-mail: irina.potasheva@mail.ru
tel.: (8142) 781886

УДК 398.2(470.22)

МИРОВОЕ ДРЕВО И ЛАНДШАФТНЫЕ ЗНАКИ-СИМВОЛЫ ЕГО ЛОКАЛИЗАЦИИ (ПО МАТЕРИАЛАМ КАРЕЛЬСКИХ ЭПИЧЕСКИХ ПЕСЕН И ЗАКЛИНАНИЙ)

М. В. Кундозерова

Институт языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН

Статья посвящена проблеме локализации большого дуба, символизирующего в карельских эпических песнях и заклинаниях мировое древо. Согласно фольклорным текстам, ландшафтными знаками-символами этой локализации являются вода, остров/мыс, камень/скала, гора, земля, нередко соотнесенные между собой. В статье раскрывается семантика указанных локусов и выясняется, что произрастание большого дуба сопровождается актом творения мироздания.

К л ю ч е в ы е с л о в а : карельские эпические песни, заклинания, мировое древо, большой дуб, вода, море, залив, остров, мыс, камень, скала, гора, земля.

M. V. Kundozeroва. THE WORLD TREE AND THE LANDSCAPE SYMBOLIC SIGNS OF ITS LOCATION (BASED ON KARELIAN EPIC SONGS AND SPELLS)

The paper deals with the problem of localization of the Great Oak, which symbolizes the World tree in Karelian epic songs and spells. According to folklore texts, the symbolic signs of the location in the landscape are water, island/cape, rock/cliff, mount, land, which are often referenced to one another. The paper discloses the semantics of the named loci. Growth of the Great Oak was found to correlate with the act of World Creation.

Key words: Karelian epic songs, spells, the World Tree, the Great Oak, water, sea, bay, island, cape, rock, cliff, mount, land.

Мотив произрастания до небес большого дуба, который встречается в карельских эпических песнях и заклинаниях, является отголоском мифа о мировом древе, соединяющем миры и символизирующем ось Вселенной. Образ мирового древа воплощает универсальную концепцию мира. Ранее нами были рассмотрены предпосылки возникновения этого древа, в результате чего определены природные стихии и универсальные субстанции, из которых вырастает изображенный в рунах большой дуб [Кундозерова, 2012]. На карельском материале отчетливо прослеживается, что мировое древо

(большой дуб) соединяет не просто миры, но и различные природные стихии: воду и огонь, воздух и камень, а также различные в мифологическом смысле пространства: близкое и далекое, земное и потустороннее. Все эти компоненты мироздания представлены в экзистенциально-природных образах, маркированы ландшафтными знаками-символами, которые и предполагается рассмотреть в данной статье. В обозначенном ракурсе образ большого дуба, воспетый в карельских рунах, рассматривается впервые. На данном этапе в работе использованы 68 вариантов рун и 120 вариантов

заклинаний. Источниковой базой исследования являются тексты, опубликованные в таких собраниях рун, как SKVR (тома I, II, VII); KKR (книга I), КФНЭ, КЭП. Учитывая неоднородность эпической традиции разных локальных групп карелов (беломорские, олонечские и приладожские карелы), нами будут при необходимости (имеется в виду доминирование какого-либо мотива в той или иной традиции) внесены соответствующие оговорки.

Итак, обратимся к рассмотрению структурных компонентов, определяющих особенности локализации мирового древа.

1. Вода. Одним из основных ландшафтных знаков-символов мирового древа в карельских рунах является его локализация у воды либо на воде. Согласно текстам, дуб произрастает «в море» (*merelle*), «на просторе ясного моря, на обширной волне» (*meren selvälle selälle, lagialle lainehelle*), «на соединении двух морей» (*meren kahden liettehelle*), «в темной пучине моря» (*meren synkkähe syväähe*). Отметим, что вода, в которой появляется дуб, в большинстве случаев представляет собой активное начало, это бурлящая, пенящаяся, стремительная стихия, выявляющая тем самым свою способность к порождению. Так, дуб локализуется «на круговороте трех морей» (*meren kolmen kiertimelle*), «в месте бурления двух/трех морей» (*kahen meren kuohuvalle; kolmen meren kuohuvaähe*), «возле порога» (*kosen korvalla*), причем иногда порог назван мощным (*kova*). В рунах дуб произрастает также «на реке» (*jo'elle*), «в стремнине святого потока» (*ryhän virran vierömmille*), «в водовороте святого потока» (*ryhän virran ryörtiessä*). Река (поток) традиционно считается границей между мирами; «она рубеж между этим и тем, нижним миром, между своим пространством и чужим» [Топоров, 1988. С. 376], ей принадлежит роль медиативного локуса.

Финляндский ученый У. Харва отмечал, что поток воды, который, согласно древним воззрениям народов, омывал дискообразную землю, почти повсеместно представлялся «бурлящим, порожистым и даже огненным» [Harva, 1948. С.51]. Последнее положение подтверждается и нашими материалами: дуб вырастает «в горящем пекле, у благородного порога» (*palavassa raaktehessa, jalon koskenki nis'alla*), «у подножия огненного порога» (*korvalle kosen tulisen*). Огненная водная стихия, соотносимая с деревом, выявляется также в руне на сюжет «Пир в Пяйвёля» (см. напр. SKVR I2 №№ 815, 849 *Lemminkäisen virsi*): в пути герою попадает огненный порог, в пороге – огненный скалистый островок, на нем – огненный дуб, на дубе – огненная ветка, на ветке – огненный орел,

который точит зубы и когти, чтобы съесть Лемминкяйнена. Вода в сочетании с огнем – это и «материал», из которого большой дуб возникает, и локус, где он произрастает.

Местом локализации мирового древа является и залив/пролив: дуб рождается «в заливе огненной бухты» (*tuli-kaiskun kainaloho*), «в устье пролива курного/дымного острова» (*savusoaren salmen suulla*). Залив, согласно легендам, – тот локус, через который осуществляется коммуникация между мирами [Криничная, 2004. С. 858]. Таким образом, дуб мыслится произрастающим в некоем медиативном пространстве, возможно, в центре Вселенной.

Все упомянутые выше локусы в мифологическом сознании отождествляются: в них прочитывается образ мирового первозданного океана-моря. Соотнесенность мирового древа и первозданных вод отмечалась финляндскими исследователями [Toivonen, 1946–47. С. 19–21; Kuusi, 1963. С. 78].

Вода – первоначало всего сущего, и правомерно, что именно в ней вырастает большой дуб, символизирующий ось мироздания. Мотив произрастания огромного древа в водных локусах прослеживается в разных мировых традициях. И зачастую эти водные локусы оказываются потоком или источником жизненных вод (*elämänveden lähde tai virta*) [Toivonen, 1946–47. С. 20]. Так, к примеру, в скандинавской мифологии мировой ясьень Иггдрасиль «над источником Урд зеленеет <...> вечно» [Старшая Эдда: Прорицание вёльвы. 19]. В карельских беломорских рунах на сюжет «Запроданная девушка» (*Muöty neiti*) встречаются, по-видимому, отголоски представлений о локализации мирового древа над источником. Согласно текстам, дом девушки-невесты узнается по определенным признакам:

Tammi keski tanhualla,
Het' on tammen juuren alla,
Kulta kans' on kattiena,
Kulta kauha kannen päällä.
[SKVR I2 1155: 15 – 18]

Святой дуб посреди (скотного) двора,
Родник под корнем дуба,
Золотой крышкой накрыт,
Золотой ковш на крышке.
(Здесь и далее
перевод автора статьи. – М.К.)

В «Евангелии псевдо-Матфея» говорится, что архангел Гавриил принес Марии весть о непорочном зачатии в тот момент, когда она

черпала воду из источника у подножия дерева [Евсюков, 1988. С. 154]. Известен мордовский миф об огромной березе, у корней которой бьет источник. Источник этот накрыт тесаной доской и белой скатертью, в его тени находится красный деревянный кувшин, в кувшине сладкий медовый напиток, в напитке серебряный ковш, на дне которого изображены солнце и месяц, а на ручке – звезды поменьше [Holmberg, 1920. С. 53], символизирующие мироздание.

Произрастание дерева у животворных ключей, дарующих силу и бессмертие, выявляет важнейшую функцию мирового дерева: «оно в концентрированном виде воплощало собой идею плодородия» [Евсюков, 1988. С. 152]. Не случайно произрастание дуба сопровождается актом творения земли и шире – всего мироздания.

2. Остров (остров/мыс, мыс). По версии южнокарельской и приладожской заклинательной традиции, дуб локализуется на острове. Так, согласно текстам, дуб вырастает «на том небольшом островке» (tuolle suarekselle), «на том маленьком острове» (tuoh on soarelle pienelle), «на острове водного простора» (saarella selällisellä). Причем остров либо уже существует, либо вначале описывается рождение острова, а затем дуба, расположенного на нем. Мотив возникновения острова будет рассмотрен нами в отдельном исследовании, посвященном образу острова в карельской эпической традиции.

Остров – прообраз первой земли, омываемой мировым океаном, – воспринимается как центр космоса и тем самым характеризуется максимальной сакрализованностью и чистотой [Рабинович, 1987. С. 467]. Своими волшебными свойствами мировое дерево обязано как раз тому, что оно находится в данном священном месте. Именно отсюда создается Вселенная, здесь протекают главные события эпохи начала мира [Евсюков, 1988. С. 153]. Согласно изысканиям И. М. Денисовой в области восточнославянской мифологии, образы острова и камня (о камне речь пойдет ниже) «соотносятся с возрождающим лоном <...>. Через него осуществляется круговорот жизни и смерти, к нему стремятся как души умерших для возрождения, так и вступающий с ним во временный контакт субъект заговора в ожидании излечения от болезней и исполнения прочих желаний; это источник всех благ и всех бед» [Денисова, 2009. С. 84].

Зачастую наряду с островом местом локализации дуба становится мыс (чаще огненный): дерево вырастает «у основания огненного мыса» (tyvellä tulisen niemien), «на конце огненного мы-

са» (tuli-niemien nenähä). В текстах подчеркивается мифологическая неправдоподобность места произрастания: дуб появляется «на том мысе безлесном, безземельном, на голой скале» (tuoho'o niemeh, puuttomalla, muattomalla, pal'l'ahalla kallivollo). *Пустой* наволок (мыс) наделяется знаками соотнесенности с иным миром [Криничная, 2011. С. 116]. В некоторых текстах остров и мыс оказываются в параллельных стихах, что служит проявлением синтаксической синонимии (по терминологии Ю. С. Степанова). Согласно рунам, дерево рождается «на острове безмолвном, на мысе безымянном» (saarella sanattomalla, niemellä nimettömällä); «на конце огненного мыса, в устье пролива курного/дымного острова» (tuliniemen tutkamella, savusoaren salmen suulla).

3. Камень/скала. По одной из версий карельского эпоса (южнокарельская и приладожская традиции), большой дуб вырастает на камне/скале. Камень как часть горной породы служит метонимическим эквивалентом горы/скалы [Криничная, 2011. С. 77]. В большинстве исследуемых текстов камень и скала выступают синонимами в параллельных стихах, например:

Kunnes koamma poron pohjat?
Kaunehel'l'a kal'l'iolla,
Kirjavan kiven selällä.
Siitä kasvo kaunis tammi.
[SKVR II 901: 10–13]

Куда же сольём остатки щёлока?
На красивую скалу,
На пестрый камень (букв: на хребет камня).
Там вырос красивый дуб.

Камень – один из первоэлементов мира. Как отмечает И. М. Денисова, «у многих народов с камнями были связаны представления о плодородии и рождаемости, в мифах от проглоченного камня женщина может беременеть; аналогичные воззрения отражались и в славянских культах камней, и в фольклоре» [Денисова, 2009. С. 81]. Мифический камень Латырь «Голубиной книги» содержит в себе неиссякаемую силу жизни, ее начало и источник, средоточие духовных потенциалов [Криничная, 2004. С. 448]. Идея заключенной в чудо-камне жизненной энергии, плодородия вполне согласуется с тем, что он маркирует самую *центральную точку* мифического пространства [Денисова, 2009. С. 81]. Кроме того, одна из самых важных функций образа камня в фольклоре – определение собою границы между царствами/мирами [Демиденко, 1987. С. 95].

Устойчивый эпитет камня в исследуемом мотиве – пестрый (kirjava), образ которого обозначает некую разнородную множественность,

связанную с символикой того или иного цвета, того или иного состава. Однако в некоторых текстах камень называется синим (sinini), и находится он, как правило, в море. Синий камень – это символ, вырастающий из мифологических представлений о преодолении первобытного хаоса и появлении из него первой земли, точнее, ее первых «островков» [Криничная, 2004. С. 370]. В русской мифологической прозе синий камень является атрибутом водяного, причем сам водяной, принявший облик рыбы, также может быть маркирован синим цветом [Криничная, 2004. С. 328]. Прилагательное «синий» происходит от глагола «сияти» и обозначает «сияющий, сверкающий», а маркированность персонажей синим цветом определяет их принадлежность к сияющим, сверкающим языческим божествам, каковыми они изначально осмыслились [Криничная, 2004. С. 375]. Синь-камушки (šini-kivuset) встречаются в карельских причитаниях, например, говорится, что «лучше было бы вместо покойного положить в могилу синь-камушки» [Степанова, 2004. С. 253]. Скала же в рунах обычно красивая (kaunis), иногда голая (pal'las).

В текстах карельских рун сохранились следы былой персонификации камня, закодированные в наименованиях его частей. Так, дуб вырастает на разных частях камня: на хребте/спине (selällä), на краях/боках (sivuloilla), на плечах (hard'eil), у основания (tyvellä), в расщелине (kolohon). В данных деталях зашифрована модель антропоморфизированной Вселенной.

Стоит особо отметить, что сам камень/скала, на котором произрастает дуб, мыслится на земле, однако некоторые тексты описывают его расположение у воды/на воде, в море. Так, согласно текстам, дерево появляется «на море, на краю синего камня, на красивой скале» (merelle, sinisen kiven sivulle, kaunehella kalliolla), «в расщелине камня у порога» (koskehen kiven kolohon). Нахождение камня посреди водной стихии отождествляет его с островом. Не случайно в некоторых текстах синонимом пестрого камня в параллельном стихе выступает маленький островок (soarukalle pikkuselle).

Иногда местом локализации дуба наряду с камнем оказывается спина большой щуки, например:

Kirjavan kiven sivulla,
Suuren hauvin on hardioilla.
[SKVR VII4 2708: 18–19]

На краю пестрого камня,
На спине (букв.: лопатках) большой щуки.

Спина (или лопатки) большой щуки, поднимающаяся из воды, в мифологическом созна-

нии отождествляется с кочкой/островом/камнем и соединяется с представлениями о первоземле, имеющей метонимические признаки живого существа.

4. Гора. В некоторых беломорских заклинательных текстах ландшафтным знаком-символом локализации большого дуба выступает гора: дерево произрастает «у подножия большой горы» (voaran vankan liepiellä) либо «на склоне большой горы» (vallen voaran rintiehe). В одном случае в параллельном стихе в качестве локуса упоминается дубовый загон для скота (сарай) (vaaran vankan liepehelle, tammiselle tanhualle – SKVR I4 882).

Согласно В. Н. Топорову, гора выступает в качестве наиболее распространенного варианта трансформации дерева мирового [Топоров, 1987а. С. 311]. Отметим, что образ мировой горы высвечивается также и в заклинаниях. Финляндский исследователь У. Харва считал, что «медная гора», на которой рождается огонь (в заклинании о рождении огня – см. напр. SKVR I4 539), является центральной горой мироздания (keskusvuori) [Harva, 1948. С. 48]. Ученый также предположил, что в руне на сюжет «Возвращение солнца» (Päivänpäästö) именно мировая гора является тем местом, где спрятаны солнце и луна [Harva, 1948. С. 49].

Карельский эпос дает нам яркий пример совмещения двух образов – мировой горы и произрастающего у его подножия мирового дерева. И то и другое служит выражением представлений о священной оси мироздания [Евсюков, 1988. С. 159].

5. Земля. Согласно одной из версий эпической традиции беломорских карелов, большой дуб локализуется в плодородной земле (kasvaja ma), в вариантах – в богатой/тучной (hyötyvä) либо коричневой (maksan karvani). Земля – одна из основных стихий мироздания – выступает в роли порождающего начала и тем самым сакрализуется. В текстах отражаются представления о том, что дуб произрастает на священной первоземле, окруженной мировым океаном. Так, например, дерево появляется «на краю земли тучной» (moan lihavan liebejillä).

Однако, прежде чем стать плодородной, земля претерпела своего рода лиминальное («пороговое») состояние: сырая, болотистая, «водянистая» стихия – это еще не земля, но уже не вода. Так, вариантами земли, соотносенной с водой, в параллельном стихе выступает лощина, а именно: болотистая низина, поросшая ельником, либо заливной луг (oro [KKS, 1993. С. 59]), лужайка на сыром участке, предназначенная для покоса (aro [KKS, 1968. С. 71]), ложбина (poro), например:

Pantih moalla kasvajalla,
Orolla ylenevällä.
Siihen kasvo kaunis tammi.
(SKVR I2 1227: 7–9)

Посадили в землю плодородную,
Лощину поднимающуюся.
Там вырос красивый дуб.

«Водянистый» характер данных топосов ставит их в один ряд с болотом. Так, в одном из вариантов прямо говорится, что «выросла береза на болоте Койя(?), дуб на реке Иордан» (kasvoipa koivu Koijan suolla, tammi Jortanan jovella SKVR II 638: 1–2). Согласно текстам, дуб появляется и на лугу/пожне (nurmi), причем в одном из вариантов луг назван «медовым» (nurmelle mesi nukalle).

Еще одним параллельным названием земли – места локализации мирового древа – в эпических песнях выступает поляна (aho). В карельском языке данный топос обозначает старую подсеку/ниву, поросшую смешанным лесом, чаще – лиственным [KKS, 1968. С. 6]. В рунах встречаются также единичные указания на то, что дуб произрастает на пожоге/подсеке/ниве (ajo (?)) Ср: kasken ajo [KKS, 1968. С. 26]. Перевод в данном контексте вызывает сомнения, поэтому не исключается возможность описки собирателя или опечатки при публикации), в поле (pelto), а также в роще (lehto). Таким образом, выстраивается преемственный в темпоральном плане ряд локусов: пожога – поле – поляна – роща.

Несмотря на то что большинство названных локусов находятся в низинах, в рунах они характеризуются как «просторные» (avara) и «поднимающиеся, восходящие» (ylenijä, ylentäjä и т. д.). Таким образом, локализованные в среднем мире, они соотносятся с верхним миром.

Болота, поляны, поля, пожни, нивы относятся к инородным участкам леса. По своей семантике они приравнивались к пустынной местности, имеющей соотнесенность и с «тем», и с «этим» мирами [Криничная, 2011. С. 10]. В русских мифологических рассказах эти локусы принадлежат, с одной стороны, к освоенному, окультуренному, познанному, а с другой – к первозданному, природному, неведомому пространству, занимая тем самым промежуточное положение между мирами [Криничная, 2011. С. 94].

Необходимо отметить, что в исполнении рунопевцев локусы, синонимичные либо близкие по своей семантике, оказывались в рунах взаимозаменяемыми также в силу фонетического сходства обозначающих их лексем, ср., например: poro – oro – aro, aho – ajo (а также разные по смыслу, но близкие по звучанию pelto –

lehto). И хотя порой об истинно первозданном месте произрастания дуба в эпических песнях остается только догадываться, соотнесенность данных локусов с мировым деревом лишь усиливает их мифологическую подоплеку.

В некоторых приладожских текстах ландшафтными знаками-символами локализации мирового древа являются также растения. Дуб произрастает на боку серой коряги/колоды (havon harmaan sivulle), у подножия коричневого тростника, в зарослях красивого камыша (ruskian ruokoisen tyville, kaunehen kaihlan sisähän). Данные локусы, как правило, выступают в параллельном стихе синонимом пестрого камня.

Синкретизм локусов. Место нахождения большого дуба в рунах не ограничивается отдельными локусами, в большинстве случаев это – комплекс параметров. В процессе исследования порой бывает сложно расчленить находящиеся в параллельных стихах и основанные на явлении синтаксической синонимии места локализации древа. Карельские тексты содержат яркие примеры синкретизма нескольких локусов, т. е. что описывается двух-, трех-, четырех-, пяти- и подчас шестисоставными конструкциями. Это особенно характерно для приладожской традиции. Так, например, дуб вырастает «у основания пестрого камня, на боку серой коряги» (kiven kirjavan tyvelle, havon harmaan sivulle SKVR VII4 2642: 29–30), «у коричневого тростника, на узкой скале, в зарослях (букв.: на плечах) красивого камыша (ruskeen ruokosen tyveh, kaitaseh kallivoh, kaunehen kazlian hartivoille SKVR VII4 2712: 14–16), «на боку серой коряги, на краю пестрого камня, у коричневого тростника, на маленьком островке» (harmahan haon sivulle, kirjavan kiven sivuhun, ruo'on ruskian tyvehen. Soarukalle pikkuselle SKVR VII4 2678: 22–25), «на просторе ясного моря, на обширной волне, на маленьком островке, на стыке двух пенящихся морей, на краю пестрого камня, у основания коричневого тростника» (meren selvälle selälle, lagialle lainehelle, pikkuselle soarukalle, kahen meren kuohuvalle, kirjavan kiven sivulle, ruskiin ruohosen tyvelle – SKVR VII4 2660: 27–32). Иначе говоря, большой дуб вездесущ и всеобъемлющ. Он соединяет не только различные природные стихии, но и разные сферы мироздания. Он произрастает одновременно на просторе моря и на стыке двух морей, на обширной, находящейся в движении волне (вода) и на маленьком островке (первоземля), на краю камня (знак горизонтали) и у основания тростника (знак вертикали). Согласно концепции Н. А. Криничной, «каждый из природных объектов может сочетаться с другим топосом

по принципу тождества или аналогии, <...> образуя свой микромир, соотношенный с макрокосмом» [Криничная, 2011. С. 118]. Характерно, что большой дуб, согласно карельским рунам, никогда не произрастает в лесу, потому что, имея многие другие значения, он осмысливается и как *перводерево*, возникшее в начале творения мира и определившее его структуру.

Места локализации дуба маркируются также пространственными параметрами. В бинарной оппозиции *верх* – *низ* преобладают локусы, отмеченные знаком низа – это и низменные участки (болота, заливные луга, пожни), и расщелина камня у порога. Расселины скал (камней) «играют знаковую роль: это проход в потусторонний мир» [Криничная, 2011. С. 87]. Традиционно мировое древо помещается в сакральном центре мира [Топоров, 1987б. С. 399]. И расположение его в карельских рунах на *краю* земли, камня, скалы, мыса (moan liebehēt, kiven sivu, tuli-niemien nenä, tutkamet) не исключает этих воззрений.

Важную роль в местоположении дуба играют и различные стороны света, отражающие представления о координатах пространства. Представления о четырех ветрах как координатах пространства характерны для античной мифологии [см.: Мейлах, 1987. С. 241]. Так, ветер, бросающий сено в огонь или уносящий золу, из которой произрастает дуб, прилетает с *юга* (suviuuli heinäni poltti). Ветер, собирающий остатки золы, именуется *северным* (rohjañe vei rogo vāhänki). Туча, сжигающая сено, поднимается с *северо-востока* (pouši pilvi koillisessa). Тексты содержат сведения и о трех тучах, призываемых с разных сторон: с *северо-запада* (luotehesta), с *северо-востока* (koillisesta), с большого *юга* (suuresta suvesta) (SKVR II 1022: 1–3). Тем самым в своей локализации дуб соотносится с западом и востоком, севером и югом.

Итак, мы рассмотрели места произрастания мирового древа в карельских эпических песнях. Исследования показывают, что дуб может находиться в разных наделенных мифологическими признаками локусах (кроме леса), и между ними прослеживается некоторая связь. Локализация дуба в водной стихии содержит отголоски представлений о возникновении мирового древа в начале времен в первозданных водах мирового океана. Появление дуба на острове (камне/скале, что в мифологическом сознании отождествляется) знаменует собой следующий этап – возникновение первой земли в первозданных водах. *Рождение новой земли в виде холма, горы, острова* – одна из самых распространенных мифологем [Денисова, 2009. С. 84]. Образ

горы, у подножия которой произрастает древо, восходит к представлениям о мировой центральной горе, являющейся осью мироздания. Продолжение мировой оси вверх (через вершину горы) указывает положение Полярной звезды, а ее продолжение вниз указывает место, где находится вход в нижний мир, в преисподнюю [Топоров, 1987а. С. 311]. Произрастание дуба в локусах, маркированных знаком земли, отсылает нас к идее нахождения мирового древа в некоем медиативном пространстве. Строго не разграничиваясь между собой, эти топосы противопоставлены не только культурной среде (селению), но и в известной мере природному пространству (лесу) [Криничная, 2011. С. 130]. Упоминание загона для скота/скотного двора, и причем его «середины», в качестве места локализации мирового древа – «святого дуба», произрастающего над источником, включает в себе идею проявления макрокосма в микрокосме крестьянского подворья. Отметим также, что произрастание дуба у реки, потока, порога, залива/пролива, являющихся рубежами между мирами, на камне (вход в потусторонний мир), на болоте, поляне, пожне, nive сообщает дереву роль медиатора между мирами, что традиционно является главной ипостасью древа мирового.

Список сокращений

КФНЭ – Карело-финский народный эпос: в 2 кн. / Сост., вступ. ст., пер., прим. В. Я. Евсеева. М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 1994. Кн. 1. 476 с.; Кн. 2. 510 с.

КЭП – Карельские эпические песни / Предисл., подгот. текстов и коммент. В. Я. Евсеева. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1950. 526 с.

KKR – Karjalan kansan runot. Kokoopannut V. Jevsejev. Tallinn, 1976–1980, I–II.

KKS – Karjalan kielen sanakirja / päätoim. P. Virtaranta. Helsinki: Suomalais-ugrilainen seura. Osa 1–6. 1968–2005. Osa 1. 1968. Osa IV. 1993.

SKVR – Suomen Kansan Vanhat Runot. I – XIV. Helsinki, 1908–1948.

Литература

Демиденко Е. Л. Значение и функции общефольклорного образа камня // Русский фольклор: Этнографические истоки фольклорных явлений. Л.: Наука, 1987. Вып. 24. С. 85–98.

Денисова И. М. Образы острова и камня в русской фольклорной традиции // Этнографическое обозрение. 2009. № 5. С. 76–92.

Евсюков В. В. Мифы о вселенной. Новосибирск: Наука, 1988. 176 с.

Криничная Н. А. Крестьянин и природная среда в свете мифологии. Былички, бивальщины и поверья Русского Севера: Исследования. Тексты. Комментарии.

рии. М.: Русский Фонд Содействия Образованию и Науке, 2011. 632 с.

Криничная Н. А. Русская мифология: Мир образов фольклора. – М.: Академический Проект; Гаудеамус, 2004. 1008 с.

Кундозерова М. В. Большой дуб: происхождение мирового дерева в карельских эпических песнях // Ученые записки Петрозаводского государственного университета. 2012. (В печати).

Мейлах М. Б. Воздух // Мифы народов мира: Энциклопедия: В 2 т. М.: Сов. энцикл. Т. 1. 1987. С. 241.

Рабинович Е. Г. Земля // Мифы народов мира: Энциклопедия: В 2 т. М.: Сов. энцикл. Т. 1. 1987. С. 466 – 467.

Старшая Эдда: Древнеисландские песни о богах и героях. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1963. 259 с.

Степанова А.С. Толковый словарь языка карель-

ских причитаний. Петрозаводск: Периодика, 2004. 304 с.

Топоров В. Н. Гора // Мифы народов мира: Энциклопедия: В 2 т. М.: Сов. энцикл. Т. 1. 1987а. С. 311–315.

Топоров В. Н. Дерево мировое // Мифы народов мира: Энциклопедия: В 2 т. М.: Сов. энцикл. Т. 1. 1987б. С. 398–406.

Топоров В. Н. Река // Мифы народов мира: Энциклопедия: В 2 т. М.: Сов. энцикл. Т. 2. 1988. С. 374–376.

Harva U. Suomalaisten muinaisuusko. Porvoo; Helsinki, 1948. 519 s.

Holmberg U. Elämänpuu. Helsinki, 1920. 147s.

Kuusi M. Suomen kirjallisuus. I. Kirjoittamaton kirjallisuus. Helsinki, 1963. 655s.

Toivonen Y. H. Ison tammen ongelma // SUSALIII, 2. Helsinki, 1946–47. S. 27–36.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ:

Кундозерова Мария Владимировна

аспирантка

Институт языка, литературы и истории

Карельского научного центра РАН

ул. Пушкинская, 11, Петрозаводск,

Республика Карелия, Россия, 185910

эл. почта: maria.vlasova@mail.ru

тел.: (8142) 781886

Kundozeroва, Maria

PhD Student

Institute of Language, Literature and History,

Karelian Research Centre, Russian Academy of Science

11 Pushkinskaja St., 185910 Petrozavodsk, Karelia, Russia

e-mail: maria.vlasova@mail.ru

tel.: (8142) 781886

УДК 811.511

СУБСТРАТНЫЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ В ТОПОНИМИИ ВОСТОЧНОГО ОБОНЕЖЬЯ*

Е. В. Захарова

Институт языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН

В статье предлагается анализ ряда ландшафтных терминов субстратного происхождения, бытующих в топонимии Восточного Обонежья и отражающих разные этапы в этноязыковой истории региона. Реконструкция ареалов топооснов способствует как этимологической интерпретации субстратных терминов, так и выявлению основных потоков освоения исследуемого региона, этнических истоков этих потоков и границ расселения этносов на территории.

Ключевые слова: топонимия, ландшафтные термины, этническая история.

E. V. Zakharova. GEOGRAPHICAL TERMS OF SUBSTRATE ORIGIN IN THE TOPONYMY OF EASTERN OBONEZHJE

The paper presents an analysis of several landscape terms of substrate origin from the Eastern Obonezhje toponymy, which reflect different stages in the ethno-linguistic history of the region. Reconstruction of the distribution ranges of toponymic models facilitates both etymological interpretation of the substratal terms and identification of the main waves of human colonization of Eastern Obonezhje, the ethnic origins of these waves, and the boundaries of the settlement ranges of ethnic groups in the area.

Key words: toponymy, landscape terms, ethnic history.

Территория Водлозерья и Пудожья, объединяющаяся по многочисленным данным археологии, истории, этнографии и фольклористики с примыкающей к ней с востока территорией архангельского Каргополя в единый ареал – Восточное Обонежье (в данной работе рассматривается территория, входившая в состав Пудожского и Каргопольского уездов Олонецкой губернии, в настоящее время охватываю-

щая Пудожский район Республики Карелия, Каргопольский район и юго-западную часть Плесецкого района Архангельской области), представляет собой западную окраину Русского Севера – зону, культурные традиции которой сформировались в ходе русского освоения «чудских» территорий с последующим обрусением местной чуди на фоне политического и экономического противостояния Новгорода и Москвы. Помимо славянских потоков, шедших сюда как через Обонежье, так и с р. Онега, в формировании историко-культурной и этноязыковой целостности территории принимало участие и прибалтийско-финское население, проникавшее сюда из Обонежья. Все это нашло

* Статья подготовлена в рамках выполнения проектов «Электронная топонимическая карта Олонецкой Карелии» (программа фундаментальных исследований РАН «Язык и литература в контексте культурной динамики») и «Создание ГИС «Электронная картотека топонимов Восточного Обонежья» (грант РГНФ №. 12-04-12009).

отражение в русских говорах и топонимии данного региона, субстратный компонент которого определен исследователями как прибалтийско-финско-саамский (А. М. Шёгрэн, М. Фасмер, А. И. Попов, А. К. Матвеев и др.).

Основными источниками материала для настоящей работы стали данные Научной топонимической картотеки ИЯЛИ КарНЦ РАН, картотеки Топонимической экспедиции Уральского федерального университета, материалы Национального архива Республики Карелия (фонды Олонецкого губернского по крестьянским делам присутствия, Олонецкого губернского статистического комитета, уездных земельных управлений, районных землеустроителей), опубликованные и картографические источники.

Географическая лексика Восточного Обонежья уже становилась предметом исследований [Мызников, 2002, 2003, 2004], в данной работе предлагается анализ нескольких до сих пор не рассматривавшихся или получивших недостаточно полное освещение ландшафтных терминов субстратного происхождения, бытующих в топонимии данного региона. Анализ топонимического функционирования позволяет уточнить ареал термина, а также – в связи с привязкой его к объектам определенного вида – развитие семантики термина.

В 2008 году коллективом авторов ИЯЛИ КарНЦ РАН – И. И. Муллонен и Д. В. Кузьминим – в рамках программы фундаментальных исследований Президиума РАН «Адаптация народов и культур к изменениям природной среды, социальным и техногенным трансформациям» был осуществлен проект «Топонимический атлас Карелии», состоящий из 50 карт, на которых представлены ареалы отдельных прибалтийско-финских, русских и саамских топооснов и топоформантов территории Карелии, с комментариями и анализом выявленных ареалов. Среди рассмотренных авторами топонимических моделей выделяются такие, которые широко бытуют и на исследуемой нами территории.

Так, авторы «Атласа» обнаруживают и картографируют более 40 топонимов с основой *Vadag'/Vadai-*, *Вадог-/Вадег-*, благодаря чему выясняется, что ареал бытования данной модели наиболее плотен на вепсской территории – в южном Присвирье, на севере он доходит до северного Обонежья, на западе достигает восточного Приладожья, на востоке захватывает Каргополье [Муллонен, Кузьмин, 2008. С. 223]. С помощью привлечения данных картотек Топонимической экспедиции УрФУ очерченный ареал может быть расширен, т. к. модель, используемая в названиях небольших речек, ручьев, болот, озер и се-

нокосных угодий, широко представлена в топонимии не только Пудожья и Каргополья, но также Вельского, Коношского, Мезенского, Няндома, Пинежского и Холмогорского районов Архангельской области – всего более 30 топонимов, в том числе *Вадога*, *Вадоги*, *Вадеги*, *Вадинское болото*, *Ватеги*, *Завадежье*, *Бадеж*, *Вадожка*, *Вадожское*, *Верховадская*, *Вадожный*, *Вадосец* и др.

Большинство из приведенных примеров – простые по структуре названия, что позволяет возводить их к ландшафтному термину *вадога* 'покосы в низких, сырых местах около озер и речек, где растет главным образом осока; зарастающее лесом болото' [СРНГ], представленному на русской территории Карелии и в некоторых районах Ленинградской области, и *вадега* с широким спектром значений, включая 'глубокое спокойное место между перекатами на реке; прямой участок русла реки, плес; проток, рукав реки; омут, яма в реке; топь на болоте; заливной луг' [СГРС], имеющему более восточный ареал бытования. В топонимии Восточного Обонежья представлены оба варианта (*вадога*, *вадега*), а кроме этого, еще и фонетически и семантически близкая основа *вадья*, которая также бытует в названиях рек, озер, болот и сельскохозяйственных угодий: *Вадья*, *Вадьяца*, *Вадьежское болото*, *Круглая Вадья*, *Длинная Вадья* и др. Для данной основы есть и соответствующий ландшафтный термин *вадья* 'небольшое бессточное озеро; яма на берегу реки, в которой после разлива осталась вода' [СГРС]. Как соотносятся три названных термина? М. Фасмер в свое время считал, что *вадега* восходит к исходному варианту *вадья*, который, в свою очередь, является коми заимствованием, ср. коми *vadja* 'болотистый, топкий' от *vad* 'болото, топь, лесной пруд' [Фасмер]. Однако дальнейшие исследования позволили внести уточнения в эту схему. Во-первых, был выявлен неизвестный Фасмеру вариант *вадога*, во-вторых, восстановлен из топонимии вепсский географический термин **vadag'*, родственный фин. и кар. *vataja*, *vadai* [Муллонен, 1994. С. 64], и реконструирована его семантика 'покос на болотистом месте', представленная в территориально смежных русских говорах. Оказалось, что *вадега* может рассматриваться как палатализованный вариант *вадоги*, в котором произошла (очевидно, на русской почве) регрессивная ассимиляция: **vadag'* представлен в топонимии нередко в виде *Вадоги*, воспроизводящем палатализованный *g'*. Палатализация последнего согласного могла распространиться и на предшествующий, породив вариант *вадега* с палатализованным *d'*. Исходя из

сказанного, можно реконструировать в основе широко представленного в Восточном Обонежье термина *вадога/вадега* вепсский источник **vadag*'. Судя по ареалу бытования, он распространился в бассейн р. Онега из Восточного Обонежья, бывшего в прошлом вепсским языковым ареалом (рис. 1).

Сложнее с термином *вадья*, поскольку имеются определенные сложности введения его в один ряд с *вадега*. Обращает на себя внимание также топонимический ареал, который, соприкасаясь с ареалом *вадога/вадега*, имеет все же более восточную привязку, в связи с чем, действительно, не исключены его коми истоки. Возможно, будучи воспринятой на востоке Русского Севера (ср. идентичность семантики русского и коми термина), данная модель затем распространилась в западном направлении вдоль путей миграции, где и соприкоснулась с моделью *вадога/вадега*, что привело к контаминации двух лексем – и фонетической, и семантической.

Второй субстратный ландшафтный термин, продуктивный в топонимии Восточного Обонежья, – *пахта* 'болото (сырое и сухое, заросшее и не заросшее травой, кустарником, лесом); покос на болоте; заросшее русло реки' [Топонимика Кенозера]. Он выступает в названиях болот, озер, ручьев либо в самостоятельном употреблении, либо в роли детерминанта сложных по структуре топонимов: *Валдапахта/Валдопахта, Гойпахта, Лайпахта, Большая/Малая Леппахта, Большой/Малый Лайпахтин ручей, Нешпахта, Пахта, Пахтовский ручей, Чистая Пахта, Вайпахта, Пахтозеро* и др. Нанесенные на карту (рис. 2), топонимы группируются в среднем Поонежье, откуда тянутся на восток через Подвинье в Пинежье. Топонимический ареал накладывается, очевидно, на маршруты транзитных водно-волоковых путей, пересекавших водоразделы Онеги и Северной Двины.

Обращает на себя внимание тот факт, что в архангельской топонимии встречается *похта* как фонетический вариант к *пахта*: *Нешпахта/Нежпохта, Валдапахта/Валдопохта, Леппахта/Лепохта*, в то время как в северном Белозерье и в других районах Вологодской области фиксируется модель *похта*: *Похта, Большая/Маленькая Похта, Соколя Похта, Запохотье, Похтозёра, Запохотский ручей* и др. С учетом привязки ее к Белозерью, рано подвергнутому древнерусскому освоению, сопряженному с неразличением *а* и *о*, *пахта* превратилась в *похту*.

Для понимания этимологических истоков термина предлагается обратить внимание на приоб.-фин. лексему *rehka, rehku* (фин.),

rehko, rehku (кар.), *rehk* (вепс.) 'гнилая, трухлявая древесина', которая вписывается в ряд примеров звукоперехода приоб.-фин. *e* > севернорус. *a* в словах с заднерядными гласными: приоб.-фин. *vehka* 'белокрыльник болотный' > вахта 'трифоль, водяной трилистник'; фин. *vehmasto* 'густой лиственный лес, кустарник', эст. *võhmas* 'остров на болоте' > вагмас 'заболоченный лес с буреломом и кустарником', соответственно приоб.-фин. *rehku* > пахта [Муллонен, 2002. С. 64]. В этой паре отобразилась еще одна фонетическая особенность – переход чуждого русской фонетике приоб.-фин. *hk* > рус. *хт*: ср. вепс. *pihk* 'густое мелколесье; молодой хвойный лес' > рус. *пихка, пивка, пиха, пихта* 'частые заросли кустарника; густой хвойный мелкий лес' [Меркулова, 1960. С. 50–51], приоб.-фин. *vihko, vihk* 'пук, связка' > рус. *вихтус* 'соломенный жгут для утепления входной двери' [Матвеев, 1995. С. 32].

В специальной литературе соотношение приоб.-фин. *e* – севернорус. *a* трактуется по-разному: одни видят за ним особенность адаптации приоб.-фин. звука к русской фонетике, другие предполагают, что севернорус. *a* в приведенной ситуации – наследие существовавшего в Белозерье и смежных районах особого языка прибалтийско-финского или прибалтийско-финско-саамского типа. К примеру, финский исследователь Я. Саарикиви полагает, что это был язык, входивший в группу южных прибалтийско-финских языков, в котором на месте *e* севернофинских языков выступает более южный звук *ä/a* [Saarikivi, 2006. S. 50].

Добавим к этому, что хотя приоб.-фин. *rehku/rehk* и севернорус. *пахта/похта* имеют разную семантику, вепсская лексема активно используется в топонимии, при этом нередко именно в гелонимах, т. е. наименованиях болот [Муллонен, Кузьмин, 2008. С. 230–231]. В карельской топонимии основа не востребована, в связи с чем можно полагать, что в Восточном Обонежье мы имеем дело именно с вепсским наследием: *Пёхка, Пёвка, Пёховское болото, Пёхтач, Пёхтальница, Пехозеро, Пехозерко* и др.

Картографирование топонимов свидетельствует о том, что на территории Поонежья две топоосновы – вепс. *Rehk* и севернорус. *Пахта* сосуществуют, при этом намечаются разные пути проникновения названных типов на эту территорию: *Пахта* распространяется из Белозерья через известный Ухтомский волок в Поонежье, а оттуда далее на восток, *Rehk*, в свою очередь, оттягивается из Восточного Обонежья по местным волокам, соединяющим

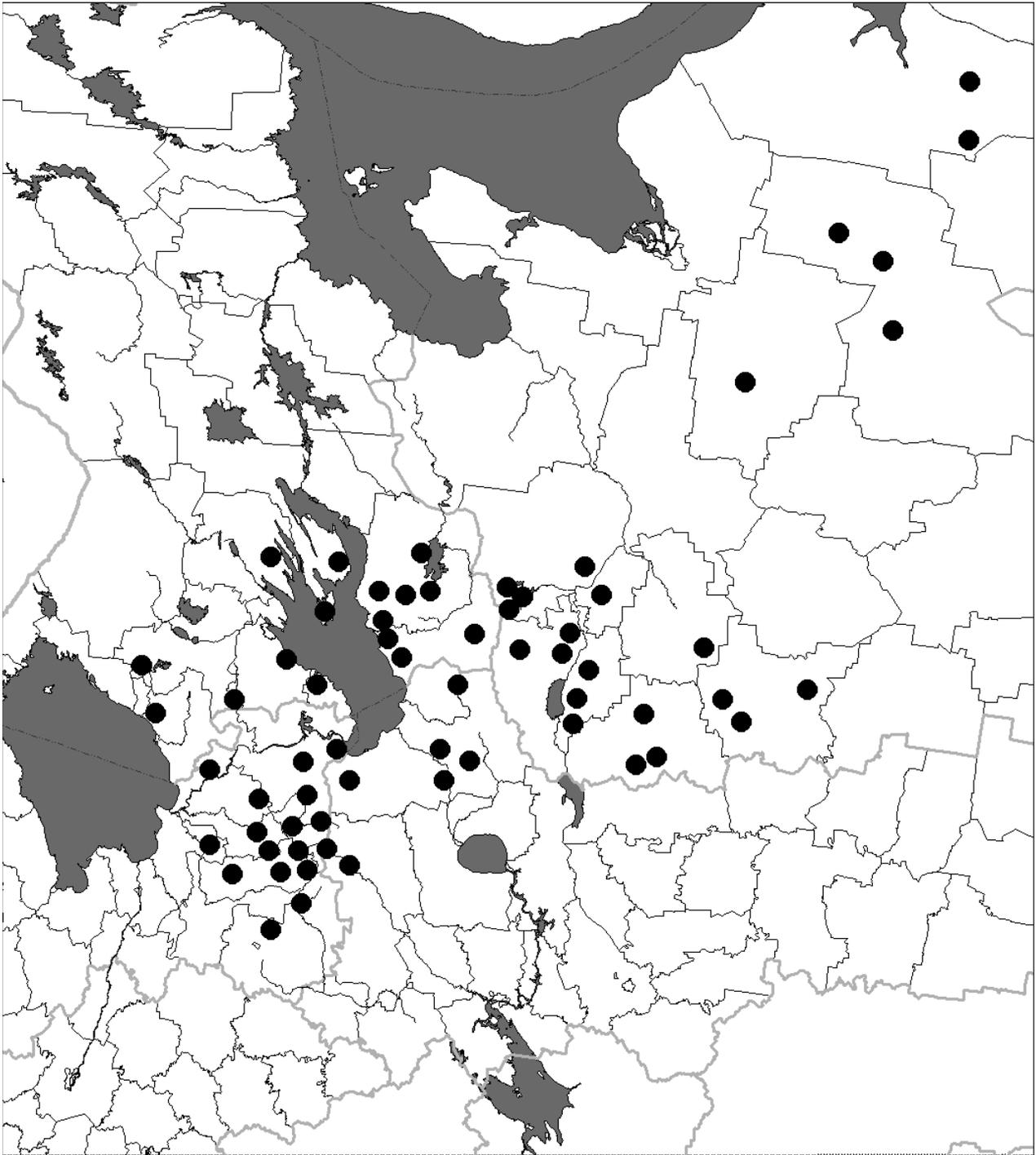


Рис. 1. Распространение топонимной модели с основами Vadag'/Vadai-, Вадог-/Вадег-

бассейн Онежского озера с бассейном р. Онега. Такая ареальная и фонетическая дистрибуция должна рассматриваться как свидетельство разных этноязыковых истоков топооснов. Если основа *Rehk-* и ее варианты маркируют продолжение на восток исторического вепского ареала, то *Пахта/Похта* (и соответственно географический термин *пахта*) являются языковым наследием другого, родственного в языковом плане, этноса, населявшего в свое время

до активной русской колонизации район Белозерье – Поонежье.

Географический термин *нюра/нёра*, бытующий в русских говорах как Восточного Обонежья, так и Заонежья в значении 'подводная мель в озере (песчаная или каменная)' [Топонимика Кенозера], 'подводная мель' [Куликовский], хорошо известен в топонимии Кенозерья и на Корбозере, несколько фиксаций обнаруживается также в Мезен-

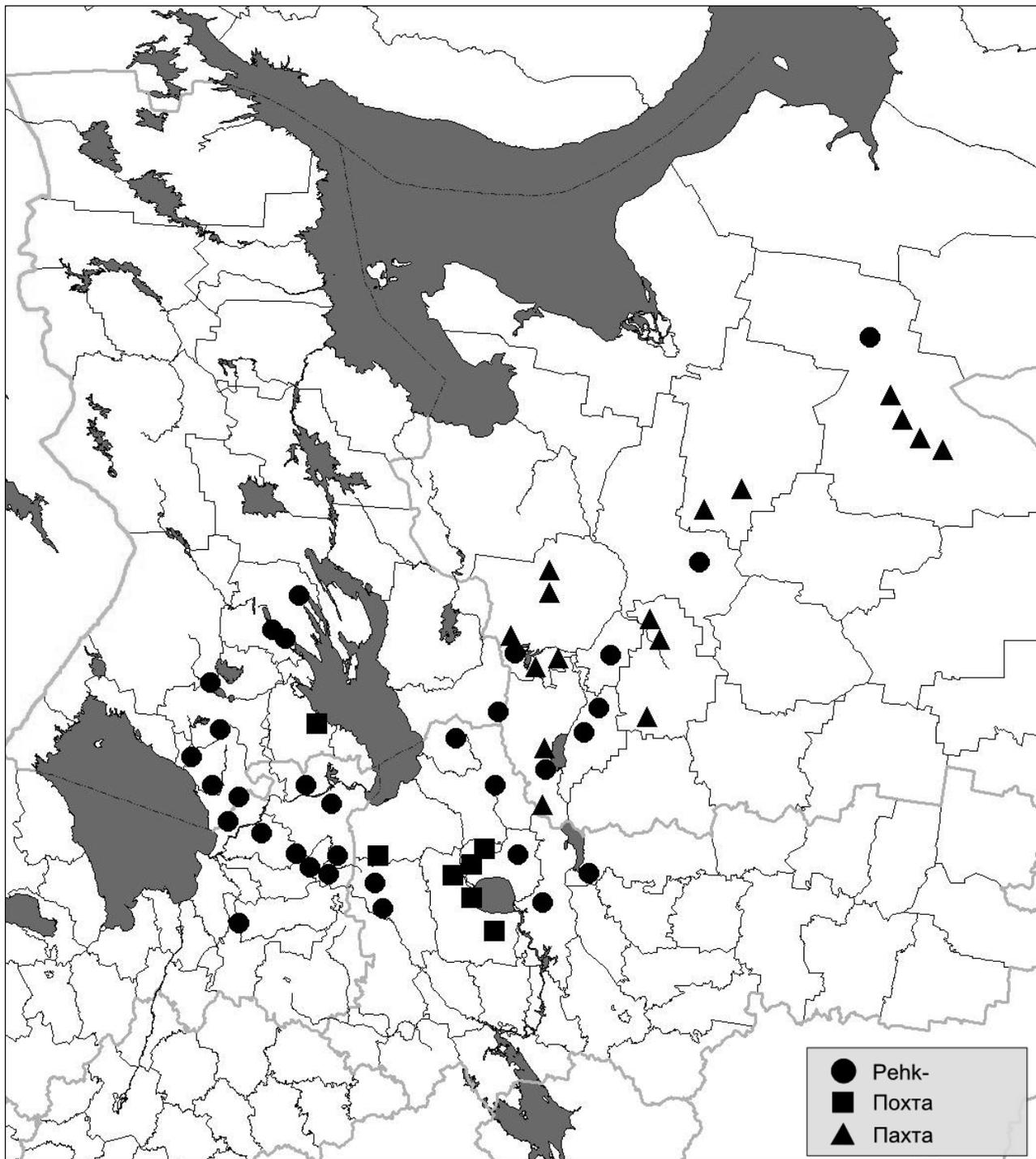


Рис. 2. Ареал топонимных моделей с основами Рехк-, Пахта, Похта

ском и Приморском районах Архангельской области: *Нюра, Нюрица/Нюрича, Медвежинская Нюра, Нюры, Нёра* и др. Данная модель используется в наименовании низких заливных островов, поросших травой отмелей, покосов, единичная фиксация – в наименовании реки. Надо полагать, что *нюра/нёра* является примером саамского наследия на исследуемой территории: ср. прасаам. **ñbŕę*, сев. *pjuorŕá*, Инари *pjuora*, Колтта *pjuŕr*, Кильдин

ñũrr ‘подводный камень’, ‘мель’ [YS] или прасаам. **ñērē*, сев. *njærge*, Инари *njeeri*, Колтта *njiä'rr*, Кильдин *ñie'rr* ‘мелкий порог’, ‘луг вдоль ручья’ [YS].

Три топонимические основы, восходящие к соответствующим географическим терминам, отражают, по-видимому, три этапа в этноязыковой истории Восточного Обонежья, а реконструкция их ареалов способствует как этимологической интерпретации субстратных терминов,

так и выявлению основных потоков освоения исследуемого региона, этнических истоков этих потоков и границ расселения этносов на территории.

Картографирование намечает прибалтийско-финский (вепсский) поток, распространяющийся через территорию Обонежья; более ранний, продвигающийся из Белозерской округи, и саамский, ареально представленный от Восточного Обонежья на восток до Мезени.

Список сокращений

ИЯЛИ КарНЦ РАН – Институт языка, литературы и истории Карельского научного центра Российской академии наук. Петрозаводск

УрФУ – Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина

Языки и диалекты

вепс. – вепсский
кар. – карельский
прасаам. – прасаамский
приб.-фин. – прибалтийско-финский
рус. – русский
саам. сев. – северносаамский (=норвежско-саамский)
севернорус. – севернорусский
фин. – финский
эст. – эстонский

Литература

Дерягин В. Я. Методические разработки для студентов пединститутов и учителей школ по теме: «Топонимика Кенозера» Ч. II. Архангельск: Изд-во Архангельского педагогического института им. М. В. Ломоносова, 1987. 36 с. (в тексте – Топонимика Кенозера).

Куликовский Г. И. Словарь областного олонечко-го наречия в его бытовом и этнографическом применении. СПб.: Отделение Русского языка и словесности Императорской Академии Наук, 1898. 151 с.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ:

Захарова Екатерина Владимировна

Стажер-исследователь сектора языкознания
Институт языка, литературы и истории
Карельского научного центра РАН
ул. Пушкинская, 11, Петрозаводск,
Республика Карелия,
Россия, 185910
эл. почта: katja.zaharova@mail.ru
тел. (8142) 781886

Матвеев А. К. Аппелятивные заимствования и стратиграфия субстратных топонимов // Вопросы языкознания. 1995. № 2. С. 29–42.

Меркулова В. А. К этимологии слова пихта // Этимологические исследования по русскому языку. Вып. 1. М.: Изд-во Московского университета, 1960. С. 46–51.

Муллонен И. И. Очерки вепсской топонимии. СПб.: Наука, 1994. 157 с.

Муллонен И. И. Топонимия Присвирья: Проблемы этноязыкового контактирования. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2002. 356 с.

Муллонен И. И., Кузьмин Д. В. Границы топонимных ареалов Карелии. Материалы атласа // Границы и контактные зоны в истории и культуре Карелии и сопредельных регионов. Гуманитарные исследования. Вып. 1. Петрозаводск: Изд-во КарНЦ, 2008. С. 217–256.

Мызников С. А. Атлас субстратной и заимствованной лексики русских говоров Северо-Запада. СПб.: Наука, 2002. 361 с.

Мызников С. А. Русские говоры Обонежья. Ареально-этимологическое исследование лексики прибалтийско-финского происхождения. СПб.: Наука, 2003. 540 с.

Мызников С. А. Лексика финно-угорского происхождения в русских говорах Северо-Запада. Этимологический и лингвогеографический анализ. СПб.: Наука, 2004. 492 с.

Словарь говоров Русского Севера, Т. II. Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 2002. 291 с. (в тексте – СГРС).

Словарь русских народных говоров. Вып. 4. Л.: Наука, 1969. 357 с. (в тексте – СРНГ).

Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Т. I. М.: Прогресс, 1964. 562 с.

Lehtiranta J. Yhteissaamelainen sanasto // Suomalais-ugrilaisen seuran toimituksia. 200. Helsinki: Suomalais-ugrilainen seura, 1989. 180 s. (в тексте – YS).

Saarikivi J. On the Uralic substrate toponymy of Arkhangelsk region: problems of research methodology and ethnohistorical interpretation // Substrata Uralica. Studies on Finno-Ugrian substrate in Northern Russian dialects. Tartu: Tartu University Press, 2006. 297 s.

Zakharova, Ekaterina

Institute of Language, Literature and History,
Karelian Research Centre, Russian Academy of Science
11 Pushkinskaya St., 185910 Petrozavodsk, Karelia, Russia
e-mail: katja.zaharova@mail.ru
tel.: (8142) 781886

УДК 811.161.1'373.211+811.511.1(045)

НАЗВАНИЯ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ ЮГО-ВОСТОЧНОГО ОБОНЕЖЬЯ В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРНОГО ЛАНДШАФТА

А. И. Соболев

Северный (Арктический) федеральный университет им. М. В. Ломоносова

Обонежье – зона многовекового контактирования прибалтийско-финского и славянского населения, а на более ранних этапах истории – доприбалтийско-финских и прибалтийско-финских групп. Названия населенных мест данного историко-культурного региона служат источником для определения этнической/языковой ситуации и отражают в том числе типы заселения местности (освоения культурного ландшафта). Особое внимание в статье уделяется топонимам прибалтийско-финского происхождения.

Ключевые слова: топонимия, антропонимия, этническая история.

A. I. Sobolev. NAMES OF SETTLEMENTS IN SOUTH-EASTERN OBONEZHJE IN THE CONTEXT OF THE CULTURAL LANDSCAPE FORMATION

Obonezhje has for centuries been a zone of contacts between the Baltic-Finnic and the Slavic population, and at earlier stages in the history – the pre-Baltic-Finnic and the Baltic-Finnic groups. Settlement names of this historic-cultural region are a source portraying the ethnic/language situation, and reflect, among other things, the types of settlement in the area (reclaiming the cultural landscape).

Key words: toponimy, anthroponimy, ethnic history.

Обонежье – историко-культурный регион, расположенный на побережье Онежского озера и в бассейнах впадающих в него рек.

Юго-восточная часть Обонежья включает в себя бассейны реки Андомы, озер Тудозера и Муромского (юг Пудожского района Республики Карелия и север Вытегорского района Вологодской области). В XVI–XVIII вв. эта территория входила в состав Никольского Андомского погоста Обонежской пятины Новгородской земли.

Статья посвящена топонимам, связанным с формированием культурного ландшафта юго-восточного Обонежья (в т. ч. ойконимам), которые являются ценным источником инфор-

мации об этнической ситуации и особенностях освоения территории. Источниками для самой работы послужили писцовые книги XVI–XVII вв., топографические карты и планы, материалы Национального архива Республики Карелия, данные научной топонимической картотеки Карельского научного центра РАН и полевые данные автора.

В целом в топонимии данного субрегиона можно выделить следующие слои: доприбалтийско-финский (древний слой финно-угорского типа), прибалтийско-финский и восточнославянский.

По данным И. И. Муллонен, доприбалтийско-финский слой топонимии Обонежья и При-

свирья можно разделить на саамский, прибалтийско-финско-саамский и волжский пласты, границы между которыми размыты [Муллонен, 2002. С. 182].

Согласно археологическим данным, первые поселения на территории края появились не ранее VII тысячелетия до н. э. – в период мезолита (Тудозеро-V, Пустошь-I и др.) [Иванищев, 1997. С. 18]. Топонимы этого периода, по всей видимости, не сохранились до настоящего времени.

По результатам сопоставления топонимических и археологических данных бассейна Тудозера можно сделать вывод о том, что хотя самые древние топонимы могут восходить к населению бронзового века с сетчатой керамикой (не ранее II тысячелетия до н. э.), в основном топонимы доприбалтийско-финского пласта возникли не раньше эпохи железного века, т. е. не ранее I тыс. до н. э. [Соболев, 2011].

О наличии в юго-восточном Обонежье и на сопредельных территориях ранних доприбалтийско-финских сезонных поселений могут свидетельствовать следующие топоосновы:

шид- (Шид-ручей, 1563 г. [Писцовые книги, 1930. С. 219], район с. Палтога): саам. *sii'då*, *sijd* (**sijte*) «зимняя деревня» [Муллонен, 2002. С. 268];

чекш- (в бассейне р. Андома – Чекшезеро, оз. и д. (Зам) (здесь и далее в скобках указывается привязка топонимов к сельскому обществу в соответствии с административно-территориальным делением начала XX в., наиболее показательно отражающему расположение топонимов на местности); Чекша речка, р. и д. (Зам); Чекша, д. (Пят), в бассейне р. Вытегра – Чекша, руч. и д. [СНМ 1905. №№ 2525, 2526, 2533, 2177]): прасаам. **śekśe* «осень», в топонимии указывающее на осеннюю стоянку [Матвеев, 2004. С. 100]. Необходимо учесть, что топооснова чекш- может также восходить к прасаам. **śekśe* «скопа, орел-рыболов» [Матвеев, 2003. С. 100], а название Шид-ручей может быть связано с саам. *šešter*, *siešter*, *sievter*, *söötr* «белый или торфяной мох» (см. предлагаемую А. К. Матвеевым этимологию для р. Шидрога, болота Шидры [Матвеев, 2007. С. 159]).

С переходом прибалтийско-финского населения (конкретнее – вепсов) от охотничьего промысла к стабильному земледелию связано появление поселений, названия которых оформлены вепским суффиксом *-l*. В основе данных топонимов зачастую лежат древние прибалтийско-финские личные имена и прозвища. Подобная *-l*-овая топонимия представляет собой след языка носителей приладожской курганной культуры X–XIII вв. и

передается в ходе русской адаптации через русскую модель *-ичи/-ицы* [Муллонен, 1994, С. 75, 122].

В Никольском Андомском погосте, по данным письменных источников XVII и XIX вв., имелись два подобных топонима:

Гонгиничи, местность (Туд): < вепс. **Hong(o)i*): древнее вепс. личное имя **Hong(o)i* + суффикс *-l*, из вепс. *hong* «сосна (обычно сухая, высокая), высохшая на корню сосна». См.: «д. в Сосновицах, на усть ручейка Елисейевской, в Гонгиничах», 1628 г. [Список, 1850];

Юбеничи, сенокосное угодье (Пт) [НАРК, ф. 27, оп.3, ед. хр. 74/664, л. 16 об.]: < вепс. **Hübjoil*: древнее вепс. личное имя **Hübjo* + суффикс *-l*, из вепс. *hüb* «сова, филин». Антропоним **Hübjo* восстановлен И. И. Муллонен как основа названия вепсской д. Юбеничи [Муллонен, 1994. С. 87].

Присутствие подобных топонимов может говорить о наличии в XII–XIII вв. прибалтийско-финских (древних вепсских) поселений на оз. Тудозере и на р. Андоме в районе д. Альчино.

Согласуется это и с археологическими данными: средневековые (IX–XII вв.) древности поселения Тудозеро-V (в т. ч. горшки ладожского типа) относятся к финским древностям [Иванищев, 1997. С. 38]. Отметим также, что вепсские оригинальные названия на Андоме Гонгиничи и Юбеничи могут быть привнесенными, т. е. перенесенными древними вепсами с р. Ояти, где имеются одноименные поселения.

О включении водных и орографических объектов в культурное пространство и возникновении отдельных поселений как прибалтийско-финского, так и, возможно, в части случаев более раннего населения свидетельствуют топонимы бассейна р. Андомы со следующими основами и формантами:

код- (Кодозеро, Ладв): вепс. *kodi* «дом», кар. *kod'i* «дом, жилище», кар. *kota* «землянка, хижина, шалаш», «курытник», вепс. *koda* «курытник», саам. *goatte* «хижина», «чум»;

перт- (Пертозеро, Пертручей, Ладв): вепс. *per'tt'*, кар. *pertti*, саам. *peRRt* «изба»;

ригач- (Ригачсельга [НАРК, ф. 24, оп. 5, ед. хр. 3/33, 21 л.], Ригачручей, Ригачозеро, Ладв): вепс. *rihač* «овин, рига»;

сада- (Садасельга [НАРК, ф. 24, оп. 5, ед. хр. 3/33, 23 л.], АР): топооснова может восходить к реконструируемому прибалтийско-финскому **sato*, сопоставимому с морд. **sado* «деревня, поселение» [Муллонен, 2002. С. 49];

-конда (Себряная Пядчиконда [НТК КарНЦ РАН], Пог): вепс. **kond* «крестьянский двор с прилегающим участком земли», кар. *kondu*

«крестьянский двор; хозяйство; земельный участок» [Муллонен, 1994. С. 59].

Относительно близкими к населенным пунктам были и места выпаса скота, маркируемые в андомской топонимии основой ебо- / ёбо- < вепс., люд., ливв. hebo, вепс. hõbo «лошадь»:

Ебологи, болото (Туд) [НТК КарНЦ РАН] < *вепс. Hebologad, где loga «ложбина, овраг», «сырое болотистое место»;

Ебонаволок (Ёбонаволок), Ебонос, урочище (Зам). Ср. частый вепсский топоним Hebonem' («лошадиный мыс»).

В ойконимии и гидронимии бассейна р. Андомы также сохранилась память об укрепленных поселениях (городищах), возникновение которых, вероятно, можно отнести к деятельности прибалтийско-финского населения:

Загородище и Загородище Антоново, д. (Тит) [СНМ 1905. С. 134], Линдручей, лев. приток р. Самины (линд- < вепс. lidn – «город»). Деревни и ручей располагаются вблизи Саминского городища (XII–XIV вв.), известного по писцовым книгам XVI в. как Городище [Писцовые книги, 1930. С. 189].

Подгородье, д. (Пят) [СНМ 1905. С. 166], Линдручей, лев. приток р. Андомы. Деревня располагалась вблизи известного по писцовым книгам XVI в. Городка [Писцовые книги, 1930. С. 195–196].

Указанные укрепления, как следует из их расположения на местности, охраняли важные водно-волоковые пути из бассейна Балтийского моря (Онежское озеро) в бассейн Белого (рр. Тихманьга, Ухта) и Каспийского морей (рр. Сойда, Кема) и могли перекрывать торговый путь из Новгорода в Двинскую землю, а также путь вокруг Онежского озера (см. подробнее: [Соболев, 2010]).

Судя по первому сохранившемуся подробному описанию Никольского Андомского погоста, к 1563 г. на его территории располагалось 187 деревень (на 1 деревню приходилось 2,16 двора) [Витов, 1962]. К этому времени существовало большинство деревень из известных позднее гнезд поселений Андома, Андомская Гора, Верховье, Замошье, Гакугса, Куржекса, Макачево, Самино, Слобода, Тудозеро, Цимино, имелись поселения на оз. Айнозеро, оз. Маткозеро, на Кленовой горе.

В XVII–XVIII вв. к востоку от основной полосы расселения появились новые населенные пункты.

Первая часть из них образовалась на местах бывших подсек («лядин») и располагалась относительно недалеко от старых гнезд поселений. Это деревни под общими названиями Лядины, Мальян, Осиновец, Лобеги.

Другая часть поселений возникла в верхнем течении р. Андомы и на небольших лесных озерах: это многие деревни Андоморецкого общества Макачевской волости и Ладвозерского общества Андомской волости. Сохранились устные предания о том, что эти лесные деревни основали «беглые» или солдаты, не желавшие служить длительный срок. Известно также, что в верховьях р. Андомы в XVIII в. имелись селения старообрядцев.

К 1905 г. количество населенных пунктов на рассматриваемой территории достигло 250, при этом на одно поселение в среднем приходилось около 9 домов [СНМ 1905].

Далее рассмотрим основные способы наименования населенных пунктов.

Большая часть названий существовавших в начале XX в. деревень образована от личных имен или прозвищ живших в них крестьян (т. н. отантропонимный способ наименования).

Поскольку кроме восточнославянского (русского) населения на данной территории проживало и прибалтийско-финское (вепсское и карельское), часть ойконимов образована от прибалтийско-финских антропонимов, например:

Рябовская, д. [СНМ 1905. С. 136] (Тит), она же: д. ... Фетков след Ребуева, 1563 г. [Писцовые книги, 1930. С. 190], Ребова, д. [СНМ 1905. С. 132] (Пог), она же: «д. Ребуево», 1563 г. [Писцовые книги, 1930. С. 191]. В основе – вепсский антропоним Reboi < вепс. reboi «лиса».

Терово, д. [СНМ 1905. С. 130] (Мар), она же: Тероевская (XVIII в.), «д. на горе Гордуевская, а в ней: во дворе Иванко Терентьев...», 1583 г. [Писцовая книга, 1993. С. 250]. В основе – вепс. и кар. личное имя Teroi (вариант христианского канонического имени Терентий).

Подобные прибалтийско-финские имена жителей и названия деревень отмечались в XVI в. в гнездах поселений Андома, Замошье, Куржекса, Макачево, Самино, Тудозеро, Цимино.

В названиях населенных пунктов, возникших позднее XVI в., в т. ч. в верховьях р. Андомы, прибалтийско-финские антропонимы практически не выявлялись. Для данных деревень характерно совпадение ойконимов и фамилий жителей, свидетельствующее об их происхождении от одного предка, вероятно, основателя поселения: д. Ешины – жители Ешины, д. Ганины Поляны – Ганины, д. Круглое Озеро (Павлецы) – Павликовы (Ладв) [СНМ 1873].

В гнездах деревень, существовавших в XVI в., такое наблюдается реже. Совпадение названий населенных пунктов и фамилий (прозвищ)

встречается в основном в деревнях, вновь возродившихся на пустовавших землях, но сохранивших старое официальное название и добавивших новое неофициальное (родовое), либо в населенных пунктах, появившихся позже, чем остальные деревни гнезда: д. Марына (Пустошь Марыных) – жители Марыны (Марины) (Мар), д. Ярчинская пустошь (Руганова) – Ругановы (Пог).

Все же отдельные патронимы отражались в названиях населенных пунктов еще в XVI в.: «д. на Сямени словет Чекоевских», «д. на Сямени ж Мишених словет Мишинская» [Писцовые книги, 1930. С. 189–190], но они не сохранились до настоящего времени в форме фамилий.

Примером крайне длительного функционирования патронима, отраженного в названии населенного пункта, можно считать название д. Большого Двора Яковлевского (Никулины) [СНМ 1873. С. 51] (Тит). Так, Микула Фалелеев, от имени которого происходит название деревни, проживал в ней в 1583 г. [Писцовая книга, 1993. С. 252]. К XIX в. фамилию Никулин жители деревни не носили, но она, по всей видимости, была их «надфамильным» родовым наименованием.

Следующим распространенным способом наименования населенных пунктов являются вторичные названия, образованные путем переноса топонима со смежного объекта (чаще гидронима).

Подобное наименование характерно для гнезд поселений. Так, на территории более раннего заселения основные названия крупных сел – Андома, Гакугса, Куржекса, Самино, Тудозеро – происходят от соответствующих гидронимов, отражая прибрежный тип заселения. Для отдельных деревень, входящих в эти гнезда, наоборот, более характерны отантропонимные ойконимы.

На территории более позднего освоения ситуация складывается следующим образом. Расположенные на лесных озерах, в верховьях Андомы и ее притоков группы населенных пунктов также носят вторичные названия по водному объекту: Ладвозеро, Югозеро, Куржинское озеро. При этом входящие в группы поселений отдельные деревни в XIX в. носили 2 названия: одно указывало на водный объект, второе было отантропонимным.

Водораздельный тип заселения территории, а также практиковавшееся население подсечное земледелие отразились в названиях деревень, входящих в группу поселений под общим названием Лядины:

Лядины, местность и общее название деревень < лядина «подсека», «участок в лесу, расчищенный под посев»;

Сельга, д. (Зам) < вепс. *sel'g «поросшая лесом гора» [Муллонен, 1994. С. 51] или русское диалектное андомское сельга «лес, мелкий лиственный лес, участок леса, лес на сухом месте, лес на небольшой возвышенности» [Мызников, 2003. С. 289–293]. Стоит отметить, что сельги использовались как участки под подсеку;

Кигалма, д. (Зам) < вепс. *Kivhaum, от kivi «камень» и haumeh «подсека, пожар».

Следующим распространенным способом наименования населенных пунктов является номинация, связанная с типом поселения.

Среди подобных названий имеются ойконимы прибалтийско-финского происхождения:

д. на Кюле, 1563 г. [Писцовые книги, 1930. С. 188] (ВД) < вепс., кар. külä «деревня, село» [Муллонен, 1994. С. 104];

Гомнус, однодворная д. [СНМ 1873. С. 58] (Зам) < вероятно, от вепс. honuz «большой дом».

Среди названий такого типа, имеющих восточнославянское (русское) происхождение, преобладают ойконимы, содержащие термин пустошь. Пустошь – запустевшая земля или заброшенная деревня. Название Пустошь получали деревни, возникшие на таких местах. В Списках населенных мест за 1873 г. по рассматриваемой территории отмечено 22 населенных пункта, в названии которых присутствует данное понятие: Хорева пустошь (Туд), Тереховская пустошь (Зам) и др.

В разрезе гнезд поселений деревни с подобным названием распределились следующим образом: в Андоме – 8, в Тудозере – 5, в Слободе – 4, в Куржексе – 2, в Замосье – 1 [СНМ 1873]. Как видим, все они – территории более раннего заселения, здесь имелась временная возможность для возникновения, запустения и нового появления деревень на старых местах.

Неоднократно встречаемые ойконимы Большой двор (Пог), «д. Большого двора Яковлевского» (Тит), Великий двор (Пог, Зам), Великодворская (ВД) [СНМ 1873], в основе которых лежит термин «великий двор» – центр вотчины, где располагалась администрация феодала [Чайкина, 1988. С. 261], маркируют места расположения центров владений новгородских бояр XV в. [подробнее см.: Соболев, 2010. С. 192–195].

В названиях сел и деревень XIX – нач. XX вв. отразились также следующие термины, обозначающие тип населенного пункта: деревня (Новая деревня, Тит); мыза «отдельно стоящая усадьба» (Аникиевская мыза, Пят); погост «селение с церковью, кладбищем и дворами лиц

духовного звания» (Верхне-Пятницкий погост, Саминский погост и др.); починок «новое селение» (Дмитровский починок, Тит; Бакашинский починок, Туд); пустынь «небольшой монастырь в лесу» (Куржинская пустынь [СНМ 1905. С. 136], Ладв; Спасоматкозерская пустынь, АР); слобода «селение, жители которого были временно освобождены от налогов» (Слобода, Тит, а также название самого гнезда поселений); усадище «барская усадьба» (Усадище, Пят) (ойконимы приводятся по: [СНМ 1873], административные термины по: [Чайкина, 1988]).

Таким образом, рассмотренные в статье топонимы свидетельствуют о наличии в юго-восточном Обонежье различных в этническом (языковом) плане групп населения. Доприбалтийско-финское население южного Обонежья до прихода прибалтийско-финского (древневепсского) и славянского населения, очевидно, не занималось земледелием и, судя по наличию топонимов с основами шид- и чекш-, проживало в сезонных поселениях.

Названия гнезд поселений и самих деревень, производные от названий водных объектов, свидетельствуют о том, что славянское и прибалтийско-финское население селилось в первую очередь на прибрежных участках у рек и озер. При этом жители одного населенного пункта могли быть представителями одного рода, происходящего от основателя деревни, поскольку часть ойконимов напрямую соответствует фамилиям жителей.

Вследствие различных причин, в т. ч. малодворности, отсутствия пригодных участков для подсеки, поселения нередко прекращали свое существование, но возобновлялись вновь, что отразилось в неоднократно встречающихся названиях Пустошь.

Типы поселений, отраженные в ойконимах, в свою очередь указывают на наличие в крае укрепленных поселений (городищ), боярского и помещичьего землевладения (великие дворы, усадище), небольших монастырей и сети церковных приходов (пустыни, погосты).

Список сокращений

Языки и наречия

вепс. – вепсский

кар. – карельский

ливв. – ливвиковский

люд. – людиковский

морд. – мордовский

прасаам. – прасаамский

саам. – саамский

Сельские общества

Андомская волость:

Ладв – Ладвозерское

Мар – Марынское

Пог – Погостское

Тит – Титовское

Макачевская волость:

АР – Андоморецкое

Зам – Замошское

Пят – Пятницкое

Туд – Тудозерское

Нигижемская волость:

ВД – Великодворское

Литература

Витов М. В. Историко-географические очерки Заонежья XVI–XVII вв.: Из истории сельских поселений. М.: Изд-во МГУ, 1962. 290 с.

Иванищев А. М. Древности Вытегории // Вытегра: Краеведческий альманах. Вып. 1. Вологда: ВГПУ, изд-во «Русь», 1997. С. 11–42.

Матвеев А. К. Субстратная топонимия Русского Севера. Ч. II. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2004. 369 с.

Матвеев А. К. Субстратная топонимия Русского Севера. Ч. III. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2007. 300 с.

Муллонен И. И. Очерки вепсской топонимии. СПб.: Наука, 1994.

Муллонен И. И. Топонимия Присвирья: Проблемы этноязыкового контактирования. Петрозаводск: ПетрГУ, 2002. 356 с.

Мызников С. А. Русские говоры Обонежья: ареально-этимологическое исследование лексики прибалтийско-финского происхождения. СПб.: Наука, 203. 540 с.

Научная топонимическая картотека Карельского научного центра РАН (в тексте – НТК КарНЦ РАН).

Национальный архив Республики Карелия (в тексте – НА РК).

Олонецкая губерния: список населенных мест по сведениям 1873 года. СПб: Типография Министерства внутренних дел, 1879. 235 с. (в тексте – СНМ 1873).

Писцовая книга Обонежской пятины А. В. Плещеева и подьячего С. Кузьмина 1582/1583 г. // История Карелии в XVI–XVII в. в документах. Т. III. Петрозаводск; Йоэнсуу, 1993. С. 35–341.

Писцовые книги Обонежской пятины 1496 и 1563 гг. Л.: Изд-во Академии наук СССР, 1930. 268 с.

Соболев А. И. О прибалтийско-финском компоненте в формировании населения Андомского погоста и о некоторых вопросах освоения данной территории // Вытегра: Краеведческий альманах. Вып. 4. Вологда: Изд-во ВГПУ, 2010. С. 185–252.

Соболев А. И. Субстратная топонимия Тудозерья и её соотношение с данными археологии // Рябининские чтения-2011. Материалы VI конференции по изучению и актуализации культурного наследия Русского Севера. Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2011. С. 502–504.

Список населенных мест Олонецкой губернии по сведениям за 1905 год. Петрозаводск: Олонецкая губернская типография, 1907. 326 с. (в тексте – СНМ 1905).

Список с писцовой книги 136 и 137 [1628–1628]

годов // Олонецкие губернские ведомости. Часть неофициальная. 1850. №№ 44–45.

Чайкина Ю. И. Географические названия Вологодской области: Топонимический словарь. Архангельск: Сев.-Зап. кн. изд-во, 1988. 269 с.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ:

Соболев Антон Игоревич

аспирант

Северный (Арктический) федеральный университет
им. М. В. Ломоносова

Набережная Северной Двины, 17,

Архангельск, Россия, 163002,

эл. почта: kroikoi@yandex.ru

тел.: +79095524555

Sobolev, Anton

PhD Student

Northern (Arctic) Federal University

named after M.V. Lomonosov

Severnaya Dvina Emb. 17, Arkhangelsk, Russia; 163002

e-mail: kroikoi@yandex.ru

tel.: +79095524555

УДК 4.106

ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОГО ОБРАЗА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО НЕПОЛНОЦЕННОГО ЧЕЛОВЕКА В ФИНСКИХ НАРОДНЫХ ГОВОРАХ*

Е. В. Логинова

*Кафедра финского языка и литературы
факультета прибалтийско-финской филологии и культуры
Петрозаводского государственного университета*

В статье осуществляется поиск мотивов вторичной образной номинации для комплекса лексем, обозначающих умственно неполноценного человека в финских диалектах.

Ключевые слова: вторичная образная номинация; метафора; мотивационный признак; антинорма.

E. V. Loginova. FORMATION OF THE LINGUISTIC IMAGE OF A PERSON WITH LEARNING DIFFICULTIES IN FINNISH DIALECTS

This article deals with patterns of secondary nomination in Finnish dialect words denoting persons with learning difficulties.

Key words: secondary nomination; metaphor; types of semantic motivation; antinorm.

В последние годы в лексикологии быстро развивается этнолингвистическое направление исследований, которое на первом этапе рассматривалось как особый раздел языкознания, ориентированный на изучение связей языковых данных и фактов народной культуры. В дальнейшем, однако, этнолингвистика стала характеризоваться как уже вполне сложившаяся самостоятельная дисциплина, которая имеет общий для разных гуманитарных наук объект изучения – народную культуру [Виноградова, Толстая, 1995. С. 35].

* Статья подготовлена в рамках проекта по созданию междисциплинарного научно-образовательного Центра прибалтийско-финских исследований «Fennika» (Программа стратегического развития ПетрГУ на 2012–2016 гг.).

Этнолингвистические исследования направлены на выявление закономерностей кодирования этнокультурной информации средствами языка. Человек воспринимает и осознает окружающую действительность органами чувств, создает свою систему представлений о мире, иначе говоря, между языком и миром стоит мышление носителя каждого языка. Вследствие исторического развития этноса и языка складывается т. н. картина мира, которая выступает своего рода отражением национально-го представления о внеязыковой действительности, системе ценностей. Этнолингвистика же через анализ языка изучает эту картину – как логику осмысления мира, осуществляя тем самым выход на культуру, в том числе ее национальную специфику.

В предложенной работе, основываясь на принципах этнолингвистического анализа, предпринимается попытка описания фрагмента финской языковой картины мира через анализ языкового образа дурака. Материалом для анализа служат полисемантические финские диалектные слова, получившие в ходе своего развития отрицательную интеллектуальную семантику. Материал собран из многотомного словаря финских диалектов [SMS], картотеки Словаря финских говоров [SMSK], а также из толкового словаря современного финского языка [NS].

Лексика, отражающая свойства человеческой личности, формируется в значительной степени за счет вторичной образной номинации. В процессе вторичной номинации сознание носителя языка находит точное сравнение, удачную метафору, выбор которой укладывается в языковую традицию и логику носителя языка. В каждом языке встречаются как оригинальные, характерные лишь для данной культуры мотивы, лежащие в основе метафорической номинации для тех или иных человеческих качеств, так и универсальные идеи, присутствующие во многих культурах. Так, в большинстве европейских языков в качестве метафоры для глупца может быть выбрано название какого-либо животного, чаще это баран или бык; широко применимы т. н. «обувные» метафоры – всевозможные сапоги и ботинки; известны также «деревянные» и «гастрономические» метафоры. В ходе выделения подобных сфер отождествления или предметно-тематических кодов выясняется способ выражения признака и устанавливается уровень внешней мотивации. В свою очередь, на более глубоком уровне – внутренней мотивации – выявляется причина выбора носителем языка той или иной метафоры, т. е. мотив номинации.

Такая система анализа семантики предложена на славянском материале Е. Л. Березович, которая отмечает, что «наибольшую степень обобщенности имеют мотивационные доминанты – предельно абстрактные идеи, объединяющие все элементы какого-либо семантического поля. Мотивационные доминанты опираются на сквозные мотивы. Эти интерпретаторы смысла обладают более развернутым содержанием, радиус их действия охватывает не все пространство поля, а несколько лексико-фразеологических групп» [Березович, 2007. С. 33].

В финском языке в числе наиболее продуктивных сквозных мотивов, актуализованных в образной номинации лексико-семантической зоны «Глупость» поля «Интеллект человека», выступает мотив рыхлости, мягкости, аморфности.

Обратимся для начала к бытующим в литературном языке лексемам *löysä/löyhä*, которые характеризуют объект как неплотный, рыхлый, расслабленный, незакрепленный, бесформенный [Ruppila, 1955]. Диалектные данные дополняют эту информацию такими выражениями и сочетаниями, где слова *löysä/löyhä* называют неплотно связанную вещь, рыхлую почву, жидкое тесто, недавно выпавший, неслежавшийся снег, а также пустую болтовню, лень, человеческую глупость:

*Kyl tämmöst löysää leipää on hyvä syövä** – такой мягкий хлеб приятно есть;

Se on hiukan päästä löysä – он немного слаб на голову.

Иначе говоря, слово с первичным значением 'мягкий, рыхлый', призванное характеризовать конкретные объекты, используется также для названия абстрактного явления – человеческой глупости. Метафора делает абстрактное легче воспринимаемым, не случайно поэтому один из магистральных путей метафорического переноса – от конкретного к абстрактному, от материального к духовному [Метафора..., 1988. С. 12].

Далее предложен ряд лексем, получивших в ходе своего развития отрицательную интеллектуальную семантику благодаря воплощению мотива мягкости, рыхлости. Обычно это слова, называющие различные неплотные по консистенции вещества – мягкое масло, рыхлая земля, старые, размягченные корнеплоды и т. п. Особого внимания заслуживает большое количество лексем, обозначающих разные виды снега: *auhto/hauhto*, *hohelo*, *hohka/hohko*, *hupa/hupakka/hupakko*, *hupsakka/hupsakko*, *höhelö/höherö*, *höhhö*, *höhkä/höhkö*, *hölmö*, *höyhkä/höyhtä*, *höyhtänä/höyhtö*, *höykkö*, *tohelo*, *tohmero*, *töhmerö* и пр.

Ниже приведены примеры употребления в речи лишь некоторых из них.

Auhto/hauhto 'мягкий, непрочный, рыхлый снег или земля'/'слабоумный человек':

Lumi on nii hauhtoo ku ei oo suojanna – снег очень рыхлый, не выдержит;

Kyllä se on semmone aohtopeä, ei se muistam mittää – он такой дурень, ничего не помнит.

Hohelo рыхлый, рассыпчатый снег/хрупкий, ломкий лед/мягкий корнеплод/невнимательный человек, чудака, слабоумный:

Pehmeät hohelot toi nauris, kun se on niin äkistek kasvannu – вялая эта репа, раз так быстро выросла;

Se hohelo uskoo kaekki, mitä toenev valehtelloo – этот простофиля во все верит, что ему врут.

* Все примеры собраны из словаря финских народных говоров [SMS].

Hohka, hohko рыхлый снег, лед/корнеплод, утративший со временем свежесть и сочность, ставший вялым/о глупом или рассеянном человеке:

Jää haurastuu hohkaksi – лед становится рыхлым;

Sum pääs on niinko hohkaantunu nauris – твоя голова как вялая репа;

Sinä nyt vasta hohko likka olet kun et ymmärrä rikasta miestä ottaa – ты совсем какая-то недотёпа, раз не сообразишь богатого мужа заполучить.

Hupsakka, hupsakko рыхлый снег/масло/некрепкий кофе/чудак, дуралей:

Voe, voe ku tiä kahvi tul nyt semmosta hupsakkata – ой, это не кофе, а какая-то бурда;

Kylläs tua hupsakan tunnen – знаю я этого дурня.

Акт номинации всегда мотивирован пониманием значимости и безошибочного восприятия взятого за основу предмета или явления внеязыковой действительности. Функционирующий в языке мотив ориентирует номинатора на выбор правильного образа. Не менее продуктивным образом, чем снег, является чересчур мягкое масло, в одних случаях это не успевшее уплотниться, только что приготовленное, в других же – растаявшее, «летнее» масло. Указанными значениями обладают лексемы *hupelo, höppä, höppänä, höppö, höppörö, höperö/höpperö, höpelö, hötö, höttänä, hössäks, hössänä, hössäkkä, hössä* и некоторые их производные.

Höppä, höppänä, höppö 'легкий снег'/'мягкое вещество, напр. только что взбитое масло'/'что-л. хрупкое'/'слабоумный человек'. Производные от этой основы также отмечают неадекватную голову, а именно – *höppänyys* 'непонимание', 'плохая память', 'запутанность мыслей', *höppärainen* 'слабоумный', *höppärä, höppärö*, обозначают 'дурного, придурковатого человека', а глагол *höppänöidä* 'дурачиться, придуриваться':

Tämä voi on vielä ihah höppö – это масло еще очень мягкое;

Höppö se oli, ei kehannu työtä tehdä ollenkhaan – он-то, дурак, не хотел никакой работы делать.

Отдельного внимания заслуживают следующие единицы изучаемой лексико-семантической группы – *hössäkkä, röherö, röperö, röpperö, möhlä*. Все они обладают отрицательной интеллектуальной семантикой, используются в качестве названий снега, однако их особенность заключается в том, что виды обозначаемого ими снега разнятся до прямо противоположных:

Pöherö – с одной стороны, 'мокрый липкий снег, оттепельный снег; влажный, но еще не мокрый снег', с другой, 'сухой, рыхлый, рассып-

чатый снег', а также 'неплотное масло, распадающееся на составляющие'/'дурак', 'глупец':

Pöherölumi tarttuu suksen pohjaan – мокрый снег липнет к лыжам;

Kuiva lumi sei pöheröö, ei pöherössä jaksa kauan tallustella – рыхлый снег, по такому не сможешь долго тащиться;

Se on niin pöherö ettei se huomaa mittään asiaa ku sille puhuu – такой дурак, ничего не сообщает, что ему говорят.

Примерно такой же расклад представлен в значениях лексемы *röperö/röpperö*, которая используется в финских говорах для обозначения как мягкого рассыпчатого снега, так и прилипающего, мокрого снега; называет как чересчур сухое тесто для печенья, так и слишком густое. Одновременно полисемантическое слово бытует в значении 'тупица, рассеянный человек':

Ei tammosella pöpperöllä viissi mihinkää lähtä – по такому мягкому снегу не пойдем никуда;

On pöpperö kävellä – tarttuva lumi haittana kävellessä – липкий снег мешает идти;

Mie nyt non pöperö no en muista mittiä – я-то, дурень, ничего не помню.

Очевидно, языковой образ медленно обрабатываемого человека в данном случае возникает из ситуации неудобства, заторможенности передвижения по свежес выпавшему или оттепельному, липкому снегу. Чтобы донести до него мысль, приходится приложить определенные усилия, преодолеть сопротивление с его стороны. Примечательно, что полисемия данных слов включает еще одно значение – тесто. При этом, как и с характеристикой снега, называемое тесто может быть чересчур жидким или же, наоборот, плотным, крутым. Очевидно, здесь, на «уменьшенной модели», т. е. на уровне слова наблюдается давление идеи антинормы, которая реализуется во всем масштабе лексико-семантического поля «Интеллект человека», провоцируя приобретение отрицательной интеллектуальной семантики словами, содержащими сему «полярные проявления признака». Носитель языка маркирует значимые для него крайние проявления признака и переносит в процессе номинирования на абстрактно мыслимые объекты. На данном конкретном примере можно убедиться, что полярные характеристики «легкий, морозный/липкий оттепельный снег» или «жидкое/плотное тесто» заслуживают внимания номинатора, тогда как умеренное проявление считается нормой и остается без специального наименования. Используя терминологию, предложенную Е. Л. Березович, можно сказать, что сквозной мотив аморфности, мягкости входит в мотивационную доминанту антинормы [Березович, 2007. С. 150].

Выше были предложены к рассмотрению некоторые версии происхождения метафор в адрес глупца. В качестве мотива для метафорического переноса выступает идея рыхлости, мягкости, аморфности, которая послужила основанием для сравнения некоторых особенностей характера и интеллекта человека с рыхлым снегом, маслом, тестом, старой репой и пр. Свойственная перечисленным составам податливость, бесформенность, рыхлость, аморфность при смысловом переносе характеризует человека как вялого, слабого, халтурно выполняющего свою работу и интеллектуально неактивного или неполноценного. Не могла не сыграть свою роль также коннотация «негодный» в случае сопоставления со старым корнеплодом, растаявшим маслом, неудавшимся тестом.

Обращает на себя внимание большое, по сравнению с русским языком, количество образных номинаций, имеющих в своей основе обозначение снега. Здесь важно подчеркнуть, что оценка человеческого интеллекта дается через посредство обыденных, но значимых для носителя традиционной финской культуры внеязыковых реалий: снег, качество и структура которого менялись в зависимости от погодных условий и времени года; масло, которое взбивалось и хранилось в домашних условиях; репа, становившаяся от хранения мягкой. «Метафору питают обыденные, а не научные знания. Она создается при опоре на знания носителя языка о предметах, полученных естественным путем» [Берестнев, 2002. С. 25].

Изучаемый ряд метафор глупости, развившихся на основе слов, первично обозначающих какую-либо неплотную консистенцию, может быть продолжен полисемантическими лексемами, известными в тех же значениях, дополнительно включающими характеристики чего-либо пористого или хрупкого. Таковы, к примеру *hapera / hapero / haperi, hasero, höttelö / hötterö, haplakka / haplakko / huplakko, kohelo / koheli, kohmo / kohmu*.

Для перевода прилагательного *hapera* современный финско-русский словарь предлагает значения 'хрупкий, ломкий, непрочный'; по данным диалектных словарей, им может быть охарактеризован хрупкий лед, негустое тесто, трухлявая древесина, затвердевшее на морозе крупинками масло, а также странноватое поведение человека и отсутствие ума. Как, на каком основании развилась именно такая полисемия? Ниже предложены примеры, демонстрирующие употребление слова в указанных значениях:

Kevväinej jää on nih haperaa – весенний лед такой хрупкий

O nii hapera ko leppäne seeväs – ломкий, как ольховый кол

Haperaa on kun Tommin järki – слабый, как Томмин ум

Oleks ny hapera, kuinga sä keskel arkeepäivää ställää juhlaatteet päälläs! – что ли ты слабоумный, раз в будний день бродишь в праздничной одежде!

В приведенных случаях развитие семантики глупости на основе первичных значений лексемы *hapera* происходит благодаря актуализации одного из наиболее распространенных сквозных мотивов образной номинации – *непрочность*.

В. Руоппила, анализируя именованья умственно неполноценного человека в финских говорах, также обращал свое внимание на эту устойчивую связь первичного значения неплотности или хрупкости с наименованиями глупцов. Автор высказывает мнение, что, очевидно, своим поведением дурак вызывает ассоциации с каким-то отрицательно оцениваемым предметом окружающей действительности. Так, плотно сотканная материя, туго завязанный узел, крепко связанный веник оцениваются позитивно, соответственно противоположные качества – неплотность и расслабленность – видятся основой, пригодной для появления метафоры в адрес неудовлетворительных умственных способностей [Ruppila, 1955. S. 155].

Способность одного слова выступать характеристикой столь разных объектов может выглядеть нелогичной, особенно в русских переводах финских диалектных выражений, где одним прилагательным обозначаются свойства реалий от теста или масла до ветхой постройки. Однако с учетом того, что в основе развития отрицательной интеллектуальной семантики у приведенных выше слов лежит идея антинормы, все предложенные здесь случаи воплощают коннотацию «негодный, плохой», которая оказывается стержневой для развития семантики 'глупый'. Это хорошо прослеживается на примере лексем *kohelo/koheli, kohma/kohmu*.

В качестве первичных значений приведенные слова также характеризуют какие-либо рыхлые, ломкие и хрупкие объекты (наст, хрупкий весенний лед и т. д.). Однако все они могут указывать и на что-то негодное и неудовлетворительное, например, старые камни в банной печи, пустые, не представляющие ценности зерна, неровности и складки на ткани при шитье. Очевидно, именно в этом направлении происходит сдвиг в семантике. Такая же 'негодность, неудовлетворительность' характеризует неуклюжего, иногда медлительного и глупого человека.

Ei siittä (kiuaskivestä) *saam mimmostakal löylyä sitte enään ko se semmoseks koheliks tulle ko vesi läpitem mennee* – от таких камней пару не будет, так как они раскрошились и вода проходит сквозь них

Отра minulla semmonen kohelo elämä – такая уж у меня тяжелая (букв. 'разбитая') жизнь

Ko itte on kohmo ni luulee että kaikki muut on kohmoja – если сам дурак, думает, что все такие же.

Показательно при этом, что **kohmu** и его производные **kohmukko kohmulikko, kohmikko kohmeikko, kohmelikko, kohmisto, kohnukko, kohnikko** обозначают труднопроходимое болотистое место: *Kohmulla on paha ajaa hevosella* – по месиву сложно ехать верхом. В этом контексте уместно отметить и у **hapera** значение 'водянистый, заболоченный луг, в котором вязнут ноги при ходьбе'. Видимо, здесь для развития семантики глупости в очередной раз актуализируется коннотация «движение, преодолевающее сопротивление», которая срабатывает и при образовании значения 'дурак' у слов, первоначально обозначающих слишком рыхлый, мягкий или, наоборот, липкий снег и как следствие –

затрудненное движение. Предложенный фрейм мог породить ассоциацию с тугодумом, для обучения которого требуется преодолеть значительное сопротивление.

Литература

Березович Е. Л. Язык и традиционная культура. М.: Индрик, 2007. 599 с.

Берестнев Г. И. Семантика русского языка в когнитивном аспекте. Калининград: изд-во КГУ, 2002. 156 с.

Виноградова Л. Н., Толстая С. М. Ритуальные приглашения мифологических персонажей на рождественский ужин: формула и обряд // Малые формы фольклора: Сборник статей памяти Г. Л. Пермякова. М., 1995. С. 166–197.

Леонтьева Т. В. Интеллект человека в русской языковой картине мира. Екатеринбург: изд-во ГОУ ВПО «Рос. гос. проф.-пед. ун-т», 2008. 280 с.

Метафора в языке и тексте / Отв. ред. В. Н. Телия. М.: Наука, 1988. 176 с.

Nykysuomen sanakirja. Osat 1–3. Helsinki, 1983. (В тексте – NS).

Ruppila V. Vajaaälyisen kuvaannollisia nimityksiä // *Virittäjä*. 1955. S. 150–170.

Suomen murteiden sanakirja. Osat 1–7. Helsinki, 1985–2003. (В тексте – SMS).

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ:

Логинава Елизавета Валерьевна

аспирант кафедры финского языка и литературы факультета прибалтийско-финской филологии и культуры Петрозаводский государственный университет ул. Правды, д. 1, г. Петрозаводск, Республика Карелия, Россия, 185003 эл. почта: sormukset@mail.ru тел.: (8142) 574947, 89535262896

Loginova, Elizaveta

Postgraduate student
Department of Finnish Language and Literature, Petrozavodsk State University
Pravdy 1, Petrozavodsk, 185003, Karelia, Russia
e-mail: sormukset@mail.ru
tel.: (8142) 574947, 89535262896

ХРОНИКА

СЕМИНАР ПО МЕТОДИКЕ ПОЛЕВЫХ РАБОТ В ИНСТИТУТЕ ЯЛИ



Главный научный сотрудник Института Мировой литературы д. ф. н. В. А. Бахтина

В 2007 году в Петрозаводске был проведен первый семинар по методике полевых работ и архивации фольклорных и этнографических материалов. Его организаторами стали Институт языка, литературы и истории КарНЦ РАН и отдел фольклора музея-заповедника «Кижы». Собира́ние и хранение фольклора – это целая область фольклористики, имеющая множество аспектов. Появились не только новые методы экспедиционной деятельности, связанные с современной техникой, с новыми собирательскими «полями», но и новые формы отчетов об экспедициях, презентаций фольклорных материалов. В последнее время обострились проблемы сохранения архивных фольклорных и этнографических материалов, актуальными стали вопросы хранения архивов на цифровых носителях, создания электронных каталогов и баз данных, применения

интернет-технологий. Результаты полевых исследований недостаточно освещаются в печати. Требуется привлечение внимания специалистов и общественности к результатам проведенных полевых исследований, обмен опытом собирательской и архивной работы. Задачи семинара его организаторы обозначили в проекте, размещенном на сайте <http://folk.krc.karelia.ru> (раздел «Семинар»).

Это научное мероприятие, по замыслу организаторов, должно было объединить исследователей, работающих в учреждениях науки, культуры и народного образования г. Петрозаводска. Уже после первого семинара, в котором участвовали сотрудники Института ЯЛИ КарНЦ РАН, музея-заповедника «Кижы», Петрозаводского университета и Карельского педагогического университета (ныне Педагогической академии) – всего 12 докладчиков, – стало ясно, насколько важно проводить такое мероприятие. Темы докладов касались методов видеофиксации в полевых условиях (В. П. Кузнецова, В. Б. Бовин), особенностей сбора материалов по народным танцам (Н. С. Михайлова), организации и результатов фольклорной практики студентов петрозаводских вузов (С. В. Федорова, И. Н. Минеева), оформления материалов, сдаваемых на хранение в архив (Е. В. Марковская, К. К. Логинов), результатов сбора музыкального фольклора среди карелов-людиков (Н. А. Ригоева). Сотрудники Института ЯЛИ КарНЦ РАН В. П. Миронова и Л. И. Иванова подвели итоги собирания карельского фольклора за последние 10 лет, В. Б. Бовин поделился опытом монтажа видеоматериалов при создании фильмов. С фольклорными материалами, хранящимися в Научном архиве музея «Кижы», познакомила И. И. Набокова. Тематика семинара оказалась настолько интересной, что было решено проводить его ежегодно и публиковать доклады в «Кижском вестнике» или отдельном издании. Это предложение поддержано руководством Института ЯЛИ КарНЦ РАН и музея-заповедника «Кижы».

В последующие годы состав участников значительно расширился. В семинаре стали принимать участие не только петрозаводчане, но и представители учреждений Москвы и Санкт-Петербурга. Так, в 2008–2009 гг. участниками были зав. отделом информационных технологий и источниковедения Института мировой литературы им. А. М. Горького РАН В. Л. Кляус и студенты Центра социальной антропологии РГГУ. Программа семинара 2008 г. помимо докладов о результатах экспедиционных исследований содержала целый блок чрезвычайно интересных и актуальных докладов об архивах. За последнее время накопилось много вопросов в сфере сохранения имеющихся фольклорных собраний – как звуковых, так и рукописных. Доклад В. П. Кузнецовой был посвящен созданию электронного научного фонда рукописных фольклорных коллекций. Эти работы были начаты в рамках проекта РГНФ, продолжавшегося 3 года. Н. Г. Урванцева посвятила свой доклад Учебно-исследовательской лаборатории фольклора КГПУ; Е. В. Марковская – результатам командировки в г. Хельсинки, во время которой изучался опыт применения новых технологий в работе Фольклорного архива Финского Литературного Общества. Чрезвычайно полезным был доклад В. Л. Кляуса «Электронный полевой архив: методика и практика создания». Основная часть докладов была посвящена результатам экспедиций: это доклады П. Б. Легкой, О. В. Лебедевой, Д. Д. Абросимовой, Л. И. Ивановой, В. П. Мироновой, А. В. Голубева и А. Ю. Осипова, А. А. Савицкого, Н. А. Мамонтовой, К. К. Логинова, А. П. Конкка. География маршрутов – районы Карелии, Архангельская область.

Программа Семинара-2009 значительно расширилась благодаря участию лингвистов – преподавателей и студентов Карельского педагогического университета, а также исследователей Института ЯЛИ КарНЦ РАН. По сложившейся традиции на семинаре работали 2 секции: «Научные архивы и лаборатории» и «Методика и практика полевых работ». Последняя разделилась на две подсекции: «Фольклор и этнография» и «Языкознание».

Доклады на секции по архивам и лабораториям были посвящены информационной системе фольклорного архива ИЯЛИ КарНЦ РАН (В. П. Кузнецова, Е. В. Марковская), опыту архивации литературного наследия Э. Г. Карху (Н. В. Чикина), архиву Лаборатории лингвострановедения и языковой экологии КГПУ (Е. Р. Гусева), видеобазе материалов о карелах Фонограммархива Института ЯЛИ (В. П. Миронова, Л. И. Иванова). Тема применения новых информационных технологий бы-

ла продолжена сотрудниками Фонограммархива ИЯЛИ и в 2010 г.

С. М. Лойтер сделала доклад о значении «вне-текстовых» источников фольклористики; И. Н. Минеева, Н. Г. Урванцева, Т. В. Лис, Н. В. Червякова проанализировали материалы, собранные в студенческих экспедициях КГПУ. Доклады участников семинара И. И. Набоковой, Д. Д. Абросимовой, Ж. В. Гвоздевой, А. С. Лызловой, А. П. Конкка, К. К. Логинова, В. Ю. Пахомовой познакомили с разнообразной тематикой полевых исследований в районах Карелии и сопредельных областей. В 2009 г. в семинаре участвовала целая группа студентов РГГУ, проводившая экспедицию в Карелии под руководством В. Л. Кляуса. Студенты-пятикурсники обобщили свои полевые наблюдения в докладах об употреблении национального языка в сакральной традиционной культуре сямозерских карелов-ливвиков (Н. А. Мамонтова), об изучении традиционного природопользования сямозерских карелов (Н. В. Петракова), о межэтнических взаимоотношениях на территории Пряжинского района Республики Карелия (Т. О. Цеденов).

О качестве лингвистических записей для составления диалектных словарей говорила в своем докладе Л. П. Михайлова. Вопросам обработки диалектных материалов и составления карт для Лексического атласа русских народных говоров посвятил доклад А. В. Приображенский. И. А. Кюршунова обобщила свой опыт сбора и обработки антропонимических материалов. Интересными были доклады преподавателей и студентов об экспедициях в районы Карелии (Е. Р. Гусева, Т. Е. Рутт, Т. А. Лисакова, О. А. Охупкина, Ю. В. Тихомирова, А. А. Попов и др.). Сотрудники сектора языкознания Института ЯЛИ КарНЦ РАН С. В. Ковалева и А. П. Родионова сосредоточили свое внимание на методах полевой лингвистики, применяемых во время собирания лексического и грамматического языкового материала. Материалы научно-практического семинара были опубликованы в сборнике «Методика полевых работ и архивное хранение фольклорных, этнографических и лингвистических материалов» (Петрозаводск, 2009).

В 2010 г. семинар посвящался 100-летию В. Я. Евсеева – исследователя, для которого экспедиционная работа была неотъемлемой частью его научных изысканий. Блок докладов вплотную касался его жизни и творчества, архивного наследия, маршрутов экспедиций (Ю. А. Савватеев, Н. А. Криничная, Н. А. Прушинская, В. П. Миронова, Н. В. Чикина, А. С. Лызлова).

О вышедшей монографии Т. Г. Ивановой «История русской фольклористики» и о значении фольклористики Карелии говорила в своем докладе С. М. Лойтер. Доклады постоянных



Участники семинара в конференц-зале Карельского научного центра



Фольклористы и этнографы на секции «Методика и практика полевых работ»

участников семинара были посвящены методикам сбора материалов (К. К. Логинов, И. И. Набокова); архивные материалы по биографиям сказителей проанализировала Л. И. Иванова, записи духовных стихов в диахроническом аспекте рассмотрел А. М. Петров. Д. Д. Абросимова продолжила изучение темы календарного фольклора Обонежья. А. В. Крюков изложил свои экспедиционные наблюдения над бытованием этнонима «вепся» у ижоры. Преподаватели КГПА Н. Г. Урванцева и Т. В. Лис продолжили

анализ материалов, собранных в студенческих экспедициях в Пудожском районе Карелии.

В 2011 г. было решено провести семинар по полевым работам уже в рамках конференции «Рябининские чтения-2011»*.

Каждый год к постоянным участникам семинара – сотрудникам музея-заповедника «Кижский» и Института ЯЛИ КарНЦ РАН – присоединяются молодые исследователи. Это и студенты вузов, и аспиранты, и начинающие научные сотрудни

фольклора ИРЛИ А. Н. Власов и ведущий научный сотрудник отдела древнерусской литературы ИРЛИ А. Г. Бобров). Впервые в семинаре этого года участвовала главный научный сотрудник отдела фольклора ИМЛИ РАН В. А. Бахтина.

Каждый год к постоянным участникам семинара – сотрудникам музея-заповедника «Кижский» и Института ЯЛИ КарНЦ РАН – присоединяются молодые исследователи. Это и студенты вузов, и аспиранты, и начинающие научные сотрудники. Уже не раз семинар становился местом, где состоялись первые в жизни научные доклады молодых дебютантов. Здесь можно попробовать себя в роли руководителя секционного заседания, представить свои первые научные результаты.

На семинаре можно показать свои экспедиционные видеосъемки, поделиться опытом использования фото- и видеотехники, стать участником мастер-класса по применению новых технических методов для сохранения научных архивов, получить консультацию специалистов.

Каждый год украшением семинара являются выступления фольклорных ансамблей: Фольклорного ансамбля студентов кафедры музыки финно-угорских народов ПГК им. А. К. Глазунова (рук. А. Войтович, Г. Карпова); Фольклорного театра ФГУК «Музей-заповедник «Кижский» (руководители Е. В. Герасимова, Ж. В. Гвоздева).

Материалы семинара опубликованы в выпусках «Кижского вестника» (Петрозаводск, 2009, № 12; 2011, № 13) и в уже упоминавшемся отдельном издании.

Через полтора месяца после семинара мы узнали скорбную весть о том, что не стало его почетного участника Валентины Александровны Бахтиной. Она была в Петрозаводске в течение трех дней, с 20 по 22 марта. Ничто не предвещало скорой смерти, Валентина Александровна была как обычно общительна, прекрасно выглядела, интересовалась работой

коллег. Перед семинаром она написала, что ей очень хочется приехать в Петрозаводск. С нашим городом она была знакома давно и испытывала к нему особенно теплые чувства. Валентина Александровна изучала фольклорное собрание в Научном архиве КарНЦ РАН, потом стала приезжать на конференции по народной культуре Русского Севера «Рябинские чтения». Ее приводил в восторг остров Кижский и выступления коллектива Фольклорно-этнографического театра музея-заповедника. Валентина Александровна всегда поддерживала петрозаводских коллег, оказывала консультативную помощь, неоднократно помогала в защитах диссертаций. Она была представителем классической школы русской фольклористики, обладала обширными и глубокими знаниями. Мы бесконечно благодарны за ее подвижнический труд по изучению и изданию творческого наследия Б. М. и Ю. М. Соколовых. В подготовленный ею двухтомник материалов экспедиции под их руководством 1926–1928 гг.* вошел большой материал о Заонежье и Пудожском крае. Издание содержит обширный научный аппарат, а комментарии В. А. Бахтиной, как сказала С. М. Лойтер в своем докладе на этом же семинаре, – это своего рода микроисследование каждого сюжета, каждой записи.

К петрозаводскому семинару В. А. Бахтина подготовила доклад, заинтересовавший всех участников: «Коллективная запись фольклорного текста (критическая текстология)» – о методах ручной записи и подходах к собирательской работе Б. М. и Ю. М. Соколовых, чье творческое наследие она изучала в течение многих лет.

К сожалению, это была последняя встреча с Валентиной Александровной, оказавшей нам честь своим участием в семинаре и так любившей Петрозаводск.

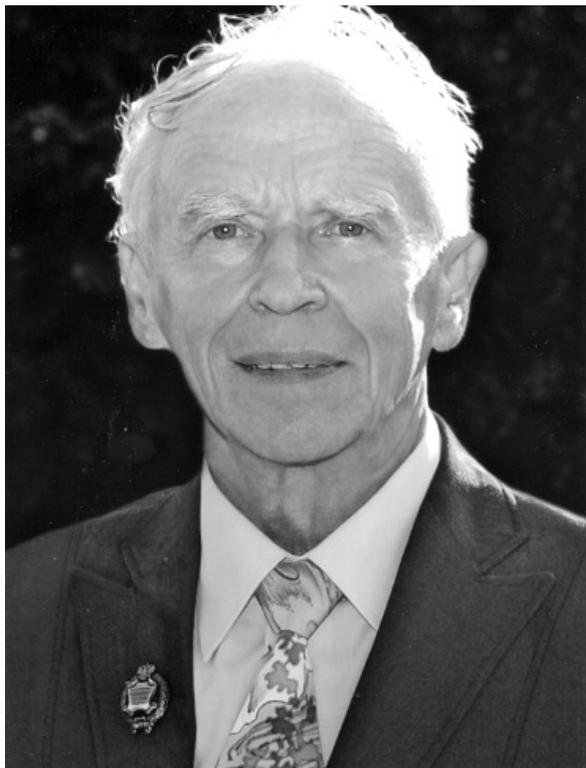
В. П. Кузнецова

* См. обзор докладов: Т. Г. Иванова. Размышляя о «Рябинских чтениях-2011» // Живая старина. 2012. № 2. С. 68–71; см. также впечатления участников «Рябинских чтений-2011»: «Антропологический форум» № 16, 2012. С. 283–321. <http://anthropologie.kunstkamera.ru/files/pdf/016online/readings2.pdf>.

* Неизданные материалы экспедиции Б. М. и Ю. М. Соколовых «По следам Рыбникова и Гильфердинга» / Вступит. статья, подготовка текстов, науч. комментарий, справочного аппарата В. А. Бахтиной. М., Наука, 2007. Т. 1; М., ИМЛИ РАН, 2011. Т. 2.

ЮБИЛЕИ И ДАТЫ

ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ РУССКОГО СЕВЕРА (к 75-летию со дня рождения Ю. И. Дюжева)



Юрий Иванович Дюжев – доктор филологических наук, главный научный сотрудник сектора литературы и фольклора Института языка, литературы и истории КарНЦ РАН, заслуженный деятель науки Республики Карелия, заслуженный работник культуры России, автор более 150 научных работ, из которых двадцать вышли отдельными изданиями в Москве, Петрозаводске, Архангельске.

После окончания аспирантуры и защиты кандидатской диссертации под руководством Ирины Петровны Лупановой в июне 1966 года Юрий Дюжев был принят на работу младшим научным сотрудником в сектор литературы Института

языка, литературы, истории РАН. С приходом в сектор литературы Юрия Ивановича Дюжева началось системное изучение литературы Европейского Севера.

Научные исследования Юрия Дюжева опираются на масштабный архивный поиск. Его монографиям как правило предшествует выход в свет библиографических указателей, пользующихся широкой популярностью в читательской среде. Это указатели «Революционное Беломорье в русской литературе Севера», «Великая Отечественная война на Севере в советской литературе», «Северная деревня в советской литературе», три издания словаря «Писатели Карелии».

В монографиях «Слушайте Революцию», «Память войны», «Живая душа народа», «Новизна традиции» автором проанализированы десятки художественных произведений – очерки, рассказы, повести, романы писателей-северян, создававшиеся на протяжении XX века.

В ноябре 1988 года, работая заместителем директора Института по научной работе, Юрий Иванович успешно защитил докторскую диссертацию в Институте мировой литературы имени А. М. Горького. Работа была посвящена изучению закономерностей развития русской литературы Европейского Севера. В ней впервые были сформулированы и обоснованы научные положения, которые определяют специфику и закономерности литературного региона.

Юрий Иванович написал практически обо всех писателях Русского Севера – Архангельской, Вологодской, Мурманской областей и Карелии. В своих монографиях он проанализировал становление русской прозы, поэзии, драматургии на Севере России во второй половине XX века. Это время в русской литературе Севера характеризовалось появлением ярких имен:

Федора Абрамова, Василия Белова, Дмитрия Балашова, Владимира Личутина, произведения которых привлекли к себе внимание читателей всего мира. Творческая среда, в которой вспыхнула плеяда литературных талантов, имела свои особенности. Ю. И. Дюжев одним из первых в литературоведении России ввел понятие литературного региона, которое уже прочно утвердилось в науке, и дал его характеристику как единого целого по функциональному, а не только по территориальному признаку. И действительно, Борис Шергин, Степан Писахов или Владимир Личутин, переехавшие в Москву, сохранили все качества писателей именно северного региона.

Книги Ю. И. Дюжева – это история литературы и в то же время высокоталантливая эссеистика. Писателям Русского Севера, безусловно, повезло, что их летописцем оказался Юрий Иванович, создавший ряд ярких и запоминающихся литературных портретов. Он ввел в литературный обиход многие, не известные широкой читательской аудитории произведения, например, обозначил направление писателей-маринистов Севера. У Ю. Дюжева вызвали несомненную симпатию сильные, одинокие герои, высокие идеалы, жесткое, мужское литературное письмо – черты творчества мурманчан 1980-х годов.

В очерке о Владимире Личутине Юрий Иванович поставил вопрос о противостоянии народа и власти. Анализируя знаковое произведение Личутина «Раскол» о первом глубинном духовном кризисе нации, Ю. И. Дюжев подытожил сказанное писателем: нельзя помыкать народом, душою человека, «любая революция противопоказана человечеству». Несомненным украшением всех книг Юрия Дюжева являются архивные документы, записи бесед с писателями из богатейшего личного архива.

В прозе писателей Русского Севера Ю. И. Дюжев увидел не только этническое отчаяние, но и позитивное мироощущение, обратил внимание на то, что эти писатели, как большие художники, оставляют человеку надежду, показывают смысл жизни в «удовлетворении требованием совести», в необходимости делать добро людям.

Знаменитый прозаик Василий Иванович Белов писал Юрию Ивановичу 17 декабря 2001 года: «Работы Ваши изредка попадают на глаза. И я всегда читаю с большим к Вам уважением. Они у Вас правдивы и точны».

В последних по времени монографиях «История русской поэзии и драматургии Европейского Севера первой половины XX века» 2002, «История русской прозы Европейского Севера первой половины XX века», «История русской

прозы Европейского Севера второй половины XX века» автор исследовал основной контекст художественного творчества северян. Историко-литературный и критический анализ проведен так, что логика развития образов соотносится с реалиями самой жизни, при этом широко использованы знания смежных дисциплин (истории, социологии, экономики) и свидетельства современников (дневники, записные книжки).

Юрий Дюжев много сил отдает изучению многонациональной литературы Карелии, является одним из авторов «Очерка истории советской литературы Карелии», автором монографий о писателях-карелах Ортье Степанове и Яакко Ругоеве, ответственным редактором нескольких выпусков сборника статей «Проблемы литературы Карелии и Финляндии». В течение восемнадцати лет Юрий Иванович являлся заведующим сектором литературы.

Под его руководством сектор литературы завершил работу и опубликовал в 1994–2000 годах «Историю литературы Карелии» в трех томах. В 2002 году коллективу авторов, внесших решающий вклад в создание труда (Эйно Карху, Элли Алто, Юрий Дюжев, Елена Маркова), была присуждена премия Республики Карелия в области культуры, искусства и литературы.

Юрий Иванович активно работает в области современной литературы: пишет рецензии и аналитические статьи, открывает новые книги и литературные имена. Актуальным проблемам литературы посвящены сборники его статей «Постижение правды», «Древо памяти», «Статьи о современной литературе». В разные годы еженедельник «Литературная Россия», журналы «Север» и «Молодая гвардия» назвали опубликованные на их страницах статьи юбиляра лучшими в ежегодных конкурсах.

Более тридцати лет Юрий Иванович – член Союза писателей России. Избирался членом Правления, членом редколлегии журнала «Север», много лет руководил секцией детской и юношеской литературы. Выступил составителем и одним из авторов литературно-художественного сборника для детей «Зорька», опубликовал повесть для детей «У Синь-озера», серию рассказов под рубрикой «Невыдуманные истории». За счет личных средств опубликовал документальные книги «Иван Дюжев. Письма с Карельского фронта. 1941–1942» и «Шуя, июнь 1929».

Благодаря общественному темпераменту Юрий Иванович всегда в гуще событий, активный участник научной, вузовской, литературной и гражданской жизни Республики Карелия. За-

рекомендовал себя отличным организатором и принципиальным руководителем в должности заместителя директора Института по научной работе, заведующего сектором литературы. Более пятнадцати лет Юрий Иванович входит в состав Президиума Карельского научного центра РАН.

Ю. И. Дюжев награжден медалью «За трудовое отличие», Почетными грамотами Президиума Верховного Совета и Совета Министров Карелии.

Энергию жизни Юрий Иванович черпает на родной Свири, в деревне Мятусово, куда каж-

дое лето уезжает с семьей во время отпуска. Деревня Мятусово, где похоронены мать, бабушка, дедушка, тети и дяди, – малая родина юбиляра. Здесь он рыбачит и отдыхает. Прикоснувшись к живительной энергии родной земли, он возвращается в Петрозаводск, чтобы включиться в дела, реализовать новые творческие и научные замыслы.

*Елена Сойни,
член Союза писателей России,
доктор филологических наук,
заслуженный работник культуры
Республики Карелия*

НИНА АЛЕКСАНДРОВНА ЛАВОНЕН (к 75-летию со дня рождения)



Нина Александровна Лавонен – известный карельский фольклорист, исследователь устного народного творчества карелов, прежде всего северных. Она талантливая ученица знаменитого российского ученого, специалиста по славянскому фольклору Б. Н. Путилова, автор более 60 научных публикаций, двух монографий и нескольких сборников. Практически все ее работы являются комплексными исследованиями, написанными на стыке фольклора и этнографии.

Родилась Нина Александровна 6 декабря 1937 года в ингерманландской деревне Воллосола (Волосово) Красносельского района Ленинградской области. Во время войны семья оказалась в оккупации и была вывезена в Финляндию. В 1944 году Лавонены вернулись в Советский Союз, но поселиться в родных местах им не разрешили, и началась пора скитаний. Сначала их отправили на Валдаи, откуда они попытались перебраться в Эстонию, затем

под Псков. Весной 1949 года семье разрешили переселиться в Петрозаводск, где она и обосновалась на Сулажгорском кирпичном заводе. Здесь Нина Александровна закончила школу, затем поступила на финское отделение историко-филологического факультета Петрозаводского государственного университета. Но через год это отделение закрыли, и она перевелась на русскую кафедру. После завершения учебы Нина Александровна пять лет проработала учителем в родной школе, затем три месяца – в Государственном архиве, а в декабре 1967 года она пришла на работу в кабинет звукозаписи Института ЯЛИ. В 1973 году ее переводят в сектор фольклора и этнографии.

В 1975 году Н. А. Лавонен успешно защищает кандидатскую диссертацию под руководством известного фольклориста Б. Н. Путилова. Ее оппонентами выступают эстонский и украинский исследователи Ю. Тедре и И. П. Березовский.

В 1977 году выходит в свет первая монография «Карельская народная загадка», посвященная интересному, но, пожалуй, самому «загадочному» фольклорному жанру. Ее выходу предшествовал напряженный этап полевых исследований, сбора материала в Фонограммархиве ИЯЛИ, Научном архиве КарНЦ и Фольклорном архиве Финского литературного общества. В результате удалось собрать тексты загадок, выявить не только современное состояние традиции, но и обнаружить интересные этнографические детали, важные моменты, которыми сопровождался процесс загадывания в прошлом. Нина Александровна объездила всю северную Карелию, побывала в Паданах, Кепе, Юшкозере, Войнице, Вокнаволоке, Кестеньге, Колвице, Княжьей Губе, Зеленоборском. Именно благодаря ей карельские загадки с их архаичной образной системой оказались зафиксированными на самом последнем этапе бытования. Уже в 90-е годы 20 века о традиции загадывания носители фольклора практически ничего не помнили. Во время многочисленных экспедиций был собран богатейший материал и по другим фольклорно-этнографическим вопросам, например, связанный со святочной обрядностью. В монографии Нины Александровны была освещена бытовая

и обрядовая роль загадки, функции и временные ограничения, подробно рассмотрена тематика карельских загадок, их связь с материальным и духовным миром носителей традиции. Автор проанализировала и художественную организацию этого малого жанра: метафоры, сравнения, эпитеты, аллитерацию, числительные и пространственно-временные отношения. Впервые в карельской фольклористике уделялось пристальное внимание мифологическому мировосприятию карелов, была рассмотрена мифическая страна Хуйколя и древнейший мифологический образ Хозяйки загадок.

В 1982 году был издан сборник «Карельские народные загадки», подготовленный Н. А. Лавонен. В него вошло 1600 произведений этого жанра, сгруппированных по тематическому принципу. Сборник снабжен вступительной статьей, содержательными комментариями и указателями.

В 1983 году издается комплексная монография «Карелы Карельской АССР». Главы, посвященные «Калевале», песням калевальской метрики и рифмованным песням, написаны Н. А. Лавонен.

В соавторстве с Э. С. Киуру в 1986 году выходит сборник «Рода нашего напевы: Избранные песни рунопевцев рода Перттуненов». В него включен репертуар десяти сказителей. Нина Александровна написала вступительную статью о них, подробные комментарии к каждому тексту и составила несколько указателей.

Следующая работа Н. А. Лавонен «Песенный фольклор кестеньгских карел» (1989 год) опровергла бытовавшее ранее мнение о бедности фольклорной традиции этого самого северного района Карелии. На протяжении десятилетия автор планомерно обследовала деревни Кестеньгского района: Кестеньга, Софпорог, Зашеек, Кананайсет, Коккосалми, Тухкалу и другие. В результате в сборник были включены эпические песни на самые разнообразные сюжеты, заговоры и заклинания, свадебные песни, свадебные и похоронные причитания, ёйги, детский фольклор. Книгу предваряет глубокое исследование о фольклорно-этнографическом наследии кестеньгских карелов, об их истории, быте, обычаях и верованиях. В завершение прилагаются подробные комментарии к текстам, указатели и нотация нескольких песенных текстов, сделанная Т. А. Коски.

Н. А. Лавонен много занималась пропагандой научных знаний, читала лекции, печаталась в различных периодических изданиях. Она вела курс по карельскому фольклору в Петрозавод-

ском государственном университете. Результатом этой работы стала хрестоматия «Карельский фольклор», вышедшая в 1992 году. В нее (вместе с переводами на русский язык и небольшими вступительными статьями к каждому жанру) включены руны, баллады, заговоры и заклинания, свадебные песни, причитания, ёйги, лирические песни, рифмованные песни и частушки, детский фольклор, пословицы, загадки, сказки, предания, легенды, былички, статья о карельских рунопевцах.

В 1993 году издается сборник «Карельские ёйги», подготовленный в соавторстве с А. С. Степановой и К. Х. Раутио. Н. А. Лавонен пишет предисловие к сборнику и статью, посвященную редкому жанру ёйг, их собиранию, бытованию, функциям и поэтическим особенностям, присущим этому жанру.

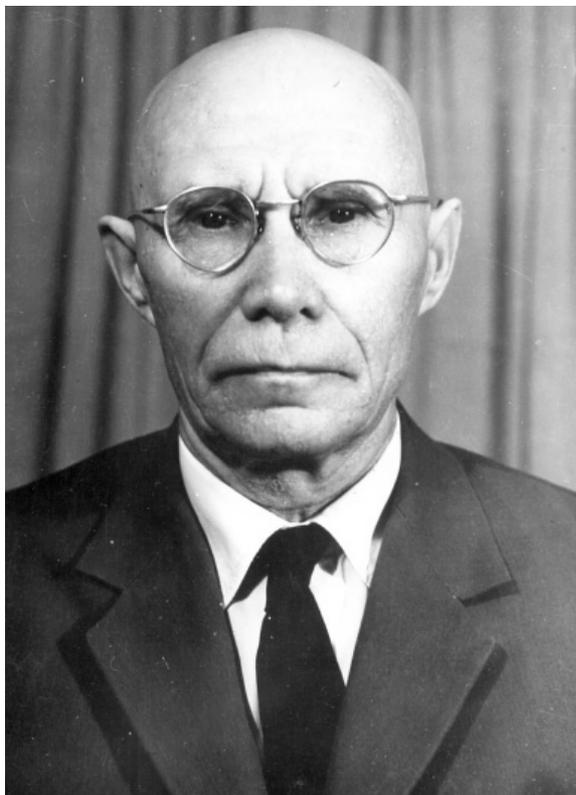
В 2000 году выходит в свет интереснейшая фольклорно-этнографическая монография Н. А. Лавонен «Стол в верованиях карелов». В ней исследуются быт, обряды и верования карелов, все, что было связано со столом, одним из самых сакральных предметов карельской избы. Автор впервые в карельской фольклористике рассматривает древнейший культ Тапио (в связи со «столом Тапио» *taapionpöytä*) и домашних духов, обряд медвежьего праздника и ритуальное мытьё избы (*suuripešu*), культовое значение скатерти и элементы застольного этикета.

В научной копилке Нины Александровны многочисленные статьи не только о карельском фольклоре и сказителях. Она писала и о родных ингерманландских народных песнях: эпических, свадебных и качельных, о пословицах Ингерманландии, о переводах «Кантелетар». Круг ее интересов и знаний очень широк. Ее статьи публиковались на немецком, английском, финском и эстонском языках. Руководство всегда характеризовало ее как «высококвалифицированного... исключительно добросовестного работника». К большому сожалению, в 1996 году «в связи с выходом на пенсию» она увольняется из ИЯЛИ и уезжает в Финляндию. За границей ею было подготовлено исследование о скопцах, но оно до сих пор не издано.

Н. А. Лавонен с 1991 года является членом Общества «Калевалы» и Общества финской литературы, награждена Почетной грамотой Президиума АН СССР, Почетной грамотой Совета Министров Карельской АССР. Мы от всей души поздравляем Нину Александровну с юбилеем, желаем здоровья и творческого долголетия.

Л. И. Иванова

ВИКТОР ИВАНОВИЧ МАШЕЗЕРСКИЙ (к 110-летию со дня рождения)



Среди ученых, внесших крупный вклад в становление и развитие гуманитарных исследований в Карелии, одно из самых почетных мест принадлежит видному историку Виктору Ивановичу Машезерскому (1902–1977), который в течение многих лет возглавлял коллектив Института языка, литературы и истории Карельского филиала Академии наук СССР (ныне Карельского научного центра РАН).

Родился Виктор Иванович 21 января 1902 г. в с. Ругозеро в семье учителя. Окончив Олонецкое начальное училище, он поступил в Петрозаводскую учительскую семинарию, но из-за тяжелого материального положения семьи вынужден был прервать учебу. Трудовой путь начал в 1918 г. служащим Олонецкого уездного военкомата, а с 1920 г. работал учителем в д. Кукшезеро и с. Видлица Олонецкого уезда. В 1923 г. поступил в Петроградский пединститут им. А. И. Герцена, по окончании

которого в 1927 г. приехал в Петрозаводск, где работал учителем и директором школы.

Научная деятельность В. И. Машезерского началась в середине 1930-х гг. Он принимает активное участие в подготовке сборника документов «В боях за Советскую Карелию» (1932). В 1934–1936 гг., являясь ответственным секретарем историко-партийной комиссии при Карельском обкоме ВКП(б), проводит большую работу по сбору материалов о революционном движении в крае. В 1936 г. его направляют на должность ученого секретаря в Карельский научно-исследовательский институт, а с декабря 1937 г. он становится директором этого института, получившего уже название Карельский научно-исследовательский институт культуры.

Это было трудное для первого научно-исследовательского учреждения республики время. В результате репрессий 1935–1936 гг. под флагом борьбы с «буржуазным национализмом» Институт понес невосполнимые потери, лишился своего первого директора – председателя СНК Карелии Э. А. Гюллинга, заместителя директора – известного этнографа С. А. Макарьева, а также опытных специалистов. В 1937–1938 гг. последовала новая волна репрессий. В результате кадровый и творческий потенциал Института оказался сильно подорванным.

Фактически перед новым директором встала задача возрождения научного учреждения. Руководство Института во главе с В. И. Машезерским искало и находило пути решения возникших проблем, что, в частности, видно на примере созданного вместо историко-революционной секции сектора истории. Сюда пришли молодые и перспективные исследователи В. И. Пегов из Карельского центрального архива и Р. Б. Мюллер, выпускница аспирантуры Ленинградского университета. Широко использовалась практика совместительства, для выполнения отдельных тем приглашались специалисты из Москвы и Ленинграда: А. И. Андреев, В. Г. Гейман, С. С. Гадзяцкий, С. М. Левидова. Пересматривалась тематика исследований, акцент делался на изучении средневековой истории края.

Научные интересы самого В. И. Машезерского в то время также сосредоточивались в области истории Карелии досоветского периода. Совместно с А. М. Линевским и В. И. Пеговым им была опубликована «Хрестоматия по истории Карелии с древнейших времен до конца XVII века». В 1940 г. в альманахе «Карелия» появилась его статья «Волнения крестьян в Заонежье в конце XVII в.» об антифеодальной борьбе карельских крестьян с заводчиками. Фактически В. И. Машезерский открыл так называемое «Первое Кижское восстание», позднее плодотворно изучавшееся исследователями Р. Б. Мюллер, Г. М. Коваленко и др.

Научно-организационная деятельность В. И. Машезерского подвела его к идее о необходимости развертывания в Карелии комплексных научных исследований. С образованием Карело-Финской ССР в 1940 г. он обратился в ЦК Компартии республики с предложением организовать в Петрозаводске научную базу в качестве подготовительной ступени к созданию филиала АН СССР. Однако война прервала работу по реализации этих планов.

В начале Великой Отечественной войны В. И. Машезерский принимал участие в эвакуации материальной базы, в частности, фольклорных и других коллекций Института в Сыктывкар. С 1942 по 1946 гг. находился в рядах Красной Армии, преподавал в военном училище.

После демобилизации Виктор Иванович вернулся в Петрозаводск и стал работать в должности ученого секретаря организованной Научной базы (филиала) АН СССР, идею создания которой и выдвигал. На этом посту он приложил много сил для развертывания и координации деятельности научных подразделений, организации экспедиций, проведения первых научных конференций, налаживания издания подготовленных материалов.

В 1950 г. В. И. Машезерский возвращается на пост директора Института ЯЛИ, оставаясь на нем следующие 15 лет. Именно в эти годы деятельность учреждения выходит на качественно новый уровень. Если до войны сотрудники его вели, главным образом, сбор фольклорных, языковедческих и архивных материалов, то теперь перешли и к осмыслению накопленных данных, разработке актуальных научных проблем. Удалось подготовить собственные квалифицированные кадры исследователей. Значительно расширилась тематика работ. В 1955–1956 гг. начались планомерные археологические и этнографические исследования, изучение истории и литературы Финляндии. Именно тогда в Институт пришли известные ныне ученые Я. А. Балагуров, Э. Г. Карху, Г. А. Панкрушев и др.

Несмотря на загруженность организационными делами, В. И. Машезерский целенаправленно занимался исследовательской деятельностью. Сферой его научных интересов становится история Карелии в 1917–1920 гг. Фактически он выступил первопроходцем в изучении сложной проблематики, предвосхитив наметившийся со второй половины 1950-х гг. в отечественной историографии переход от освещения событий Октябрьской революции и Гражданской войны в общероссийском масштабе к раскрытию темы на региональном уровне.

В 1949 г. он защитил кандидатскую диссертацию «Большевики Карелии в борьбе за установление и упрочение Советской власти. 1917–1918 гг.», позднее переработанную в монографию. В качестве научного редактора участвовал в подготовке сборников документов «Борьба трудящихся Карелии за установление и упрочение Советской власти» (1957) и «Карелия в период гражданской войны и иностранной интервенции (1918–1920)» (1964). До настоящего времени это самые крупные по объему публикации источников по советскому периоду истории Карелии. Причем авторы пошли на смелый для своего времени шаг, включив в состав сборников материалы не только из стана большевистской власти, но и из «вражеского лагеря».

Основной задачей, которую решали историки Института в 1950-х – начале 1960-х гг., была подготовка первого обобщающего труда по истории Карелии. В 1952 г. был подготовлен и размножен макет первого тома – с древнейших времен до середины 18 века. Работа получила ряд положительных отзывов, но подверглась разгрому со стороны партийных органов. Авторов обвиняли в серьезных политических ошибках. Было подсчитано, например, что в работе всего 5 ссылок на труды В. И. Ленина и 4 на труды И. В. Сталина, тогда как на труды историков и источники – 916. В этой ситуации Виктор Иванович как директор держался достойно, отказавшись признать «порочность книги в целом».

Авторов макета отстранили от дальнейшей работы. Но задача создания обобщающего труда оставалась актуальной, пришлось снова формировать авторский коллектив. Возглавить работу поручили В. И. Машезерскому и Я. А. Балагурову. Виктор Иванович руководил подготовкой части по советскому периоду. На сей раз дело удалось довести до конца, хотя не обошлось и без осложнений: рукопись «советского» 2-го тома пришлось «дорабатывать» в течение 7 лет. Одним из достоинств новой книги («Очерки истории Карелии», Т. 2. 1964) стало возвращение в историю имен многих людей,

исчезнувших в период репрессий, в том числе руководителей Карелии 1920–30-х гг. во главе с Э. А. Гюллингом.

В 1965 г. В. И. Машезерский покидает пост директора Института. До 1972 г. он работает заведующим сектором истории, а затем – старшим научным сотрудником. Последний период творческого пути Виктора Ивановича был посвящен разработке истории образования национальной автономии Карелии. Им написано несколько статей по этой теме и монография «Победа Великого Октября и образование Советской автономии Карелии» (1978). Монография, подготовленная на обширном источниковом материале, выделяется постановкой ряда проблем, сохраняющих научную актуальность. Так, в ней доказывается неоднородность карельского национального движения в эпоху революции и Гражданской войны в России. Два основных течения этого движения в книге охарактеризованы как буржуазное и революционно-демократическое, хотя им можно дать и другие условные названия, скажем, «ухтинское» и «олонецкое» или «профинляндское» и «пророссийское», поскольку разница между ними имела не только социально-классовые, но и этнокультурные, экономические и другие корни. Думается, что эта идея автора нуждается в дальнейшем развитии.

И еще один момент. При рассмотрении конкретных факторов, приведших к созданию Карельской Трудовой Коммуны, в финляндской и

отечественной постсоветской литературе основной упор делается на деятельности «Ухтинской республики» и возникшей в связи с этим необходимости выработать ей альтернативу в виде КТК. Однако В. И. Машезерский придавал большое значение фактору, логически вытекавшему из его концепции о революционно-демократическом направлении в карельском национальном движении. Речь идет о позиции Олонецкого уездисполкома, выступившего с инициативой созыва Всекарельского съезда трудящихся, которая санкционировалась Москвой постфактум. Представляется, что при дальнейшем изучении проблемы исследователям надо уделить особое внимание названным выше факторам.

Книга «Великий Октябрь и образование Советской автономии Карелии» (1978) стала научным завещанием В. И. Машезерского. Завершал ее он уже тяжело больным, и, как свидетельствует научный редактор этой монографии К. А. Морозов, «только неимоверное напряжение сил позволило Виктору Ивановичу перед самой кончиной завершить работу».

Виктор Иванович Машезерский всегда оставался подвижником научного поиска, отдававшим все свои силы и знания служению любимому делу – изучению истории и культуры родного карельского края.

В. Г. Макуров

КОНСТАНТИН КУЗЬМИЧ ЛОГИНОВ (к 60-летию со дня рождения)



Константин Кузьмич Логинов – кандидат исторических наук, старший научный сотрудник сектора этнологии. Родился 26 сентября 1952 г. в г. Вытегре Вологодской области. В 1979 окончил кафедру этнографии и антропологии исторического факультета Ленинградского государственного университета, в 1983 – аспирантуру при Институте этнографии АН СССР, защитил кандидатскую диссертацию на тему «Материальная культура русских Заонежья». С 1984 года – младший научный сотрудник сектора этносоциологии и этнографии Института языка, литературы и истории Карельского филиала Академии наук СССР (ныне Карельский научный центр РАН), с 1991 года – научный сотрудник, с 1994 – старший научный сотрудник. С 2006 по 2008 год исполнял обязанности заведующего сектором этнологии.

Основное направление научной деятельности – исследование традиционной культуры русского населения Карелии в контексте этнической истории народа, ее этнолокальных групповых особенностей и межэтнических контактов с финно-уграми. Подготовил и опубликовал около 160 научных работ, среди них 10 монографий, 5 из которых коллективные: «Традиционный жизненный цикл русских Водлозерья: обряды, обычаи и конфликты» (М., Петрозаводск, 2010), «История и культура Сямозерья» (Петрозаводск, 2008, в соавт.), «Этнолокальная группа русских Водлозерья» (М., 2006), «Русская свадьба Заонежья: конец XIX – начало XX в.» (Петрозаводск, 2001, в соавт.) и др.

Помимо научных изданий участвовал в подготовке научно-популярных работ, посвященных этнографии народов Карелии: «Костюм и праздник» (Петрозаводск, 2006, в соавт.) и «Слово и праздник» (Петрозаводск, 2008, в соавт.). Участвовал в выполнении проектов «Праздничная культура народов Карелии и сопредельных территорий» (Программа фундаментальных исследований Президиума РАН); «Карельская деревня: традиционные конфликты и генезис трансформации середины XVIII – XX вв.» (Программа фундаментальных исследований Отделения историко-филологических наук РАН). Активно занимается собирательской этнографической работой, им собран уникальный материал по культуре народов Карелии и сопредельных территорий. Методика сбора полевого материала представлена в учебно-методическом пособии «Сборник полевых этнографических опросников» (СПб., 2007). Награжден медалью «За трудовое отличие».

Библиография

1984

1. О роли прибалтийско-финских и славяно-русских архаизмов в истории этнографической группы заонежан // Этническая культура: динамика основных элементов. – М.: Наука, 1984. – С. 133–138.

2. Материальная культура русских Заонежья: (середина XIX – начало XX в.). Дис. канд. ист. наук. – Л., 1984. – Ч. 1. 240 л.; Ч. 2. 180 л.

1985

3. Мужская и женская одежда заонежан: (вторая половина XIX – начало XX в.) // Тез. годичной науч. сессии Института этнографии АН СССР. – Л.: Наука, 1985. – С. 24–25.

4. Население Заонежья как локальная группа // Там же. – С. 70–71.

1986

5. Являются ли «заонежане» локальной группой русских? // Совет. этнография. – 1986. – № 2. – С. 91–95.

6. Традиционное в социалистическом хозяйственно-бытовом укладе заонежской деревни в XI пятилетке // Актуальные проблемы развития общественных наук на современном этапе. – Петрозаводск: Изд-во ПГУ, 1986. – С. 40–41.

7. Материальная культура заонежан: (середина XIX – начало XX в.). Автореф. ... канд. ист. наук. Петрозаводск: КФ АН СССР, 1986. – 24 с.

8. Традиционная охота и орудия охотничьего промысла в Заонежье // Полевые исследования Института этнографии 1982 года. – Л.: Наука, 1986. – С. 46–58.

9. Трудовые обычаи, обряды, приметы и запреты русских Заонежья // Этнокультурные процессы в Карелии. Петрозаводск: КФ АН СССР, 1986. – С. 33–49.

1987

10. Прибалтийско-финские элементы материальной культуры русских Заонежья // XVII Всесоюзная финно-угорская конференция. Ижевск: Изд-во ИжевГУ, 1987. – С. 174–176.

1988

11. Обрядность русских Заонежья при строительстве нового дома / А. К. Байбурин, К. К. Логинов // Обряды и верования народов Карелии. – Петрозаводск: КФ АН СССР, 1988. – С. 26–37.

12. Девичья обрядность Заонежья // Там же. – С. 64–77.

1989

13. Аморфные и обособленные группы русских бывшей Олонецкой губернии // Европейский Север: история и современность. – Петрозаводск: Изд-во ПГУ, 1990. – С. 140–141.

1990

14. Из народной кухни русских Заонежья // Краевед Карелии. – Петрозаводск: Карелия, 1990. – С. 43–50.

1991

15. О традиционной обрядности и верованиях в современном Заонежье // Всесоюзная научно-практическая конференция «Фольклорные традиции и музеи». – Кижы, 1991. – С. 11–12.

1992

16. Предисловие / Ю. Ю. Сурхаско, К. К. Логинов // Заонежье – Петрозаводск: КНЦ РАН, 1992. – С. 3–5.

17. Интерьер крестьянской избы в обрядности и верованиях заонежан // Там же. – С. 98–117.

18. Формирование этнической территории и этнического состава группы заонежан / В. А. Агапитов, К. К. Логинов // Там же. – С. 61–76.

19. О жертвоприношениях в Заонежье // Обряды и верования народов Карелии. – Петрозаводск: КНЦ РАН, 1992. – С. 46–57.

20. Из исторического прошлого Заонежья / В. А. Агапитов, К. К. Логинов // Кижский вестник. Вып. 2. – Петрозаводск: Карелия, 1992. – С. 110–123.

1993

21. Материальная культура и производственно-бытовая магия русских Заонежья: (конец XIX – начало XX в.). – СПб.: Наука, 1993. – 157 с.

22. Семейные обряды и верования русских Заонежья. – Петрозаводск: КНЦ РАН, 1993. – 227 с.

23. Крестьянский «Мифологический устав» // Традиционная культура и проблемы комплексного изучения Карелии: материалы симпозиума 1993 г. – Петрозаводск: КНЦ РАН, 1993. – С. 125–127.

1994

24. Старообрядцы – скрытники Заонежья 1920–1930-х гг. // Выговская поморская пустынь и ее значение в истории русской культуры. – Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1994. – С. 49–51.

25. О трудовых праздниках в Заонежье // Кижский вестник. Вып. 4. – Петрозаводск: Карелия, 1994. – С. 48–57.

26. О свадебной «порче» в Заонежье // Обряды и верования народов Карелии. Петрозаводск: КНЦ РАН, 1994. – С. 144–154.

1995

27. Из истории грамотности в Заонежье // Традиции образования в Карелии: материалы респуб. научно-практ. конф., посвящ. Олонецкой духовной семинарии. – Петрозаводск: Карелия, 1995. – С. 46–47.

28. Этническая история и этнографические особенности русских Водлозерья // Природное и культурное наследие национального парка «Водлозерский». – Петрозаводск: КНЦ РАН, 1995. – С. 197–205.

1996

29. Материалы по сексуальному поведению русских Заонежья // Секс и эротика в русской традиционной культуре. – М.: Ладомир, 1996. – С. 444–454.

30. Заговоры от бессонницы русских Карелии // Мир детства и традиционная культура: Сб. науч. трудов и материалов. – М.: МГУ, 1997. – С. 11–117.

1997

31. Этнографическое описание села Суйсарь // Село Суйсарь: история, быт, культура / Гл. ред. Т.В. Краснопольская. – Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1997. – С. 92–156.

32. Феномен детской «порчи» в современной лечебной магии русских южной Карелии // Рябининские чтения-95: материалы междунауч. конф. по проблемам сохранения и актуализации народ. культуры Рус. Севера. – Петрозаводск: КНЦ РАН, 1997. – С. 407–413.

1999

33. Элементы «порно» и секс в традиционной культуре русских Карелии // Эрос и порнография в русской культуре. – М.: Ладомир, 1999. – С. 163–191.

34. «Русская идея» из Водлозерья // Родина. – 1999. – № 10. – С. 15–17.

35. О русском народном календаре в Заонежье // Научный юбилейный симпозиум «Пегрема». – Петрозаводск: Карелия, 1999. – С. 11–13.

36. Русский народный календарь и народный календарь Заонежья // Время и календарь в традиционной культуре: тез. докл. всерос. науч. конф. – СПб., 1999. – С. 89–91.

37. Еще раз о «вепском» прошлом Водлозерья // Вепсы: история, культура и межэтнические контакты. – Петрозаводск: КНЦ РАН, 1999. – С. 104–114.

38. Современная этнологическая школа в Институте ЯЛИ КНЦ РАН // Важнейшие результаты исследований Карельского научного центра Российской Академии наук. – Петрозаводск: КНЦ РАН, 1999. – С. 145–146.

39. Культура «карсикко» на Русском Севере / К. К. Логинов, Н. В. Червякова, В. И. Фомкин // Заповедное дело: научно-метод. записки комиссии по заповедному делу. – М., 1999. – Вып. 5. С. 135–137.

2000

40. Чем питались люди в древнем Заонежье? // Кижский вестник. Вып. 5. – Петрозаводск: Карелия, 2000. – С. 105–122.

41. «Знак дерева» в русской избе Обонежья // Живая старина. – 2000. № 2. – С. 8–9.

42. Обонежские ритуалы срубания дерева // Живая старина. – 2000. – № 3. – С. 11–13.

43. Введение / К. К. Логинов, О. А. Макарова, В. К. Антипин // Природное и историко-культурное наследие северо-запада России. Вып. 1. – Петрозаводск: КНЦ РАН, 2000. – С. 5–7.

44. Исследования и популяризация историко-культурного наследия в Водлозерском национальном парке / К. К. Логинов, Н. В. Червякова, В. И. Фомкин // Там же. – С. 160–167.

45. О динамике расселения саамов, вепсов, карел и русских на территории Карелии // Культурные коды двух тысячелетий: материалы междунауч. конф. 1–4 дек. 2000 г. Традиционные культуры: локализация и динамика. Вып. 1. Петрозаводск: КНЦ РАН, 2000. С. 42–46.

2001

46. Русская свадьба Заонежья: (конец XIX – начало XX) / В. П. Кузнецова, К. К. Логинов. – Петрозаводск: КНЦ РАН, 2001. – 328 с.

47. Новейшая история Юккогубы, поведанная ее жителями // Село Юккогуба и ее округа. – Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2001. – С. 61–70.

48. Крестьянская усадьба / В. П. Орфинский, И. Е. Гришина, К. К. Логинов // Там же. – С. 127–176.

49. Будни и праздники / И. Б. Семакова, К. К. Логинов, Т. В. Краснопольская // Там же. – С. 177–258.

50. Этническая история Восточного Обонежья и «этнографического» Заонежья // Очерки исторической географии: северо-запад России. Славяне и финны / Под ред. А. С. Герда и Г. С. Лебедева. – СПб.: СПбГУ, 2001. – С. 360–369.

51. Основные и «малые» этнографические зоны Заонежья XIX – начала XX века // Там же. – С. 370–374.

52. «Вепский след» в традиционной культуре русских северо-запада Вытегорского района // Вытегра 2: краевед. альманах. Вып. 2. – Вологда, 2001. – С. 136–142.

53. Колдуны Заонежья: истинные и мнимые // Рябининские чтения-99. Мастер и народная художественная традиция Русского Севера. – Петрозаводск: КНЦ РАН, 2001. – С. 176–187.

54. Введение / В. К. Антипин, К. К. Логинов // Национальный парк «Водлозерский»: при-

родное разнообразие и культурное наследие. – Петрозаводск: КНЦ РАН, 2001. – С. 5–6.

55. Основные компоненты традиционно-бытовой культуры русских Водлозерья // Там же. – С. 267–273.

56. Лес и «лесная сила» в современных поверьях некоторых групп русских Карелии // Человек и окружающая среда Баренц-региона в начале XXI века: материалы междунар. конф. 6–11 авг. 2001 г. – Петрозаводск: КНЦ РАН, 2001. – С. 83–90.

57. A propos du rituel d'abattage d'un arbre chez les Vodlozery (les croyances russes sur la mort) in: La mort et ses representations (monde slave et Europe du Nord) // Cahiers slaves. N° 3. – Paris: Sorbonne, 2001. – S. 77–106.

58. Профессиональный праздник охотника и охотоведа / К. К. Логинов, Е. М. Холодов // Охота и охотничье хозяйство. – 2001. – № 10. – С. 27–28.

2002

59. «Лес и «лесная сила» в современных представлениях русских Карелии // Живая старина. – 2002. – № 4. – С. 2–3.

60. Юго Юльевич Сурхаско // Там же. – С. 49.

2003

61. Похоронный обряд и кладбище поморского села Гридино // Живая старина. – 2003 – № 2. – С. 2–5.

62. Forest in the traditional beliefs of the Russian population of Vodlozero land // Biodiversity and conservation of boreal nature / proceedings of the 10 years anniversary symposium of the Nature Reserve Friendship. – Vantaa, 2003. – С. 315–317.

63. Деревня Водла и ее округа: межэтнические связи и архаические элементы // Евгений Владимирович Гиппиус: к 100-летию со дня рождения. Материалы всерос. науч. конф., 1–3 нояб. 2003 г. – Петрозаводск: КНЦ РАН, 2003. – С. 40–50.

64. Специфика молодежных гаданий Заонежья в контексте русского народного календаря // Локальные традиции в народной культуре Русского Севера: (материалы IV междунар. науч. конф. «Рябининские чтения-2003»). – Петрозаводск: КНЦ РАН, 2003. – С. 195–198.

2004

65. Петербургско-московский патронаж и современная этнологическая школа в Карелии // Мавродинские чтения-2004. Актуальные проблемы историографии и исторической науки: (материалы юбилейной конф., посвящ. 70-летию ист. фак. Петербург. гос. ун-та). – СПб.: СПбГУ, 2004. – С. 284–288.

66. Магические свойства деревьев и кустарников в поверьях народов Карелии // Природное и историко-культурное наследие Северной Фенноскандии. – Петрозаводск: КНЦ РАН, 2004. – С. 178–181.

67. О современных «магических специалистах» Карелии и Архангельской области // Живая старина. – 2004. – № 2. – С. 13–16.

68. Деревья и кустарники в представлениях народов Карелии // Живая старина. – 2004. № 3. – С. 2–6.

69. Русский народный календарь Заонежья // Кижский вестник. Вып. 9. – Петрозаводск: Карелия, 2004. – С. 76–104.

70. Опросный лист «Традиционная повседневная и праздничная пища русских южной Карелии» // Актуальные проблемы полевой фольклористики. Вып. 3. – М.: РГГУ, 2004. – С. 110–117.

71. Народное целительство и колдовство у «онежан» и «калганов»: традиции и современность // Народные культуры Русского Севера: материалы российско-фин. симпозиума (Архангельск, 20–21 нояб. 2003 г.). Архангельск: ПоморГУ, 2004. – Вып. 2. – С. 204–213.

72. К проблеме этнокультурного развития Среднего Поилексья и Северного Приилексья // Комплексное собирание, систематика, экспериментальная текстология. Вып. 2. Материалы VI междунар. шк. мол. фольклориста 22–24 нояб. 2003 г.). – Архангельск: ПоморГУ, 2004. – С. 61–70.

2005

73. Введение // Структура и динамика природных экосистем и формирование народной культуры на территории национального парка «Водлозерский». – Петрозаводск: КНЦ РАН, 2005. – С. 3–5.

74. Система традиционных праздников Водлозерья // Там же. – С. 106–112.

75. Из народной медицины Поилексья // Там же. – С. 112–116.

76. Заонежье в истории и культуре Карелии и России // Кижский вестник. Вып. 10. – Петрозаводск: Карелия, 2005. – С. 55–63.

77. К вопросу об этнолокальных и локальных группах русских Карелии // Межкультурные взаимодействия в полиэтничном пространстве пограничного региона. – Петрозаводск: КНЦ РАН, 2005. – С. 62–68.

2006

78. Этнолокальная группа русских Водлозерья. – М.: Наука, 2006. – 276 с.

79. Престольные и часовенные праздники и игрища в Водлозерье // Водлозерские чтения:

Естественно-науч. и гуманитар. основы природоохран., науч. и просветител. деят-ти на охраняемых природ. территориях Рус. Севера. – Петрозаводск: КНЦ РАН, 2006. – С. 175–179.

80. Святочные гадания на Водлозере // Там же. – С. 180–186.

81. Николай Клюев и традиционные мистические практики России конца XIX – начала XX вв. // XXI век на пути к Клюеву: материалы междунар. конф. «Олонецкие страницы жизни и творчества Николая Клюева и проблемы этнопоэтики», посвящ. 120-летию со дня рожд. великого рус. поэта Николая Клюева, 21–25 сент. 2004 г. – Петрозаводск: КНЦ РАН, 2006. – С. 19–30.

82. Обрядность семейных кризисов в Водлозерье: современный гендерный аспект // Историко-культурные традиции малых городов Русского Севера. – Петрозаводск: КНЦ РАН, 2006. – С. 224–235.

83. Традиционная одежда народов Карелии: (краткий исторический очерк) // Костюм и праздник. – Петрозаводск: Карелия, 2006. – С. 13–38.

84. Календарь домашних ремесел и подсобных промыслов Водлозерья // Историко-культурное наследие Русского Севера: проблемы изучения, сохранения, использования. – Каргополь, 2006. – С. 144–154.

85. Сакральные острова озера Водлозера // Поморские чтения по семиотике культуры. Вып. 2. Сакральная география и традиционные этнокультурные ландшафты народов Европейского Севера. – Архангельск: ПоморГУ, 2006. – С. 205–213.

86. Из архива Л. М. Ивлевой: (Л. М. Ивлева. Представления восточных славян о нечистой силе и контактах с ней. М.: Индрик, 2004) // Живая старина. – 2006. – № 4. – С. 55–56.

87. От научного редактора // Шуя, июнь 1929. Быт северно-русской деревни / сост. Ю. И. Дюжев. – Петрозаводск: КНЦ РАН, 2006. – С. 4–6.

88. Традиции рыболовства у сямозерцев // Сямозерские чтения (доклады, материалы). – Петрозаводск: ИД «Карелия», 2006. – С. 55–60.

89. Сямозерье как территория расселения этнолокальной группы сямозерских карел // Там же. – С. 61–64.

2007

90. Сборник полевых этнографических опросников: учебно-метод. пособие. – СПб.: СПбГУ, 2007. – 69 с.

91. Русские Водлозерья как этнолокальная группа // Вестн. Санкт-Петербург. ун-та. Серия 2. История. Вып. 4. – СПб.: СПбГУ, 2007. – С. 256–261.

92. «Рекрутская» обрядность в Водлозерье // Рябининские чтения-2007: материалы V науч. конф. по изуч. народ. культуры Рус. Севера. – Петрозаводск, 2007. – С. 75–77.

93. Этнография детства на Водлозере // Этническая музыка и XXI век: материалы всерос. науч. конф. 25–28 окт. 2007 г. – Петрозаводск, 2007. – С. 15–23.

94. Из заговорной традиции деревни Нючезеро // Народные культуры Европейского Севера: материалы респуб. науч. конф. (Архангельск, 15–17 окт. 2007 г.). – Архангельск: ПоморГУ, 2007. – С. 108–117.

2008

95. Историко-этнографические особенности поморского села Гридино: прошлое и настоящее // Скальные ландшафты Карельского побережья моря: природные особенности, хозяйственное освоение, меры по сохранению. – Петрозаводск: КНЦ РАН, 2008. – С. 168–190.

96. Материальная культура и производственно-бытовая магия // История и культура Сямозерья. – Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2008. – С. 153–246.

97. Родильная обрядность и способы лечения младенческих недугов // Там же. – С. 247–254.

98. Похоронно-поминальная обрядность // Там же. – С. 291–300.

99. Православно-народное целительство в Обонежье // Православие в Карелии: материалы III регион. науч. конф., посвящ. 780-летию крещения карелов (16–17 окт. 2007 г., г. Петрозаводск). – Петрозаводск, 2008. – С. 48–57.

100. Историческая деревня Гость-наволок на Водлозере // Сельская Россия: Прошлое и настоящее. Материалы XI всерос. научно-практ. конф. (Респуб. Карелия, Водлозерский национальный парк 4–9 авг. 2008 г.). – М.: Энциклопедия рос. деревень, 2008. – С. 332–335.

101. Рюрик Петрович Лонин и наша экспедиция полевого сезона 1977 года // Историко-культурное наследие вепсов и роль музея в жизни местного сообщества. – Петрозаводск: КНЦ РАН, 2008. – С. 217–223.

102. Народный календарь и праздники народов Карелии // Слово и праздник. – Петрозаводск: Карелия, 2008. – С. 15–60.

103. Этнолокальные группы Карелии // Историческая этнография. Вып. 3. Малые этнические и этнографические группы. – СПб., 2008. – С. 256–268.

104. Этнографические зоны и этнические границы в Карелии // Границы и контактные зоны в истории и культуре Карелии и сопредельных регионов. – Петрозаводск: КНЦ РАН, 2008. – С. 90–103.

105. Групповая идентификация «этнолокальных» групп Карелии // Восток и Запад: этническая идентичность и традиционное музыкальное наследие как диалог цивилизаций и культур: сб. ст. по материалам междунар. науч. конгресса / Гл. ред. Е. М. Шишкина. – Астрахань, 2008. – С. 11–18.

106. Некоторые выводы из работы с носителями «магических знаний» в экспедициях 1977–2008 годов // PAX SONORIS: история и современность (памяти М. А. Этингера). Вып. III. – Астрахань, 2008. – С. 105–107.

107. Традиционные целительские практики Обонежья, которые презрел Клюев // Я певец славянский Клюев...: (Альманах). – Петрозаводск, 2008. – С. 24–27.

2009

108. Магические практики в Водлинской сельской администрации Пудожского района Карелии и заговоры знахарки Исаевой // Традиционная культура. – 2009. – № 1. – С. 51–101.

109. Названия и самоназвания субэтнических групп и феномен «субэтнической мимики» в Карелии и на некоторых сопредельных территориях // Вестн. Санкт-Петербург. гос. ун-та. Серия 2. История. Вып. 4. – СПб.: СПбГУ, 2009. – С. 59–63.

110. Роза Федоровна Никольская (Тароева) (12.09.1927 – 20.03.2009) // Этнографическое обозрение. – 2009. – № 5. – С. 170–174.

111. Моление об Армагедоне // Живая старина. – 2009. – № 1. – С. 20–22.

112. «Новая» знахарка А. И. Родькина из села Ошта Вытегорского района Вологодской области // Методика полевых работ и архивное хранение фольклорных, этнографических и лингвистических материалов: материалы научно-практ. семинара. – Петрозаводск: КНЦ РАН, 2009. – С. 74–84.

113. Субэтнические / этнолокальные и этноконфессиональные группы русских, карел и вепсов в Карелии: карта-схема расселения второй половины XIX – начала XX в. // Этноконфессиональная карта Ленинградской области и сопредельных территорий-2. III Шёгреновские чтения. – СПб., 2009. – С. 5–10.

114. Некоторые наблюдения над сохранением этнографической, фольклорной и музыкальной традиций в деревнях Карелии и сопредельных областей (1997–2009 гг.) / Ю. И. Ковыршина, К. К. Логинов // PAX SONORIS: история и современность. Вып. III (V). – Астрахань, 2009. – С. 200–205.

115. Современное знахарство на территории Оштинской сельской администрации // PAX

SONORIS: история и современность. Вып. II (IV). – Астрахань, 2009. – С. 208–214.

116. Субэтнические и этнолокальные группы: (к вопросу дефиниций) // Мавродинские чтения-2008. Петербургская историческая школа и российская историческая наука: дискуссионные вопросы истории, историографии, источниковедения. Материалы всерос. науч. конф. под ред. д. и. н. Дворниченко А. Ю. – СПб.: СПбГУ, 2009. – С. 579–582.

2010

117. Традиционный жизненный цикл русских Водлозерья: обычаи, обряды и конфликты. М.; Петрозаводск, 2010. – 413 с.

118. Исследователь, хранитель, организатор: (к юбилею Валентины Павловны Кузнецовой) // Традиционная культура. – 2010. – № 1. – С. 125–127.

119. Ильинский погост глазами этнографа // Ильинский Водлозерский погост: материалы науч. конф. «Водлозерские чтения: Ильинский погост (6–10 авг. 2007 г.). – Петрозаводск: Петргу, 2010. – С. 125–136.

120. Конфликты и конфликтные ситуации традиционного жизненного цикла русских Водлозерья на отрезке жизни от рождения до свадьбы // Материалы науч. конф. «Современные методы сохранения и изучения культур народов Карелии (г. Петрозаводск, 15–16 марта 2010 г.). – Петрозаводск, 2010. – С. 17–30.

121. Р. Ф. Никольская и становление этнографической науки в Карелии / И. Ю. Винокурова, К. К. Логинов // Труды Карельского научного центра РАН. Серия «Гуманитарные исследования». Вып. 1. – Петрозаводск, 2010. – С. 132–139.

122. Ответ участника II Всероссийского конгресса фольклористов Логинова К. К. на вопросы «Живой старины» // Живая старина. – 2010. – № 2. – С. 11–12.

123. Рыболовство села Нюхча // «Уведи меня дорога»: сб., посвящ. 75-летию со дня рожд. Т. А. Бернштам. – СПб., 2010. – С. 52–67.

124. Великие тиэдяяд Сямозерья на закате древней традиции // «Калевала» в контексте региональной и мировой культуры: материалы междунар. науч. конф., посвящ. 160-летию полн. изд. «Калевалы». – Петрозаводск: КНЦ РАН, 2010. – С. 277–278.

125. Николай Клюев и ведуны русской крестьянской традиции // «Я певец славянский Клюев»: всерос. праздник поэзии Н. Клюева. – Петрозаводск, 2010. – С. 42–45.

126. Из современного опыта работы по поиску этнографических данных, касающихся традиционной культуры локальных групп // Ис-

точники и методы изучения малых групп в этнографии: сб. ст. к 60-летию В. А. Козьмина / Под ред. И. И. Верняева и А. Г. Новожилова. Историческая этнография. Вып. IV. – СПб., 2010. – С. 147–154.

2011

127. Авторские учебные программы по этнологии восточных славян и финно-угров // Этномузыкология: автор. учеб. программы преподавателей кафедры «Музыка финно-угорских народов» Петрозавод. гос. консерватории им. А. К. Глазунова / Ред.-сост. Р. Ф. Зеленский. – Петрозаводск, 2011. – С. 7–68.

128. Святочные периоды в календаре народов Карелии // Фольклор и этнография: к 90-летию со дня рожд. К. В. Чистова. – СПб., 2011. – С. 88–92.

129. Старинная деревня Нюхчезеро // Особо охраняемые природные территории в XXI веке: современное состояние и перспективы развития. Материалы всерос. научно-практ. конф. с междунар. участием, посвящ. 20-летнему юбилею Национального парка «Водлозерский», 1–3 июня 2011 г. – Петрозаводск, 2011. – С. 383–387.

130. «Околоцерковные» способы диагностики и самолечения слеза и «оговора» у православного населения современной России // IX Конгресс этнографов и антропологов России: тез. докл. Петрозаводск 4–8 июля. – Петрозаводск: КНЦ РАН, 2011. – С. 319.

131. Основные компоненты святочной обрядности у народов Карелии // Там же. – С. 337.

132. Былички Обонежья: (опыт включенного наблюдения) // От конгресса к конгрессу: материалы Второго всерос. конгресса фольклористов. Сб. докл. Т. 2. / Сост. В. Е. Добровольская, А. Б. Ипполитова, А. С. Каргин. – М., 2011. – С. 115–121.

133. Этнографические сведения о вепсах в Научном архиве Карельского научного центра РАН // Вепсы и их культурное наследие: связь времен (памяти Р. П. Лониной). Материалы первой межрегион. краевед. конф. «Лонинские чтения», с. Шелтозеро, 22 сент. 2010 г. – Петрозаводск: КНЦ РАН, 2011. – С. 120–163.

134. Несколько слов об особенностях экспедиционной работы в России в полевом сезоне 2010 года // PAX SONORIS: Научный журнал. – Вып. IV–V. / Гл. ред. Е. М. Шишкина. – Астрахань, 2011. – С. 220–223.

2012

135. Несколько замечаний по поводу этнической идентичности коренных народов Карелии // Этническая культура и XXI век: материалы научно-практ. конф. (15–16 апр. 2011 г.). – Петрозаводск, 2012. – С. 8–13.

136. Из истории деревни Водлы и ее округа // Монахова А. С. Дивная Водла-земля. Ч. II. – М.: Вариант, 2012. С. 687–689.

137. Рецензия на работу А. С. Монаховой «Дивная Водла-земля» // Там же. – С. 722–723.

РЕЦЕНЗИИ И БИБЛИОГРАФИЯ

Голубев А. А. «Мурманская железная дорога: история строительства. (1894–1917 гг.)». СПб.: Петербургский гос. ун-т путей сообщения, 2011. 250 с.

Становление и развитие железнодорожного транспорта в России было общегосударственным делом. Железнодорожные линии способствовали развитию экономики как в центре, так и на окраинах обширной державы. Автор рецензируемого исследования А. А. Голубев обратился к проблеме строительства магистрали, соединившей столицу Российской империи с Мурманским побережьем Баренцева моря. В монографии убедительно и аргументированно доказана необходимость безотлагательного сооружения Мурманской железной дороги в трудное для России время Первой мировой войны. Справедливо отмечено, что реализация данного крупного проекта была обусловлена потребностями укрепления внешнеполитических и внешнеэкономических связей со странами Антанты и решения военно-стратегических задач в рамках союзнических обязательств России, а также назревшими проблемами социально-экономического развития Русского Севера.

Проведенный А. А. Голубевым историографический анализ подтверждает, что избранная автором тема до сих пор оставалась недостаточно изученной, в особенности с учетом современных тенденций в отечественной исторической науке. Обращение к теме развития железнодорожного транспорта Северо-Западного региона в начале XX в. на основе новых научных подходов является актуальным и оправданным.

Монографию отличает широкий круг использованных источников. Автор ввел в научный оборот материалы 22 фондов Российского государственного исторического архива и Национального архива Республики Карелия, активно использовал опубликованные материалы по истории Северо-Западного региона и железнодорожного транспорта России.

В исследовании рассмотрены основные этапы подготовительных работ и проектирования железнодорожной магистрали от Санкт-Петербурга к побережью Баренцева моря в период с 70-х годов XIX века до начала строительства в 1913 г. При этом А. А. Голубевым приведен сравнительный анализ выдвигавшихся проектов с учетом их целесообразности и экономической эффективности. Результаты многолетних научных и проектных изысканий широко применялись в практике строительства северной магистрали. Документальный материал подчеркивает преемственность в развитии технической мысли в области железнодорожного строительства.

В книге последовательно характеризуется ход строительства магистрали, показаны связанные с ним экономические и финансовые проблемы и пути их разрешения правительством, частными предпринимателями и местными органами власти. В современных условиях ведутся широкие дискуссии о роли частных компаний в транспортном строительстве. На конкретном материале автор обосновывает вывод о том, что в развитии транспорта на рубеже XIX–XX вв. государство активно использовало возможности частного капитала. Скоординированные совместные усилия частных обществ и правительства обеспечивали высокие темпы строительства железных дорог в стране.

Строительство и эксплуатацию головного участка Мурманской магистрали – Олонецкой железной дороги – правительство передало акционерному обществу. Под контролем государственных органов и в соответствии с законами Российской империи был выработан основной нормативный документ – Устав Общества Олонецкой железной дороги, регламентировавший финансовую и хозяйственную деятельность компании. На основе этого документа государство обладало правом контроля над всеми действиями фирмы. Правительство, заинтересованное в успешной деятельности общест-

ва, предоставило ему ряд льгот, позволявших в короткие сроки и с оптимальными затратами построить железную дорогу, которая была призвана связать российскую столицу с центром Олонецкой губернии.

Поскольку в железнодорожном деле частный капитал находился под контролем государственных органов, правительственные учреждения оказывали ему всемерную помощь. Деятельность Акционерного общества Олонецкой железной дороги – наиболее показательный пример взаимодействия частной компании и государства, результатом которого стал ввод в строй 264-верстной магистрали Петроград –Петрозаводск.

Акционерное общество Олонецкой железной дороги оказало большое влияние на развитие экономической инфраструктуры Северо-Запада. Множество средних и мелких частных предприятий, созданных под эгидой этого Общества, не только ускорили строительство железной дороги, но и стали играть важную роль в экономическом развитии Петербургской, Олонецкой и Архангельской губерний.

Сегодня, когда важное значение приобрели вопросы развития местного самоуправления, также представляется актуальным обращение автора к теме участия земских органов в решении проблем проектирования и строительства Мурманской железной дороги. А. А. Голубев освещает роль земства в организации и деятельности акционерного Общества Олонецкой железной дороги, в обеспечении стройки необходимыми материалами, в снабжении рабочих и служащих продуктами, одеждой и обувью, в предоставлении медицинской помощи, устройстве жилья. Земские органы проводили работу по переселению хозяев тех земель, которые отчуждались для нужд строительства. На плечи земств легли также проблемы разрешения конфликтов, возникавших между местным населением и строительными организациями. Совместно с управлением стройки земцы занимались вербовкой местного населения на работы по прокладке железной дороги.

В отличие от Олонецкой железной дороги строительство основной части Мурманской магистрали практически полностью осуществлялось силами и на средства казны. Строительное управление Мурманской железной дороги стало крупнейшим в рассматриваемый период государственным предприятием в данном регионе, стимулировавшим создание разветвленной сети средних и мелких лесоперерабатывающих, горнодобывающих и транспортных предприятий различных форм собственности. В период стройки заметно активизировалось судоходство на Онежском озере и Белом море.

Всеми имеющимися средствами (политическими, дипломатическими, экономическими) Российское государство стремилось привлечь союзников (Англия, Франция, США, Канада) к сотрудничеству по возведению Мурманской железной дороги как транспортной артерии международного значения. Союзники оказали значительную помощь в финансовом обеспечении стройки (выделение целевого кредита на возведение дороги), снабжении ее материалами и механизмами. Правда, следует отметить, что деятельность союзников не всегда была плодотворной. Примером этому может служить неудачный подряд группы английских предпринимателей во главе с лордом Остином Френчем (братом известного фельдмаршала) по прокладке завершающего участка в 120 верст на линии Кандалакша – Кола (С. 104–105).

В ходе строительства Мурманской магистрали возникали большие проблемы, вызванные как общей обстановкой военного времени, так и специфическими природными условиями трассы (суровый климат Приполярья и Заполярья, исключительно сложный рельеф местности). Поскольку большая часть трудоспособного мужского населения Российской империи была мобилизована на фронт и на работы по выполнению военных заказов, исключительно острым был вопрос обеспечения строительства рабочими и специалистами. Лишь благодаря активной деятельности управления стройки и помощи правительства этот вопрос в целом удалось успешно решить. В обстоятельствах военного времени значительные трудности возникали с закупкой и доставкой на линию материалов, механизмов и продуктов питания.

Строители трассы столкнулись с множеством водных преград, скальных гряд и каменных полей ледникового происхождения, преодоление которых потребовало напряженных инженерных поисков и огромных трудовых затрат. В связи с тем, что большая часть работ в Приполярье и Заполярье проводилась зимой 1915 года, на их ход повлияли сильные морозы, снежные заносы и полярная ночь.

Большое внимание в работе А. А. Голубева отводится усилиям властей по решению социальных проблем строителей и эксплуатационников Мурманской железной дороги. В период строительства магистрали в Олонецкой губернии и на Кольском полуострове проводилась широкая работа по возведению новых поселков вдоль железнодорожной линии. Новые населенные пункты строились с учетом сложных климатических условий региона и обеспечивались необходимыми для проживания людей

строениями: домами, банями, магазинами, прачечными, складами, больницами и амбулаториями, аптеками, мастерскими и т. д. Для удобства пассажиров на станциях возводились вокзалы, багажные склады, буфеты. С целью обеспечения нормальных условий работы эксплуатационников сооружались столовые для локомотивных и кондукторских бригад. Проявлялась определенная забота о досуге жителей новых поселков – на некоторых станциях были возведены клубы железнодорожников. Первыми жителями этих поселков стали железнодорожные рабочие и служащие, а также бывшие хозяева отчужденных земель, переселенцы из оккупированных немецкими и австро-венгерскими войсками территорий и семьи, выехавшие в эти районы в связи со Столыпинской аграрной реформой.

В качестве достоинства монографии следует отметить и присутствие персональных характеристик личностей, внесших весомый вклад в сооружение великой северной магистрали. Материал, по крупицам собранный автором из различных источников, позволил показать участие многих людей в разработке и реализации масштабного транспортного проекта – от высокопоставленных сановников до специалистов-практиков. Среди них видные государственные деятели С. Ю. Витте, М. И. Хилков, С. В. Рухлов, А. Ф. Трепов, М. И. Терещенко; представители местных органов власти, земского и муниципального самоуправления – М. Д. Демидов, Т. А. Липинский, Н. А. Ратьков, В. В. Савельев, В. Д. Лысанов; талантливые ученые и инженеры – Н. А. Белелюбский, А. И. Браиловский, В. А. Важеевский, Г. К. Гониг, В. В. Горячковский, П. Е. Соловьев, Д. Д. Бизюкин; российские и иностранные предприниматели – В. А. Нагородский, А. И. Каминка, Я. М. Гольденов, В. И. Вольтман, И. Х. Гринберг, К. Бояр, Л. Люшер. Автор справедливо подчеркивает, что именно благодаря самоотверженным усилиям сотен и тысяч людей, и в первую очередь рабочих и служащих строительства самой северной в мире железной дороги, преодолевались многочисленные трудности.

Таковы, на наш взгляд, основные достоинства рецензируемого монографического исследования. Нет никакого сомнения в том, что автор успешно справился со стоявшими перед ним задачами. Он правомерно отмечает, что сооружение Мурманской магистрали, давшей значительный импульс социально-экономическому развитию Русского Севера, имело широкое общественное значение.

В качестве замечаний, не влияющих принципиально на общую положительную оценку работы, нужно отметить следующие.

В свете современной геополитической обстановки значительный интерес могло бы вызвать более обстоятельное освещение военно-политических аспектов, связанных со строительством великого северного пути, в особенности с аргументами против прокладки трассы через Финляндию, которая тогда входила в состав Российской империи и оказывала большое влияние на развитие Карельско-Кольского региона.

Анализируя историографию проблемы, автор почему-то не упоминает кандидатской диссертации Е. К. Арьевой о строительстве Мурманской железной дороги, защищенной в Петрозаводске в 1955 г. в Карело-Финском государственном университете.

На наш взгляд, автор некорректно сопоставляет уровень заработной платы строителей на трассе со столичными ценами на продукты в 1917 г., приведенными в журнальной статье А. В. Пешехонова (С. 123). В районе строительства дороги уровень цен был значительно выше столичных (см., например: Бубновский М. И. В глубоком тылу // Известия Арханг. об-ва изучения Русского Севера. 1916. № 5. С. 196).

Порою текст работы перегружен техническими деталями и подробностями, не содержащими конкретно-исторической информации.

В целом же рецензируемая монография вносит значительный вклад в изучение проблем истории Европейского Севера России в период Первой мировой войны и представляет несомненный интерес как для специалистов, так и для широкого круга читателей.

Е. Ю. Дубровская, Н. А. Кораблев

Разумова И. А. Культурные ландшафты Кольского Севера: города у «Большой воды» и Хибин. Социально-антропологические очерки. СПб.: «ГАМАС», 2009. 160 с.

Мурманская область, известная сегодня как самостоятельный субъект Российской Федерации, до 1938 г. имела различные наименования – Кольский уезд (в начале XVIII – середине XIX вв.), Мурманский уезд (с 1920 г.), Мурманская губерния (с 1921 г.), Мурманский округ Ленинградской обл. (с 1927 г.) [ГААО, 2000. С. 264–266; Архивохранилище..., 2002. С. 192–196]. Только в 1938 г. территория получает наименование Мурманской области, при этом часть ее находилась за пределами современных границ: Кандалакшская и Ковдская волости – в составе Карельской АССР, западная часть полуостровов Рыбачьего и Среднего, область Петсамо вплоть до 1940 г. принадлежали Финляндии. Таким образом, Мурманская область в привычном для нас виде сформировалась практически в середине XX века. Понятие Кольский Север объединяет все предшествующие, до 1938 г., наименования и сегодня используется равнозначно с понятием Мурманская область. Примечательно, что понятие Кольский Север не только объединяет географические объекты, но и обозначает некое культурное пространство. В этой связи вызывает интерес введение данного понятия в название книги И. А. Разумовой «Культурные ландшафты Кольского Севера: города у «Большой воды» и Хибин». Исследование посвящено части культурного ареала, географически расположенного вокруг озера Имандра, Хибинского горного массива и Кандалакшского залива. Автор останавливается на изучении пяти малых и средних городов области, один из которых является историческим городом и представляет центр поморской культуры на Кольском полуострове, а остальные – советские индустриальные города.

Предмет исследования составляют культурные ландшафты, под которыми понимается «созданная людьми среда их обитания. Она включает села и города с их пространственно-архитектурным обликом, производственные и социально-культурные объекты, зоны отдыха, а также все естественное окружение (природные ландшафты), которое так или иначе осмыслено, оценено и использовано человеком» [Разумова, 2009. С. 6]. В качестве объекта И. А. Разумова выбирает городские общности Мурман-

ской области, представляющие города, строительство которых осуществлялось в советский период, – это Кировск, Апатиты, Мончегорск, Полярные Зори. На примере г. Кандалакша, выросшего из старинного поморского поселения, автор знакомит читателя и с селом Кандалакша, часть которого продолжает существовать в настоящее время. Город Кандалакша, по мнению автора, в сравнении с рассматриваемыми городами если «и проигрывает в отношении «цивилизованности», то «выигрывает в том, что у нее (Кандалакши. – О. З.) есть история, глубокая культурная память» [Разумова, 2009. С. 126]. Несомненно, устные свидетельства, фольклор, спонтанные высказывания жителей, основателей города позволяют более целостно как рассмотреть само сообщество, так и проанализировать сформировавшиеся в культуре образы, воспоминания, вошедшие в историю важные события, связанные с созданием городского пространства. В отношении образов г. Кандалакши любопытными представляются не только знания жителей об истории города и села, но и оценка накопленного опыта, специфической культуры и быта.

Строительство новых городов на Кольском Севере привело на эту территорию огромное количество новых жителей. Как известно, Кольский полуостров активно начал заселяться в первой половине XX в. с началом строительства железной дороги, а затем с разработкой новых месторождений и строительством горно-обогатительных предприятий [Мурманская железная дорога, 1916; Ушаков, 1997; Киселев, 1974]. Естественно, что выявляется определенная схема расселения – очагово-ленточная, то есть первые мигранты оседали вокруг строящихся промышленных и транспортных объектов.

Будучи привезенными из разных районов страны, являясь не только городскими, но и сельскими жителями, мигранты строили «новый мир» на новом месте. В соответствии с универсальной формой осмысления процесса «освоения территории», как отмечает автор, благодаря труду строителей, ученых, горняков «из первозданного Хаоса образован Космос» [Разумова, 2009. С. 6]. Приезжие из крупных городов создавали цивилизацию по известному образцу, строя, например, «заполярный Ленинград», а их потомки сохранили этот образ: «Мне кажется, Мончегорск – просто уменьшенная, такая младшая копия Петербурга» [Разумова,

2009. С. 93]. Проектирование г. Мончегорска, архитектурные и планировочные его достоинства, «петербургскость» города рассматриваются автором на материале различных письменных и устных текстов в параграфе «Маленький Санкт-Петербург» [Разумова, 2009. С. 90–100].

И. А. Разумова указывает на специфику формирования современного городского населения области: «Подавляющее число жителей Кольского полуострова – это переселенцы и их потомки во втором-третьем поколении». Действительно, это основная характеристика основателей заполярных городов – они некоренные, приезжие, переселенцы. Более того, приезжие, как правило, не задерживались в Заполярье. Такая ситуация продолжалась на протяжении всего XX века. «...Следует учитывать, что значительная часть прибывших в области ориентирована, главным образом, на высокие заработки и краткосрочное пребывание на Севере, что подтверждается объективным анализом движения населения – более половины мигрантов в течение первых трех лет покидают Мурманскую область, “не пустив здесь свои корни”» [Социально-экономическое..., 1992. С. 156]. Результатом столь активных миграционных процессов стало отсутствие в новых городах старожильского населения.

Это положение частично сохраняется и в настоящее время. Единственно признанной территорией, где имеется старожильское население, считается южная часть Кольского полуострова и, в частности, г. Кандалакша. Старожилами в Мурманской области принято считать поморское население, которое продолжает ассоциироваться со статусом сельских жителей. Вместе с тем в некоторых источниках встречается распространение данного понятия и на приезжих. Так, в 1926 г. к старожилам относили тех, кто прожил на территории Мурманской области лишь несколько лет: «Три года – уже “старожил”. Он зацепился за мурманскую почву...» [Население..., 1926. С. 8]. Такая позиция связана с региональными особенностями Севера и, как следствие, большей текучестью населения.

Книга привлекает исследовательский и читательский интерес разнообразием использованных в ней источников. Материалами для автора стали не только тексты интервью и рассказы жителей городов Кольского Севера, но и антропологические наблюдения, стихи и песни профессиональных и непрофессиональных авторов. Кроме того, И. А. Разумова использовала журнальные публикации, школьные сочинения, мемуары. Таким образом, читатель получает достаточно полное представление об ис-

торико-культурных, в первую очередь словесных, образах заполярных городов, знакомится с фактами из их истории, мнениями очевидцев тех или иных событий, с оценкой перспектив развития территории с точки зрения самих жителей. К сожалению, автор практически не ссылается в книге на материалы архивов, хотя документальная иллюстрация некоторых, особенно спорных, событий была бы логичной.

Обратим внимание на то, что еще в советское время в Мурманской области была выпущена целая серия книг «Города и районы Мурманской области» [см. напр.: Жданов, Орловская, 1978; Киселев, Тулин, 1977; Киселев, 1986; Кузьмин, Разин, 1968; Разин 1991]. История городов и градообразующих предприятий также подробно изложена в работах историков и краеведов [Апатиты, 2006; Кировск, 2006; Неруш 1978; Киселев и др., 1981; Рудный Ковдор, 1974; У подножия..., 1971]. Авторы детально описывают предысторию, этапы освоения географического пространства, строительства городских районов и т. п., но серьезного исследования образа заполярного города в культуре проведено не было. Книга И. А. Разумовой сфокусирована на историко-культурных репрезентациях городов Мурманской области. С одной стороны, автором не определены хронологические рамки исследования, с другой стороны, на исторические контексты указывают конкретные маркеры, например, выдающиеся личности (А. Е. Ферсман), социальные группы (спецпереселенцы) и т. д. Структурно книга состоит из пяти глав, каждая из которых представляет определенный город. Сюжетно каждая глава отражает исторические события и современное состояние советских городов Кольского Севера в связи с их производственной и исторической спецификой, воплощенной в известных перифразах (Кировск – город горнодобывающей промышленности, Кандалакша – город поморской культуры, Полярные Зори – город энергетиков и т. д.). Многообразие ракурсов позволяет автору показать формирование городской среды в разные периоды (один из городов основан в 1930 г., другой – в 1974 г.), а также продемонстрировать формирование образов («История города начинается с...», «Великими личностями для города стали...», «Город называли так, потому что...» и т. д.). При этом автор не пишет историю города, но через определенные маркеры практически раскрывает исторические, социальные и культурные признаки советского заполярного строительства. Например, первые годы жизни современного Кировска (Хибиногор-

ска) оцениваются как «барачно-лагерные», а г. Апатиты воспринимается в качестве «младшего брата» г. Кировска. Таким образом, фокусируя внимание на отдельных социально-исторических сюжетах, книга воссоздает целостный образ российского заполярного города XX – начала XXI века.

Литература

Апатиты: Старый новый город / Сост. В. Э. Берлин. Апатиты: КазМ, 2006. 80 с.

Архивохранилище документов новейшей политической истории государственного архива Мурманской области: Путеводитель / Редкол.: Н. Н. Галактионова, Т. В. Ишбирдина, Н. А. Пыхтина (отв. редактор), С. Г. Руденко. М.: Звенья, 2002. 247 с.

Государственный архив Архангельской области: Путеводитель: В 2 т. Т. 1. Архангельск, 2000. 304 с. (В тексте – ГААО).

Жданов В., Орловская Л. Североморск. Мурманск: Мурман. кн. изд-во, 1978. 160 с.

Кировск: Страницы истории / Авт.-сост. В. Э. Берлин, Т. Е. Королева. СПб: Моби Дик, 2006. 176 с.

Киселев А. А. Мончегорск. Мурманск: Мурман. кн. изд-во, 1986. 139 с.

Киселев А. А., Краснобаев А. И., Барабанов А. В. Гигант в Хибинах: История ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции производственного объединения «Апатит» им. С. М. Кирова (1929–1979). Мурманск: Мурман. кн. изд-во, 1981. 200 с.

Киселев А., Тулин М. Книга о Мурманске. Мурманск: Мурман. кн. изд-во, 1977. 240 с.

Киселев А. А. Родное Заполярье: Очерки истории Мурманской области (1917–1972 гг.). Мурманск: Мурман. кн. изд-во, 1974. 512 с.

Кузьмин Г. Г., Разин Е. Ф. Кандалакша. Мурманск, 1968. 205 с.

Мурманская железная дорога: Краткий очерк постройки железной дороги на Мурман с описанием ее района. Петроград: Изд. Управления по постройке Мурманской железной дороги, 1916. 204 с.

Население г. Мурманска к началу 1926 г. Мурманск, 1926. 24 с.

Неруш И. А. Города Кольского Севера: Очерки истории строительства и формирования городов на Кольском полуострове. Мурманск, 1978. 108 с.

Разин Е. Ф. Кандалакша. Мурманск: Мурман. кн. изд-во, 1991. 164 с.

Разумова И. А. Культурные ландшафты Кольского Севера: города у «Большой воды» и Хибин. Социально-антропологические очерки. СПб.: «ГАМАС», 2009. 160 с.

Рудный Ковдор / Авт.-сост. А. И. Сухачев, В. Г. Мелик-Гайказов, Б. К. Оводенко и др. Мурманск: Мурман. кн. изд-во, 1974. 208 с.

Социально-экономическое развитие Мурманской области в переходный период: современное состояние и прогнозы / Под ред. Г. П. Лузина. Апатиты: Изд-во Кольского НЦ РАН, 1992. 218 с.

У подножия Хибин: (Кировско-Апатитский промышленный район). Мурманск: Мурман. кн. изд-во, 1971. 119 с.

Ушаков И. Ф. Избранные произведения в 3 т.: Историко-краеведческие исследования. Мурманск: Мурман. кн. изд-во, 1997. Т. 1. Кольская земля. 648 с.

О. В. Змеева

**НОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ В ОБЛАСТИ
ПРИБАЛТИЙСКО-ФИНСКИХ ПРИЧИТАНИЙ:
Рахимова Э. Г. «Туонельские свечушки»: сло-
весная изобразительность карело-финских
причитаний по покойным. М.: ИМЛИ РАН,
2010. 237 с.**

Зародившийся в конце XIX века в среде финляндских любителей народной поэзии интерес к собиранию и изучению прибалтийско-финских причитаний постепенно возрастал на протяжении всего XX века. Несмотря на трудности фиксирования, вызванные, в первую очередь, своеобразным, отличным от обыденного, языком причитаний, в архивах Финляндии накопился широкий эмпирический материал. Начиная с середины прошлого столетия к собиранию этого самобытного жанра активно подключились и карельские ученые. Большая заслуга в этой работе принадлежит фольклористам, языковедам и этнографам Института языка, литературы и истории Карельского НЦ РАН. Значителен вклад У. С. Конкка, А. С. Степановой, Н. А. Лавонен, Э. С. Киуру, Г. Н. Макарова, М. И. Муллонен, а также многих других ученых, систематически на протяжении многих лет выезжавших в отдаленные карельские, вепсские, ижорские деревни на поиски похоронных, свадебных, рекрутских и бытовых причитаний. Таким образом, сегодня в нашем распоряжении имеются тексты плачей, зафиксированных еще в период их живого бытования (финляндские, небольшая часть карельских материалов) и образцы причитаний, записанные в период стремительного исчезновения жанра (карельские материалы). Совокупность и доступность этих источников позволяет как российским, так и финляндским ученым проводить фундаментальные исследовательские работы по разным направлениям.

Силами карельских ученых были изучены причитания, бытовавшие в основном на территории Карелии. Следует отметить работы У. С. Конкка, рассмотревшей карельские плачи в обрядовом контексте, а также, несомненно, работы А. С. Степановой, долгие годы занимавшейся поэтикой причитаний, в частности, описанием системы иносказаний свадебных персонажей. В последние годы объектом исследования стала также вепсская причетная традиция. Впервые в 2012 году введены в научный оборот тексты вепсских плачей. Сборник «*Käteške käbedaks kăgoihudeks* “Обернись-ка милой

кукушечкой”», подготовленный Н. Г. Зайцевой, О. Ю. Жуковой и С. В. Косыревой, включает 83 текста похоронных, свадебных, рекрутских и бытовых причитаний. Материал представлен на языке оригинала с параллельным филологическим переводом на русский язык.

Среди финляндских ученых к жанру причитаний обращался целый ряд исследователей. Среди них Л. Хонко, охарактеризовавший прибалтийско-финскую причетную традицию в целом и сформулировавший основные аспекты ее дальнейшего рассмотрения. Огромный вклад в изучение ижорских плачей внесла А. Ненола, скрупулезно проанализировавшая указанную причетную традицию.

В последние годы интерес к исследованию карельских причитаний несколько ослаб, вероятно, по причине небольшого числа молодых ученых, хорошо владеющих карельским или другим из группы прибалтийско-финских языков. Впрочем, знание языка не является основным фактором отсутствия специалистов в этой области. Помимо преодоления языкового барьера начинающему фольклористу необходимо хорошее знание различных фольклорных жанров, а также обрядов и верований, что позволило бы сделать глубокий семантический анализ текстов. На фоне сложившейся ситуации следует особо отметить недавно вышедшую монографию московской исследовательницы Э. Г. Рахимовой, обратившейся к рассмотрению устойчивых изобразительных констант карельских и ижорских причитаний по покойным. Синкретизм архаичных карельских жанров устного народного творчества на уровне мотивов и образов, а также просматривающееся единство в области поэтики позволило автору рецензируемой работы, многие годы плодотворно изучавшей поэтические особенности севернокарельских рун (вышел целый ряд статей по данному вопросу), заниматься иносказательным языком причитаний.

Проведенное исследование, в котором автор препарирует взятые в совокупности карельские и ижорские причитания по покойным на наиболее часто употребляемые изобразительные константы, является первой научной работой в данном направлении. Автор наряду с лингвофольклористическим подходом успешно использует сравнительный метод, привлекая к рассмотрению поэзию калевальской метрики, а также севернорусскую причетную традицию.

Монография Э. Г. Рахимовой состоит из 11 глав. В первых двух главах, «Особенности бытования и история фиксации карело-финских причитаний по покойным» и «Обзор корпуса плачевых текстов», автор очерчивает исследуемый ареал, характеризует материалы исследования, а также дает историографический обзор литературы. Обращает на себя внимание масштаб охвата материала и количество привлеченных источников. Однако на фоне анализа собирательской работы, предпринятой финляндскими учеными, экспедиционная деятельность карельских исследователей представлена, на мой взгляд, достаточно бегло. Реестры полевых материалов, с которыми можно было познакомиться в Научном архиве Карельского НЦ РАН и Фонограммархиве Института ЯЛИ, свидетельствуют об огромном вкладе карельских собирателей. Кроме того, фиксация обрядового фольклора как в контексте обряда, так и вне его – занятие весьма сложное, требующее особого мастерства, умения находить контакт с исполнителем. Несмотря на это, результаты полевых исследований по сбору карельских и вепсских причитаний значительны, что, несомненно, автору рецензируемой работы следовало бы отметить.

В третьей главе «Изучение поэтики и семантики карельско-ижорской плачевой традиции» обозначены основные научные работы финляндских и российских исследователей, занимавшихся особенностями языка причитаний. В завершении главы автор поднимает важную дискуссионную проблему, касающуюся научной терминологии. По мнению Э. Г. Рахимовой, для постижения мифопоэтической изобразительности плачей правомерно использовать «концепцию этнопоэтической константы», выведенную В. М. Гацаком. Ключевым признаком подобной константы является «устойчивость зрительного образа». Автор считает, что сохраняющийся в памяти «мысленный визуальный кадр» подобен «девербальному гештальту» (термин Мишеля Нэйглера). Применительно к карельскому материалу образование подобных констант усложняется аллитерацией.

Вопросы терминологии в фольклористике, лингвофольклористике как в России, так и за рубежом вызывают обширную дискуссию, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы на различных научных мероприятиях. Автор монографии, находясь в некоем поиске, при характеристике отдельных этнопоэтических констант использует подтермины. Подобная дифференциация позволяет более точно охарактеризовать функциональную роль констан-

ты («композиционная константа») или проследить основные этапы ее формирования («выкристаллизовавшиеся словесные формулы», «выкристаллизовавшиеся вербальные константы») и др.

Центральную часть монографии составляют пять глав «Обрядовые “беседушки” и безмолвие покойного в карельских и ижорских плачах: севернорусские плачевые и калевальские кроссжанровые параллели», «Изображение “жилища” покойного в карело-финских плачах в сопоставлении с русскими и с рунами калевальской метрики», «Дальняя Туонела: обитатели и ландшафтные и интерьерные предметные детали», «Орнитологическая символика в карельских и ижорских причитаниях и в рунах калевальской метрики», «Открытый ветрам и стуже оставленный покойным мир». В обозначенных главах на основе большой текстологической работы, выполненной по всем имеющимся опубликованным источникам, а также архивным материалам, выявлены и рассмотрены разнообразные поэтико-изобразительные константы карельских причитаний по покойным. Кроме того, проведены параллели с севернорусской и ижорской причетной традицией, а также с карельскими рунами. Вербальные константы представлены в монографии согласно проведению похоронного обряда: от момента застывания покойного до ухода его в мир иной. Несомненное достоинство аналитической работы состоит в том, что каждый выдвинутый тезис находит подтверждение в многочисленных примерах. Привлечение севернорусской и ижорской традиции позволяет глубже рассмотреть выделенные изобразительные константы.

Тексты причитаний, записанных в XX веке, представляют некий симбиоз традиционных мифологических и христианских мотивов. Это отчетливо прослеживается, к примеру, в главе «Дальняя Туонела: обитатели и ландшафтные и интерьерные предметные детали». Путь в далекий иной мир, ворота Туонелы, собаки Туонелы, зеленые лужайки – это константные атрибуты мифологического потустороннего мира. Встречающиеся в карельских рунах аналогичные примеры являются подтверждением этому. «Правая сторона», «восковые свечушки» относятся, несомненно, уже к наиболее поздним, христианским напластованиям. Дальнейшее исследование по всем вышеуказанным изобразительным константам с привлечением материалов из карельских рун и особенно заговоров даст автору возможность несколько расширить эту главу, представив ее в качестве самостоятельной статьи.

Целостной и наиболее объемной является глава «Орнитологическая символика в карельских и ижорских причитаниях и в рунах калевальской метрики», где Э. Г. Рахимова обобщила весь выявленный материал по образам птиц (жаворонка, уточки-морянки, соловья-птички, белой лебеди, пташки-птички и т. д.), зафиксированных в причетной и рунопевческой традиции. По сравнению с другими главами более подробно рассмотрены грамматические формы употребления изобразительных констант, обозначены мотивы их возможного варьирования. Указанная часть монографии представляет собой законченное обобщение по орнитоморфной символике, до настоящего времени не проводившееся в данном ракурсе.

Заслуживает внимания глава «Открытый ветрам и стуже оставленный покойным мир», в которой Э. Г. Рахимова выделяет изобразительные константы, иллюстрирующие покинутый покойным мир. Горе оставшихся в живых рисуется иносказательно при помощи темных туч, огромного озера слез, пролитых сиротинушками, стужи, тоски и суховеяного ветра. Однако отсутствие итогового вывода делает главу несколько незавершенной.

Во многом дискуссионной является глава «Характер исполнения причитаний и сохраненность вербальных констант». Сегодня довольно сложно судить, какими же были аутентичные тексты в отношении полноты мотивов и использования изобразительных средств, т. к. число причитаний, зафиксированных в контексте обряда, невелико. Вполне естественно, что спетые перед микрофоном по просьбе собирателя варианты отличались насыщенностью поэтико-образительных констант. Импровизируя в более спокойной обстановке, искусная причитальщица могла использовать все знакомые ей поэтические формулы.

Карелы, так же как и вепсы и ижорцы, на протяжении многих веков находились в тесном контакте с русским населением. Взаимовлияние культур отчетливо прослеживается в уст-

ном народном творчестве, на что неоднократно указывали многие исследователи. В данной монографии фронтальное изучение вербальных констант карельских и ижорских причитаний в сравнении с русской причетной традицией дало положительные результаты. Некоторые итоги, а также перспективы указанного аспекта изучения плачей представлены в главе «Карельско-ижорские и северно-русские текстуальные схождения в причитаниях по покойному».

Завершает монографию глава «Итоговые замечания», в которой ещё раз подчеркивается новизна рецензируемой работы, ее теоретическая и практическая значимость.

В качестве положительных сторон следует отметить четкую структурированность монографии, высокий уровень изложения теоретического материала. Несомненным достоинством является и то, что автор изучил большое количество причитаний, многие из которых не имели русскоязычного перевода. На мой взгляд, данное исследование требовало работы именно с оригинальным текстом, перевод не всегда точно отражает глубину содержания. Однако для русскоязычного читателя наличие перевода обязательно, причем наиболее приближенного к оригиналу. В этой связи следует обратить внимание на некоторые опечатки и неточности в карелоязычных отрывках причитаний, а также их переводах. Несомненно, причиной этому стало большое количество привлеченных к исследованию языков (карельский, ижорский), а также наречий и диалектов карельского языка (ливвиковское, севернокарельское наречия; сегозерский диалект и т. д.). Участие в работе языковых редакторов помогло бы автору избежать этих погрешностей.

Монография, несомненно, найдет своего читателя, а выявленный автором тезаурус «устойчивой предметной детализации словесно воплощаемого, вербализируемого в каждом акте исполнения плача фиктивного мира» станет основой для дальнейшего изучения.

В. П. Миронова

**ИЗДАНИЯ ИНСТИТУТА ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ
КАРЕЛЬСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА РАН 2011 ГОДА**

Бойко Т. П., Маркианова Л. Ф. Большой русско-карельский словарь (ливвиковское наречие). Петрозаводск: Verso, 2011. 400 с.

Вепсы и их культурное наследие: связь времен (памяти Р. П. Лониной) / Науч. ред. З. И. Строгальщикова. Сб. ст. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2011. 215 с.

Винокурова И. Ю. Обычаи, ритуалы и праздники в традиционной культуре вепсов. Учебное пособие. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2011.

Древний Олонец. 2-е изд., перераб. и доп. Петрозаводск: VERSO, 2011. 173 с.

Дуров И. М. Словарь живого поморского языка в его бытовом и этнографическом применении. Издание подготовили И. И. Муллонен (отв. ред.); В. П. Кузнецова, А. Е. Беликова. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2011. 454 с.

Ковалева С. В., Родионова А. П. Традиционное и новое в лексике и грамматике карельского языка (по данным социолингвистического исследования). Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2011. 137 с.

Кораблев Н. А. Предпринимательство в Карелии во второй половине XIX – начале XX века. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2011. 268 с.

Кочкуркина С. И. История и культура народов Карелии и их соседей. Петрозаводск: АУ РК «Информационное агентство «Республика Карелия»», 2011. 223 с.

Криничная Н. А. Крестьянин и природная среда в свете мифологии. Былички, бывальщины и поверья Русского Севера. М.: Ун-т Дм. Пожарского, 2011. 623 с.

Летопись литературной жизни Карелии (1997–2001) / Сост.: Н. В. Чикина, О. П. Кошкина. Петрозаводск: Периодика, 2011. 248 с.

Маркова Е. И. Русское стихотворчество на Украине между Корелюю, Чудью и Суоми: от заката Империи до послевоенных победных дней. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2011. 140 с.

Методы и принципы современных гуманитарных исследований. Сб. науч. ст. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2011. 104 с.

Праздничная культура на страницах национальных газет Республики Карелия (1993–2011 гг.): Библиогр. указ. / Сост.: Н. Ю. Кирикова, Н. В. Чикина. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2011. 34 с.

Сойни Е. Г. Русская поэзия первой половины XX века и Финляндия. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2011. 114 с.

У истоков карельской фольклористики. Вып. 3: К 100-летию А. П. Разумовой. Биография, библиография, опись архивных материалов / Сост.: В. П. Миронова, Н. В. Чикина, автор биогр. ст. И. А. Разумова. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2011. 87 с.

У истоков карельской фольклористики. Вып. 4: К 90-летию У. С. Конкка. Биография, библиография, опись архивных материалов / Сост.: В. П. Миронова, Н. В. Чикина, автор биогр. ст. А. С. Степанова. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2011. 78 с.

Чикина Н. В. Современное состояние литературы на карельском языке. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2011. 118 с.

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ

(требования к работам, представляемым к публикации
в «Трудах Карельского научного центра Российской академии наук»)

«Труды Карельского научного центра Российской академии наук» (далее – Труды КарНЦ РАН) публикуют результаты завершённых оригинальных исследований в различных областях современной науки: теоретические и обзорные статьи, сообщения, материалы о научных мероприятиях (симпозиумах, конференциях и др.), персоналии (юбилеи и даты, потери науки), статьи по истории науки. Представляемые работы должны содержать новые, ранее не публиковавшиеся данные.

Статьи проходят обязательное рецензирование. Решение о публикации принимается редакционной коллегией серии или тематического выпуска Трудов КарНЦ РАН после рецензирования, с учетом научной значимости и актуальности представленных материалов. Редколлегия серий и отдельных выпусков Трудов КарНЦ РАН оставляет за собой право возвращать без регистрации рукописи, не отвечающие настоящим правилам.

При получении редакцией рукопись регистрируется (в случае выполнения авторами основных правил ее оформления) и направляется на отзыв рецензентам. Отзыв состоит из ответов на типовые вопросы «Анкет» и может содержать дополнительные расширенные комментарии. Кроме того, рецензент может вносить замечания и правки в текст рукописи. Авторам высылаются электронная версия «Анкет» и комментарии рецензентов. Доработанный экземпляр автор должен вернуть в редакцию вместе с первоначальным экземпляром и ответом на все вопросы рецензента не позднее чем через месяц после получения рецензии. Перед сдачей в печать авторам высылаются распечатанная версия статьи, которая вычитывается, подписывается авторами и возвращается в редакцию.

Почтовый адрес редакции: 185910, г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, 11, КарНЦ РАН, редакция Трудов КарНЦ РАН. Телефон (8142) 780109.

Содержание номеров Трудов КарНЦ РАН и другая полезная информация, включая настоящие Правила, доступна на сайте <http://transactions.krc.karelia.ru>.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РУКОПИСИ

Статьи публикуются на русском или английском языке. Рукописи должны быть тщательно выверены и отредактированы авторами.

Статьи должны быть подписаны всеми авторами.

Объем рукописи (включая таблицы, список литературы, подписи к рисункам, рисунки) для серии «Экспериментальная биология» не должен превышать: для обзорных статей – 25 страниц, для оригинальных – 15, для сообщений – 8, для хроники и рецензий – 5–6. Объем рисунков не должен превышать 1/4 объема статьи. Рукописи большего объема (в исключительных случаях) принимаются при достаточном обосновании по согласованию с ответственным редактором.

Рукописи присылаются в электронном виде, а также в двух экземплярах, напечатанных на одной стороне листа формата А4 в одну колонку через 1,5 интервала (12 пунктов шрифта типа Times New Roman). Размер полей: сверху, снизу – 2,5 см, справа, слева – 2,5 см. Все страницы, включая список литературы и подписи к рисункам, должны иметь сплошную нумерацию в нижнем правом углу. Страницы с рисунками не нумеруются.

ОБЩИЙ ПОРЯДОК РАСПОЛОЖЕНИЯ ЧАСТЕЙ СТАТЬИ

Элементы статьи должны располагаться в следующем порядке: *УДК* курсивом на первой странице, в левом верхнем углу; заглавие статьи на русском языке заглавными буквами полужирным шрифтом; инициалы, фамилии всех авторов на русском языке полужирным шрифтом; полное название организации – место работы каждого автора в именительном падеже на русском языке курсивом (если авторов несколько и работают они в разных учреждениях, то следует отметить арабскими цифрами соответствие фамилий авторов учреждениям, в которых они работают; если все авторы статьи работают в одном учреждении, можно не указывать место работы каждого автора отдельно); аннотация на русском языке; ключевые слова на русском языке; инициалы, фамилии всех авторов на английском языке полужирным шрифтом; название статьи на английском языке заглавными буквами полужирным шрифтом; аннотация на английском языке; ключевые слова на английском языке; текст статьи (статьи экспериментального характера, как правило, должны иметь разделы: ВВЕДЕНИЕ. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. ВЫВОДЫ. ЛИТЕРАТУРА); благодарности; литература (с новой страницы); таблицы (на отдельном листе); рисунки (на отдельном листе); подписи к рисункам (на отдельном листе).

На отдельном листе дополнительные сведения об авторах: фамилия, имя, отчество всех авторов полностью на русском и английском языках; полный почтовый адрес каждой организации

(страна, город) на русском и английском языках; должности авторов; адрес электронной почты для каждого автора; телефон для контактов с авторами статьи (можно один на всех авторов).

ЗАГЛАВИЕ СТАТЬИ должно точно отражать содержание статьи и содержать не более 8–10 значащих слов.

АННОТАЦИЯ должна быть лишена вводных фраз, содержать только главную информацию статьи, не превышать объем – 15 строк.

Отдельной строкой приводится перечень **КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ**. Ключевые слова или словосочетания отделяются друг от друга запятой, в конце фразы ставится точка.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ должны содержать сведения об объекте исследования с обязательным указанием латинских названий и сводок, по которым они приводятся, авторов классификаций и пр. Транскрипция географических названий должна соответствовать атласу последнего года издания. Единицы физических величин приводятся по Международной системе СИ. Желательна статистическая обработка всех количественных данных. Необходимо возможно точнее обозначать местонахождения (в идеале – с точным указанием географических координат).

ИЗЛОЖЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ должно заключаться не в пересказе содержания таблиц и графиков, а в выявлении следующих из них закономерностей. Автор должен сравнить полученную им информацию с имеющейся в литературе и показать, в чем заключается ее новизна. Для фаунистических и флористических работ следует указывать место хранения коллекционных образцов. Если в статье приводятся сведения о новых для исследованной территории таксонах, то желательно и процитировать этикетку. Следует ссылаться на табличный и иллюстративный материал так: на рисунки, фотографии и таблицы в тексте (рис. 1, рис. 2, табл. 1, табл. 2 и т. д.), фотографии, помещаемые на вкладышах (рис. I, рис. II). Обсуждение завершается формулировкой основного вывода, которая должна содержать конкретный ответ на вопрос, поставленный во Введении. Ссылки на литературу в тексте даются фамилиями, например: Карху, 1990 (один автор); Раменская, Андреева, 1982 (два автора); Крутов и др., 2008 (три автора или более), и заключаются в квадратные скобки. При перечислении нескольких источников работы располагаются в хронологическом порядке, например: [Иванов, Топоров, 1965; Успенский, 1982; Erwin et al., 1989; Рыбаков, 1994; Longman, 2001].

ТАБЛИЦЫ нумеруются в порядке упоминания их в тексте, каждая таблица имеет свой заголовок. На полях рукописи (слева) карандашом указываются места расположения таблиц при первом упоминании их в тексте. Диаграммы и графики не должны дублировать таблицы. Материал таблиц должен быть понятен без дополнительного обращения к тексту. Все сокращения, использованные в таблице, должны быть пояснены в Примечании, расположенном под ней. При повторении цифр в столбцах нужно их повторять, при повторении слов – в столбцах ставить кавычки. Таблицы могут быть книжной или альбомной ориентации (при соблюдении вышеуказанных параметров страницы).

РИСУНКИ представляются отдельными файлами с расширением TIF (*.TIF) или JPG (не встраивать в Word). Графические материалы должны быть снабжены распечатками с указанием желательного размера рисунка в книге, пожеланий и требований к конкретным иллюстрациям. На каждый рисунок должна быть как минимум одна ссылка в тексте. Иллюстрации объектов, исследованных с помощью фотосъемки, микроскопа (оптического, электронного трансмиссионного и сканирующего), должны сопровождаться масштабными линейками, причем в подрисуночных подписях надо указать длину линейки. Приводить данные о кратности увеличения необязательно, поскольку при публикации рисунков размеры изменятся. Крупномасштабные карты желательно приводить с координатной сеткой, обозначениями населенных пунктов и/или названиями физикогеографических объектов и разной фактурой для воды и суши. В углу карты желательна врезка с мелкомасштабной картой, где был бы указан участок, увеличенный в крупном масштабе в виде основной карты.

ПОДПИСИ К РИСУНКАМ должны содержать достаточно полную информацию, для того чтобы приводимые данные могли быть понятны без обращения к тексту (если эта информация уже не дана в другой иллюстрации). Аббревиации расшифровываются в подрисуночных подписях.

ЛАТИНСКИЕ НАЗВАНИЯ. В расширенных латинских названиях таксонов не ставится запятая между фамилией авторов и годом, чтобы была понятна разница между полным названием таксона и ссылкой на публикацию в списке литературы. Названия таксонов рода и вида печатаются курсивом. Вписывать латинские названия в текст от руки недопустимо. Для флористических, фаунистических и таксономических работ при первом упоминании в тексте и таблицах приводится русское название вида (если такое название имеется) и полностью – латинское, с автором и, желательно, с годом, например: водяной ослик (*Asellus aquaticus* (L. 1758)). В дальнейшем можно употреблять только русское название или сокращенное латинское без фамилии автора и года опубликования, например, для брюхоногого моллюска *Margarites groenlandicus* (Gmelin 1790) – *M. groenlandicus* или для подвида *M. g. umbilicalis*.

СОКРАЩЕНИЯ. Разрешаются лишь общепринятые сокращения — названия мер, физических, химических и математических величин и терминов и т. п. Все сокращения должны быть расшифрованы, за исключением небольшого числа общеупотребительных.

БЛАГОДАРНОСТИ. В этой рубрике выражается признательность частным лицам, сотрудникам учреждений и фондам, оказавшим содействие в проведении исследований и подготовке статьи, а также указываются источники финансирования работы.

* **Названия видов** приводятся на латинском языке **КУРСИВОМ**, в скобках указываются высшие таксоны (семейства), к которым относятся объекты исследования.

ЛИТЕРАТУРА. Пристатейные ссылки и/или списки пристатейной литературы следует оформлять по ГОСТ Р 7.0.52008. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления (http://www.bookchamber.ru/GOST_P_7.0.5.2008). Список работ представляется в алфавитном порядке. Все ссылки даются на языке оригинала (названия на японском, китайском и других языках, использующих нелатинский шрифт, пишутся в русской транскрипции). Сначала приводится список работ на русском языке и на языках с близким алфавитом (украинский, болгарский и др.), а затем – работы на языках с латинским алфавитом. В списке литературы между инициалами ставится пробел.

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ 1-Й СТРАНИЦЫ

УДК 631.53.027.32 : 635.63

ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМОВ ПРЕДПОСЕВНОГО ЗАКАЛИВАНИЯ СЕМЯН НА ХОЛОДОУСТОЙЧИВОСТЬ РАСТЕНИЙ ОГУРЦА

Е. Г. Шерудило¹, М. И. Сысоева¹, Е. Ф. Марковская²

¹ Институт биологии Карельского научного центра РАН

² Петрозаводский государственный университет

Аннотация на русском языке

Ключевые слова: *Cucumis sativus* L., кратковременное снижение температуры, устойчивость.

E. G. Sherudilo, M. I. Sysoeva, E. F. Markovskaya. EFFECTS OF DIFFERENT REGIMES OF SEED HARDENING ON COLD RESISTANCE IN CUCUMBER PLANTS

Аннотация на английском языке

Key words: *Cucumis sativus* L., temperature drop, resistance.

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТАБЛИЦЫ

Таблица 2. Частота встречаемости видов нематод в исследованных биотопах

Биотоп (площадка)	Кол-во видов	Встречаемость видов нематод в 5 повторностях				
		100 %	80 %	60 %	40 %	20 %
1Н	26	8	4	1	5	8
2Н	13	2	1	1	0	9
3Н	34	13	6	3	6	6
4Н	28	10	5	2	2	9
5Н	37	4	10	4	7	12

Примечание. Здесь и в табл. 3–4: биотоп 1Н – территория, заливаемая в сильные приливы; 2Н – постоянно заливаемый луг; 3Н – редко заливаемый луг; 4Н – незаливаемая территория; 5Н – периодически заливаемый луг.

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ПОДПИСИ К РИСУНКУ

Рис. 1. Северный точильщик (*Hadrobregmus confuses* Kraaz.)

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СПИСКА ЛИТЕРАТУРЫ

Ссылки на книги

Вольф Г. Н. Дисперсия оптического вращения и круговой дихроизм в органической химии / Ред. Г. Снатцке. М.: Мир, 1970. С. 348–350.

Илиел Э. Стереохимия соединений углерода / Пер. с англ. М.: Мир, 1965. 210 с.

Несис К. Н. Океанические головоногие моллюски: распространение, жизненные формы, эволюция. М.: Наука, 1985. 285 с.

Knorre D. G., Laric O. L. Theory and practice in affinity techniques / Eds. P. V. Sundaram, F. L. Eckstein. N. Y., San Francisco: Acad. Press, 1978. P. 169–188.

Ссылки на статьи

Викторов Г. А. Межвидовая конкуренция и сосуществование экологических гомологов у паразитических перепончатокрылых // Журн. общ. биол. 1970. Т. 31, № 2. С. 247–255.

Grove D. J., Loisesides L., Nott J. Satiation amount, frequency of feeding and emptying rate in *Salmo gairdneri* // J. Fish. Biol. 1978. Vol. 12, N 4. P. 507–516.

Ссылки на материалы конференций

Марьянских Д. М. Разработка ландшафтного плана как необходимое условие устойчивого развития города (на примере Тюмени) // Экология ландшафта и планирование землепользования: тезисы докл. Всерос. конф. (Иркутск, 11–12 сент. 2000 г.). Новосибирск, 2000. С. 125–128.

Ссылки на авторефераты диссертаций

Шефтель Б. И. Экологические аспекты пространственновременных межвидовых взаимоотношений землероек Средней Сибири: автореф. дис. ...канд. биол. наук. М., 1985. 23 с.

Ссылки на диссертации

Шефтель Б. И. Экологические аспекты пространственновременных межвидовых взаимоотношений землероек Средней Сибири: дис. ...канд. биол. наук. М., 1985. С. 21–46.

Ссылки на патенты

Патент РФ № 2000130511/28, 04.12.2000.

Еськов Д. Н., Серегин А. Г. Оптикоэлектронный аппарат // Патент России № 2122745. 1998. Бюл. № 33.

Ссылки на архивные материалы

Гребенщиков Я. П. К небольшому курсу по библиографии : материалы и заметки, 26 февр. – 10 марта 1924 г. // ОР РНБ. Ф. 41. Ед. хр. 45. Л. 1–10.

Ссылки на интернетресурсы

Паринов С. И., Ляпунов В. М., Пузырев Р. Л. Система Соционет как платформа для разработки научных информационных ресурсов и онлайн-сервисов // Электрон. бибки. 2003. Т. 6, вып. 1. URL: <http://www.elbib.ru/index.shtml?page=elbib/rus/journal/2003/part1/PLP/> (дата обращения: 25.11.2006).

Ссылки на электронные ресурсы на CDROM

Государственная Дума, 1999-2003 [Электронный ресурс]: электронная энциклопедия / Аппарат Гос. Думы Федер. Собрания Рос. Федерации. М., 2004. 1 CDROM.

CONTENTS

S. I. Kochkurkina. THE ETHNIC MAP AND SPATIAL-ADMINISTRATIVE BORDERS OF KARELIA AT THE TURN OF 2 ND MILLENNIUM A. D. (NOVGOROD PERIOD)	3
I. I. Mullonen. NATURAL AND CULTURAL FACTORS BEHIND THE FORMATION OF THE VEPSIAN ETHNIC RANGE	13
M. N. Melyutina, N. M. Terebikhin. THE SOCIOCULTURAL LANDSCAPE OF THE NORTHERN WORLD	25
K. K. Loginov. LANDSCAPE AND LEGENDS ABOUT THE PURPOSES AND AFFILIATIONS OF NATURAL AND MAN-MADE STONE OBJECTS IN OBONEZHJE	38
N. A. Krinichnaya. RIVALRY BETWEEN RIVERS AS AN IMPETUS FOR TRANSFORMATION OF THE LANDSCAPE AND THE SOCIETY (BASED ON ETIOLOGICAL MYTHS)	50
I. Yu. Vinokurova. BATHHOUSE RITES OF THE HUMAN LIFE CYCLE IN THE VEPSIAN CULTURAL LANDSCAPE	57
L. I. Ivanova. THE FOREST NOSE (“LESNOI NOS”): ARCHAIC IDEAS OF KARELIANS ABOUT DISEASE AND MAGICAL LOCI OF THE HEALING RITE	68
A. Yu. Zhukov, E. V. Lyallya. THE VOLOST AND PARISH LANDSCAPE OF THE KARELIAN POMOR AREA IN 15 TH – 18 TH CENTURIES	74
P. V. Sedov. ILLICIT TOBACCO TRADE IN THE NOVGORODIAN BORDERLAND IN THE SECOND HALF OF THE 17 TH CENTURY	85
N. A. Korablyov. STOLYPIN LAND REFORM IN KARELIA: PROBLEMS OF LAND MANAGEMENT	93
Yu. A. Krivoshchapova. PITER IN THE RUSSIAN FOLK LINGUAL TRADITION	104
E. Yu. Dubrovskaya. IMPERIAL SYMBOLS OF HELSINGFORS THROUGH THE EYES OF RUSSIAN SERVICEMEN: TURN OF THE 20 TH CENTURY AND YEATS OF WORLD WAR I	114
O. P. Ilyukha. DAILY LIFE OF THE SOVIET-FINNISH BORDERLAND OF THE 1930s IN CHILDHOOD MEMORIES	124
P. Suutari. THE FOLK TRADITIONS AND YOUNG GENERATION OF THE BORDERLAND: ONSET OF THE TOIVE ENSEMBLE ARTISTIC CAREER (1982–1992)	134
E. I. Klement’ev. THE FACTORS BEHIND THE ETHNIC IDENTITY: EXAMPLE OF KARELIANS IN KARELIA	144
G. V. Kostina. ETHNOCULTURAL ASPECTS OF THE SÁMI LANGUAGE FUNCTIONING IN THE KOLA PENINSULA	153
I. F. Vitenkova. EVOLUTION OF DWELLINGS IN THE LATE NEOLITHIC AND THE ENEOLITHIC PERIODS IN KARELIA	158
Doctoral Student Notebooks	
I. M. Potasheva. WHEEL-THROWN POTTERY OF THE NORTH-WESTERN PRILADOZHJE POPULATION IN THE LATE 11 TH – EARLY 15 TH CENTURIES	170
M. V. Kundozherova. THE WORLD TREE AND THE LANDSCAPE SYMBOLIC SIGNS OF ITS LOCATION (BASED ON KARELIAN EPIC SONGS AND SPELLS)	178
E. V. Zakharova. GEOGRAPHICAL TERMS OF SUBSTRATE ORIGIN IN THE TOPONYMY OF EASTERN OBONEZHJE	185
A. I. Sobolev. NAMES OF SETTLEMENTS IN SOUTH-EASTERN OBONEZHJE IN THE CONTEXT OF THE CULTURAL LANDSCAPE FORMATION	191
E. V. Loginova. FORMATION OF THE LINGUISTIC IMAGE OF A PERSON WITH LEARNING DIFFICULTIES IN FINNISH DIALECTS	197
CHRONICLE	
V. P. Kuznetsova. Workshop on fieldwork techniques at the Institute of Language, Literature and History	202
Dates and Anniversaries	
Elena Soini. RESEARCHER OF LITERATURE OF THE RUSSIAN NORTH (ON THE 75 TH ANNIVERSARY OF YU. J. DYUZHEVA)	206
L. I. Ivanova. NINA A. LAVONEN (ON THE 75 TH ANNIVERSARY)	209
V. G. Makurov. VIKTOR I. MASHEZERSKIY (ON THE 110 TH ANNIVERSARY)	211
KONSTANTIN K. LOGINOV (ON THE 60 TH ANNIVERSARY)	214
Reviews. Bibliography	
E. Yu. Dubrovskaya, N. A. Korablyov, A. A. Golubev. Murmanskaya Railway. Construction History (1894–1917). St. Petersburg: Petersburg State Transport University, 2011. 250 p.	221
O. V. Zmeeva, I. A. Razumova. Cultural landscapes of the Kola North: cities by the “Great water” and the Khibines. Socio-anthropological reviews. St. Petersburg: GAMAS, 2009. 160 p.	224
V. P. Mironova. A new study of Balto-Fennic lamentations: E. G. Rakhimova. “Dear candles of Tuonela”: verbal pictorialism of Karelian-Finnish lamentations over the dead. Moscow: Institute of World Literature of RAS, 2010. 237 p.	227
Publications of the Institute of Language, Literature and History, KarRC of RAS in 2011	230
Instruction for authors	231

Научное издание

**Труды Карельского научного центра
Российской академии наук
№ 4, 2012**

Серия ГУМАНИТАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. Вып. 3

*Печатается по решению
Президиума Карельского научного центра РАН*

Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС77-48848 от 02.03.2012 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций

Редактор А. И. Мокеева
Оригинал-макет Т. Н. Люрина

Подписано в печать 12.11.2012. Формат 60x84¹/₈.
Гарнитура Pragmatica. Печать офсетная. Уч.-изд. л. 25,0. Усл. печ. л. 27,7.
Тираж 500 экз. Изд. № 319. Заказ 93

Карельский научный центр РАН
Редакционно-издательский отдел
185003, г. Петрозаводск, пр. А. Невского, 50